ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2001

РОМАН ПАТРИКА МОДИАНО "НЕЗНАКОМКИ" / РАССКАЗЫ ДЖОРДЖА СОНДЕРСА И ПЕТРЕ АНДРЕЕВСКОГО / "ДНЕВНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ" СЛАВОМИРА МРОЖЕКА / РОМАН КРИСТОФА ХАЙНА "ВИЛЛЕНБРОК" / СТИХИ ЗБИГНЕВА ХЕРБЕРТА / ТРИБУНА ИЗДАТЕЛЯ: "АМФОРА"

Основан в 1891 году

[7]

2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Кристоф Хайн. *Вилленброк.* Роман. Перевод с немецкого М. Рудницкого

95 Джордж Сондерс. *Рассказы.* Перевод с английского и вступление С. Силаковой

128 Збигнев Херберт. *Стихи.* Перевод с польского и вступление Владимира Британишского

144 Патрик Модиано. *Незнакомки.* Повесть. Перевод с французского Ирины Волевич

204 Петре Андреевский. *Рассказы.* Перевод с македонского Е. Верижниковой и Ж. Гилёвой. Вступление М. Тарасовой

Литературное наследие

216 О. Генри. *Искатели риска.* Рассказ. Перевод с английского Е. Суриц

Документальная проза

224 Славомир Мрожек. *Дневник возвращения.* Перевод с польского Леонарда Бухова

Статьи, эссе

249 Антон Нестеров. *Автоперевод как автокомментарий*

Комментарий

256 Алексей Зверев. *Преступления страсти: вариант Зюскинда*

Трибуна издателя: зарубежная литература в России

263 *Издательство "Амфора"*

Среди книг

272 Наталья Мавлевич. *Переводчик и время.*
А. Кофман. *Маршрут культуры*

Курьер "ИЛ"

281

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2001

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

А. М. Зверев
заместитель главного редактора

А. В. Михеев
ответственный секретарь

Редакция :

В. А. Ашкенази
О. Г. Басинская
Е. Д. Богатыренко
С. М. Гандлевский
Т. А. Ильинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

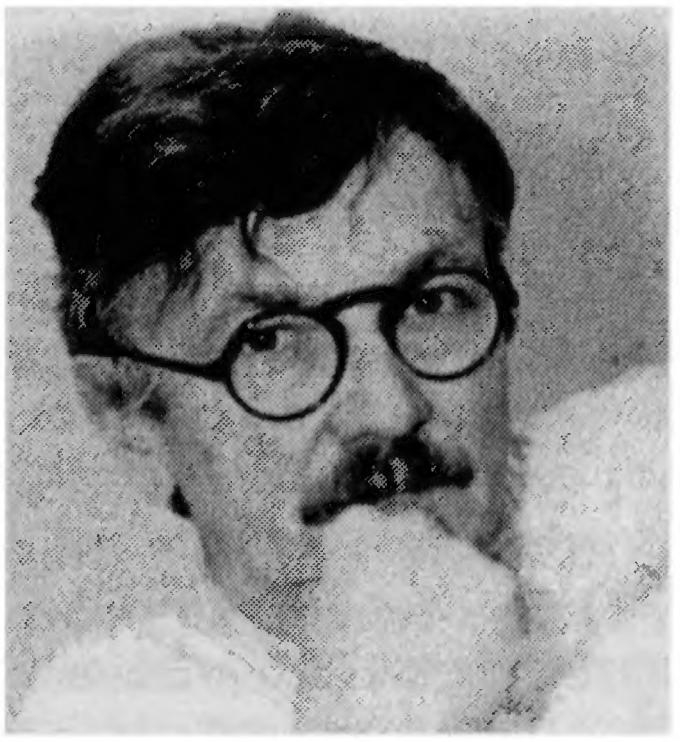
С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
Т. П. Карпова
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Из общего тиража Институт "Открытое общество" ежемесячно выкупает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1 700 экземпляров; Министерство культуры РФ выкупает для библиотек 800 экземпляров; финансовую поддержку журналу оказывает также Министерство печати РФ.

Кристоф Хайн



Вилленброк

Роман

Перевод с немецкого М. Рудницкого

1

Он присел возле чугунной печурки, чиркнул спичкой, поднес язычок пламени к вороху смятой бумаги и набросанной сверху стружки. Потом прикрыл дверцу и стал ждать. Когда огонь начал жадно потрескивать, снова открыл дверцу и подбросил в жерло пару поленьев. Обтер руки тряпкой, что лежала рядом, и только после этого сел за письменный стол. Вынул из ящика иллюстрированный журнал и принялся листать, другой рукой выудив из кармана сигарету и чиркнув зажигалкой. Ночью ему снилось, будто он бежит по нескончаемому пешеходному мосту над железной дорогой. Разглядывая сейчас снимки обнаженных девиц, он пытался вспомнить, где же он раньше этот мост видел. Во сне он гнался за каким-то мужиком, тот убегал, а он все никак не мог его догнать. Бежал, бежал за ним, а расстояние все не сокращалось. Он даже не знал, с какой стати он за этим мужиком погнался, понятия не имел, знакомы ли они вообще и какие такие между ними дела. И сейчас ну никак не мог сообразить, кто бы это мог быть. Единственное, что он помнил, — это длинный, нескончаемый мост, диагональные перекрестья решетки ограждения, вдоль которой он мчится, гулкое буханье шагов по металлу — его собственных и того мужика. И только мост показался ему знакомым. Будто он уже где-то когда-то по этому мосту однажды шел, но, сколько ни напрягал он память, смутные, расплывшиеся картинки не прояснялись.

"Это всего лишь дурацкий сон", — сказал он себе, ленивым, смурным взглядом скользя по фотографиям девиц, что выставляли напоказ свои

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2000
© М. Рудницкий. Перевод, 2001

обнаженные прелести и зазывно улыбались. Потом захлопнул журнал и сунул обратно в стол, в тот ящик, где этого добра у него было навалом.

За дверью бытовки послышался легкий шорох. Он поднял глаза и увидел, что кто-то робко надавил снаружи на ручку двери. Он встал, подошел к двери, открыл. Перед вагончиком стояли шестеро мужчин, они смотрели на него выжидательно и молча.

— В девять, — сказал он и для наглядности постучал по циферблату своих часов, — в девять открываемся.

Он глянул на ворота, те стояли нараспашку — он позабыл их закрыть, въезжая утром во двор. Мужчины, ничего не поняв, все еще смотрели на него, смущенно улыбаясь, и тогда он повторил снова:

— В девять. — И, поскольку на мужчин это все еще не произвело никакого впечатления, добавил по-русски: — Дьевьять тшасов. — Он покивал для пущей убедительности, окинул взглядом замкнутый проволочным ограждением прямоугольник двора и вернулся к себе в бытовку.

Запер дверь, подошел к печурке, щипцами для угля подбросил в пламя несколько брикетов и снова уселся к столу. По очереди начал выдергивать все ящики подряд, деловитым взглядом окидывая их содержимое и тотчас же задвигая обратно. Из самого нижнего выхватил наконец прикусанную скрепкой пачку договоров и быстро их перелистал. Найдя то, что нужно, взялся за телефон, набрал указанный в договоре номер и довольно долго выяснял сроки поставки кондиционера. Потом еще раз перелистал договоры, снова набрал номер и на сей раз переговорил с шефом покрасочной мастерской.

Когда раздался стук в окно, он, не прерывая разговора, встал, открыл дверь и впустил стучавшего. Снова сел за стол, по-хозяйски забросил ноги на столешницу и, не отрываясь от телефона, кивнул. Закончив разговор, положил ладную, маленькую трубку мобильника в карман пиджака и обратился к вошедшему мужчине, который тем временем уселся на узкую потертую кушетку у стены.

— Что мы делаем не так, Юрек?

— Не так? О чем это вы?

— Они уже битый час торчат во дворе, так им не терпится купить у меня эти драндулеты. С какой стати ко мне ломится пол-Варшавы? Может, я дешевлю? Слишком мало прошу за эту рухлядь? Может, еще на тысячу больше за каждую заламывать?

— У нас доброе имя, шеф. Люди знают, здесь их не обманут. Мои земляки уверены: Юрек покупает и продает только хорошие машины. Так что вы бы лучше эту тысячу марок мне платили.

— Я подумаю, Юрек. В конце концов не все ли равно, кто меня ограбит — финансовая инспекция или собственный работник. Кофе хочешь?

Поляк отмахнулся.

— Пора открывать, шеф.

Он взял со стола стопку бумаг, после чего оба они встали и вышли во двор. Хозяин остался стоять на маленькой деревянной лесенке, что вела в бытовку, молча осматривая столпившихся перед ним людей и просторный, сплошь уставленный машинами двор. Юрек же спустился вниз и уже беседовал с покупателями. Каждого он расспрашивал и делал себе пометки. Потом подозвал одного и направился с ним через двор к стоявшей несколько поодаль машине. Остальные неспешно потянулись следом, держась на почтительном расстоянии, но стараясь ничего не упус-

тить, — стайка молодых, крепких парней в дешевых темных костюмах и рубашках без галстуков, у которых при виде такой уймы автомобилей разбегались глаза.

Но вот один из клиентов остановился возле бытовки. Он ткнул в табличку с фамилией владельца и часами работы.

— Вы тут шеф?

Человек, стоявший на лесенке, кивнул. Потом, сойдя с последних двух ступенек, представился:

— Моя фамилия Вилленброк. Чем могу служить?

Указав на машину, оставленную у ворот, человек поинтересовался, не захочет ли Вилленброк ее купить.

— Сколько лет машине?

— Восемь, — ответил мужчина. Он достал из кармана документы на машину и протянул Вилленброку. Вместе они подошли к автомобилю. Торговец обошел вокруг машины, провел рукой по лаковому покрытию, открыл дверцу водителя и ненадолго сел за руль. Потом вылез, снова обошел машину кругом, постучал ногой по покрышкам.

— Сколько вы за нее хотите?

— Не знаю. Вы спец, вам виднее. Сколько вы за нее дадите?

— Вы в самом деле хотите, чтобы я назначил цену? Тогда я скажу: сто марок.

Человек вымученно улыбнулся.

— Я рассчитывал тысяч на пять. Так, во всяком случае, мне в моем автосервисе сказали.

— Тогда продайте ее вашему автосервису.

— Они не покупают подержанных машин.

— Тогда пусть и цены такие не выдумывают. Я могу вам предложить две тысячи.

— Машина только в одних руках была! Вы на тахометр взгляните, я же на ней и не ездил почти.

— Это и плохо. Маленький пробег сразу наводит на подозрения. Километраж тысяч на десять побольше был бы куда достовернее.

— Резина совсем новая.

— Это я вижу. Потому и предлагаю вам такую цену. Резина в этой тачке — самое лучшее. Ее бы я и без машины взял.

Вилленброк попросил его открыть капот и запустить движок. Потом оглянулся на толпу покупателей, которая теперь переместилась поближе к проволочному забору, где осматривала небольшой фургон, и громко позвал Юрека. Когда поляк обернулся, Вилленброк поднял правую руку и резким, властным взмахом приказал ему подойти.

— Посмотри-ка эту машину, Юрек. Две тыщи за нее можно дать?

Поляк влез под капот, послушал, как работает двигатель, пощупал кабели и патрубки, потом провел пальцем по слегка подрагивающему блоку цилиндров. Выпрямился, тщательно обтер "концами" руки и посмотрел на шефа.

— Масло гонит чуток. Прокладку надо сменить. А так порядок. У нас на дворе есть машины и похуже этой.

Он скользнул взглядом по владельцу машины и направился к своим покупателям.

— Так что две тысячи, — повторил Вилленброк. — Идет?

— Я рассчитывал на большее.

— Понимаю. На вашем месте я бы говорил то же самое. Но больше я вам предложить не могу, в конце концов, мне же эту машину еще продать надо.

Он терпеливо ждал ответа мужчины, который пристально разглядывал свой автомобиль, будто видит его в первый раз.

— Хорошо, согласен. Вы проворачиваете выгодную сделку, но у меня нет времени.

— Разумеется, я проворачиваю выгодную сделку. Иначе какой смысл вести этот бизнес? А вы как думали? Пойдемте.

Он направился к бытовке, мужчина двинулся за ним. Вилленброк предложил гостю присесть на кушетку. Достал из письменного стола формуляры и начал их заполнять, то и дело поглядывая в документы на машину.

— Кому же вы продаете такую прорву машин?

— Все в Восточную Европу уходит. Польша, Россия, Румыния, это как бездонная бочка.

— Значит, дела у вас идут хорошо?

— Лучше некуда. Если бы еще финансовая инспекция кровь не пускала, я бы, глядишь, просто помер от счастья.

— Почему бы в таком случае вам не заплатить мне за машину настоящую цену?

Вилленброк прекратил писать и оторвал глаза от бумаг. Потом рассмеялся.

— Вам квитанция, счет нужны? Если нет, я могу еще три сотни накинуть.

— Не нужны мне никакие бумаги. На что они мне?

Вилленброк достал из внутреннего кармана пиджака пачку купюр и медленно отлистнул на стол оговоренную сумму, добавив к ней еще три сотни.

— Я не только старую машину у вас забираю, я избавляю вас от проблемы. Смотрите на это дело так.

Он придвинул ему две бумаги на подпись, проштемпелевал все, что нужно, положил документы на машину вместе с ключами в конверт, а конверт — в ящик стола. Встал, протянул мужчине на кушетке отсчитанные деньги и проштемпелеванные бумаги. Тот бросил на деньги и бумаги пренебрежительный взгляд и ни слова не говоря сунул в карман.

— А что здесь раньше было? Не могу припомнить, но я же точно знаю, что раньше здесь было что-то другое.

— Садоводство, — подсказал Вилленброк. Снова усаживаясь на стул, он сквозь заляпанное оконное стекло глянул во двор. — Прежнему хозяину аренда оказалась не по карману, вот он и перебрался на окраину. Оно и разумней. Все эти цветы, горшки и капустная рассада в центре города ни к чему. Во всяком случае, за городом климат для зелени куда полезней.

— Выходит, подержанными машинами выгодней торговать, чем цветами?

— Конечно. Это лучшая моя идея за последние десять лет. Только жена недовольна. Для нее все торговцы автомобилями хапуги и жулики. Даже заходить сюда — и то побрезговала. А я бы с радостью ее к себе нанял, посадил бы на бухгалтерию и налоги, для такого дела, если вы в курсе, свой человек лучше всего. Но она ни в какую, даже говорить бесполезно. Ну да ладно, сделал я ей маленький бутик, дребедень всякую

продавать для дамочек, знаете, которые в костюмчиках и жемчугах, пусть потешится. Слава богу, на ее деньгах свет клином не сошелся.

Он извлек из стола металлическую кассету и отпер ее. Достал из внутреннего кармана пачку денег, любовно провел большим пальцем по ее краю, потом сложил ее с другой, которую вынул из кассеты.

— Могу я узнать, чем вы занимались раньше, до того как автомобилями начали торговать?

— Инженер я. Двадцать лет инженером оттрубил на заводе вычислительной техники, в "Триумфаторе". После перелома на что мы только не пускались, лишь бы выкрутиться, но шансов никаких — связей нет, отношений налаженных нет. Ну и, конечно, финансового обеспечения такого нету. Напоследок фирма три месяца неплатежеспособной была. Мне до сих пор кто-то мое жалованье за три месяца должен, только привлечь за это я почему-то никого не могу. Потом три квартала я вообще без работы мыкался, все пытался где-нибудь по специальности устроиться. Куда там! Вы даже представить себе не можете, сколько инженеров эта социалистическая республика наплодила. И все было мало, а теперь вдруг оказалось, что почти все они лишние. В службе занятости я половину своего инженерного института встретил. Не сказать чтобы это была радостная встреча выпускников, вы уж поверьте.

Он небрежно помахал банкнотами в воздухе. Потом сложил их обратно в кассету, перебрал пальцем другие сложенные там бумаги и захлопнул металлическую крышку. После чего запер кассету и снова убрал ее в ящик стола.

— Не слишком все это было приятно, зато поучительно. В конце концов я допер, что к чему, и нырнул с головой в бизнес. Шурин, спасибо ему, надоумил. Это он мне предложил подержанными автомобилями заняться. Сам-то он из деревушки под Бременом, у него там фирма по строительству колодцев. Начинал вообще вдвоем, а теперь у него уже пятнадцать человек. Говорю вам, малый просто гений, у него абсолютный нюх на такие дела. Чутье безотказное. Этот нигде не пропадет, он всегда и всюду выкрутится. Когда у нас тут государство приказало долго жить, он сразу свой шанс учуял. Колодцы свои на двоих подмастерьев кинул, а сам открыл на востоке то ли четыре, то ли пять авторынков подержанных машин. Три года он тут пенки снимал, потом все это бросил, а свою прежнюю фирму расширил. И меня чуть ли не силой заставил открыть свое дело. Машины, которые он не мог продать, мне перешли, с них я и начал. Он и сегодня еще делает вид, будто меня тогда облагодетельствовал, но теперь-то я знаю, он даже на этом сумел заработать. А он по-другому просто не может. Жена моя, как вы, наверно, догадываетесь, своего братца не особенно ценит. Она все больше по духовной части, искусство и все такое, но у парня нюх безотказный. Он засунул меня в торговлю автомобилями, но он же и кредит мне обеспечил. Вы ж понимаете, никакой банк безработному инженеру гроша ломаного не даст. Ну а рядом с ним и на мою грешную головушку благодатным дождичком прыснуло.

Его ладони, которыми он только что продемонстрировал этот благодатный дождь, вдруг застыли в воздухе. Весь подавшись вперед, он глянул на мужчину ободряющим взглядом и напрямик спросил:

— Но довольно обо мне. Чем занимаетесь вы, позвольте узнать?

— Да так, малюю.

— Маляр или живописец?

— По вашей классификации живописец.

— Художник, значит. Какой почет моим убогим сводам. И что же — вы знамениты?

— Нет.

— Но жить-то на это хоть можно?

— Более или менее.

— Трудные времена, верно? Кто нынче станет картины покупать?

Он вынул из ящика договор купли-продажи и стал задумчиво его изучать.

— Вообще-то фамилия ваша мне вроде как знакома. А выставки у вас были?

— Полно, — ответил мужчина с кушетки. — И тут, и там.

— И в Берлине?

— И в Берлине.

— Я так и знал! Чувствую, фамилия знакомая. Сам-то я искусством не слишком увлекаюсь, но жена у меня на этом деле просто помешана. Она по всем выставкам бегает, по театрам и все такое, ну вы сами знаете. Готов спорить, она вас знает. Вот руку даю на отсечение, хотите верьте, хотите нет.

— Охотно вам верю, господин Вилленброк. Вы получили мою машину, я получил за нее деньги, по-моему, мне пора. Передайте вашей жене от меня привет.

— Да если я ей расскажу, кто сегодня прямо вот тут у меня сидел, она же ни за что не поверит. Сделайте одолжение, господин Бергер, я вас прошу, это сущий пустяк. Можно нас с вами тут сфотографируют? Вас это не слишком затруднит?

— Затруднит, но если уж без этого никак нельзя...

Они оба встали. Вилленброк достал из стенного шкафа фотоаппарат и жестом пригласил художника выйти вместе с ним на крыльцо бытовки. Сам он прошел первым и распахнул дверь.

— Юрек! — крикнул он через весь двор.

— Секундочку, шеф!

— Нет, иди сюда! Сейчас же!

Поляк трусцой поспешил к бытовке.

— Знаешь, кто это такой, Юрек? Это знаменитый художник Бергер. Иоханнес Бергер. Слыхал про такого?

— Нет, шеф.

— Что с тебя взять, Юрек. Бескультурье. Это очень знаменитый художник. Ты понял?

— Понял, шеф. Я могу идти? Клиенты ждут.

— Погоди. Ты нас сфотографируешь. Вот, возьми камеру и сделай нормальный снимок.

— Но у меня же все руки в масле, шеф.

— Не страшно, не страшно, снимок все равно важней. — Он повернулся к художнику. — Это секундное дело, дружище, щелк — и готово. Это же поляроид, мгновенное фото. Мы сразу увидим, получился снимок или нет. Ну что там у тебя, Юрек?

— Не знаю, шеф. Что-то не так.

— Дай сюда, я посмотрю.

Легко соскочив с крыльца, он подошел к поляку, взял у него фотоаппарат, повертел в руках.

— Так он же не заряжен! Ни одного кадра не осталось. Ты купил новую кассету?

— Вы ничего не говорили, шеф. Не было такого указания.

— Вот незадача! Вы уж извините. Это ж надо, глупость какая! Что я теперь жене скажу? Что ко мне приходил сам Иоханнес Бергер, а у меня в аппарате ни одного кадра. Катастрофа!

— Теперь я могу идти, шеф? Клиенты у меня.

— Да иди уж, иди. А вы, если окажетесь неподалеку, все-таки загляните. Хоть на секундочку. Я уж позабочусь, чтобы для такого случая у меня всегда новая кассета была.

— Что ж, тогда всего хорошего, — рассмеявшись, сказал мужчина.

— Погодите. Пожалуй, нам стоит еще раз обсудить цену. Машина у вас и правда в хорошем состоянии. По совести, мне бы следовало еще сотни две вам накинуть. Негоже мне вас надувать. С другой стороны, мне же эту машину еще продать надо. А у этих людей — какие у них деньги, сами видите, им лишь бы ухватить что подешевле. Они же тоже покупают, чтобы у себя там перепродать.

— Да нет уж, оставим все как есть. Мы сторговались, я согласился, пусть все так и будет. Всего хорошего.

— Но не забывайте: вы обязательно должны зайти. Иначе моя жена этого просто не переживет.

Художник снова рассмеялся и кивнул. После чего, пройдя через двор, скрылся за воротами. Вилленброк еще какое-то время смотрел ему вслед, потом стал наблюдать за своим подчиненным, который, показывая машину, что-то объяснял клиенту — пожилому низкорослому мужчине с оттопыренными ушами; остальные покупатели, застыв молчаливым полукругом на почтительном расстоянии, жадно ловили каждое слово Юрека. Вернувшись в контору, Вилленброк еще раз перебрал разложенные на столе бумаги. Потом взял лежащий тут же на столе шикарный иллюстрированный том — историю авиации времен Первой мировой войны, — откинулся на спинку кресла и углубился в изучение фотоснимков монопланов и бипланов и в их описание.

Примерно час спустя Юрек постучал ему в окно и нехитрыми жестами доложил о продаже трех машин. Сразу после этого он привел в бытовку пожилого лопоухого мужчину. Вилленброк предложил покупателю место на кушетке и выслушал доклад Юрека о проданной машине и оговоренной цене. Затем достал из ящика глянцевый журнал с обнаженными девицами и протянул клиенту.

— Маленький подарок от фирмы, — сказал он и посмотрел на подчиненного, дожидаясь, пока Юрек переведет его слова. Потом принялся заполнять бумаги, Юрек и тут должен был переводить. Покупатель тем временем смущенно перелистывал журнал. Когда Юрек предложил ему расплатиться, он извлек пачку денег из холщового мешочка, который носил на груди под рубашкой, и долго, прижимисто отсчитывал банкноты, прежде чем положить их перед Вилленброком на стол.

— Ты все ключи ему отдал? — спросил Вилленброк.

Поляк кивнул.

— Тогда отдай ему документы и скажи что-нибудь хорошее на прощанье.

С этими словами Вилленброк одарил лопоухого сияющей улыбкой и запер кассету с деньгами.

— Я и машину вашего приятеля, ну, художника этого знаменитого, тоже продал, — сообщил Юрек, когда покупатель вышел из бытовки.

— Почем?

— Четыре, шеф. Это же хорошая цена, верно? Даже очень хорошая.

— Не знаю, Юрек. Вообще-то она дороже стоит. Если бы на тыщонку побольше...

— Так что, не продавать? Я тогда скажу клиенту.

— Продавать, Юрек, конечно продавать! Прочь со двора — и дело с концом, это тоже неплохие деньги. Зови его сюда.

После обеда Вилленброк сообщил Юреку, что должен часа на два отлучиться. Сперва он поехал в банк положить на счет выручку и оформить кое-какие платежи, после чего, снова усевшись в машину и повернув к себе зеркало заднего вида, стал придирчиво изучать в нем свою физиономию. Достал из перчаточного отделения электробритву, побрился, то и дело поглядывая в зеркало и пальцами оттягивая кожу на лице. Сунул бритву обратно, вместо нее извлек флакончик туалетной воды и побрызгался. А еще через двадцать минут уже припарковывался перед парикмахерским салоном в районе Лертского товарного вокзала. Он вошел и остановился в дверях. Салон был дамский, парикмахерши и клиентки воззрились на него с удивлением. Толстуха кассирша, крашеная блондинка с пышной копной, которую она считала прической, поинтересовалась, что ему угодно. Он ответил, что хотел бы видеть госпожу Лор.

— Педикюр в соседнем салоне, вон там, — ответила толстуха, указывая на дверь, — но если вам записаться, то можно и у меня.

— Я должен сам с ней поговорить, — бросил Вилленброк.

Он по-хозяйски стукнул в дверь соседней комнаты и вошел. Помещение за дверью оказалось разгорожено на отсеки свисавшими с потолочных штанг белыми простынями, так что получились три крохотные кабинки и еще что-то вроде приемной. В комнате стояла тишина и никого не было видно, но Вилленброк чувствовал — кто-то тут есть. Женский голос спросил, кто там. Вилленброк вместо ответа откашлялся.

— Да кто там? — спросила женщина снова, а потом добавила: — Подождите, пожалуйста, я сейчас заканчиваю.

Вилленброк уселся на один из пластиковых стульев. Из-за простыней до него доносились тихие женские голоса и равномерное металлическое позвякивание инструментов, напомнившее ему стук капель из подтекающего крана. Ему было неловко. Он чувствовал себя явно лишним в дамском салоне и почему-то испытал непреодолимое желание начать громко насвистывать. На его свист одно из полотнищ тут же отдернулось, из-за него появилась пожилая женщина в черном, которая молча на него уставилась. Вслед за ней вышла молоденькая девушка в белом халате. При виде Вилленброка она покраснела до корней волос.

— Ах, это вы, — пробормотала она, — я сейчас...

Подойдя к пульту, она заполнила счет для кассы и протянула его клиентке.

— Увидимся через месяц, — сказала девушка.

— Через месяц, — эхом отозвалась женщина в черном и кивнула. Потом вышла.

Теперь молоденькая девушка стояла прямо перед Вилленброком, который все еще сидел на стуле и смотрел на нее. Он смотрел ей в глаза,

потом взгляд его скользнул по коротенькому халатику и замер на ее ногах.

— Даже не знаю, чего вы от меня ждете? — кокетливо заметила девушка. Она уперла руки в боки и слегка притоптывала правой ногой, словно ей трудно совладать с распирающей ее энергией. Мужчина в ответ только улыбнулся.

— Звоните ни с того ни с сего, потом вот так заявляетесь. Я, право, не понимаю, что все это значит.

— Я продал вам машину и теперь хочу удостовериться, довольны ли вы приобретением. Это входит в сферу моих услуг. Могу я пригласить вас на чашечку кофе?

Девушка рассмеялась и весело встряхнула головой. Потом отодвинула занавеску своей кабинки и зашла туда. Она расстегнула халатик и взяла платье, что висело тут же на плечиках. Но прежде чем переодеться, задернула белую простыню. Выйдя, она подошла к небольшому зеркалу, подкрасила губы и стала причесываться. Когда она провела гребнем по волосам, их взгляды встретились в зеркале.

— Лучше вы идите первый. И ждите меня возле часового магазина, — сказала девушка, продолжая неторопливо расчесывать волосы. При этих словах Вилленброк почувствовал, как тревожное напряжение внутри мгновенно ослабло. Он перевел дух и вышел на улицу.

Когда девушка вышла из салона, Вилленброк ждал ее, прислонясь к своей машине. Он энергично распрямился и распахнул перед ней дверцу. Девушка, однако, намеревалась ехать в своей машине, но он пообещал, что после кофе обязательно привезет ее обратно. Они поехали к отелю на площади Жандарменмаркт. Он подкатил прямо к подъезду, вместе с купюрой вручил услужливому портье ключи и попросил припарковать машину. Несколько озадаченный портье поинтересовался, является ли Вилленброк постояльцем отеля, на что тот только небрежно кивнул. В гостиничном холле имелся бар, Вилленброк провел девушку прямо туда и сразу заказал два кофе и два бокала шампанского. По пути она успела прощебетать, она, мол, всегда знала, что он ей еще позвонит, на что Вилленброк ответил: дескать, и он знал, что она об этом знает.

Расплатившись, он прошел с ней к стойке портье и попросил ключи от машины и от заказанного номера. Когда они уже выходили из лифта на третьем этаже, она заметила, что в семь ей надо быть дома, иначе у нее будут неприятности, на что он ее заверил: меньше всего он хочет ей неприятностей, скорее совсем наоборот.

В номере она осмотрелась и позвала Вилленброка, чтобы показать ему ванную комнату. Он уже держал в руках бутылку вина, откупорил ее и наполнил два бокала. Девушка уселась в кресло напротив и смотрела на него с задорной усмешкой.

— Ну? — спросила она. — И что теперь?

— Выпьем вина, Рита. За твое здоровье и за то, что мы снова встретились.

— Я больше пить не буду. От меня не должно пахнуть, когда я домой приду.

Вилленброк отпил глоток из своего бокала, потом встал, обошел кресло девушки и обнял ее за плечи. Его руки медленно поползли к ее груди.

— Перестань, — сказала она. — На этом платье видно малейшее пятнышко.

Она встала, одним спортивным движением скинула с себя платье и теперь стояла перед ним в одних трусиках.

— Что с тобой? Ждешь особого приглашения?

Он хотел притянуть ее к себе и поцеловать, но она отстранилась.

— Разденься сперва, — распорядилась она, стянула с себя трусики и забралась в постель. Укрывшись простыней до подбородка, она наблюдала, как он раздевается.

— Я сразу знала, — сказала она. — Как только тебя увидела, сразу поняла, что ты на меня запал.

— А ты на меня?

— После скажу. Я всегда это только потом знаю.

Два часа спустя он подвез ее к парикмахерскому салону, где была припаркована ее машина. Когда они прощались, девушка спросила, увидятся ли они снова.

— С удовольствием, — ответил Вилленброк. — Всегда пожалуйста. Позвони мне. У тебя же есть мой телефон.

— По-моему, будет лучше, если ты мне позвонишь. — И, перехватив его удивленный взгляд, добавила: — Просто мне так больше нравится.

Незадолго до закрытия Вилленброк снова был на рабочем месте. Он выслушал отчет Юрека о том, что происходило за время его отсутствия, просмотрел заполненные формуляры. Юрек показал ему машину, которую он принял и владелец которой придет завтра, чтобы заключить с ним договор. Потом он вручил Вилленброку два листочка, на каждом фамилия и номер телефона. И сообщил, что сюда к ним на двор заходила женщина, его спрашивала, очень красивая, оставила ему вот эту записочку. А потом еще мужчина какой-то звонил, просил перезвонить. Вилленброк глянул на первый листок и даже присвистнул от удовольствия. Потом взял вторую записку и громко прочел на ней фамилию Бернер. Немного подумал, потом усмехнулся.

— Товарищ по работе, — пояснил он. — Бывший.

Юрек кивнул, хотя человека этого явно не знал и вообще о прежней жизни шефа был осведомлен скудно.

— Ну, тогда до завтра, — сказал он, прощаясь.

Вилленброк еще полчаса занимался бумагами, потом долго звонил по телефону. Положил ключи от машины и документы в черный "дипломат". И, прежде чем выйти из бытовки, включил на ночь сигнализацию.

2

Вилленброк жил в коттеджном поселке на северной окраине города, в одном из домов, что в последние два года выросли сразу за городской чертой, двенадцать совершенно одинаковых трехэтажных строений, окруженных садиками и живой изгородью, которая пока что была жиденькая и не больше метра высотой, но со временем обещала отделить коттеджи друг от друга непроглядной вечнозеленой стеной. Подъездная дорога к небольшому этому поселению все еще не была заасфальтирована, поэтому Вилленброк ехал медленно, стараясь не продавить колесами глинистый песок. За шеренгой молоденького, но уже смыкавшего свои хилые лапы хвойника, посаженного вокруг новоявленного поселка, тянулась от ворот к воротам змеистая асфальтовая лента, на которой

глинистым рубчиком запечатлелись следы автомобильных протекторов. Вилленброк подрулил к гаражу, с удовольствием понаблюдал за медленным подъемом автоматических ворот. Прямо из гаража через цокольный этаж прошел в дом. Поставил "дипломат", заглянул в гостиную, где перед работающим телевизором уже был накрыт стол, после чего двинулся на кухню, на шум каких-то хозяйственных приготовлений. Жена поздоровалась с ним, не отрываясь от плиты. Он присел на один из кухонных стульев и молча глядел на нее — изучал ее спину, бедра, ноги. "Бог ты мой, — думал он, — на кой черт мне все это сдалось, самая классная баба у меня дома сидит, а я ни одной юбки не пропускаю. Но тут уж ничего не попишешь, себя не переделаешь, это гены, против них разве попрешь?" Он подошел к жене сзади и сразу полез ей под платье; губами нежно скользя по ее волосам и шее, он уже поглаживал рукой ее ягодицы, норовя протиснуться между ног.

— Ты никогда не научишься соблазнять женщину, — произнесла она равнодушным тоном, даже не подумав отстраниться. — Иди мыть руки и садись есть.

Он попытался ее поцеловать, но она уже сняла с плиты кастрюлю и держала ее прямо перед собой, вынудив его к отступлению.

За обедом они говорили о ее работе. Жена рассказывала, что все-таки подумывает свой бутик закрыть, все равно оборота почти никакого, но Вилленброк уговаривал ее не вешать носа, во всяком деле бывает своя полоса неудач, это нормально и потом проходит. Однако жена не соглашалась, говорила, что ей неприятно жить у него на содержании. Она хочет стоять на своих ногах, ей ненавистна мысль, что она от кого-то зависит.

— Это унизительно, — говорила она, — что в мои годы я не в состоянии сама себя обеспечить.

— Да пойми, Сюзанна, ты узнаешь что-то новое, в этом же и есть вся прелесть жизни, — возражал Вилленброк, покровительственно потрепав ее по руке. Она не отдернула руку, но посмотрела на него столь пристально, что он осекся: — Да что с тобой?

— А ты упиваешься, правда ведь, — вдруг сказала она, — упиваешься этой моей зависимостью? Тебе нравится, что я то и дело вынуждена клянчить у тебя деньги.

— Не говори глупостей, — смутился он. Он положил на тарелку помидор, аккуратно разрезал и вдумчиво посолил. — Хочешь? — спросил он, предлагая и ей тоже угоститься помидором.

Она не ответила, но по-прежнему не сводила с него глаз.

— Может быть, — сказал он наконец, поскольку молчание становилось тягостным. — Возможно, ты и права. Нельзя сказать, чтобы мне это было неприятно. Раньше я думал, это просто оттого, что деньги для меня ничего не значат или, скажем так, значат немного. Но тут, наверное, и что-то другое, что-то, что я еще не до конца себе уяснил, не знаю толком. Мне просто нравится, что я могу тебе помочь. Что в этом плохого? В прежние времена мужчины сражались за своих женщин, умирали ради них, кончали из-за них с собой. А я только даю тебе деньги, разве это много?

— Как я от этого устала, — проговорила она, — и как я это ненавижу.

Вилленброк только смиренно кивнул и больше возражать не решился. Он думал о своем деде, который, когда жена на него гневалась, тихо медитировал про себя: "Мужику — тому ничего не надо, а вот бабы — те

вечно недовольны, что ты ей ни дари, хоть всю золотом осыпь и соболями, она наутро уже опять зудеть будет".

После обеда они пошли прогуляться по новому, только что выложенному брусчаткой тротуару вдоль всего поселка до ближайшей рощицы. По дороге Вилленброк поведал жене о визите художника, но поскольку фамилию его он уже запамятовал, они так и не смогли выяснить, слышала Сюзанна про него или нет. Она, впрочем, не преминула спросить, дал ли он художнику приличную цену за его машину или опять выторговал ни за грош, на что Вилленброк со смешком заметил: мол, у нее совершенно превратные представления о торговле подержанными автомобилями, пусть она за его клиентов не переживает, ведь никто их не неволит, хотят — продают, хотят — нет, это уж им решать. И, обняв ее за плечи, спросил, как дела у ее матери, с которой она сегодня говорила по телефону. Но ответа почти не слушал, только то и дело кивал, изображая сочувственное внимание. Возле освещенной витрины кафе, с которого начиналась маленькая торговая улочка (продукты, детские игрушки, химчистка, детская одежда, газетный киоск), связавшая новый поселок с окраинными панельными многоэтажками, они остановились. Один из столиков облюбовала молодая парочка, остальные были свободны. За стойкой, навалившись на нее локтями, буфетчица читала газету. Вид у пустынного кафе был донельзя унылый, тем не менее Вилленброк предложил жене зайти.

— Только на стаканчик, — попросил он.

Когда они сели, женщина вышла из-за стойки и положила перед ними на стол две пухлые карты меню. Она порекомендовала взять свежий судак, их дежурное блюдо, но Вилленброк сказал, что они уже пообедали, и заказал бокал вина и кружку пива. Женщина кивнула и меланхолично забрала у них меню.

Между тем пара за соседним столиком беседовала довольно громко. Парень уговаривал девушку слетать с ним на четыре дня в Гонконг, но та не хотела пропускать столько тренировок. Он порывался объяснить, почему в Гонконг надо лететь именно и непременно сейчас: мол, самый хороший год, пока колониальная жемчужина не отошла обратно к Китаю.

— К Китаю? — в ужасе переспросила девушка. — То есть как к Китаю? Они что там, китайцы, что ли, в Гонконге этом?

Вопрос, похоже, застал молодого человека врасплох.

— Ну, в общем, да. Скорей всего. По крайней мере, многие.

— Китайцы меня и подавно не интересуют, — заявила девушка, брезгливо наморщив хорошенький носик. — К китайцам твоим с кем-нибудь еще поезжай. Только не со мной.

Молодой человек, однако, не сдавался и продолжал ее уламывать. Он даже предлагал оплатить ей все путешествие из своего кармана, но девушка была непреклонна и лететь в Гонконг не желала ни в какую.

— Что тебе этот Гонконг дался? Ни один нормальный человек туда не поедет.

— Херберт говорит, это совершенно потрясный город. Говорит, даже лучше Нью-Йорка.

— Нашел кого слушать! Ведь это Херберт тогда тебя в Данию спровадил, на хутор какой-то? Это же был полный облом, ты сам говорил, разве нет? По крайней мере, из нашего спортцентра никто в Гонконг не едет. У всех кое-что получше на примете.

— Но ты пойми, Гонконг — это же в последний раз! Через год этого города уже не будет, там одни китайцы останутся.

— Поезжай с толстухой Памелой, — отрезала девушка и тут же сама затряслась от смеха над своим остроумным предложением.

Потом они стали говорить об их оздоровительном центре, где они каждый будний день по многу часов тренируются. Теперь молодой человек уговаривал девушку из этого центра уйти, а записаться в другой, куда ходит он, они смогли бы тогда воспользоваться дешевым парным абонементом и чаще видеться, на что она только посмеивалась, утверждая, что он просто ревнует, а все из-за того, что владелец центра уже два раза подвозил ее домой.

— Да ты вообще меня не слушаешь, — возмутилась жена Вилленброка, схватив его за руку.

Он посмотрел на нее, потом кивнул и сказал:

— Это правда. Я весь вечер только о том и думаю, как мы с тобой в постель ляжем.

— И до сих пор не научился такие вещи устраивать. По тебе, лучше всего, если бы на каждой бабе просто такой выключатель был, щелк — и она уже готовенькая.

— Ну, вроде того. Так было бы гораздо легче.

Вилленброк окликнул женщину за стойкой, которая с прежним азартом разгадывала кроссворд, и расплатился. Выходя из кафе, он не постеснялся глянуть на парочку почти в упор. Девушка оказалась хорошенькой и очень стройной. У нее были голубые глаза и золотисто-медовые волосы; кокетливая лесенка стрижки выгодно оттеняла загорелую шейку. Коротенькая черная кружевная блузка, небрежно прикрыв грудь, смело выставляла напоказ упругий девичий живот и тонкую талию. У молодого человека был почти классический профиль и белокурые, аккуратно подстриженные волосы. Модная, в обтяжку, футболка подчеркивала мощный разлет плеч и накачанные бицепсы. Перехватив взгляд Вилленброка, он на миг поднял глаза, смерил ленивым взором всю его фигуру и пренебрежительно скривил губы.

Дома Вилленброк сразу же потащил вяло отбивающуюся Сюзанну прямо в постель. Пока оба раздевались, он спрашивал себя, почему, всего лишь несколько часов назад побывав в объятиях Риты, он опять так завелся. И так всегда — стоило ему переспать с другой женщиной, как сразу же после этого, едва он оказывался подле жены, на него накатывало жгучее, неодолимое желание. Сейчас, раздеваясь и украдкой изучая свое тело в поисках нежелательных следов недавнего блуда, он пришел к выводу, что по натуре он, наверное, все-таки однолюб, вот почему после физической близости с другой женщиной ему как одержимому надо немедленно восстановить контакт с собственной женой. "В главном я ей верен, — размышлял он, — все эти мелкие грешки не значат ровным счетом ничего, скорее напротив, они снова и снова доказывают, до какой степени я на ней помешан, раз уж я, едва покинув постель другой женщины, испытываю столь нежное и пылкое вожделение к ней, хочу ласкать ее, лежать с ней рядом, страстно овладевать ею".

Вилленброк, и сам изумившись столь неожиданным и проницательным поворотам собственной мысли, остался глубоко доволен собой, тем паче что не обнаружил на теле ни подозрительных царапин, ни предательских синяков. Разоблачившись догола, он улегся на кровать и теперь наблюдал, как его жена, как всегда смущаясь, когда ей приходилось

раздеваться у него на глазах, торопливо сбрасывает с себя бельишко и ныряет под одеяло. Нежно погладив ее по волосам, он скользнул рукой вдоль всего ее тела, устремляясь к бедрам.

— Погоди, — шепнула она. — Мне холодно. Согрей меня сперва.

Час спустя, оба в кимоно, они мыли на кухне посуду. Сюзанна спросила его о художнике, у которого он утром купил машину, и Вилленброк пересказал ей некоторые подробности разговора. И тут внезапно вспомнил о записках, которые дал ему Юрек. Взглянув на часы, он сказал, что ему надо еще позвонить бывшему сотруднику. Он вернулся в спальню, поднял с пола брошенный пиджак, выудил из кармана записку и пошел с ней к телефону в прихожую.

— Это Вилленброк, — представился он, заслышав на другом конце провода женский голос, — извините за столь позднее беспокойство. Ваш муж просил меня ему позвонить.

Женщина переспросила его фамилию, после чего предложила немного подождать. Когда трубку взял Бернер, Вилленброк снова извинился за поздний звонок. Но Бернер сказал, что очень рад поговорить с Вилленброком после стольких-то лет, после чего оба стали рассказывать друг другу, что с кем стряслось со времени банкротства их фирмы, где оба они трудились в исследовательском отделе, и кто чем, по выражению Вилленброка, зарабатывал себе на хлеб с маслом. Надо бы вообще-то встретиться, заметил Вилленброк, когда разговор стал ему наскучивать. Бернер вяло поддакнул, и они совсем уж было распростились, когда Вилленброк поинтересовался, для чего, собственно, Бернер его разыскивал. Тот аж взвыл, спохватившись, что за болтовней чуть не упустил самое главное. И спросил, помнит ли Вилленброк некоего доктора Фойербаха. Вилленброк подтвердил — да, помнит, и поинтересовался, чем сейчас этот их бывший сотрудник занимается, подыскал ли он себе новую работу.

— Не знаю, — ответил Бернер, — знаю только, что видеть его больше не хочу. — И умолк, явно ожидая от Вилленброка новых расспросов, однако тот и так уже сожалел, что затеял весь этот разговор и вообще позвонил. Пошел на поводу у дурацких сантиментов. Забытая фамилия пробудила в нем воспоминания, и вот ему уже позарез надо побеседовать с бывшим сотрудником, с которым его тогда, в сущности, ничто не связывало, с которым он за все время их совместной работы разве что иногда парой слов перебрасывался. Этот Бернер в ту пору нисколько его, Вилленброка, не интересовал, да и сегодня ему совершенно безразличен, так что теперь он уже и сам удивлялся, с какой стати решил ему позвонить, да еще и расспрашивать о житье-бытье.

— Видеть его больше не хочу, — повторил Бернер и снова умолк, ожидая реакции собеседника, но Вилленброк молчал и только лениво поглаживал живот. "А все-таки, — думал он, — до чего же, в сущности, приятно, давно уже не иметь со всеми этими сотрудничками ничего общего. Надо бы доставлять себе это удовольствие регулярно, да, раз в несколько лет надо сжигать мосты, оставляя прошлое позади и все начиная сначала. Как прекрасно знакомиться с новыми людьми, общаться с ними, познавать их жизнь и их взгляды на жизнь, осваивая целую вселенную, которую всякий раз являет нам мир других людей. Но почти так же прекрасно, а иногда, пожалуй, даже еще более приятственно старые отношения рвать, когда понимаешь, что эта человеческая вселенная уже никаких новых открытий тебе не сулит. А рано или поздно этот момент

наступает со всяким — что с друзьями, что с женщинами. Вот сейчас надо просто положить трубку, ни слова не говоря, положить, и все", — думал Вилленброк.

— Он на всех нас доносы писал, — произнес Бернер именно в эту секунду.

"Эх, опоздал я, — мелькнуло у Вилленброка, — опять он что-то нудит".

— Ты понял меня? — спрашивал Бернер.

— Кто? — переспросил Вилленброк.

— Да доктор Фойербах, разлюбезный наш товарищ. Чего только он про нас руководству не писал! Мы, когда секретариат дирекции разбирали, целую папку с его рапортами нашли, вот такой скоросшиватель. Это ему мы с тобой обязаны, что нас тогда в Англию не пустили. Лет двенадцать-тринадцать назад, помнишь, нас с тобой на станкостроительный завод в Лидс собирались послать. Надо было экспертный отзыв получить на проект автоматической линии. Вопрос был решенный, сколько помню, на нас и выездная виза уже пришла. И вдруг ни с того ни с сего, даже не объяснив нам причин, командировку сочли нецелесообразной. Ты что, правда не помнишь?

— Ну конечно помню, — отозвался Вилленброк тоскливым голосом.

— Так это все Фойербах, скотина! Стучал на нас беспрерывно. Записывал все, что мы в столовке рассказывали, все наши прибаутки и анекдоты, все дурацкие хохмы и насмешки над властью, которыми мы тогда развлекались. И про твою поездку в Прагу написал, про то, как ты тайком с сестрой и ее мужем там встречался. А у меня другой был грех, романчик на стороне, о котором я ему сдуру сболтнул. Вот так мы и оказались вдруг неблагонадежными, политически невыдержанными. Я все, все нашел в той папке, я ее, кстати, с собой прихватил. Так что, если тебя интересует, можешь как-нибудь прийти полюбоваться на эту мерзость.

Вилленброк вдруг начал хихикать, Бернер осекся и сердито спросил, что тут смешного.

— Да нет, понимаешь, я как раз что-то вроде этого себе и представлял, вот и все, — ответил он. А себе самому в это время говорил вот что: "Нет, враки, это совсем не все, но с какой стати, дорогуша, с какой стати стану я тебе рассказывать, что хотя мне именно что-то в этом роде и представлялось, что хотя я, конечно же, подозревал, что кто-то на меня стучит, но думал-то я вовсе не на этого Фойербаха, Фойербах это действительно сюрприз, а на самом деле думал-то я на тебя, Бернер, именно тебя я подозревал, и не спрашивай почему, просто ты был мне противен, вот и вся причина, я тебя на дух не переносил, ты всегда казался мне подхалимом, понимаешь, да ты и остался подхалимом, поэтому я тебя и подозревал, поэтому я тебя и сторонился. Выходит, ошибался я. Вероятно, это действительно Фойербах, который всегда был мне скорее симпатичен, по крайней мере, он хоть в своем деле кумекал и поболтать с ним было куда приятней, чем с подхалимом вроде тебя, ну да ладно, предположим, я ошибался, но из этого еще вовсе не следует, что теперь буду болтать именно с тобой".

— И это все? Это для тебя все? — спросил Бернер, поскольку Вилленброк надолго умолк.

Вилленброк, все еще в плену своих мыслей, только безмолвно кивал, так что его собеседник растерянно повторил:

— И это для тебя все? Это все, что ты можешь по этому поводу сказать?

— Не знаю. А ты как себе это представлял? Что, нам вдвоем подстеречь его где-нибудь в темном переулке и измутузить? Тебе от этого полегчает?

Было слышно, как Бернер дышит в трубку. Потом он сказал:

— Значит, тебя это не интересует, я правильно понял? Для тебя все это не имеет значения?

— Да нет, я бы так не сказал. Но это ведь так давно все было. А кроме того, я же знаю, что сейчас этот доктор Фойербах никак мне навредить не может. Я сам себе хозяин, начальства, которому можно было бы на меня настучать, у меня теперь нет. Вот почему эта старая подленькая история меня больше не колышет. Нисколько не колышет. Понимаешь?

— Не думаю. Не думаю, что я тебя понимаю. На мой взгляд, это весьма своеобразная реакция, Бернд.

— Ну что ж, значит, так тому и быть. А какой реакции ты от меня ожидал? Я тебе благодарен за то, что ты мне на этого Фойербаха открыл глаза, но что, по-твоему, я теперь должен делать? Ну хорошо, он писал на нас обоих доносы, может, и еще на пару-тройку людей, дальше что? Мы же об этом знали! Мы же знали, что он пишет на нас рапорты, характеристики, хоть мы их тогда и не видели. Чего ты хочешь? Заявить на него?

— Нет, этого я не хочу.

— Хорошо. Тогда скажи, чего ты хочешь? Что, по-твоему, я должен сделать?

— Не знаю. Не в этом дело. Я просто хотел, чтобы ты знал. Хотел, чтобы ты насчет Фойербаха был в курсе. Ну, и предполагал, что тебя это как-то заинтересует. Мне очень жаль, если я зря тебя потревожил. Понапрасну отнял у тебя время.

— Да чего ты злишься-то? Что у тебя не так?

— У меня все так. Просто я думал, что делаю тебе одолжение. Оказалось, я ошибся, мне очень жаль. И давай закончим на этом разговор. Согласен?

— Согласен, — сказал Вилленброк. Молча, с трубкой в руке, он ждал, пока Бернер даст отбой. Потом прямо в трубку умолкшего аппарата зачем-то рявкнул: "Вот жопа!" и поставил телефон обратно на тумбочку.

Он отправился в свой кабинет и положил записку с телефоном Бернера в изящную деревянную шкатулку, стоявшую на письменном столе. Погасил свет, но тут же снова включил, открыл шкатулку, вынул записку, скомкал ее и швырнул в корзину для бумаг. С противоположной стены на него смотрело старое, уже слегка пожелтевшее фото: запечатленный на фоне планера молодой человек, еще почти мальчишка, гордо улыбался в камеру. Ободряюще подмигнув молодому человеку, Вилленброк вышел из кабинета.

— Господи, с кем же это ты так долго говорил? На тебя это совсем не похоже. Случилось что-нибудь?

— Да нет. В сущности, ничего. Товарищ по прежней моей работе. Рассказывал, чем он сейчас занимается, я рассказал ему о своих делах. Вот, собственно, и все. Я-то боялся, что он мне звонит, потому что узнал, что у меня теперь своя фирма, и работу начнет клянчить, но, слава богу, до этого не дошло. Так, сентиментальный треп двух бывших сотрудников. Ничего особенного.

— Вспоминали старые времена?

— Ну да, старые добрые времена.

— Вы хоть встретиться договорились? Если хочешь, пригласи его к нам. Я же никого из твоих бывших сотрудников не знаю, да и из друзей тоже никого. Ты почему-то всегда их от меня скрывал. Пригласи его к нам. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое.

— Да этот Бернер никакой мне не друг. И вообще подхалим. Тебе с ним будет скучно, а уж мне и подавно.

И он дернул пояс ее кимоно. Бант развязался, черные, украшенные японскими иероглифами полы халата распахнулись, обнажив узкую полоску ее тела.

— О, — прошептал он, — смотрите-ка, что у нас тут припрятано!

Рука его скользнула вниз по ее животу, другой рукой он обнял ее за плечи и повел обратно в спальню.

3

А на следующей неделе у Вилленброка за одну ночь угнали со двора сразу семь машин, и никаких сколько-нибудь серьезных следов полиция не обнаружила. К тому же Вилленброку показалось, что двое полицейских, которые, прибыв по его звонку, привычно и деловито обошли весь двор, а потом задали ему полагающиеся вопросы, даже не слишком заинтересованы в раскрытии преступления. Он попытался было укорить их в небрежном ведении следствия, в ответ на что был весьма строго поставлен на место. Поскольку речь идет о краже со взломом, не повлекшей ущерба для чьей-либо жизни или здоровья, расследование будет проведено надлежащим образом и с применением адекватных сил и средств вплоть до раскрытия преступления либо, если таковое не будет достигнуто, до прекращения следствия, но в любом случае, несмотря на вполне понятное возмущение потерпевшего, без какой-либо чрезвычайщины, с соблюдением разумных пропорций серьезности преступления и затрачиваемых на него усилий. Преступления такого рода, к сожалению, случаются довольно часто, и нельзя допустить, чтобы они стягивали на себя все силы уголовной полиции в ущерб выполнению ею более важных задач. Выходит, поинтересовался Вилленброк, если бы эти бандиты его либо Юрека укокошили или покалечили, полиция искала бы преступников активнее? На что один из полицейских, тот, что был помоложе и представился старшим лейтенантом, только на секунду оторвав глаза от блокнота и явно игнорируя враждебный тон вопроса, заметил, что и в этом случае меры, безусловно, были бы приняты адекватные.

При составлении протокола, для чего оба полицейских прибегли к помощи небольшого компьютера, ему и Юреку были заданы некоторые вопросы, показавшиеся Вилленброку оскорбительными. Он с раздражением осведомился, уж не подозревают ли его в краже собственных машин, на что все тот же молоденький полицейский невозмутимым и совершенно бесцветным голосом ответил, что расследование не исключает никаких версий и будет вестись по всем направлениям, но скоропалительных обвинений они не допустят. Вслед за чем полицейские попросили выдать им документы на все украденные автомобили и уведомили, что через несколько дней ему позвонят и назначат встречу. Затем, не прощаясь, сели в полицейскую машину и укатили.

Провожая их глазами, Вилленброк почему-то испытал совершенно необъяснимое чувство вины. Эти двое сумели внушить ему, что именно он и есть главный подозреваемый, чуть ли не обвиняемый и вообще уже человек не свободный, а только до поры до времени на свободе оставленный. Просьба старшего из офицеров в ближайшие недели оставаться в пределах досягаемости теперь, задним числом приобрела для Вилленброка оттенок требования, если не приказа, никуда из города не отлучаться. Он чувствовал, как нарастает в нем раздражение, и чувство это отнюдь не уменьшилось, когда он понял, что злится на самого себя. Все еще кипя от ярости, он велел Юреку вместе с ним обойти все оставшиеся на дворе машины, осмотреть их на предмет следов взлома и вдруг почти угрожающим тоном поинтересовался у помощника, почему это сегодня с утра перед открытием у ворот стояло только двое клиентов, а не целая куча, как всегда.

Юрек склонил голову набок, слегка прищурил глаза и насмешливо осклабился.

— Что такое, шеф? В чем дело?

— У меня семь машин угнали! За одну ночь семь машин пропадают со двора, как корова языком слизнула!

— И вы полагаете, что в этом замешан Юрек?

— Нет, я так не думаю. Но полиция подозревает нас — меня и тебя. Полиция настроена недоверчиво. Они нам обоим не доверяют.

— Полиция — это идиоты. Немецкая полиция, польская полиция — всегда идиоты.

— Наверно, ты прав, Юрек.

— Что говорит полиция — мне плевать. Но что говорите мне вы, шеф? Что с Юреком не так? У Юрека руки чистые, вы мне верите или нет? Или нам сразу сказать друг другу "до свиданья" раз и навсегда? Может, так будет лучше, шеф?

И он, словно в доказательство, выставил перед собой и чуть ли не сунул Вилленброку в лицо свои перепачканные смазкой ладони.

— Да что ты несешь, Юрек? Я только сказал тебе, что думает полиция. А они думают, что машины украдены не взаправду, что мы в сговоре с бандой и хотим надуть страховую компанию.

Поляк все еще не сводил с него вопрошающего взгляда, голова по-прежнему склонена чуть набок, ладони выставлены напоказ, и молчал.

— Все в порядке, Юрек. Согласен? Я тебя не подозреваю. Теперь ты доволен?

Поляк медленно опустил руки и перевел дух. Потом почти незаметно покачал головой и тихо пробормотал:

— Не нравится мне это, шеф. Нет, совсем не нравится.

— Давай-ка лучше машины обойдем. Осмотри все замки, дверцы, резину на окнах, ну, да ты сам знаешь. Я хочу понять, трогали они другие машины или нет. Ведь как-то они в машины проникали, значит, и следы какие-то должны быть. Ключей-то у них не было, по крайней мере моих.

— И моих тоже, шеф.

— Я ничего такого и не говорил. Не зли меня понапрасну, Юрек, видишь, я и так на взводе. Пошли.

В последующие дни ему пришлось многократно объясняться с агентом страховой компании, еще очень молоденьким инспектором с довольно длинными волосами и коротенькой ухоженной бородкой. Этот человек требовал от Вилленброка усилить меры безопасности по охра-

не выставленных во дворе машин, в противном случае компания будет вынуждена пересмотреть договор и очень сильно увеличить страховые взносы. Вилленброк зашел в компанию сам, осведомиться, во что ему этот новый договор обойдется, и с иголочки одетый представитель компании разъяснил ему новые условия, то и дело подчеркивая, что лишь предлагает ему этот вариант как возможный и меньше всего хочет что бы то ни было ему навязывать. Со своей стороны Вилленброк сообщил ему, что уже кое-что узнавал насчет мер безопасности: вооруженная охрана для его небольшой, хотя и среднего достатка фирмы обойдется слишком дорого, а нанимать какого-нибудь старика сторожа он не хочет, ибо что может один пожилой человек против семерых бандитов и кому охота потом еще и за смерть пенсионера отвечать.

— Семерых? — переспросил инспектор. — Откуда вы знаете, что их было семеро?

— Может, их было и больше, — ответил Вилленброк. — Но чтобы угнать со двора семь машин, нужно по меньшей мере семеро угонщиков.

— Ах да, верно, — сказал молодой человек и покраснел, — я как-то об этом не подумал.

— Знаю я, о чем вы подумали.

Еще несколько дней Вилленброк провел в переговорах с тремя другими страховыми компаниями, но поскольку он не видел смысла скрывать причину, по которой меняет агентство, подозревая, что страховые компании все равно обмениваются друг с другом сведениями о клиентуре, постольку и переговоры эти ничего существенного не дали. В итоге он решил смириться с расторжением договора на прежних условиях, а от новой, более дорогой страховки отказаться вовсе. Теперь он страховался от кражи сам, на пару с Юреком снимая с машин отдельные узлы и детали, хотя и прекрасно осознавал, что этот крайне трудоемкий способ — весьма ненадежная защита.

— Остается только на Бога уповать, — сказал Вилленброк, но сказал без всякой убежденности, скорее просто как заклинание, в силу которого сам он поверить не может, но пренебречь которым тоже не решается, потому как вдруг да и окажет оно свое благотворное действие, а не произнесешь, так, чего доброго, еще и накличешь беду. Сам он верующим не был, ни к какой церкви не принадлежал, однако какая-то смутная склонность к чему-то такому жила в его душе с детства, хотя, с другой стороны, ничто не подталкивало и не подвигало его эти слабые рудименты веры в себе осознать и развить. Так что для него это была скорее ни к чему не обязывающая присказка, чем выражение действительного упования на милость Господню, и все же, вкупе с бездумным и поспешным крестным знамением, она указывала на следы той, не совсем еще исчезнувшей детской веры.

Юрек поднял на него глаза. Он посмотрел на него неодобрительно, почти укоризненно, потом снова склонился над мотором машины и, ухватившись покрепче обеими руками, налег на гаечный ключ.

4

В середине ноября внезапно похолодало, еще золотистую осеннюю листву с утра прихватило морозным инеем, на крышах и верхушках деревьев забелели ошметки снега, и черные, слякотные разводы грязи поползли по пешеходным дорожкам. Словно сдунутые осенним ветром,

разом исчезли с улиц мини-юбки и легкие жакеты, уступив место толстым зимним пальто и пышным курткам-пуховикам. На следующий день снег стаял, крыши и асфальт мостовых почернели от влаги, а кроны деревьев, вдруг утратив все свое осеннее великолепие, казались теперь пожухлыми и грязными. Со многих ветвей листва вообще облетела, и они за одну ночь превратились в голые, страшноватые конечности скелетов. Снег исчез, однако толстые пальто, холод и промозглая сырость остались. Осень повернула на зиму и теперь показывала весь свой хмурый, непогожий нрав.

В своей бытовке, которая вот уже пять лет служила ему и кабинетом, и конторой, Вилленброк через каждые два часа подбрасывал новое ведерко угля и несколько поленьев в ненасытную пасть печурки, бормоча про себя тихие проклятия из-за того, что все еще не стал владельцем участка, на котором прежде размещалось садоводство, а теперь стояли его машины. Участком он пока что мог распоряжаться только на правах аренды, да и то лишь на ограниченный срок и с весьма туманным обещанием получить преимущественное право покупки в случае его продажи. И хотя он давно уже поручил своему адвокату оформить заявку на приобретение этого участка, однако, пока юридическая сторона этого вопроса все еще оставалась неулаженной, он так и работал без нормального торгового зала со служебными помещениями, без приличной конторы и автомастерской — начать строительство ему не разрешали. Годами ему приходилось вести свой бизнес во времянке, на пустыре, и чем успешнее шли его дела, тем больше росло его раздражение: другое, более оборудованное место он искать не решался, уж больно выгодной оказалась данная точка, а как пойдет торговля на другой, это еще большой вопрос, но расширять дело при столь неясном правовом статусе тоже невозможно. Он был обречен дожидаться решения чиновников из комитета по делам имущества, слушать утешительные басни своего адвоката, а большую часть прибыли тем временем отдавать финансовой инспекции, вместо того чтобы инвестировать ее в дело. Обозленный всем этим до крайности, он все оставил как есть, в нынешнем весьма неприглядном виде и до окончательного решения вопроса о владельце участка и начале строительства не находил в себе сил ни на какие, пусть даже самые ничтожные усовершенствования. Понятно, что всякий раз, когда он вспоминал об этой юридической неопределенности или когда ему напоминала о ней бивачная обстановка его конторы, настроение его не улучшалось.

Между тем на дворе каждое утро по-прежнему толпились покупатели, в большинстве своем очень просто, а для этого времени года, с учетом внезапных холодов, еще и не по сезону легко одетые мужчины, они глазели на машины и спрашивали цену. Крайне редко попадались среди них женщины, и то чаще всего в роли сопровождающих. Покупатели почти всегда появлялись ранним утром: когда приезжал Юрек и открывал ворота, они уже ждали. Зато в течение дня клиенты приходили гораздо реже и поодиночке, в основном немцы; послонявшись по площадке и задав несколько вопросов, они исчезали. Либо кто-нибудь заезжал на своей тачке, намереваясь ее продать, сперва пугался предложенной несусветно низкой цены, но потом, подумав немного, все равно соглашался: или деньги позарез нужны, или невтерпеж поскорее избавиться от старой машины.

Вилленброк поначалу удивлялся, почему это главные, настоящие покупатели всегда появляются только спозаранок, пока Юрек ему не растолковал: все они приезжают в Берлин ночными поездами и потом коротают время в вокзальных буфетах и кафе, дожидаясь открытия авторынка.

В последнюю неделю ноября снова появился Крылов, невысокий рыжеволосый русский, который неизменно щеголял в дорогих костюмах с очень яркими, пестрыми галстуками. Как всегда, он пришел в сопровождении нескольких крепких парней, которые с крайней предупредительностью, почти с подобострастием ловили каждое его слово и каждый жест.

Завидев русского, Юрек молча повернулся, направился к бытовке и кликнул шефа. В первый свой приход Крылов наотрез отказался иметь с Юреком дело — тот, на его вкус, недостаточно хорошо владел немецким — и пожелал говорить лично с хозяином. Из-за этого во время одного из первых визитов Крылова между Юреком и Вилленброком даже вышел неприятный инцидент. Юрек встрял в разговор хозяина с покупателем, он был оскорблен, ему казалось, что Крылов не желает вести с ним переговоры только из-за того, что он поляк. Русский молча его выслушал и снова обратился к Вилленброку, продолжив прерванную беседу, словно он и не слышал ничего, словно Юрек пустое место, а Вилленброку пришлось еще и отчитать своего подчиненного прямо в присутствии клиента. С тех пор Юрек с этим русским даже не здоровался. Он уведомлял шефа о приходе покупателя, а сам исчезал под капотом какой-нибудь машины или удалялся в мастерскую.

Обменявшись с русским и всей его свитой рукопожатиями, Вилленброк пригласил гостей в контору — согреться чашечкой кофе или стопкой шнапса, но Крылов поблагодарил и отказался. Вилленброк по-быстрому заскочил в бытовку, чтобы прихватить пальто, и повел русских к огороженной канатом площадке за бытовкой, где стояло довольно много машин.

— Сколько вам сегодня нужно машин, господин доктор?

Крылов кивнул на свой эскорт и сказал:

— Три. Сегодня только три.

— Марки, год, цена?

— Сейчас посмотрим.

Он открыл дверцу одной из машин, сел в нее, положил руки на руль.

— Сколько? — спросил он.

Вилленброк назвал цену. Однако, заметив, как Крылов покосился на спидометр и недовольно поморщился, быстро добавил:

— Но это еще можно обсудить.

— Разумеется, — сказал русский, вылезая из машины, — разумеется, это можно обсудить, ведь мы же люди.

И в сопровождении Вилленброка и своих четверых спутников быстрым шагом двинулся дальше, открывая то одну, то другую дверцу, то заглядывая в машину, то садясь в нее. Примерно через полчаса он сделал свой выбор, и они пошли в бытовку, где Вилленброк принялся оформлять бумаги.

— Все машины в порядке? — спросил Крылов.

— Ну конечно. Как всегда. Я вам ручаюсь, к тому же вам мы даем гарантию. Хотите попробовать на ходу?

— Друг мой, вашего слова мне достаточно.

Вилленброк встал и попросил русских минуточку подождать. Выйдя на крыльцо, он кликнул Юрека. Он назвал ему три выбранных машины и попросил приготовить их. После чего вернулся в бытовку и еще раз заверил, что все машины в полном порядке. Крылов удовлетворенно кивнул. Вилленброк снова предложил кофе и шнапс, "по глоточку", как он выразился, и Крылов милостиво согласился. Он наблюдал, как Вилленброк достает бутылку и шесть стопок, подождал, пока тот наполнит две, после чего забрал у Вилленброка бутылку, плеснул своим спутникам понемногу на донышко и подал каждому его порцию. Каждый из них взял печенье из картонной коробки, которую Вилленброк предложил гостям, и только после этого опустошил свою рюмку.

— Ну, как дела на родине? В наших газетах о матушке России ужас что пишут. Как почитаешь, волосы дыбом встают: Москва теперь просто бандитский притон — наркотики, мафия, проституция, разборки, убийства, в красавицу Москву стало опасно ездить. Но это же очень плохо — и для бизнеса, и для туризма.

— Не верьте газетам, друг мой. Это все журналисты, им сенсации подавай, они сенсациями кормятся. На худой конец, если нет сенсаций, — эти ребята их выдумают, а газеты — им все равно что печатать. Так было при царе, при Сталине так было, и сейчас все точно так же. А Москва по сути не изменилась — бедные люди стали еще бедней, богачи еще больше разбогатели, все как везде. Да и с проституцией, слава богу, ничего страшного не происходит. Разве что девицы в Москве уже не такие красивые, как прежде. Цвет российской проституции давно уже обосновался в Западной Европе, наши девушки в Берлине, в Париже трудятся. И с балетом та же история. Бог ты мой, я о Большом театре без слез думать не могу! Туда теперь билеты свободно купить можно — подходи и бери! Да еще и реклама повсюду, реклама Большому театру, слыханное ли это дело? Большой театр — и реклама, вот она где настоящая русская трагедия.

Он потянулся за бутылкой, наполнил по стопке себе и Вилленброку и аккуратно с ним чокнулся.

— Так что великая гордая Россия снабжает Западную Европу отборными шлюхами и балеринами, а мы перебиваемся остатками. В мои времена было не так, по снабжению Москва всегда была на первом месте. Но те, кто нынче нами правят, распродают самый дух России. Это же болваны и преступники. Если у Москвы сейчас проблемы с преступностью и мафией, то только по вине действующих политиков. Понимаете, у нас в политике нет культурных, образованных людей, не то что у вас, немцев. У нас всем заправляют мошенники, негодяи, у которых один интерес — их собственный карман.

Вилленброк громко расхохотался.

— Слишком уж вы хорошего мнения о немцах, господин доктор, а я-то думал, вы и правда разбираетесь. Насчет немецких политиков — это у вас иллюзии.

В прежние времена Крылов работал в советском правительстве, в каком-то отделе стран Западной Европы, и часто ездил в ФРГ. После распада Советского Союза он лишился должности и два года зарабатывал на жизнь тем, что консультировал немецкие фирмы, желавшие завязать деловые контакты с Россией и основать там свои представительства. А потом сам встал на ноги, основал фирму, зарегистрированную в Петербурге, Мюнхене и Милане, которая, по его словам, занималась экспор-

том и импортом передовых технологий. В первый свой визит он вручил Вилленброку свою визитку, которая аттестовала его как директора некоего Российского предпринимательского сообщества, и объяснил, что небольшая его фирма живет за счет того, что помогает всем желающим найти верные пути-дороги через бюрократические джунгли, являясь, так сказать, проводником сквозь извечные чащобы и трясины российской власти. Среди множества дверей он, словно герой народной сказки, всегда найдет нужную и к тому же знает, как она отмыкается. Вот, собственно, и все, что он может предложить к продаже.

— А еще у меня есть терпение, — добавил он, — то самое терпение, которое вы, западноевропейцы, давно за ненадобностью утратили и без которого у нас никакого дела не сделаешь. Так что я торгую своим терпением и за счет этого совсем неплохо живу.

Крылов произвел на Вилленброка впечатление с первой же минуты. Ему понравился этот решительный, уверенный в себе мужчина, и, учуяв в русском очень перспективного клиента, он сразу же предложил солидную скидку за крупный заказ. Крылов это оценил и с тех пор регулярно раз в два-три месяца появлялся на авторынке Вилленброка и покупал сразу по нескольку машин, расплачиваясь немедленно и всегда только наличными.

— Россия сильна только в войне, — продолжал разглагольствовать Крылов, — или под суровым царем. А свобода русскому человеку противопоказана. Нас сформировала Азия, не Европа. Мы спасли Европу от азиатов, но и сами при этом стали азиатами. Ради Европы мы пожертвовали собой, мы грудью прикрыли от монголов Вену и Париж. И заплатили за это непомерно высокую цену, которую Европа все никак не хочет нам возместить. Теперь вот русского, чтобы заставить хорошо работать, приходится бить. Мы же не немцы, которые любят работать и сами умеют все содержать в чистоте и порядке.

Четверо его провожатых все время сидели молча и, казалось, внимательно слушали их разговор. Вилленброк не знал, понимают ли они по-немецки и, значит, следят за их беседой или просто дисциплинированно ждут, когда их шеф даст им команду отправляться. Они напоминали запуганных новобранцев, которые ловят каждое слово своего командира, изо всех сил стараясь при этом не попадаться ему на глаза. "Может, он и правда их бьет?" — подумал Вилленброк.

— У вас слишком романтические представления о немцах, господин доктор Крылов. Да и под кнутом ваша Россия жила достаточно долго. Я не уверен, что она была тогда так уж счастлива.

— Что значит счастлива? В стране порядок был, у всех работа и хлеб. Для нашей страны, поверьте, это совсем немало, многие только сейчас начали понимать это и ценить.

— Работа и хлеб — да. Но были ведь и лагеря, и еще кое-какие несуразности, не вполне вписывающиеся в стандарты двадцатого столетия. Сталин был совсем не ангел.

— Он же в духовной семинарии учился, такие люди часто потом норовят осчастливить все человечество. А потом была война, не забывайте, и тут Сталин оказался для нас настоящим архангелом, спасителем, ниспосланным Богом. А в войне, если хочешь победить, о цене отдельных жизней думать не приходится. К победе — к ней по трупам идут. Европейцы благодаря Гитлеру и Наполеону, благодаря Фридриху Великому и инквизиции тоже давно это усвоили.

— Послушать вас, господин доктор, так можно подумать, будто вы все еще тоскуете по прошлому. Мне-то казалось, вам сейчас гораздо лучше живется, чем в те времена, когда вы на правительство работали.

— Лучше? Да, безусловно, если вы о деньгах, то их у меня теперь больше, гораздо больше. Если вы об этом — то да, у меня теперь много машин, несколько роскошных домов и квартир в разных городах мира. Ни о чем таком я прежде даже мечтать не смел. Не жизнь, а сказка. Если только не думать, не вспоминать, во что эти подонки Россию превратили. Была великая держава — а теперь политическая руина. Поймите, я ведь русский. Я не европеец, я всего лишь русский, со всеми нашими старомодными предрассудками и варварским прекраснодушием, на которые еще Пушкин так горько сетовал. Поруганная гордость моей отчизны — для меня это личная боль. Это для нас, русских, примерно то же, что для вас, немцев, Версальский договор. Вот мы и ждем теперь своего Гитлера, который смоет с нас позор Версаля. Выпьем еще по одной, друг мой.

Вилленброк наполнил его стопку и вопросительно глянул в глаза, кивнув на четверых его спутников.

— Нет, — отмахнулся Крылов, — им сегодня еще ехать. У них впереди еще восемьсот километров и две границы. Они свое ночью выпьют, каждый по бутылке водки получит.

Он оглянулся на свою свиту. Все четверо мгновенно подобрались, хотя и до того сидели на кушетке отнюдь не развалясь, и подобострастно уставились на шефа, преданно ожидая указаний. Но он им только кивнул и снова отвернулся.

— Ну а вы, друг мой? — спросил он после того, как они чокнулись, выпили и закусили печеньем. — Вы-то довольны?

Вилленброк кивнул.

— Что поразительно в вас, немцах, — вы со всем справляетесь. Есть народы, которые живут ради будущего — взять хотя бы американцев, англичан, или живут своим прошлым, вот как французы, да и мы, русские. А вы, немцы, всегда поглощены настоящим. В обеих войнах вы были на голову сильней, и противники смогли одолеть вас только потому, что у них оказалось больше пушечного мяса. Зато после войн вы обернули себе на пользу даже разруху и все сумели обновить. Вы были образцовыми учениками обеих победоносных систем и справились с восстановлением лучше любой другой нации. В своих руинах вы обрели счастливый жребий. Тогда как мы, наоборот, жили только прошлым. Единственные русские, которые действительно научились жить настоящим, это наши барыги, те, кого вы называете русской мафией. Они теперь все верующие, все православные, ни слова против нашей непогрешимой церкви не скажут, ни за что не поднимут руку на наши святые традиции — однако все тысячелетнее наследие русской культуры нисколько не мешает им заниматься своими грязными, малопочтенными делишками. Как знать, может, как раз в этих людях наше спасение? Западную Европу мягко, но непреклонно воспитали просвещение и капитализм, Северную Америку — суровые первопоселенцы, у которых в одной руке был плуг, в другой заряженная винтовка. Может, и матушка Россия у своих барыг научится, как совладать с настоящим, не пренебрегая традициями прошлого. Пока что нам великие свершения только в войнах удавались, в войнах и еще в искусстве. Словом, да здравствуют Пушкин, Чайковский

и русские генералы. Может, теперь русская мафия научит нас справляться и с повседневным бытом, наладить жизнь и в мирные времена.

Вилленброк во время этого монолога Крылова уже успел завинтить крышку и как бы между делом убрать бутылку со стола и сунуть в ящик. Не привык он начинать утро со шнапса и сейчас боялся, что Крылов заставит его пить дальше, а у него не хватит духу отказаться. Незаметно припрятав бутылку, он надеялся избежать и неотвратимой следующей рюмки с непременным чоканьем, и собственного отказа, который, возможно, мог бы русского обидеть. За разглагольствованиями же Крылова он следил с веселым интересом. Его так и подмывало спросить, уж не высказывал ли тот подобных воззрений и прежде, когда еще работал в советском правительстве, но не стал — отчасти чтобы не злить русского, отчасти потому, что не настолько его это интересовало.

— Да, перспективы невеселые, — только и заметил он, покосившись на провожатых Крылова, которые, словно дрессированные доберманы, сидели на кушетке, не спуская глаз со своего босса. Сложил бумаги, которые между делом успел заполнить, и протянул их через стол. Крылов небрежно их полистал, потом, слегка обернувшись к одному из своих парней, что-то буркнул. Парень достал из внутреннего кармана кожаной куртки потертый черный холщовый мешочек и протянул Крылову. Тот, не вынимая всех денег из мешочка, отсчитал нужную сумму, вынул ее и выложил стопкой на стол. Вилленброк одним пальцем слегка разворошил стопку, не пересчитывая, поместил в свою кассету и повторил:

— Мрачные перспективы для такой прекрасной страны.

Он запер кассету, положил ее в письменный стол, потом, в знак окончания разговора, медленно поднялся. Но русский и не подумал вставать, сидел, поигрывая пустой стопкой, потом насмешливо спросил:

— Это почему же мрачные, друг мой? Вам живется хорошо, мне живется хорошо, все опять пришло в движение. И мы оба с вами при деле. Какие трудности?

Вилленброк растерялся.

— Я думал, — начал он, но Крылов его перебил.

— Вы о России не беспокойтесь. Россия столько всего перенесла, что никогда не умрет — в ней всегда будет царь. Но вот сердить ее никому не советую. Особенно вам, европейцам. Мы, русские, может, и не умеем жить, зато воевать и умирать умеем будь здоров. Как в песне поется: "Смело мы в бой пойдем — и как один умрем".

Крылов громко рассмеялся. Потом поставил свою стопку на стол и придвинул поближе к Вилленброку.

— Выпьем еще по одной — на посошок и за новую встречу.

Вилленброк достал бутылку и наполнил обе стопки. Держа их в руках, он слегка стукнул ими, словно сам с собой чокнулся, потом одну протянул русскому.

— Тогда за нас, — сказал он, — и за русскую силу. За вашу энергию и волю к жизни.

Крылов снова рассмеялся.

— Да ничего этого у нас нет. Это все выдумки наших попов и поэтов. Выпьем лучше за извечную нашу лень-матушку, за фатализм, вот этого у нас хватает с лихвой, за счет этого мы и выживаем. А энергией в России всегда отличались только пришлые немцы да евреи. За это их и не люби-

ли, ни тех ни других, понимаете, слишком уж они старались, слишком суетились, слишком преуспевали. Выпьем за наших русских бандитов.

Вилленброк отхлебнул из своего стаканчика и быстро сунул его в ящик стола. Крылов встал, и в ту же секунду, как по команде, поднялись все четверо его спутников. Вполголоса отдавая какие-то указания, Крылов вручил каждому из них документы на машину с причитающимися к ним ключами. Вилленброк вышел проводить гостей во двор.

Капот одной из машин, что стояла прямо у бытовки, был открыт, Юрек ковырялся в моторе, менял свечи. Когда русские, спустившись по лесенке, проходили мимо, он выпрямился. Они смотрели друг на друга молча, с кажущимся безразличием. Чтобы разрядить враждебное молчание, Вилленброк даже что-то сказал поляку, но Юрек и ему не ответил, только кивнул не раскрывая рта.

Солнце выбилось из-за туч и уже успело слизнуть иней с окон и крыш автомобилей. На деревьях кое-где виднелись отдельные скрученные темно-бурые листья. Когда они подошли к первой из проданных машин, Вилленброк еще раз перечислил достоинства данной модели. Поскольку Крылов, слегка склонив голову, внимательно на него смотрел, казалось, он так же внимательно слушает. Потом он улыбнулся и заметил:

— Россия, Польша, вся Восточная Европа — какой прибыльный для вас рынок, господин Вилленброк.

— Да не жалуюсь, — ответил Вилленброк с ухмылкой.

Тут Крылов заметил на лацкане пальто следы пепла и принялся стряхивать их небрежными ударами перчатки. Отчистив пятно, он проверил, нет ли грязи на брюках и ботинках, после чего натянул перчатки.

— Что ж, меня это радует. Люблю работать с людьми, которые довольны жизнью. Знаете, есть люди, которые довольны всегда, а есть такие, которые вечно несчастливы. Вот с ними трудно, очень трудно. С такими лучше дела не иметь, их надо избегать.

Один из русских тем временем уже сел за руль, запустил двигатель и теперь разбирался с рычагами и кнопками панели управления. Остальные трое с интересом за ним наблюдали.

— Тут я с вами совершенно одного мнения, — ответил Вилленброк. — Лично я всегда был доволен, и раньше тоже. Собственно, я всегда был доволен.

— Вот-вот, именно это я и имею в виду.

— И все-таки многие вещи сегодня просто удобнее. Живется легче. Не хочу вас обижать, но прежняя система уже никуда не годилась. Все эти дряхлые старцы, что у вас, что у нас, это же были, простите, уже просто маразматики. Я вообще не понимаю, как такой умный человек, как вы, могли с ними уживаться.

— Другие времена, дорогой мой. Надо уметь жить всегда, даже когда это не очень легко. Как раз тогда это особенно важно. В хорошие времена любой дурак проживет. Но истинную цену народам и отдельным людям узнаешь только в великих испытаниях.

— Может, вы и правы. Но только я все равно не горюю о том, что все это позади. Жизнь опять поинтересней стала, понапряженней. Иногда, правда, даже слишком.

Тут Вилленброк запнулся.

— Что вы имеете в виду, друг мой? Что вас огорчает?

— Да обокрали меня. Месяц назад семь машин прямо со двора увели.

— Да, это неприятно. И кто же это был? Уж не мои ли земляки?

— Не знаю. Полиция так ничего и не раскрыла. Их это вообще не интересует.

— Семь машин, это так серьезно для вас, друг мой? Вы же застрахованы. И кроме того — ну что такое для вас семь машин? Разве для вас это катастрофа? Уж мне-то не рассказывайте.

— Просто противно. Унизительно. В этом все дело.

— Это я понимаю. Вы оскорблены, а это больно. Придумайте что-нибудь. Примите меры, иначе незваные гости будут навещать вас регулярно.

— Да меры уже приняты.

— Значит, тогда все в порядке, мой немецкий друг, или все-таки нет?

Вилленброк задумался, уж не рассказать ли Крылову о том телефонном звонке, который, к немалому его изумлению, уже несколько недель не давал ему покоя. И задумался, видимо, надолго, потому что Крылов поднял голову и внимательно посмотрел ему в глаза.

— Дурацкая история, господин доктор Крылов. Один бывший сотрудник портил мне жизнь, писал на меня доносы. Я только сейчас узнал, что это был именно он. Все это довольно мерзко. Слава богу, хоть это все в прошлом.

— И что вы хотите предпринять? Как намерены поступить с этим сотрудником?

— Не знаю. Просто не знаю. А что бы сделали вы?

— Ах, немцы вы немцы! Вы все делаете только легально. На все вам нужен свой чиновник. Я слыхал, в Германии даже взятки узаконены. У вас есть правила, устанавливающие, кого и как следует подмазывать. Ну разве не прелесть? У вас даже уголовники, совершая преступление, должны соблюдать порядок и дисциплину. За это я вас, немцев, и люблю. Если бы Господь Бог был немцем, какой дивный порядок царил бы у нас на земле! На каждый случай, на любую несуразицу имелся бы свой закон, а нам бы только и оставалось, что полистать да посмотреть, верно? При немецком-то боге Адам и Ева никогда бы не совершили грехопадения, у него и это дело было бы строго по параграфам расписано. С другой стороны, какой бы это был рай? Думаю, в таком раю только вы, немцы, и блаженствовали бы...

— А что бы на моем месте сделали вы, господин доктор?

Крылов молча посмотрел на него, на минуту задумался. Потом подозвал к себе одного из парней и что-то ему сказал. Парень неожиданно покраснел и, похоже, даже пытался возражать, но Крылов продолжал его уговаривать. И другие парни со всех сторон стали кричать ему что-то подбадривающее, только теперь Вилленброк впервые услышал их голоса, еще звонкие, с почти мальчишеской озорной хрипотцой, хотя и грубоватой, но беззлобной. Парень, которого позвал Крылов, повернулся и пошел по двору, что-то разыскивая глазами. Он то и дело наклонялся, что-то поднимал, снова бросал и наконец вернулся, неся два кирпича, которые он поставил на ребро и положил на них мощную, в руку толщиной, деревянную доску. Поставив на доску одну ногу, он медленно подтянул другую и наконец водрузившись на сооружение всем телом и балансируя обеими руками для равновесия, слегка попрыгал, проверив его прочность. После чего так же осторожно, избегая резких движений, слез. Усевшись на корточки, он буквально начал буравить доску взглядом, не переставая при этом очень энергично разминать кисти рук. По-

том на секунду поднял глаза на Крылова, и в тот же миг его правая рука взмыла ввысь и со страшной силой обрушилась на доску. Раздался сдавленный крик, скорее стон. Доска отлетела в сторону, врезалась в шину и шлепнулась на землю. Парень вскочил, смущенно посмотрел на Крылова, словно сперва должен попросить у него прощения, и только после этого побежал за доской. Вернувшись, он снова положил доску на кирпичи, но теперь несколько раз особенно тщательно ее перевернул и поправил, чтобы уложить как следует. Потом снял, переставил кирпичи, снова уложил на них доску и снова ее повертел. На лбу у него выступили капли пота. Крылов говорил ему что-то успокаивающее, потом и он умолк, все только смотрели на парня, который снова присел перед доской и сосредоточился. И вновь его рука взлетела ввысь и рубанула дерево, и снова из груди его вырвался то ли крик, то ли стон. В следующий миг разломанная надвое доска, зияя расщепленными концами, лежала между двух опрокинувшихся кирпичей. Не поднимая глаз и массируя руку, парень встал. Крылов слегка похлопал его по плечу. Заметно было, что он доволен.

— Мое почтение, — сказал Вилленброк и демонстративно похлопал в ладоши. — Это где же ваших парней учат так бить? В армии?

— Так только Юрий умеет, — ответил Крылов. — Он из деревни. Там и научился. Кстати, может, такой вот удар ребром ладони и был бы решением всех ваших проблем?

— Нет, — засмеялся Вилленброк. — То есть, может быть, это тоже решение, но не думаю, что мое. Здесь это не принято, большие неприятности можно схлопотать.

— Так обсудите это со мной, друг мой. Мы же деловые партнеры, я охотно вам помогу.

При этом он так открыто посмотрел Вилленброку в глаза, что тот обомлел: Крылов действительно и вполне серьезно предлагает ему своих громил. Мысль эта одновременно ужаснула его и позабавила, и он поспешил отклонить предложение.

— Нет, это невозможно, — отрезал он.

А сам почувствовал, как пересохло вдруг во рту и как трудно стало выговаривать слова. Язык словно распух и еле ворочался. Ему пришлось несколько раз сглотнуть, прежде чем он сумел повторить: нет, это предложение он принять не может. Все происходящее казалось ему совершенно нереальным, будто, стоя совсем рядом, он видит и слышит себя со стороны.

Крылов удовлетворенно кивнул.

— Так я и думал, — только и сказал он. И они пошли дальше, к следующей из проданных автомашин. Один из парней сел за руль и запустил мотор. "Глупости все это", — думал Вилленброк. Украдкой он снова глянул на того русского, который расколол рукой доску.

— Вы с ума сошли, господин доктор, — пробормотал он, когда они двинулись к третьей машине. — На каком свете, по-вашему, мы живем? У нас тут цивилизованная страна, и я навлеку на себя черт знает какие кары, если вздумаю сам вершить справедливость. Ваша идея — это совершенное безумие. Хотя, конечно, большое спасибо за предложение. Поверьте, я очень его ценю, но для меня оно абсолютно неприемлемо. Я вообще не дерусь, еще ни разу в жизни не дрался. Я отвергаю насилие из принципа.

— И что вы будете делать?

— Не знаю. Возможно, что и вообще ничего. Вероятно, я ничего предпринимать не буду, просто постараюсь все забыть.

— Если вы сможете с этим жить — прекрасно. Тогда забудьте и о том, что у меня есть Юрий. Просто вы задали мне вопрос, друг мой. А что до меня, то я привык во всем стоять за себя сам. В Германии в любой деревне сидит чиновник, который все решит и уладит, у вас на все случаи жизни есть толстенный свод законов. А Россия страна большая, гораздо больше, чем даже Соединенные Штаты, тут надо уметь самому пробиваться и самому на ногах стоять, иначе тебе крышка.

Тут он повернулся к Юрию, что-то ему сказал, и оба они сели в машину.

— Мы еще увидимся, — сказал он Вилленброку, дружески ему кивнув и включая в машине радио.

Погруженный в свои мысли, Вилленброк смотрел вслед отъезжающим машинам. "Вот ведь бес окаянный", — пронеслось у него в голове, и вдруг он с удивлением ощутил в своей недвусмысленной и четко выказанной неприязни привкус внезапной и острой зависти. Медленно, вразвалку к нему подошел Юрек.

— Хорошая сделка, шеф?

Вилленброк кивнул, по-прежнему продолжая смотреть в ту сторону, где давно уже скрылись его проданные машины.

— Он опять на коне, этот русский. Выкрутился и голодать не будет. Пусть другие голодают. Все как у нас в Польше. Эти всегда наверху.

— Мы с тобой тоже не голодаем, Юрек. Чем он тебе не угодил?

— Такие, как он, всегда умеют устроиться.

— Он умеет устраивать дела. На таких людей во все времена большой спрос. Что ты на него взъелся, Юрек? Тебе же не нужно с ним общаться. Сделки с ним я совершаю сам, и вообще клиентов не выбирают.

— Сделки с бандитом. Вздернуть его надо было — в свое-то время, — и все дела. Но тогда они все попрятались, а теперь опять из всех щелей полезли.

— Да тебе-то что плохого он сделал?

— Когда режим рухнул, я надеялся, что теперь-то этих типов наконец прижмут. Но они всегда будут как сыр в масле.

— Он хороший клиент. Он мне нужен. И я надеюсь, что он приедет еще и будет приезжать как можно чаще и покупать у меня машины. И тебе, Юрек, он тоже нужен, если ты хочешь, чтобы я исправно платил тебе жалованье.

Юрек пожевал губами, но ничего не ответил. Только яростно оттирал тряпкой руки, а потом энергичным кивком головы отбросил волосы со лба.

— Пойду шины подкачаю, шеф, — буркнул он наконец.

— Пойди, пойди, — отозвался Вилленброк.

5

Оказалось, однако, визит Крылова растревожил Вилленброка куда больше, чем он предполагал. В последующие дни он то и дело обнаруживал, что бесцельно сидит за письменным столом, смотрит в одну точку и мечтательно размышляет о речах русского и его предложении. Это просто смешно, говорил он себе, это совершенно невозможно, варварство какое-то, дикость, и помимо всего прочего действительно криминал,

это какой-то атавизм, возврат к прошлому, отказ от всякой цивилизации, прыжок назад в первобытную дремучесть – так он себе говорил. Где-то он недавно вычитал это словосочетание, "первобытная дремучесть", и с тех пор оно почему-то всплывало в голове к месту и не к месту, волнуя его своей пластичной выразительностью и силой, хотя он толком даже не очень понимал, что оно значит. Наконец, не без внутреннего сопротивления, он вынужден был признать, что предложенное Крыловым простое и грубое насильственное решение его притягивает. Он завидовал этому русскому, ибо чувствовал, до какой степени сам он бесконечно далек от подобной свирепой простоты суждений и готовности к скорому и неотвратимому суду. Он старался позабыть беседу с Крыловым, стереть, вытеснить из памяти его предложение. Снова и снова внушал он себе, что о рассуждениях Крылова даже вспоминать не стоит, а до этого доктора Фойербаха, ему, Вилленброку, и вообще никакого дела нет. Вся эта история – просто грязь, думал он, грязь и банальность, к тому же все это было так давно, уже хотя бы потому надо обо всем забыть, неужели из-за такой ерунды посылать к этой жалкой крысе братков-уголовников, нет, я не буду ему мстить, мне это вообще неинтересно, ведь все это случилось в другой жизни, которая у меня уже позади, в конце концов, я давно уже не инженер обанкротившегося завода вычислительной техники, я успешный предприниматель, владелец неуклонно растущего и процветающего авторынка подержанных машин, единственное, что меня должно заботить и беспокоить – если уж мне вздумается найти время и повод для забот и беспокойства, – так это только одно: чтобы дела в Восточной Европе и дальше шли так, как это выгодно моей фирме, то бишь в меру благоприятно и стабильно, дабы обеспечивать платежеспособность моих клиентов, но в то же время не настолько успешно, чтобы они перешли на закупки новых машин и в моих услугах вообще отпала необходимость, – а Фойербах меня волновать не должен, теперь уж нет, когда он был, чем он был, я ничего об этом не знал, а сегодня мне это уже неинтересно, или, по крайней мере, не настолько интересно, чтобы и сейчас еще на него свои мысли растрачивать, к чему мне эти путы прошлого, от которого мне давно никакого проку.

Так что Вилленброк твердо решил позабыть и Фойербаха, и всю эту дурацкую историю. Он и так-то этого своего бывшего сотрудника помнил более чем смутно и внешний облик его воскресил в памяти с большим трудом. Откуда-то выплыла узенькая бородка, в красноватой оправе очки с толстыми стеклами и несколько рабочих разговоров, которые, впрочем, были даже дельными или, по крайней мере, не занудными, но он был вовсе не уверен, что этого Фойербаха узнает, ежели дорожки их в один прекрасный день пересекутся. Он бы и не вспомнил о нем ни в жизнь, если бы не этот телефонный звонок, если бы Бернер не поведал ему всю эту мерзкую историю, и теперь он чувствовал, что злость его как бы перемещается, что почему-то не Фойербах, а именно Бернер вызывает в нем горькое ожесточение и гнев, и злился от этого еще больше. Ему казалось, что это Бернер его попутал, обманом вовлек в охоту за тенями прошлого, за фантомами давно минувших дней и взаимоотношений. В душе он проклинал Бернера и его непрошеный звонок. Короче, он решил выкинуть все из головы и в подтверждение своих намерений даже ущипнул себя за левую щеку, как когда-то мальчишками они делали в школе.

Приняв решение не страховать больше свои машины и бытовку, в которой временно размещалась его контора, он вместо этого поместил в газете местного муниципального округа объявление: "Ищу ночного сторожа". В день, когда газета с объявлением вышла, ему позвонили двадцать пять человек, по преимуществу пожилых мужчин, и все жаждали получить место ночного сторожа. В последующие дни к ним добавилось еще восемь. Некоторые сообщили, что у них имеется собака, которую они намерены использовать в работе. Все утверждали, что это выдрессированные, злые сторожевые псы, способные задержать любого непрошеного гостя. Многие сообщили ему, что имеют газовые пистолеты. Еще двое, чьи голоса звучали по телефону слишком уж молодо, дали понять, что у них имеются боевые армейские пистолеты советского образца, и хотя разрешения на ношение оружия у них нет, они готовы нести охрану объекта с этими стволами. Кроме того, с ним связались две фирмы, специализирующиеся на охране предприятий и учреждений, и предложили услуги своих охранников — в форме и при оружии.

Вилленброк, признаться, был изумлен широким резонансом, который вызвало его крохотное объявление. Он пригласил шесть претендентов на нечто вроде собеседования. С первыми двумя он проговорил примерно по полчаса, объяснил, чего от них ждет, потом попросил их изложить ему, как они представляют себе охрану двора. Один из них вынудил-таки Вилленброка полюбоваться всеми фотографиями его собаки. Со следующими кандидатами он уже говорил только по нескольку минут, сообщал размеры предлагаемого жалованья и не церемонясь просил изъясняться как можно короче. С окончательным решением не торопился. И лишь когда претенденты иссякли и в течение двух дней никто больше не объявился, он позвонил одному из прежних соискателей, Фрицу Пазевальду, пожилому слесарю, который вот уже полгода сидел без работы и приглянулся Вилленброку тем, что во время беседы он единственный не смотрел на будущего шефа заискивающе, а спокойно и немногословно объяснил, каким образом он мог бы нести охрану и чего в связи с этим от него, хозяина, ждет. Вилленброк вполне отдавал себе отчет, что выбрал Пазевальда только потому, что не увидел в глазах слесаря ни подобострастия, ни тоски угасших надежд, которые так ясно читались в молящих взглядах других претендентов и так его раздражали, чтобы не сказать бесили.

Слесарь, в свои пятьдесят восемь лет еще вполне крепкий мужчина, вышел на работу в тот же вечер. Он явился со своей овчаркой за полчаса до того, как Юрек запер ворота, и спокойно встал около бытовки. Вилленброк постоял на лестнице, подождал, пока Пазевальд успокоит и привяжет собаку, после чего пригласил его к себе в контору. Он взял у Пазевальда учетную карточку налогоплательщика, мельком ее просмотрел и спрятал к себе в "дипломат". Показал сторожу кофеварку и отделение в шкафу, где хранится посуда. В случае чего, сказал он Пазевальду, он должен, прежде чем покинуть помещение, сперва известить полицию, а затем его. Записку с номером он наклеил прямо на телефонный аппарат и сказал, что по этому номеру его всегда можно застать, что днем, что ночью, это его мобильник, и он с ним не расстается. Затем поинтересовался собакой Пазевальда, спросил, какой она породы и сколько ей лет, после чего добавил: дескать, он рассчитывает, что пес вскоре научится видеть в нем не чужака и вора, а, наоборот, человека, которому он впредь будет обязан мозговой косточкой в своей миске. После чего, как

всегда в конце дня, сложил в свой "дипломат" деньги, документы на все машины и ключи. Тут Пазевальд напомнил Вилленброку, что по профессии он слесарь, так что, если нужно, он и мелкий ремонт кузовов тоже мог бы выполнять, допуск сварщика у него, разумеется, есть.

— Это хорошо, — сказал Вилленброк, — но об этом вы лучше поговорите с Юреком. И подождите пару дней, прежде чем ему это предлагать. Вот когда познакомитесь поближе, тогда... Понимаете, Юрек — он с характером. Польская гордость. Не хочу, чтобы он подумал, будто я его работой недоволен.

— Да я только так предложил, — заметил Пазевальд. — У меня есть что почитать, так что скучать я не буду.

— А что вы читаете? — полюбопытствовал Вилленброк.

— Да дочка меня книгами снабжает. Она студентка, вот и решила поработать над моим образованием тоже. Подбирает для меня книги, а когда прочту, я еще должен на вопросы ей отвечать. Как на экзамене.

— И что же вам приходится читать?

— Да разное. Происхождение земли, история земли. А если я как следует все прочел и на вопросы хорошо ответил, тогда мне в вознаграждение разрешается роман прочесть. Но она даже и по романам меня спрашивает.

— Не иначе ваша дочь решила профессора из вас сделать.

— Вот и я ей то же самое говорю.

— Тогда тут вам у нас самое место. Читайте все, что от вас требует дочка, а я вам за это еще и платить буду.

Он встал и протянул Пазевальду руку.

— Так что счастливо оставаться. Думаю, мы поладим друг с другом. И берегите, пожалуйста, себя, а не только мои машины.

— Меня Кэтчер побережет, — ответил Пазевальд и, заметив вопросительный взгляд Вилленброка, пояснил: — Кэтчер, мой пес.

— А-а, ну тогда до завтра. А сейчас идите, пожалуйста, первым и уговорите вашего Кэтчера выпустить меня со двора.

И подхватил "дипломат", пропуская Пазевальда перед собой в дверь.

— У нас теперь ночной сторож, — сообщил он за ужином жене. — Теперь я буду спокойнее спать.

— Спокойнее спать? — переспросила она. — Ты вроде от бессонницы никогда не страдал. Дрыхнешь как убитый.

— Ну хорошо, значит, теперь я могу дрыхнуть как дважды убитый. Считай, что я убрал с улицы одного безработного, который теперь за мой счет будет ночами читать книжки. А у меня от этого совесть спокойнее. И в финансовую инспекцию я могу об этом заявить, уменьшив за счет его жалованья свой налогооблагаемый доход. Разве все это не хорошие новости, Сюзанна? Я мог бы, конечно, нанять кого-нибудь через службу занятости, тогда бы они сами этому человеку платили, но я бы не имел такого выбора кандидатов. К тому же это опять бумажная волокита.

— Словом, ты умеешь брать жизнь за рога. Тебе всегда везет.

— Да. Потому что я так хочу. Ты же знаешь, я вырос в захолустном городишке, где меня сплошь окружали лица людей, обиженных жизнью. Обижены были мои родители, потому что отец был простым инженером-проектировщиком, которого на кафедру в университет не взяли и даже до начальника отдела он не дослужился. Обижены были все мои родственники, потому что где-то всегда находились люди, живущие го-

раздо лучше и успешнее, чем они. Обижены были учителя, вынужденные коротать свой век среди ненавистных учеников. Весь этот маленький и, в сущности, красивый городишко был обижен жизнью. А я смеялся. Мне подставят ножку — а я смеюсь. На экзамене "пару" схвачу — все равно смеюсь. Я всегда был доволен, я жил в согласии с миром и с собой. А потом стал замечать, что своим смехом я других, оказывается, раздражаю и обижаю еще больше. И вот тогда я принял решение на всю жизнь. Я твердо вознамерился радоваться жизни. Всегда. Благодаря чему ты и обрела счастливого мужа. Скажи, ну разве тебе со мной не хорошо?

— Конечно хорошо, по большей части. Я очень тобой довольна. Но иногда, знаешь, это твое самодовольство мне не так уж нравится. Особенно когда тебе очередной раз удается так замечательно кого-нибудь "задействовать" и использовать в своих интересах.

— И к взаимной выгоде, дорогая. Я никого не принуждаю на себя работать. Кому у меня не нравится, в любую секунду может уйти. С вечно обиженными нытиками я дела иметь не желаю. На таких я в школе вдоволь нагляделся — даже вспоминать не хочется.

Он встал, прихватив свою кружку и бутылку с пивом.

— Мне еще позвонить надо, — сказал он. — Если хочешь, можем сегодня в кино сходить. У меня дел только на десять минут. Кстати, из бюро путешествий звонили. Госпожа Тухтер спрашивала, не хотим ли мы провести Рождество в Венеции. Представляешь, пять дней в Венеции, пять дней вдали от родной немецкой душевности. Ты согласна, Сюзанна?

— На Рождество мы у мамы. Мы уже твердо обещали. Да я и хочу туда, хочу ее повидать.

— Ага, и твоего ненаглядного братца. Дивный будет опять семейный праздник. А как насчет Нового года? Может, на Новый год куда-нибудь махнем?

— Но только дня на три, не больше. Я не могу так надолго магазин закрывать.

— Так найди себе помощницу, найми вторую продавщицу. Я тебе уже тысячу раз говорил. Нельзя же быть рабыней собственной лавочки.

— Прошу тебя, только не говори мне опять, что ты мне эту продавщицу оплатишь. Это мой магазин. И я хочу сама справляться.

— Ну конечно, — кивнул Вилленброк, — ты же хочешь найти себя, осуществиться, я знаю.

Жена посмотрела на него укоризненно и молча покачала головой. А когда Вилленброк уже распахнул дверь в гостиную, сказала:

— А кроме того, нам в этом году еще хоть раз на участок съездить надо. У меня там цветы в горшках кое-какие на улице остались, их до холодов надо в дом занести. И вообще, мне до снега нужно еще раз по всему саду пройтись.

— Но зачем же убивать на это выходные, а уж тем более Новый год? Я при случае на неделе сам туда проедусь и все сделаю. В общем, я иду звонить. Через десять минут я закончу, и мы можем ехать в город.

Он прикрыл за собой дверь и сел к телефону.

6

К середине декабря на дворе оставалось всего восемнадцать машин, а за бытовкой, на огороженной "блатной" площадке, сиротливо скучал один-единственный десятилетний "мерседес".

— Самое благодатное времечко наступает, — еще года два назад объяснил ему поляк. — Никаких клиентов с моей незабвенной родины. И у русских теперь до самых Трех волхвов[1], до ихнего Рождества, никто с места не тронется.

Вилленброк тогда даже подумывал на этот мертвый сезон вообще авторынок на месяц закрывать и уходить в отпуск, но жена его запротестовала, не хотела она подчинять свою жизнь исключительно его деловым интересам. Кроме того, для ее бизнеса закрывать бутик в самый разгар рождественской торговли и вправду смерти подобно. Тогда на всей затее с магазином можно сразу ставить крест. И Вилленброк, вместо того чтобы препираться с женой, вдруг арендовал на соседнем с авторынком участке заброшенную оранжерею. Среди поднявшихся вокруг бетонных кубышек складов, автобаз и ремонтных мастерских это пустое, с выбитыми стеклами сооружение уже много лет без всякой пользы торчало в зарослях одичавшей капусты и буйного, с редкими проблесками соцветий сорняка свидетельством безнадежно ушедшей эпохи. Вилленброку удалось заключить договор об аренде на пять лет, с правом досрочного расторжения на тот случай, если он приобретет в собственность арендуемый им участок авторынка и сможет начать на нем строительство. Он нанял рабочих, заменил поломанные рамы, вырыл в полу смотровую яму, закрепив ее стены железнодорожными шпалами, худо-бедно утеплил стены помещения матами и установил две старых чугунных печки. Теперь в такие вот потерянные для торговли дни Юрек работал в бывшей оранжерее: производил мелкий ремонт и покраску автомобилей.

Поскольку дел на фирме у него в это время почти не было, Вилленброк как-то во вторник решил поехать навестить свой садовый домик на побережье Поморской бухты, в Щецинском заливе, напротив острова Узедом. Поселок Бугевиц, где стоял их дом, находился лишь в нескольких сотнях метров от гигантского остова старого Карнинского моста, огромного сооружения с подъемным механизмом, при помощи которого полотно железной дороги можно было поднимать над проливом, пропуская под мостом большие суда. Остров таким образом был связан железнодорожным сообщением с большой землей почти до самого конца войны. Теперь ржавые конструкции моста вздымались над плоской равниной побережья угрюмым и страшным скелетом ископаемого колосса. Мост напоминал Вилленброку о детстве, о его игрушечной железной дороге.

Участок Вилленброка лежал у самого края леса, а поскольку места эти считались заповедными и строительство здесь было запрещено, они с женой не без оснований рассчитывали, что окружающий покой и простор бесконечных далей, прореженных только цепочками деревьев и перелесками, и впредь ничем и никем не будут нарушены.

Жене он рассказал, что у него сегодня поездка с клиентом, недовольным приобретенной машиной, которую Вилленброк, желая убедиться в обоснованности претензий, хотел еще раз сам проверить на ходу, чтобы в случае надобности провести необходимый ремонт. Сюзанна удивилась, с чего это вдруг он, вместо того чтобы доверить дело Юреку, решил целый день угробить на одного-единственного клиента, но Вилленброк объяснил ей, насколько щекотливы в его бизнесе рекламации, а он

1. Католический праздник Трех волхвов, отмечается 6 января. (*Прим. перев.*)

уж заодно использует поездку, чтобы наведаться в Бугевиц, заглянуть на участок и подготовить дом к зиме.

О чем он умолчал, так это о том, что вовсе не клиент ему позвонил, а он сам побеспокоил звонком покупателя, дабы осведомиться, как ведет себя машина. Покупателем этим, а вернее покупательницей, была миловидная студентка, только что сдавшая экзамены по вождению и получившая права. Он сам порекомендовал ей добротную машину-десятилетку и, поболтав с ней еще немного о том о сем, дал приличную скидку.

Когда на его дворе появлялись одинокие женщины, желавшие приобрести или, наоборот, продать машину, Вилленброк на таких клиенток времени не жалел. Впрочем, это касалось только молодых хорошеньких женщин: для него их визит был отрадным оазисом разнообразия, ярким и веселым красочным мазком в серой унылой массе скучно и бедно одетых клиентов-мужчин. Вилленброк был с такими клиентками само обаяние, шутил, заигрывал, присматривался, как действует на даму его шарм и нельзя ли расположить ее к себе не только как клиентку. Границы доступности всякой женщины, заинтересовавшей его сексуально, он определял всегда только одним способом: пытаясь эти границы переступить. Он становился навязчив, но только чтобы уяснить свои шансы, он мог быть даже наглецом, лишь бы понять, как далеко ему дозволено будет зайти. Одни женщины проявляли недовольство при первых же признаках фамильярности, другие начинали протестовать, когда он становился развязен и чересчур назойлив, но были и такие, которые с первого же раза спокойно позволяли обнять себя за бедра. Продав машину женщине, с которой ему хотелось увидеться снова, Вилленброк обязательно брал у нее телефон, якобы исключительно в интересах дела. А недели через две звонил и пытался назначить свидание.

У студентки он поинтересовался, как она справляется с машиной. Та в ответ посетовала: она жалеет, что купила автомобиль. У нее слишком мало практики, и в моторе она тоже ничего не смыслит, а все эти скорости и сцепления вообще темный лес. Она призналась, что после каждой, даже короткой поездки вылезает из машины вся трясясь, так что ездит очень редко, только при крайней необходимости, да и то когда на улицах более или менее пусто. Вилленброк предложил ей свою помощь. Он проездит целый день с ней рядом, и она уже к вечеру будет классным водителем. Она с изумлением спросила, неужели у него найдется для нее столько свободного времени, на что он ответил, что вообще-то времени у него совсем нет, но для лучших своих клиенток он всегда готов выкроить его сколько угодно. Пусть она только назначит день, а уж он продумает для них маршрут, он хочет потренировать ее не только в городе, но и на автостраде, и на проселке. Если она готова ехать по нужному ему маршруту, то он только соединит приятное с полезным. Девушка согласилась и сказала, что для нее удобнее всего был бы вторник, по вторникам ей легче освободиться. Он пообещал через четыре дня, во вторник, заехать за ней утром ровно в девять.

— Я не верила, что вы приедете, — сказала девушка вместо приветствия.

— Да мне все равно на взморье ехать, — ответил Вилленброк. — Так что с моей стороны это никакая и не жертва. Ну, где ваше чудо?

Студентка показала, где стоит ее машина. Когда они сели и она, нервничая и явно смущаясь, попыталась завести мотор, Вилленброк ее успокоил:

— Госпожа Рецлаф, я для вас не учитель вождения и тем более не дорожный полицейский. Мы все будем делать спокойно, без паники, времени у нас достаточно. И даже если вы что-нибудь сделаете не так, я обещаю не отрывать вам за это голову. А теперь попробуйте завести машину еще раз.

У поворота на Пренцлау они свернули с автострады и дальше добирались по узким, местного значения шоссейным дорогам, окаймленным деревьями и скорее напоминающим аллеи. Говорил почти все время один Вилленброк, девушка была слишком сосредоточена на дороге и на вопросы отвечала односложно. Чтобы придать ей уверенности, он то и дело нахваливал ее стиль вождения. Когда они проезжали мимо небольшого придорожного ресторанчика, он попросил ее свернуть и вырулить на стоянку. Он пригласил ее на обед. Кроме них, посетителей в ресторане не оказалось, и пришлось довольно долго ждать, прежде чем им подали еду. Девушка рассказывала о занятиях в Берлинском университете, она там изучает энтомологию.

— Вам это что-нибудь говорит? — осведомилась она.

— Что-то про насекомых? — неуверенно предположил Вилленброк.

Девушка кивнула, удивленно отдавая дань уважения его эрудиции.

— И вы действительно изучаете всех этих мелких отвратительных кусачих мошек-букашек?

— Ну, в общем да.

— А зачем? У себя дома я все окна сеткой затянул, лишь бы от них избавиться. Чего ради их изучать? Чем вы займетесь, когда диплом получите?

— Не знаю еще. Я учусь, потому что мне интересно. Из любознательности. Насекомые — это же потрясающая, поразительная популяция на нашей земле. Они гораздо древнее нас, и у них бессчетное число видов. При этом каждый имаго — ну, окончательно развившийся экземпляр — это верх совершенства, поистине невероятное чудо красоты. Намного разнообразнее и красивей любого другого живого существа на земле, в том числе и человека.

— Ну и что вам это даст? Куда вы приткнетесь с вашим дипломом по орхидеям, бабочкам и букашкам? Профессора-то ваши что советуют? Нет у вас такой дисциплины — изучение практической жизни, где бы вам растолковывали, как со всеми вашими распрекрасными знаниями заработать себе на хлеб?

— Нет. В практическом смысле это не дает почти ничего.

— И вас это не беспокоит?

— На моем курсе почти никто не знает, чем займется после окончания. Просто стараемся учиться как можно дольше.

— А почему вы при этом смеетесь? Что же тут смешного? Когда-то ведь и вам понадобится хоть сколько-нибудь денег, вы так не считаете?

— Когда-то понадобится наверняка. Да найдется какая-нибудь работа, — беззаботно заметила она. — Какая-нибудь, чтобы хватало на прокорм и жилье. Ну, и на машину, конечно.

— Машина вам досталась очень недорого, Марго. Надеюсь, вы заметили, что я вам ее очень дешево продал. А машина хорошая, даже очень.

— Да, я ей довольна, спасибо большое, и очень ценю вашу щедрость. Как и то, что вы сегодня потратили на меня целый день.

— Это мой сервис, считайте, что это просто входит в прейскурант моих услуг.

— Включая обед? Вы всех своих клиентов столь щедро угощаете?

— Для красивых женщин у меня всегда есть дополнительный сервис, — ответил он и взял ее за руку. Она коротко вскинула на него глаза и руку отняла не сразу, а лишь несколько секунд спустя, потянувшись за стаканом воды.

После обеда они через Анклам добрались до Буггенхагена, гуляли там вдоль берега Пене и любовались на остров Узедом. Девушка замерзла, Вилленброк предложил ей свою куртку. Он рассчитывал совершить с ней еще небольшую прогулку по торфяным лугам, но она твердо настояла на возвращении. Для прогулки по мокрой траве и болотистой почве у нее слишком неподходящая обувь, к тому же она все еще мерзнет.

— Сейчас согреетесь, Марго. Дом уже протоплен. Час назад, когда мы были в ресторане, я позвонил, и там включилось отопление. Так что когда приедем, будет тепло, сможете принять ванну.

— Прямо по телефонному звонку? — изумилась девушка.

— Ну да, — Вилленброк рассмеялся. — Я же как-никак инженером был, я же вам рассказывал. И до всяких таких электронных штук до сих пор большой охотник. Кучу денег на это трачу, потому что люблю эту дребедень и легко на все соблазняюсь. Каждый год на электронно-компьютерную ярмарку езжу. Но теперь-то это уже чистое любительство, хобби. И автомобиль, конечно, всякими электронными игрушками напичкал, которые, в сущности, и не нужны мне вовсе.

— И вы всегда такой были?

— Конечно. Самая большая игрушечная железная дорога во всей школе чья была? Моя! Она занимала весь чердак у нас в доме, поезда аж по трем уровням ходили. У меня имелся даже собственноручно сконструированный подъемник железнодорожного полотна, способный поднимать и опускать с одного уровня на другой локомотив с прицепным вагоном! По-моему, даже у федеральных железных дорог до сих пор ничего подобного нет. Это было что-то вроде того подъемного моста, который я вам сегодня показывал. А вам что, интересно? Вы интересуетесь техникой?

— Нет. Машина вот едет, я и рада, с факсом кое-как управляюсь, но это и все.

— Я так и думал. Зато вы у нас про насекомых все знаете.

— Нет. Не все. Все про насекомых ни один человек в мире не знает. Даже не все виды еще известны. Но вам ведь про это скучно, верно?

Вилленброк рассмеялся.

— Верно. Просто я в этом не смыслю ничего. Пойдемте лучше, поедем ко мне домой. Там согреетесь.

Они сели в машину, и Вилленброк, командуя девушке, куда сворачивать, по проселку и садовой дорожке благополучно подвел машину к своему участку.

Это был старинный крестьянский хутор с домом из клинкерного кирпича на цоколе из настоящего природного камня. Крыша и окна были новые. Хлев для скотины и огромный сарай, образовавшие вместе с домом замкнутое каре, все еще находились в стадии перестройки. Над входом в хлев громоздились деревянные леса, окна завешаны парусиной. Перед сараем уложенные в штабель стропила были накрыты старыми, вырванными из проемов дверями, а рядом на двух поддонах красовались две аккуратные упаковки новенькой добротной металлочерепицы. Вилленброк молча указал на двор, на весь этот строительный размах, потом

по узенькой наружной лестнице поднялся на жилой этаж и тремя ключами отпер три разных замка.

— Сто тридцать лет, — похвастался он, — а если уж совсем точным быть, то сто тридцать четыре года этому дому. Добротная работа и красивая. Несколько поколений трудились.

Он распахнул дверь и быстро вошел в дом, чтобы нажать кнопки на укрытом под лестницей щитке.

— Сигнализация, — пояснил он девушке. — Я ее отключил, а то бы сейчас тут заревело будь здоров. Когда бываешь в доме так редко, приходится раскошеливаться и на это.

— Но вам же это нравится, все эти электронные штуки.

— Конечно. Смотрите все, не стесняйтесь. В любые комнаты заглядывайте. Я через десять минут управлюсь. Мне надо только кое-что в саду прибрать и в дом занести. Хотите выпить кофе или сразу поедем?

— Я сделаю кофе. Покажите только, где что стоит. Это ведь кухня?

— Да. Только поаккуратнее, там где-то две мышеловки расставлены. К осени тут всегда мыши появляются. Вероятно, они тут тоже с 1862 года живут, во всяком случае, хозяйничают они здесь так, будто это их старинное родовое поместье.

Он поднялся по лестнице на второй этаж. Девушка же вошла в кухню, оборудование и шикарная обстановка которой явно произвели на нее впечатление. Потом разыскала чашки и кофе, поставила греть воду. Прошлась по коридору, чтобы осмотреть остальные помещения первого этажа, но оглядывала их только с порога, ни в одно не вошла. Затем накрыла в кухне на стол, заварила кофе и уселась поближе к батарее.

— Вы все нашли, — заметил Вилленброк, входя на кухню и направляясь к крану мыть руки. — Видите, в доме тепло. Ну как вам, лучше?

— Замечательно. Приезжаешь прямо в теплый дом, это очень здорово.

— Именно. Да здравствует техника. А также ваши бабочки и букашки, Марго.

— Дом ваш мне нравится, господин Вилленброк. Прямо маленький дворец.

— Нет, это всего лишь старинная крестьянская усадьба. Знаете, зовите меня просто Бернд, так будет проще.

— Видимо, торговля старыми машинами приносит неплохие деньги.

Он огляделся по сторонам, осматривая оборудование и обстановку кухни. Потом кивнул.

— Да, если нужные машины покупать и продавать по нужным ценам, то на этом можно заработать кое-какие гроши. Но если отдавать их почти даром, как в вашем случае, то тогда, конечно, нет.

Он сел рядом с ней за стол, подождал, пока она нальет ему кофе, и посмотрел на нее столь проникновенным взглядом, что она залилась краской. Одним пальцем он ласково погладил ее по тыльной стороне руки.

— Мы сразу поедем, Марго, или побудем здесь еще немного?

— Думаю, будет лучше, если мы поедем сразу.

Он кивнул, показывая, что безропотно принимает ее решение.

— А водите вы хорошо. Очень хорошо водите. И машину чувствуете прекрасно.

— Просто вы хороший учитель, Бернд. В автошколе мне ох как несладко приходилось.

— Но почему? Вы правда хорошо водите. Дом посмотрели?

— Да. Впечатляет. Даже очень. Просто господский дом. Для дачи, пожалуй, даже немного слишком роскошно.

— Верхний этаж хотите посмотреть?

— А что там? Спальня? Ее мне видеть необязательно. Там наверняка тоже все очень стильно.

— Зеркальных потолков там нет, если вы об этом.

— Вы один тут живете? Вы женаты?

— Да. И вполне счастливо.

— Тогда, думаю, нам пора ехать. Жена, наверно, вас уже заждалась.

— Нет, — сказал он, беря ее за руку и поднося к губам.

— Это еще что? — возмутилась девушка, сердито отдергивая руку. — Или я должна расплатиться с вами за поездку? Думаете, вы своим шикарным домом так меня поразили, что я тут же лягу с вами в постель, господин Вилленброк? Вы, часом, не для таких ли надобностей этим домом обзавелись?

— Марго, милая, ну зачем же сразу так сердиться. Я всего лишь поцеловал вам руку, что в этом такого? Всего лишь мелкий знак внимания. Галантный рыцарский жест. Старинный немецкий обычай. Разве вы в школе не проходили про это?

— Поехали обратно. Нечего дурочку из меня делать. Вы мне в отцы годитесь.

— А вот это уже удар ниже пояса.

— Если вы уже допили, я вымою посуду. Ради двух чашек, надеюсь, вы не станете включать посудомоечную машину.

— Я бы включил. Я стараюсь избегать любой физической работы, которую за меня может выполнить машина. В этом вся соль, Марго. Я плачу деньги, чтобы купить себе время, которое не хочу тратить на нудные, противные занятия. Деньги избавляют меня от некоторых постылых обязанностей. Короче, я покупаю себе время для жизни. Когда у тебя есть деньги, и такое, оказывается, тоже возможно. Только поэтому деньги для меня что-то значат.

— Если уж вам так важно время для жизни, лучше бросили бы курить.

— А вот это опять-таки, на мой вкус, слишком прямолинейно. Но вы правы, я недостаточно последователен. Если нетрудно, вымойте, пожалуйста, посуду, а мне еще в сарай заглянуть надо.

Он встал, стоя допил свой кофе, коротко ей кивнул и вышел. Студентка ополоснула посуду и, прежде чем убрать в шкаф, тщательно ее вытерла. Она включила радио и теперь из окна наблюдала за Вилленброком, который, раздвинув доски, исчез в темных недрах сарая. Возвратившись в дом, он остановился на пороге кухни и спросил девушку, готова ли она ехать.

— Извините меня, — сказала она. — Боюсь, я повела себя слишком резко. Как школьница.

— Должно быть, вы решили, что попали в лапы к насильнику.

— Мне очень жаль, извините.

— Да не за что, — проронил он.

Она стояла перед ним, и тут он внезапно обнял ее за талию, притиснул ее всю к себе и поцеловал. Она пыталась отпихнуть его, но он держал ее крепко и прижимал к себе все сильней. Их лица сблизились почти вплотную, и они смотрели теперь друг на друга молча, неподвижно, не выказывая никаких чувств.

— Отпусти меня, — попросила она.

Он уронил руки.

— Значит, едем? — спросил он.

— Да, сейчас, — отозвалась она. — Я только хочу сперва взглянуть на верхние комнаты. Если можно, конечно.

Он отступил в сторону, давая ей дорогу, указал на лестницу и сказал:

— Пожалуйста. Иди первой.

Она медленно поднималась по широкой витой лестнице, долго изучая двойные портреты в рамах — крестьянские супружеские пары в национальных уборах Померании. Заперев входную дверь, он неспешно последовал за ней, застывая в неподвижности всякий раз, когда она останавливалась.

— Красиво, — сказала она. Широко раскрытыми, с грустной поволокой глазами осматривала она верхние комнаты. В спальне Вилленброк продемонстрировал ей собственной конструкции платяной шкаф, дверцы которого раскрывались сами одним нажатием кнопки. Вилленброк стоял рядом с ней, руки в карманах.

— Зачем ты мне позвонил? Зачем привез меня сюда? Дать уроки вождения?

— Я хотел видеть тебя, Марго.

— Но ты, по-моему, женат.

— Да.

— А твоя жена?

— Я хотел видеть тебя. Или это преступление? Ты мне понравилась. С первого взгляда. Как только ты вошла к нам на двор, меня как молнией поразило. Что же я могу с собой поделать? Ты невероятно красива, Марго.

— Не знаю. Вообще не знаю, зачем я сюда зашла, зачем я вообще с тобой поехала.

— Я тоже не знаю. Но это прекрасно. Прекрасно быть с тобой вместе.

— Я не лягу с тобой, Бернд. Это так, для ясности.

— Ну конечно. Разве я что-нибудь об этом говорил? Я просто рад, что удалось провести вместе с тобой день. Хочешь осмотреть остальные постройки? Но там еще не закончено, мне там еще года два работать.

— Нет, не хочу. Зачем все-таки ты мне позвонил? Ну скажи, только честно.

— Ну что мне сказать? По-моему, я немножко в тебя влюбился. Но я знаю, я же тебе в отцы гожусь.

— Я не то имела в виду, Бернд.

— Имела, не имела, но это правда. Бог мой, как же ты прекрасна.

— Прекрати, ты меня смущаешь.

— Можно кое о чем тебя попросить, Марго? Я бы очень хотел поцеловать тебя в щечку, если ты не против, конечно.

— Не знаю. К чему все это, Бернд?

— Один поцелуй, только в щечку? Но если ты не хочешь, я понимаю, Марго. Бабочек и насекомых нельзя трогать, они слишком хрупкие.

— Ради бога, Бернд, я не знаю. Я вообще уже ничего не соображаю.

— Ты хотела бы уйти? Хочешь, мы поедем?

— Нет. Еще нет.

— Я сейчас тебя поцелую, Марго. Нежно-нежно, ласково-ласково. Как целуют бабочек.

Он медленно приблизился к ней и поцеловал ее в щеку. Она повернулась к нему лицом, его рука ласково обвила ее шею и притянула к себе.

В Берлине они простились на улице. Молодая красивая женщина поблагодарила его за терпение, с которым он обучал ее водить машину.

— Если у тебя снова будут проблемы с машиной, позвони, — сказал он, целуя ее в щечку.

— Это не я тебе позвонила. Это ты мне позвонил. Или забыл уже?

— Какое счастье, что я тебе позвонил, Марго. Время от времени я буду давать о себе знать. Дивная ведь вышла поездка, верно?

— Дивная, — согласилась она. — Только лучше не звони мне больше. У меня друг ужасно ревнивый. Пусть все так останется.

Она помахала молодому человеку, который смотрел на нее, свесившись из окна четвертого этажа, заперла машину и через дорогу легкой, пружинистой походкой направилась к дому. Вилленброк неотрывно смотрел ей вслед, пока она не скрылась в подъезде. Потом закурил сигарету, поднял глаза на парня, который все еще глазел на него сверху, и враскачку, не торопясь двинулся к своему авто.

7

За два дня до Рождества он сунул в руки Юреку конверт.

— Твоя рождественская премия, — пояснил он. — Увидимся девятого. Отдыхай как следует и передай от меня привет жене. Кстати, как твой парень? Справилась она с ним или он все еще колобродит?

— Он все еще с той женщиной и ни о чем не желает слышать, — ответил Юрек. — И у него скверная компания. Сплошь бандиты.

— Что ты такое говоришь? Сколько твоему парню — тринадцать, четырнадцать? Какие же это бандиты — мальчишки еще. Ну, сорванцы, но ведь и мы такие были.

— Ему семнадцать. Какие там мальчишки — настоящие головорезы, молодые, сильные, наглые. Без отца. А что я могу поделать? Что я там в Познани зарабатывал? Гроши! На это не проживешь.

— Да ты поговори с ним, голова-то у парня есть. Он должен понять, ради кого ты тут вкалываешь. Скажи ему, что он теперь мужчина в семье, вместо тебя, должен быть матери защитником и опорой. У тебя как раз будет пара дней с ним потолковать. И привези ему что-нибудь в подарок. Компьютер купи, его это отвлечет. Мысли в другую сторону направит.

— Есть у него уже компьютер. Я ему все купил, о чем мечтают ребята его возраста. Толку никакого.

— Трудный возраст, — вздохнул Вилленброк, не зная, чем еще помочь. — Но все равно — желаю тебе счастливого Рождества. Только не бей мальчишку, все равно не поможет.

— Помочь не поможет, повредить не повредит. Всеблагого Рождества, шеф.

После того как Юрек с ним попрощался, Вилленброк пошел к себе в контору прибраться. На сей раз он прихватил с собой дорожную сумку — документов надо было взять больше, чем обычно: дома он хотел поработать.

Незадолго до пяти, когда он уже включил прожектора наружного освещения, появился Пазевальд, готовый приступить к ночному дежурству. Вилленброк и ему вручил конверт с премией, а встретив его изумленный взгляд, пояснил:

— Я знаю, вам еще не полагается, но вам ведь тоже хочется отпраздновать Рождество, даже если финансовая инспекция на этот счет другого мнения.

Он спросил Пазевальда, не понадобится ли тому телевизор, у него есть небольшой, портативный, если надо, он готов его предоставить, но сторож отказался. Телевизора ему и дома хватает за глаза, а здесь он будет книжки читать, которые дочка ему подобрала.

Вилленброк понимающе кивнул.

— На праздники вам вовсе не обязательно целыми ночами здесь сидеть. Достаточно, если вы раза два-три за ночь наведаетесь, посмотрите, все ли в порядке. Бандиты — они ведь тоже Рождество Христово празднуют. Мне бы не хотелось, чтобы ваша семья встречала Рождество без вас.

Пазевальд, однако, и это предложение отклонил.

— Внуки еще слишком маленькие, на них я и после обеда успею посмотреть, вечером они спать будут. А жена вообще любит рано ложиться. Так что ей даже лучше, что я дома торчать не буду.

Вилленброк подхватил свой "дипломат" и сумку.

— Тогда счастливого праздника, — сказал он. — Увидимся третьего. Может, я и раньше как-нибудь загляну. А если что — мой телефон у вас есть.

Сунув чемоданчик и сумку в багажник, он выехал со двора. Заехал к ювелиру, чтобы взять золотую цепочку, заказанную для жены. Он расплатился и совсем уже собрался уходить, как вдруг, резко повернувшись в дверях, решительно указал на два украшения, лежавших в витрине прилавка. Он попросил покрасивее упаковать и кольцо, и брошь — в подарок теще и невестке. Затем поехал в сторону Александерплац, в просторечии именуемой "Алексом", поставил машину перед управлением полиции и зашел в магазин "Электроника" купить еще несколько подарков, в том числе и себе. Из машины позвонил жене, сообщил, что он в городе и будет позже. Открыл багажник, просмотрел и перебрал подарки, соображая, не забыл ли кого. Потом снова уселся в машину и сделал довольно много телефонных звонков. Еще полчаса спустя он уже сидел в баре отеля на Жандарменмаркт, заказав себе кофе, листая утреннюю газету и внимательно поглядывая на постояльцев, посетителей и официанток. Когда в вестибюль вошла эффектная рыжеволосая дама в длинном черном пальто и меховой шляпке, он вскочил и поспешил ей навстречу. Поцеловав даму в щечку, он отвел ее к своему столику и помог снять пальто, которое бросил на спинку стула.

— Рад тебя видеть, госпожа доктор.

— Ты совсем с ума сошел, — напустилась на него дама, — какие такие у тебя срочные дела, чтобы сдергивать меня с заседания правления факультета? Это наше итоговое заседание за год!

— Отлично выглядишь, Шарлотта! Очень элегантно!

— И ради этого ты вытащил меня с заседания? Пойми, это действительно важно. Распределение бюджета на будущий год.

— Как хорошо, что ты смогла выбраться, Шарлотта. Я просто не мог тебя не увидеть, вот и все.

— Ты сумасшедший. Нет, я просто себе не верю. Я мчусь сюда сломя голову, и все это только для того, чтобы выпить с тобой кофе? Скажи мне, что это неправда. Ты же говорил, речь идет о человеческой жизни.

— Да, о моей. Мне казалось, я просто умру, если не увижу тебя.

— Отлично. Я пью с тобой кофе и немедленно ухожу.

Вилленброк схватил ее за руку.

— На большее я и не надеялся. Мне просто необходимо было еще раз увидеть тебя, прежде чем год кончится.

— Боишься праздников? Трогательных семейных торжеств?

— Конечно, — ответил он. Он подозвал официантку и заказал еще кофе и бутылку шампанского.

Еще через полчаса он получил у портье ключи. Прежде чем подняться вместе с дамой на лифте, он попросил официантку отнести початую бутылку шампанского к ним в номер.

Все праздники Вилленброк провел вместе с женой у ее матери, что жила в деревне на Везере, к югу от Бремена. Вообще-то родом она была с востока, из Тюрингии, но после смерти мужа перебралась к одному из сыновей, который обосновался в Нижней Саксонии, начинал там колодезным мастером, а теперь заимел собственную фирму, которая помимо строительства колодцев проводила и геодезические исследования под застройку. Мать поселилась в мансардном этаже сыновней виллы. Мансарда была с отдельным входом, и мать обитала там очень одиноко, поскольку в деревне, хоть она и жила там уже добрых десять лет, на нее все еще смотрели как на чужачку, как на приезжую; то есть с ней, конечно, здоровались, перебрасывались при случае парой слов, но ни короткого знакомства, ни тем паче дружбы никто водить не желал. И хотя сын ее жил в одном с ней доме, ни сам он, ни члены его семейства почти не находили времени проведать старушку или пригласить ее к себе.

Вилленброк с женой остановились в мансарде у тещи. Шурин, правда, предлагал ему гостевые хоромы на втором этаже, но мать Сюзанны очень просила все Рождество пробыть рядом с ней, и поскольку она уже приготовила им отдельную комнату, а дочь боялась, да и не хотела ее обидеть, пришлось им уступить ее желанию.

Не считая короткой прогулки по деревне, они все время безвылазно просидели в четырех стенах вместе с остальными домочадцами. При этом от Вилленброка не укрылось, что после всех неизбежных совместных мероприятий — семейных трапез, похода в церковь, торжественной раздачи рождественских подарков — обитатели дома, как тараканы, торопились тут же расползтись по своим углам. Двое детей играли возле рождественской елки, но при появлении взрослых немедленно ретировались каждый в свою детскую. Все три женщины, Сюзанна, ее мать и свояченица, целыми днями пропадали на просторной кухне. Если они не были заняты стряпней или стиркой, значит, просто сидели за столом и беседовали. Что же до самого Вилленброка, то его, как он вскоре с яростью осознал, оставили на растерзание самодовольному, всезнающему и непререкаемому шурину Фреду. Фред уже двадцать с лишним лет был самостоятельным предпринимателем, к тому же преуспевающим, а поскольку, как сам он объяснял, он человек "семейственный", он непременно и всегда желал и норовил обогатить мужа сестры ценными советами и передать ему хотя бы часть своего бесценного полезного опыта. Стоило Вилленброку устроиться у телевизора, чтобы посмотреть спортивную передачу, как Фред без всяких церемоний, а то даже и успевая буркнуть, что спорт — это сущая мура, телевизор выключал и тащил его к себе в кабинет, чтобы там, за сигаретой и коньяком, обрушить на него очередную дозу неприкрыто снисходительных поучений, мелких хитростей и предпринимательских премудростей. Вилленброку не

хотелось ни говорить с ним, ни спорить. Он молча окунался в этот словесный поток и старался сосредоточиться на своей сигарете. Смотрел, как медленно вгрызается ее рдеющий жар в тонкую папиросную бумагу, а образующийся из этого рдения стройный, хрупкий столбик пепла старался сберечь как можно дольше, дабы лишь в последний миг, когда сгоревший табак, уже серый и безжизненный, угрожающе начинал крениться, успеть стряхнуть его в пепельницу.

Фред тем временем внушал ему, как надо обходиться со своим банком, с кем вести переговоры, а с кем из банковских служащих ни при каких обстоятельствах дела не иметь.

— Ты всегда должен говорить только с самим шефом, с ним или с его заместителем. Ты должен поставить себя так, чтобы, когда бы ты в банк ни вошел, любой служащий тут же кидался докладывать о тебе шефу. Только с ним ты все и обсуждаешь, в конце концов, это ведь твой банк, вот из этого и исходи. Они за счет твоих денег жируют, они жалованье получают только потому, что ты им свои денежки предоставил, а они берут себе часть твоих процентов. У тебя, я так думаю, там очень даже хорошенькая сумма на счету лежит, а значит, и вести себя с ними надо соответственно. Не доверяй им, проверяй их при любой возможности, а главное, постоянно давай понять, что у тебя и с другим банком контакты имеются. Заставь их нервничать, тогда они будут особенно хорошо на тебя работать. Позови директора к себе на фирму, на них это производит впечатление, пусть даже он и не заедет к тебе никогда, а помнить все равно будет.

Тут он захотел узнать, как именно Вилленброк вложил свои деньги и поручил ли он банку разработать для себя финансовую стратегию. Вилленброк загасил сигарету, посмотрел на шурина, помолчал и сделал вид, что задумался. Потом встал, подошел к старинному, темного коричневого дерева буфету и с интересом стал ощупывать прихотливую резьбу столбцов.

— Тысяча восемьсот двадцать четвертого года, — сказал Фред. — Наследственная вещь моей матери. Сейчас это целое состояние.

Подойдя к буфету, он открыл правую верхнюю дверцу, засунул руку вглубь отделения и где-то под полкой нажал незаметную кнопку. В боковой стенке открылось еще одно отделение, потайное. Фред с гордостью смотрел на зятя, привычно ожидая изъявления восторгов.

— Здесь четыре таких отделения. Скрыты замечательно, действуют безотказно. Настоящая немецкая работа. Сделано на века.

— Я знаю, — проронил Вилленброк. — Ты мне этот буфет уже два раза показывал.

— Да, шикарная вещь. Мне за него несметные деньги предлагали. Но с тобой-то что? Твой консультант по налогам — он как вообще, дельный?

— Да. Отличный парень. А гандболист какой! Мы с ним в одной команде играем. За ветеранов, конечно.

— Это нехорошо, Бернд. Ты должен держать его на дистанции. Как ты сможешь чего-то от него потребовать, мозги ему вправить, если вы товарищи по команде, вместе мячиком перебрасываетесь?

Вилленброк задумчиво кивнул и вдруг спросил:

— Слушай, а ты жене хоть иногда изменяешь?

— Что? Ты это о чем?

— Я спрашиваю, ты только со своей женой спишь или и с другими тоже? По натуре ты кто — однолюб или ходок?

Фред непроизвольно оглянулся на закрытую дверь, потом сердито буркнул:

— Не понимаю, к чему это? Мы разговариваем, беседуем друг с другом, и вдруг ты с таким вопросом.

— Ну так, просто в голову взбрело.

— Это совершенно не тема для семейных разговоров. А уж на Рождество и подавно. Странные у тебя идеи. Я ведь не спрашиваю у тебя, изменяешь ты моей сестре или нет.

— Я бы тебе ответил.

— Да не желаю я об этом слышать! Все, хватит, больше ни слова! Сменим тему.

Неся блюдо с пирогом, в комнату вошла теща Вилленброка и бросила на мужчин испытующий взгляд.

— Что, опять уже поссорились? Раз в году видитесь — и то по-хорошему не можете.

— Мы не поссорились, — сказал Вилленброк.

Шурин его кивнул и добавил:

— Мы, мама, говорили о делах.

— Но не на Рождество же, мальчики! Пойдемте в гостиную. Я уже накрыла к чаю.

На третий день после Рождества Вилленброк с женой вылетели из Гамбурга в Венецию. Они сняли отдельную квартирку в районе канала Канареджо, в маленьком двухэтажном пансионе, которым заправлял, судя по всему, один человек, во всяком случае они видели только этого маленького старичка: что утром, что вечером, то с завтраком на подносе, то со свежими полотенцами в руках, он робко протискивался мимо них по лестнице, всякий раз не преминув осведомиться, всем ли они довольны, а на прощанье заметить, что погода сегодня отвратительная, зато на завтра по телевизору обещали солнце. Обе комнатенки оказались узкими, плохо обставленными, а завтрак до того скудным, что они после первого же раза решили завтракать в городе. Еще в Берлине Вилленброк предлагал жене выбрать четырехзвездочный отель, но она почему-то непременно хотела поселиться в этом замызганном пансионе. Она, мол, ненавидит все эти роскошные гостиницы, которые повсюду на одно лицо и где, едва в вестибюль войдешь и на лифте в номер поднимешься, сразу такое чувство, будто ты здесь уже когда-то был. Дорогостоящий и даже оригинальный стиль этих заведений, на взгляд Сюзанны, все равно повсюду оставался в чем-то одинаковым, а значит, подменным и безликим. В этих отелях она ни на йоту не чувствовала своеобразия города, в котором находилась, и никакими силами не могла избавиться от синдрома "дежа вю", отчего и сам город начисто утрачивал для нее обаяние неповторимости. Вот почему она предпочитала останавливаться в небольших заштатных пансионах, скромность и теснота которых тем не менее позволяли ей ощутить окружающую жизнь. Недорогие пансионы, общественный транспорт, дешевые закусочные и забегаловки, куда заходят только местные, изредка поездка на такси с болтливым или немногословным водителем — вот что определяло для нее неповторимые приметы города, запечатлевало город в памяти и становилось не менее важным, чем знаменитые достопримечательности, дворцы и музеи, поэтому, только увидев эту вот прозаическую изнанку, она начинала город как-то чувствовать, словно одним глазком подглядела в его душу. Много лет назад она встретила подобное суждение в романе одного весьма чти-

мого ею автора и незамедлительно возвела в свой жизненный принцип. И с тех пор старалась соблюдать этот принцип во всех путешествиях и отпусках. Поэтому и теперь решительно отказалась переехать в какой-нибудь отель на Лидо или на Большом канале, а Вилленброк, зная об этом ее обыкновении и относясь к нему как к милому чудачеству — хотя сам-то он предпочитал жить в дорогих отелях и ради приобщения к местным обычаям и нравам отнюдь не склонен был лишаться привычной роскоши, — желанию жены подчинился беспрекословно.

Три дня бродили они по серой, дождливой Венеции. Они старались избегать улочек, запруженных потоками туристов, и осваивали пустынные окраины, сиживали в скромных кафе и закусочных венецианских ремесленников и рыбаков, часами наблюдали за их житьем-бытьем, слушали их гортанный южный говор, следили за бурной жестикуляцией их беззлобных перебранок — словом, были благодарными зрителями разыгрываемой для них пьесы из народной жизни.

Полдня провели они на кладбищенском острове Сан-Микеле. Сюзанна взяла с собой фотоаппарат и фотографировала все интересовавшие ее могилы и надгробья, а также переписывала некоторые, особенно тронувшие ее эпитафии. Вилленброк сперва покорно таскался вместе с ней по погосту, но через час оставил ее бродить одну, а сам уселся на ступеньках лестницы у входа на кладбище и принялся звонить, пока она, усталая и счастливая, не вернулась, после чего они вместе переправились еще и на остров Мурано.

В последний день своего отпуска они сели в гондолу и проплыли по каналам. В шикарном лакированном челне Вилленброк явно скучал, ему было неприятно, что сотни туристов пялятся на него с мостов и набережных, но Сюзанна настояла на этой поездке. Гондольер был для нее все равно что венецианский таксист, всю дорогу она ломала себе язык, изъясняясь с ним на чудовищной смеси немецких, итальянских и английских слов, сопряженных друг с другом бог весть какой грамматикой. Вилленброк забавлялся этой тарабарщиной, на которой они, впрочем, весьма оживленно друг с другом общались, и для усугубления лингвистического хаоса время от времени с умным видом подбрасывал в разговор фразу то на русском, то по-польски, однако эти двое с толку себя сбить не давали. Сюзанна просто пропускала его реплики мимо ушей, а гондольер, низенький крепкий мужичок лет пятидесяти, казалось, вообще не замечает, что в их беседе используются какие-то еще, совершенно неведомые ему наречия.

На следующее утро Вилленброк расплатился за проживание и по настоянию Сюзанны дал старичку, который вновь был застигнут ими где-то в коридоре со стопкой скатертей в руках и выписывал им счет, перебросив эти скатерти через плечо, солидные чаевые. Тот, рассыпаясь в благодарностях, все еще со скатертями на плече, проводил их до конца переулка и показал дорогу до ближайшей пристани, которую они и без него уже прекрасно знали.

Под вечер они уже снова были в Берлине. Бросив дома чемоданы, оба сразу, каждый на своей машине, поехали в город, Сюзанна в свой бутик — снять с двери объявление об отпуске, просмотреть пришедшую за это время корреспонденцию и подготовиться к завтрашнему трудовому дню, Вилленброк — на свой авторынок, где, обойдя мирно стоящие машины, устроился за рабочим столом в своей бытовке, просмотрел письма, вскрыл пришедшую наконец посылку с электронными запчастями,

которые он заказывал, а потом засел за телефон, пока не появился Пазевальд со своей собакой. И только выслушав его отчет, Вилленброк поехал, как и намеревался, в спортзал на Ганзейскую улицу. Предъявив девушке у приемной стойки свой членский билет, он получил ключ от шкафчика и направился в раздевалку. Спустя какие-то минуты он уже был в зале, поприветствовал товарищей по команде, уже вовсю увлеченных игрой, подбежал к Вильгельму, их капитану, чтобы тот определил ему место, после чего целый час, пыхтя и потея, с наслаждением носился по паркету, гоняясь за мячом и изредка даже забивая голы. После душевой все они отправились в соседний итальянский ресторанчик пить пиво. Обсудили игру, поговорили о том, кто как провел новогодние праздники, затем, как обычно, завели разговор о делах. Все в их команде, за исключением двоих, которые вместе работали в одном банке, были самостоятельными предпринимателями, владельцами небольших фирм.

Гензер, продавец компьютеров, специализирующийся на русскоязычном программном обеспечении, в этот раз тянул одеяло на себя, так не терпелось ему рассказать о пережитом нападении. Поскольку он часто ездил в Восточную Европу, он вообще много рассказывал о своих приключениях в Москве, Петербурге и Киеве. Он мог со смаком поведать об умопомрачительных гонках по ночным улицам, о подписании контракта, во время которого откуда ни возьмись появлялись вооруженные братки и молча вставали за спиной у своего русского босса, который, бровью не поведя и словом не упомянув об их присутствии, как ни в чем не бывало продолжал с улыбкой вести переговоры и невозмутимо стоять на своем.

Однажды ночью в гостинице, начал он, когда взоры товарищей по команде наконец обратились на него, он проснулся у себя в номере оттого, что услышал, как в вещах его кто-то роется. Это был мужчина, он жестом приказал ему лежать тихо и с полнейшей невозмутимостью продолжал обшаривать все отделения его чемодана. А потом просто молча вышел из комнаты. Гензер включил свет и тут же позвонил администратору. К нему немедленно явились двое представителей дирекции, пытались его успокоить и спросили, что у него пропало. Но тут же накинулись на него с упреками: почему, мол, он не запирает за собой дверь. И сколько ни пытался он уверить, что, напротив, запирает дверь очень тщательно, они тыкали ему в дверной замок без каких-либо следов взлома и на его ключ, по-прежнему вставленный в замочную скважину. Затем попросили в милицию не обращаться, пообещав, что администрация отеля полностью возместит ему понесенный ущерб. В ответ на что он им заявил, что просто мечтает взглянуть в глаза этому взломщику и спросить у него, каким это образом тот проник к нему в номер, если он, Гензер, совершенно точно помнит, как он, посидев в гостиничном баре, поднялся на лифте на свой этаж, прошел в номер, закрыл и тщательно запер за собой дверь, для проверки даже подергав ручку, дабы убедиться, что дверь действительно заперта. И ручку он подергал настолько энергично, что даже зацепился за нее обручальным кольцом и слегка ободрал кожу на пальце. Короче, совершенно исключено, чтобы он забыл запереть за собой дверь по небрежности или по рассеянности. А дня через два официант шепнул ему, что он совсем не единственный постоялец, кого в ту ночь навестили нежданные гости, но шепнул только по секрету и на него просил не ссылаться. Якобы дирекция гостиницы строжайше приказала всем служащим ни словом не упоминать о необъ-

яснимых происшествиях, имевших место той ночью. А они и сами гадают, как воры сумели проникнуть в запертые номера, поскольку — Гензер специально узнавал — ни через вентиляционные шахты, ни через окна это сделать невозможно.

Все выслушали рассказ Гензера с интересом и стали строить предположения насчет того, как еще можно попасть в запертый гостиничный номер. Но прежде чем разговор перекинулся на другую тему, Гензер встрял с другой историей, на сей раз про свою московскую подружку, у которой он прежде, случалось, жил. У нее квартира на пятом этаже, так вор взобрался по пожарной лестнице, проник на кухню и запросто вошел в комнату, где Гензер со своей подружкой спали. Оба они, конечно, проснулись. И подружка, хозяйка квартиры, тут же предостерегающе положила руку ему на грудь. Как потом выяснилось, она боялась, что он вскочит или закричит. Это наркоман, шепнула ему подружка, ему нужна только пара сотен на очередную дозу, будешь лежать тихо, он ничего тебе не сделает, зато если ты его напугаешь, запросто может ножом пырнуть. Вор между тем на секунду направил узенький луч своего карманного фонарика в сторону их кровати. Видно, заметил, что они проснулись, и хотел убедиться, что они ничего не намерены предпринимать. Аккуратно и очень тихо он одну за одной открывал дверцы шкафа, выдвигал и обыскивал ящики, время от времени для проверки постреливая лучом фонарика в их сторону. Гензер и его подружка из-под прикрытых век наблюдали за этим тщательным обыском. Наконец преступник обнаружил пиджак Гензера, быстро обшарил, вынул бумажник, достал из него деньги и сунул бумажник обратно в карман. Всякий раз, когда на них падал луч фонарика, они с подружкой плотно закрывали глаза и старались не дышать. Спустя минут десять, которые показались им вечностью, ночной ворюга наконец выскользнул из комнаты, прошел на кухню и вылез там из окна. Только когда его лапы в черных перчатках соскользнули с подоконника — через открытую дверь спальни кухонное окно просматривалось как на ладони, — подружка Гензера убрала руку с его груди, но попросила свет пока что не включать. Наконец оба они встали, она кинулась к телефону звонить в милицию, а он, Гензер, опрометью помчался в туалет, потому что со страху чуть не обделался. Работники милиции явились к ним только часов через шесть и без всякого энтузиазма составили протокол. Поскольку ни Гензер, ни его подружка не могли описать лицо преступника и он был в перчатках, им прямо заявили, что шансов на раскрытие преступления почти никаких, а подружке дали совет понадежнее укрепить входную дверь и особенно окна. Впрочем, куда больше, чем факт взлома, сотрудников милиции заинтересовал сам Гензер, они опросили подружку, в каких она с ним состоит отношениях и как часто он у нее останавливается, а у него пожелали узнать, из какого он города, кто по профессии, чтобы тут же полюбопытствовать, нельзя ли по дешевке разжиться у него компьютерами — для детишек, чтобы играли. Гензер начал было возмущаться, но подруга попросила его не выступать. С тех пор он в России останавливается только в гостиницах, хотя вот и там его тоже уже обворовали.

Когда торговец компьютерами закончил свою историю, за их столом воцарилась мертвая тишина.

— Боже правый, — выдохнул наконец кто-то, а Вилленброк спросил у Гензера, не бывает ли ему страшно и не подумывает ли он перенести

сбыт своих компьютерных программ куда-нибудь в более спокойное место.

Тот отмахнулся.

— От нападения ты нигде не застрахован, — возразил он. — Сегодня вот домой пойдешь и в точно такой же дурацкий переплет можешь влипнуть. А когда и вправду бывает страшно, я для успокоения в свои приходные книги гляжу. Жизнь золотоискателей тоже полна опасностей, так вот: там ты тоже считай что золото ищешь, и небезрезультатно, ты уж мне поверь. Страна на подъеме, там огромные деньжищи в ходу.

— Да и где ты вообще в безопасности? — заметил Герд, консультант Вилленброка по налогам, здоровяк с мощным бычьим загривком и огромной, в полголовы, залысиной. — В Москве и в Нью-Йорке ты хотя бы начеку. Там ты знаешь, нельзя ночью ездить в метро, нельзя в темное время суток заходить в парк. А вот у нас в Германии, где никто ничего такого не ждет, где люди живут беззаботно, — вот тут-то опасно по-настоящему. Ты тут ни к чему не готов — и уже поэтому каждую секунду рискуешь жизнью.

Гензер согласно кивнул. Он явно был доволен эффектом, который произвели на товарищей по команде его истории. Вилленброк подозвал официанта, расплатился и допил свое пиво. Он подождал, пока и остальные расплатятся, и из ресторана вышел вместе со всеми.

Когда на следующее утро он пришел на работу, Юрек в переоборудованной оранжерее уже загнал на эстакаду очередную машину и, весь в масле, орудовал под ней в смотровой яме. На вопросы Вилленброка, как он провел праздники и как вообще семья, Юрек отвечал односложно, а потом вдруг буркнул, что снова открывать сейчас лавочку — это просто деньги на ветер, их покупатели все равно на этой неделе не появятся, а если машинам какой ремонт нужен, то он, Юрек, и неделю спустя спокойно бы его сделал. А дома у него и квартира неотремонтированная осталась, и кроликов резать некому, и даже крышу на зиму он гудроном пройти не успел. У жены, понятно, до всего руки не доходят, а он за неделю разве все переделает, что за год накопилось? Сын лопату в руки берет, только ежели над ним стоять и командовать, что и как делать. Вилленброк дал ему отвести душу, потом попросил в ближайшие дни перекрасить "опель", который вот уже четыре месяца у них на дворе стоит, глаза мозолит, а они от него все никак не избавятся.

— Выкраси-ка его красным, Юрек, и вот увидишь — на красный какой-нибудь дурак обязательно клюнет.

Юрек в ответ что-то пробурчал и с удвоенным остервенением принялся менять резиновый амортизатор подвески глушителя. Вилленброк предпочел удалиться в свою бытовку, где принялся раскладывать привезенную из дома документацию по ящикам и шкафам. Когда часы показали девять, он снова вышел во двор. Клиентов не было, но все равно он бодро добежал до ворот и широко их распахнул. Пусть уже издали будет видно — у него отпуск кончился, его авторынок снова работает.

В течение следующих двух недель ему предложили к продаже шесть машин. Четверо из автовладельцев приняли его условия и все как один заявили при этом, что он проворачивает выгодную сделку, — Вилленброк с каждым из них радостно согласился. Двое других после недолгих переговоров укатили ни с чем, потому что в цене Вилленброк вообще ни на грош не пожелал пойти им навстречу. Один из них даже вытащил из кармана прайс-лист какого-то автомобильного клуба, вознамерившись

указать Вилленброку на цены, якобы являющиеся чуть ли не обязательными. Вилленброк только посмеялся над ним от души, на что тот посулил обратиться в комитет профнадзора с жалобой на его аморальный деловой стиль. Вилленброк пожелал ему в этом начинании всяческих успехов и сам открыл ему дверь в знак того, что не смеет больше его задерживать.

8

В почте среди прочих писем и бумаг обнаружилось и приглашение одной из партий на дискуссионный вечер, посвященный проблемам развития микрорайона, на территории которого находился его авторынок. Вилленброк сперва недолго думая швырнул адресованное лично ему пригласительное письмо, а заодно и приложенные к нему рекламные проспекты и партийные брошюры в мусорную корзину, но потом, примерно час спустя, смутно припомнив какую-то царапнувшую глаз мелочь, выудил бумаги из корзины обратно. Он аккуратно разгладил скомканное письмо и внимательно прочел текст. Имя и фамилия основного докладчика — Фридер Гайслер — чем-то показались ему знакомы, и он стал вспоминать, где он мог их слышать. Пока наконец не сообразил, что точно так же звали бывшего начальника его исследовательского отдела, и стал прикидывать, уж не тот же ли самый это Гайслер. По идее тот Гайслер должен был остаться без работы, а в его возрасте новое место найти наверняка очень даже непросто. Может, вот он и вступил в эту партию, чтобы хоть как-то на хлеб заработать. Раньше-то он в политику никогда особенно не лез, Вилленброк даже не смог припомнить, в прежние-то времена был ли хоть этот Гайслер партийный или нет и каких вообще придерживался взглядов. О политике они с ним никогда не говорили. Может, в ту пору это было даже тихим, никем не замеченным достижением Гайслера — держать работу всей их исследовательской группы подальше от политики. Он, во всяком случае, не смог припомнить ни одного их заседания, на котором обсуждались бы политические события. Гайслер всегда вел эти заседания очень строго, пожалуй даже авторитарно, любые отвлечения на личные темы категорически пресекал. Вообще-то это даже странно, думал Вилленброк, но, с другой стороны, патологическое трудолюбие Гайслера всем тогда было известно, так что ни его усердие, ни твердокаменное стремление неукоснительно следовать повестке дня никого не удивляли, равно как и его строгие замечания, когда он, войдя в их рабочую комнату, заставал подчиненных хохочущими над очередным анекдотом или за обсуждением чьей-нибудь невероятно удачной покупки. Его все считали трудоголиком, но может, он просто не хотел неприятностей с дирекцией, вот и прятался за броней неутомимого работяги. Увидев сейчас на партийном приглашении его фамилию, Вилленброк испытал что-то вроде любопытства. Он прикнопил бумажку к стене и решил, что обязательно сходит на это собрание местных жителей, дабы взглянуть, действительно ли это тот самый Гайслер — бывший его начальник.

В последний вторник января он отправился в назначенное место — скромное кафе при выезде на автостраду. Поехал один, Сюзанна только удивленно хмыкнула, когда он рассказал ей, что едет на собрание жителей микрорайона, организуемое одной из партий, хочет взглянуть на

простых людей, от которых, в конце концов, столько зависит в судьбе его фирмы, а значит, и в его жизни.

Когда Вилленброк, миновав главный зал, вошел в просторную комнату заседаний, встреча уже началась. Четверо мужчин и одна дама, очевидно представители партии, сидели в торце за двумя сдвинутыми столиками. Столики были расставлены и по всему помещению, за некоторыми поодиночке устроились слушатели, лишь за двумя он заметил пары. Вилленброк занял место за пустым столом поближе к организаторам и стал разглядывать сонно внимающую публику. Двоих он узнал — владельца строительного рынка и хозяина экспедиционной фирмы, этим он кивнул. Потом обратил взгляд на президиум. Один из мужчин как раз держал речь о переименовании двух улиц в их районе, сетуя на то, что депутаты другой партии, явно желая сорвать важное дело демократических перемен в жизни города, этим переименованием ознаменованное, всячески оному противятся. Он говорил о старом и новом мышлении, о ретроградно настроенных народных избранниках, которых, увы, еще можно встретить даже в рядах партнеров по коалиции, и о бескомпромиссной решимости их партии все сделать ради будущего. Подле него сидел Гайслер, бывший начальник Вилленброка. Как только Вилленброк сел, Гайслер стал усиленно ему кивать. А поскольку Вилленброк на эти кивки никак не реагировал, Гайслер даже потихоньку, украдкой, сделал ему ручкой.

Справа от Гайслера расположилась единственная в президиуме дама, а за ней, гляди-ка, тот самый Вилли Фойербах, из-за которого в прошлом году Бернер специально ему, Вилленброку, звонил. Вилленброк уставился на него во все глаза, уж его-то он никак не ожидал здесь встретить. Его почему-то развеселило, что двое его бывших коллег нынче, похоже, всерьез заделались политиками или кем-то еще в том же духе. Может, размышлял он про себя, партии вообще этакий сливной приемник для всех неудачников, приют для тех, кто обижен жизнью и никак не может примириться с собственной человеческой заурядностью. Фойербах кивнул ему, когда заметил, что Вилленброк на него смотрит, и со своей стороны прощупывал его теперь тяжелым, угрюмым взглядом.

Докладчик между тем закончил свое выступление и предложил присутствующим высказываться. Поскольку ни один из немногочисленных слушателей высказываться не пожелал, он поинтересовался, какие у кого есть предложения, нарекания, инициативы по части коммунальной политики, многозначительно напомнив, что демократия осуществима только при активном участии всех и каждого, что она требует действенного вмешательства граждан в общественную жизнь. При этом он ободряющим оком призывно оглядел зал, но слушатели скучливыми глазами смотрели куда-то вдаль и, едва он пытался встретиться с ними взглядом, начинали уклончиво косить. Оратор взял небольшую стопку исписанных карточек, что лежали перед ним на столе, и, быстро их перебирая, продолжал поедать присутствующих своим оптимистическим, призывным взором. Потом заговорил о том, как высоко ценит лично он трудовой энтузиазм граждан Восточной Германии и волю к преобразованиям, проявленную ими и сейчас, и в прошлом, поскольку здесь, на востоке, трудящимся приходилось гораздо тяжелей и своих высоких достижений они добивались без серьезной поддержки извне и без помощи современной техники. Лично он не знает, проникновенно признался он, сумел бы он, забрось его судьба после войны в восточные районы отчиз-

ны, проявить столько же мужества и столько же упорства, чтобы выстоять в этой суровой године испытаний.

— А что еще оставалось здесь делать маленькому человеку, кроме как честно выполнять свою работу и заботиться о своем доме, о своих ближних, о семье! — выкрикнул он в полупустой зал. — Разумеется, вам приходилось как-то уживаться с начальством, которое здесь насаждалось, — глубокомысленно изрек он и снова обвел зал долгим, многозначительным взглядом. — С начальством, которое власть поставила над вами, — добавил он и после умело выдержанной паузы продолжил: — Не знаю, как бы повел себя лично я, возможно, я бы тоже вступил в одну из поощряемых государством партий, во имя личного спокойствия, дабы иметь возможность продвижения, дабы уберечь от неприятностей жену и детей.

Тут он кивнул сидящему рядом с ним коллеге по президиуму, который в течение всей его речи не сводил с аудитории целеустремленно сияющего взгляда.

— Вот вы, коллега, в каких еще органах госбезопасности могли вы здесь служить, если демократических органов госбезопасности тут и в помине не было? — задал он риторический вопрос и, судя по всему, сам остался глубоко доволен своим ораторским перлом.

Вилленброк даже вздрогнул от неожиданности и уставился на оратора, оторопев от веселого изумления. Потом достал из кармана пиджака ручку, а в другом кармане отыскал какой-то конверт, лишь бы записать только что услышанную сентенцию. Докладчик, все еще стоя за обтянутым желтым полотнищем столом, заметил, что Вилленброк записывает, и еще раз поинтересовался, не желает ли кто-нибудь из присутствующих высказаться, выразительно при этом на Вилленброка глядя. Вилленброк почувствовал на себе его взгляд, но и не подумал поднимать глаза, а вместо этого медленно, с удовольствием дописал замечательную фразу до конца и неспешно убрал конверт и ручку обратно в карман.

Поскольку высказываться по-прежнему никто не желал, оратор, степенный человек в броском цветастом галстуке, завершил свое выступление в том смысле, что отныне рассматривает это собрание общественности как знак поддержки его политики и что он, со своей стороны, заверяет всех присутствующих граждан, что не пожалеет никаких усилий в самоотверженной борьбе за осуществление их прав, интересов и устремлений.

Дама из президиума поблагодарила докладчика за выступление и предоставила слово партийному коллеге Фридеру Гайслеру, который в окружной управе отвечает за вопросы экологии и городского развития, — он расскажет о состоянии и ходе работ по развитию в новых окраинных районах систем сброса технических вод и их подключении к центральным городским сетям. Гайслер говорил очень коротко, почти не отрываясь от бумажки, ибо ему пришлось оперировать множеством цифр. Зато после его выступления многие пожелали высказаться, в том числе и владелец экспедиционной фирмы, и возникла горячая перепалка по вопросам стоимости подключения к сетям и размеров оплаты за пользование ими. Когда же, выслушав всех, Гайслер попросил, с учетом изложенных им цифр и статистических данных, с предлагаемыми расценками все-таки согласиться, владелец экспедиционной фирмы просто как с цепи сорвался. Он вскочил, выбежал к столу президиума и начал орать так, что все испуганно умолкли, а исчерпав запас своих сбивчивых

обвинений и не зная, что сказать дальше, в ярости вышел вон, изо всех сил саданув дверью. На секунду в зале воцарилась гробовая тишина. Вилленброк с интересом смотрел на застывшие от растерянности лица членов президиума. Дама что-то прошептала на ухо соседу, тот в ответ передернул плечами. В этот момент мужчина за соседним с Вилленброком столиком встал и, не прощаясь, вышел. Вслед за ним поднялись еще один мужчина и женщина. Теперь в зале оставалось всего семь слушателей, а четверо мужчин и дама в президиуме все еще продолжали шепотом совещаться.

В конце концов слово взял первый докладчик и предложил этот пункт повестки дня сегодня отложить, дабы гласно и публично обсудить животрепещущую тему в другой раз. Он пообещал донести до сведения окружной управы вполне обоснованные претензии граждан и приложить все усилия к тому, чтобы планы еще раз были продуманы и, возможно, переработаны. Удовлетворенно оглянувшись на коллег, он сел.

Дама его поблагодарила. Она заметила, что открытость в общении с гражданами необычайно важна, их партия неизменно придает этому самое первостепенное значение. И предоставила слово другому члену президиума — низенькому рябому человечку, партийному коллеге, который оказался ответственным секретарем отдела образования, культуры и работы с молодежью.

Низенький встал, перебирая разложенные перед ним на столе бумаги. Но прежде чем он успел начать свою речь, один из слушателей тоже встал и направился к выходу, а едва за ним закрылась дверь, со стула поднялся следующий и молча вышел за предыдущим. Председательствующая дама в некоторой растерянности посмотрела в зал. Дождавшись тишины, докладчик все же начал свое выступление. Он тоже сперва обратился к статистическим сводкам, а потом начал зачитывать какое-то важное решение, принятое их отделом.

Когда из зала вышел следующий слушатель, степенный первый докладчик, тот, что в цветастом галстуке, решительно прервал низенького и спросил оставшуюся четверку, нет ли у кого каких возражений или пожеланий по повестке дня. Они к любым отклонениям от этой повестки всегда готовы, ибо тесный контакт с массами для их партии превыше всего, это их насущная, можно сказать, душевная потребность. С этими словами он умолк, обвел присутствующих вопрошающим взглядом и спросил ряболицего, желает ли тот продолжить свое выступление. Тот беспомощно замер в стоячей позе и растерянно пожал плечами. Потом сказал, что встречу с гражданами можно вообще-то и отсрочить, он, во всяком случае, готов и в другой раз поделиться своими соображениями о перспективах развития вечерних народных университетов.

Не успел президиум прийти к единому мнению по этой части, как мужчина и женщина, сидевшие за одним столиком, невозмутимо встали, неторопливо и обстоятельно надели пальто и молча вышли. Вилленброк с удовольствием откинулся на своем стуле, с интересом поглядывая на пятерых функционеров в президиуме и одну-единственную пожилую даму, оставшуюся кроме него в зале. Фридер Гайслер встал и начал что-то тихо докладывать все тому же пижону в цветастом галстуке и даже с легкой волной завивки в волосах — очевидно, нынешнему своему начальнику, партийному боссу районного масштаба. При этом Гайслер повернулся к залу спиной, из чего Вилленброк заключил, что собрание окончено, и тоже встал. Но тут четверо мужчин и дама в президиуме все

как по команде воззрились на него. Вилленброку сделалось не по себе, на секунду он даже подумал, не сесть ли обратно. Он посмотрел на единственную остающуюся слушательницу — та и не думала вставать: терпеливо дожидаясь продолжения собрания, она сидела, с улыбкой устремив на президиум задумчивый взгляд. "Так это ведь жена! — осенило Вилленброка. — Жена одного из этих долдонов! Кроме нее, только я один и смог выдержать всю их тягомотину, подумать только, я и чья-то жена, но та-то хоть мужа ждет, у нее хоть какое-то оправдание есть, а вот чего ради я, идиот, здесь торчу, этого я никому объяснить не сумею, ни себе, ни другим".

Устремленные на него ожидающие взгляды членов президиума както сбивали с толку, и тогда Вилленброк неторопливо достал из кармана сигареты, выудил одну и со вкусом закурил. Больше уже на президиум не оглядываясь, он схватил свою кожаную крутку и направился к выходу, надевая ее на ходу. Но тут Гайслер его окликнул, причем не по фамилии, а только по имени, и Вилленброк остановился. Знакомый голос, привычный, требовательный, чуть брюзгливый тон, которым прежде подзывал его шеф, в один миг воскресили в памяти Вилленброка все былое. В нос ему снова ударил затхлый дух кабинетов, вонь натертых мастикой коридорных полов, перед глазами поплыли нескончаемые вереницы цехов, где под пыльными неоновыми лампами сидели сборщицы в одинаковых рабочих халатах, монтируя продукцию, а слух заполнился равномерным металлическим дребезжанием, вечно висевшим над хоздвором и зданием дирекции.

Вилленброк остановился и оглянулся. Гайслер чуть ли не подбежал к нему с распростертыми объятиями, ухватился за его руку и долго тряс, два раза подряд повторив, какой это сюрприз и как он рад его видеть. Вилленброк смущенно кривил губы и кивал. С трудом высвободив ладонь из цепкого рукопожатия, он стойко держался под градом вопросов, которыми осыпал его Гайслер, отвечая на них коротко и сдержанно.

— Хорошо, у меня все хорошо, отлично у меня. Торгую подержанными автомобилями. Нет, помощь твоя мне не нужна. Дела у меня по высшей налоговой ставке, если ты понимаешь, что это такое.

Пораженный, Гайслер внезапно умолк.

— Но все равно спасибо, — бросил Вилленброк. От него не укрылось, что Гайслер потрясен услышанным. Должно быть, ожидал, что бывшей сотрудник кинется ему на грудь и станет плакаться в жилетку, как, наверное, случалось уже не раз, и настроился соответственно, как только Вилленброка узрел. А может, торговля автомобилями, наоборот, для него слишком низко и он разочарован, что бывший подчиненный, человек с высшим образованием, зарабатывает себе на хлеб столь презренным занятием?

— Я действительно ужасно рад тебя видеть, — повторил Гайслер снова. — Ты что, живешь в нашем районе? Ты член нашей партии?

Но прежде чем Вилленброк успел ответить, он спохватился.

— Хотя нет, я бы знал. Я всех членов нашей партии знаю лично. Но я надеюсь, что ты нам по крайней мере симпатизируешь, я всегда возлагал на тебя большие надежды, ты ведь помнишь, Бернд?

Вилленброк покачал головой.

— Я здесь совершенно случайно. А партии, политика — меня это никогда не интересовало. Голосовать раз в четыре-пять лет хожу, мне и это-

го за глаза хватает. У меня работа, семья, на все нужно время. И даже если его чуток остается, я не охотник убивать его в прокуренных помещениях на партийных сходках.

Гайслер неодобрительно скривился, хотел что-то возразить, но осекся и заметил только:

— Вилли Фойербах тоже здесь, ты видел? — И он кивнул в сторону президиума. — Он уже два года в нашей партии. А раньше ведь уж какой индифферентный был, я имею в виду, по части политики.

Женщина за соседним столиком встала и направилась к президиуму — она подошла к рябенькому.

— У тебя есть еще немного времени? — спросил Гайслер. — Разрешишь на пиво тебя пригласить? У меня, правда, тут еще кое-какие дела, но потом посидели бы втроем, поболтали...

— О старых временах?

— Ну, просто я подумал. Мы ведь целую вечность не виделись. Все-таки работали вместе.

— Ну конечно, шеф.

— Тогда подожди, прошу тебя. Пару минут, не больше.

Гайслер уже уходил, а Вилленброк все еще мялся в дверях в нерешительности. Он думал о неприятном телефонном разговоре с Бернером в конце прошлого года. Но уже четверть часа спустя они с Гайслером и Фойербахом все-таки сидели в главном зале кафе. Он слушал, как эти двое сокрушаются о провале собрания. Вилленброк попивал свое пиво и молча изучал их со стороны. "Вот эти двое, — думал он, — это и есть моя прошлая жизнь, какое счастье знать, что вся эта тягомотина у тебя давно позади, они и раньше доставали меня своим занудством, и сегодня нудят, и опять, как и тогда, им даже в голову не приходит, что они всем только надоедают". Он смотрел на Фойербаха и недоуменно спрашивал себя, чего ради он вообще остался, зачем дал себя уговорить и должен теперь смотреть на эти рожи.

— Да, в такой-то партии работа совсем не сахар, верно? Не сказать чтобы у вас обоих был счастливый вид, — подбросил он реплику во время одной из пауз.

Гайслер вымученно улыбнулся.

— Да, даром нам ничего не дается, — согласился он, — но мы стараемся. И каждый, кто готов к нам присоединиться, нам нужен. Каждый, кто не только о собственной выгоде думает, но и об общем благе радеет. Демократия только тогда и возможна, когда граждане готовы брать на себя ответственность.

Он сказал это так весомо и с такой серьезностью в голосе, что Вилленброку на секунду показалось, будто он и сам верит собственным словам.

— Ты имеешь в виду, если они будут вступать в вашу партию.

— Ну, например.

— Я подумаю, — серьезно сказал Вилленброк и, заметив несколько недоверчивый взгляд Гайслера, добавил. — Нет, честно, я тебе обещаю.

И взглянул на Фойербаха: все то время, что они сидели за столом, тот упорно избегал смотреть ему в глаза.

— А как твои дела, Вилли? Ты тоже в этой партии?

— Я всего лишь рядовой член. А на жизнь зарабатываю в клинике Бухa. Они искали инженера по обслуживанию медицинской техники.

Он коротко вскинул на Вилленброка глаза и снова принялся разглядывать собственные пальцы, вертевшие пивную кружку.

— Может, ты еще сделаешь карьеру. Большим человеком в этой партии станешь. — Он на секунду умолк, а потом как бы между прочим добавил: — Кстати, мне тут недавно Бернер звонил. Ну, помните, сотрудник наш, Бернер. Долго со мной разговаривал, много всего рассказал.

И устремил на бывших товарищей по работе наивно-мечтательный взгляд. Он заметил, что оба они смутились, повисла неловкая пауза.

— Ах да, как же, Бернер, — произнес Гайслер и бросил на Фойербаха недовольный взгляд. — Да уж, могу себе представить, что он тебе там порассказал. Мне ведь он тоже звонил. С жуткими обвинениями против Вилли и других сотрудников моей рабочей группы. Между нами говоря, Бернд, он и о тебе не слишком хорошо отзывался. По-моему, у него что-то вроде паранойи, настоящая мания преследования. Господи, чего только он про всех наших коллег не наговорил! Я после этого побеседовал с Вилли, мы и на нашей партийной группе это обсудили. Конечно, Вилли допускал ошибки, слишком уж доверялся тем, кому не следовало. Да и легкомыслие наш Вилли тоже проявлял, и говорлив был иной раз не в меру, но действительных провинностей, настоящей вины нам за ним установить не удалось. Все это не потянуло даже на выговор.

Фойербах во время этой речи Гайслера сидел красный как рак. Он теребил дужку очков, то и дело их поправляя, и напряженно моргал, словно ему соринка в глаз попала. Вилленброк смотрел на него, и ему был противен вид этого смущенного, в буквальном смысле слова изворачивающегося человека. Он уже жалел, что упомянул о звонке Бернера, жалел и о том, что вообще сюда приперся. Он видел, как глаза Фойербаха беспокойно рыскают по столу, не в силах за что-либо зацепиться, и ему вдруг показалось, что он присутствует при каком-то непристойном, постыдном, насильственном раздевании. Тут он заметил, что Гайслер выжидающе на него смотрит.

— Ну что ж, тогда вопрос ясен. А я-то уж думал, наконец-то я знаю, кому обязан своими бедами, так сказать, всеми злосчастьями тех лет. Бернер-то мне сказал, что я у нас на фирме идеологически неустойчивым считался. А это значит — никаких загранкомандировок, даже в Прагу или в Москву, никакого участия в международных конференциях, идеологически нестойкий научный сотрудник Вилленброк был абсолютно отовсюду вычеркнут.

Гайслер от возмущения даже рот открыл и набрал в грудь побольше воздуха.

— Уж не намерен ли ты утверждать, что это Вилли тебя из всех поездок вычеркивал?

— Я не знаю. Но кто-то разболтал про меня кое-какие подробности, и для меня закрыли шлагбаум — я стал невыездным. Не мне вам объяснять, что это значит. Другие товарищи могли ездить в командировки, общаться с зарубежными коллегами, знакомиться с новейшими технологиями, повышать таким образом квалификацию, а я все это время почитал за счастье возможность заглянуть в зарубежный технический журнал.

— Это был наш общий крест. Мы все от этого страдали.

— Это кто как: кто больше, а кто меньше, Фридер. И Бернер ясно дал мне понять, что основными, так сказать, составными элементами своего креста я обязан именно нашему коллеге доктору Фойербаху.

Гайслер глубоко вздохнул и, обратясь к Фойербаху, призвал его к ответу:

— Речь о тебе, Вилли. Ты сам-то ничего сказать не хочешь?

Фойербах затравленно поднял глаза.

— Я так от этого устал.

На секунду он прикрыл веки, его собеседники молча ждали, и тогда, не поднимая больше глаз, Фойербах сказал.

— Бернд прав. Я должен перед тобой извиниться, Бернд. Тогда я не знал, а сейчас знаю, что поездку в Лондон тебе действительно зарубили из-за моей характеристики. Я не хотел, ты уж мне поверь. Как ты помнишь, я был профоргом нашей группы, и раз в год мне полагалось писать характеристики на всех наших сотрудников. Это просто было одной из моих обязанностей, все это знали, и ты в том числе. Возможно, я действовал слишком легкомысленно и не все последствия своих рапортов взвешивал до конца. Но доносить на товарищей — нет, этого я не хотел. И если моими характеристиками злоупотребили — я тут ни при чем.

Только теперь он посмотрел ему в глаза и выдержал взгляд Виллен-брока, пока тот не спросил:

— Так что же, будем делать вид, будто ничего не было?

Он посмотрел на Фойербаха в упор и даже попытался улыбнуться, но на душе было муторно. "Подонок ты несчастный, — думал он, — а что еще ты можешь сказать, тебя застукали, вот ты и выкручиваешься, но мне вся эта история противна ничуть не меньше, и не нужны мне твои объяснения и твои увертки, ты просто шлепнулся в дерьмо, дорогой мой доктор Фойербах, и сидишь в нем по уши, тебя застукали, вот ты и трясешься, как мелкий магазинный воришка, только не извиняйся передо мной, не хочу я слышать твоих извинений, но и извинять тоже не хочу, мне очень жаль, но все это непоправимо, у меня и в мыслях нет тебя прощать, так что если тебе сейчас вздумается изображать беднягу, раздавленного судьбой, смотреть на меня собачьими глазами и молить о прощении, клянусь, я в ту же секунду встану и оставлю вас, двух голубчиков, куковать тут вдвоем, можете хоть сразу же еще одно партсобрание открывать, так что не говори мне ничего, пожалуйста, только ничего не говори, а главное — не извиняйся, мне очень жаль, но тут уж ничего не вернуть, и забыть об этом я тоже не смогу, так что лучше всего нам обоим до конца жизни разбежаться, мне надо было еще час назад это сделать, как только я тебя увидел, просто уйти отсюда, и все, так что не смотри на меня, как побитая собака, меня и так от твоего вида просто тошнит, лучше уж спорь, опровергай, ври напропалую, я тебе так и так не поверю, потому что ты мелкий гаденыш, гаденышем был, гаденышем остался, я ни тебя, ни Бернера никогда терпеть не мог, так что сейчас это просто еще одно грязное пятнышко на твоей паршивой шкуре, дорогой мой, я просто тебя позабуду, вот сейчас встану, выйду из пивнушки и позабуду тебя. Я тебя уже позабыл, господин доктор Фойербах, единственное, о чем я сейчас мечтаю, — это элегантно уйти, сейчас вот встану, скажу что-нибудь, но уж конечно не "до свидания", нет уж, такой радости я себе больше доставлять не намерен, подойду к стойке, расплачусь за свое пиво, вам, двум красавцам, я не позволю угостить себя даже этой жалкой кружкой пива, иначе она мне еще долго потом отрыгиваться будет, а теперь дай мне возможность, ради всех нас троих дай мне возможность без дальнейших объяснений уйти, только не извиняйся больше, сделай одолжение, дорогой мой персональный стукач, только не проси у меня больше прощения, потому что на извинения твои мне насрать".

Вилленброк допил свое пиво, поставил перед собой пустую кружку, отодвинул ее к середине стола, махнул официанту и сказал:

— Приятно было с вами встретиться, поболтать о добрых старых временах. Но сейчас мне пора, спешу.

Он встал, надел куртку.

— Если кому из вас понадобится купить подержанный автомобиль или от своего избавиться, моя фирма всегда к вашим услугам.

Гайслер, похоже, даже обиделся.

— Я думал, Бернд, мы посидим, поговорим по-человечески. Мне казалось, между вами обоими еще столько недосказанного. Вам стоило бы объясниться.

— Недосказанного? Между Вилли и мной? Не думаю. Только не с моей стороны. А со своей стороны Вилли предпочитал говорить обо мне с другими, и там, похоже, тоже ничего недосказанного не осталось. Привет.

Он кивнул Гайслеру, повернулся к стоящему рядом официанту и сунул ему деньги. Быстро выйдя из кафе, прямиком устремился к своей машине. Запустил мотор, включил обмыватель лобового стекла и дал основательно поработать "дворникам". Повернул к себе зеркало заднего вида и взглянул на свое лицо.

— Бог ты мой, — громко сказал он сам себе, — и к чему все это?

Потом установил зеркало на место и тронулся.

Дома жена спросила, как прошло собрание. Вилленброк сообщил ей, что ему и еще двум слушателям пообещали в самое ближайшее время все сделать по-другому и гораздо лучше.

— Двух бывших сотрудников встретил, один из них Гайслер, раньше был моим шефом. А теперь какой-то важной партийной шишкой стал и, как все они, несет обычную ахинею. Мы потом еще втроем посидели, пивка попили, прежние деньки вспоминали.

— Что ж, тогда ты хоть приятно провел вечер. А мне целый час пришлось снег чистить. Совсем не женское дело, по крайней мере сосед наш, доктор Витген, так сказал.

— Это старикашка, что ли, который у нас справа?

— И вовсе не старикашка, а очень милый, галантный господин.

Вилленброк бросил на жену шутливый взгляд.

— Что за интонации, Сюзанна? Или ты намерена мне исповедаться? "Милый", "галантный" — мне что, на дуэль его вызывать?

— Он мне помог.

— Насчет снега каюсь. Я бы завтра утром расчистил. Прошу тебя, не дуйся, поверь, я бы с куда большим удовольствием два часа снег разгребал, чем с этими сотрудничками лясы точить.

Усевшись рядом с ней, он обнял ее за плечи. Свободной рукой взял дистанционник, включил телевизор и пробежался по всем каналам. Поймав по одной из программ кэтч, убавил звук, придвинул к себе телефон и набрал номер. Жена тихо выскользнула из-под его руки и вышла из комнаты. Вилленброк звонил Герду, своему консультанту по налогам; обсуждая с ним предстоящий гандбольный матч, он ни на секунду не спускал глаз со здоровенных, свирепого вида детин в масках, которые своими дикими криками и угрожающими жестами норовили нагнать страху на противников и публику.

9

В первую среду марта Вилленброк, как обычно, с утра подъехал к своему авторынку. Знакомые легкие ворота из проволочной сетки уже были гостеприимно распахнуты. С тех пор как Пазевальд работал у него ночным сторожем, он всегда открывал ворота в восемь, чтобы Юрек и Вилленброк могли въехать во двор, не выходя из машины. Он поставил машину на стоянку за бытовкой и вылез. Однако что-то на дворе было не так, он почувствовал это, едва только вышел из машины и стал запирать дверцу. Он огляделся, но ничего необычного так и не заметил. Тем не менее он все еще медлил, осмотрел стоящие во дворе машины, но и они вроде были в порядке. И только дойдя до бытовки, вдруг понял, в чем дело: Кэтчер, пес Пазевальда, сегодня его не встретил. Может, заболел и Пазевальд оставил его дома, успел подумать он, но сам уже в два прыжка взлетел на крыльцо и рванул на себя дверь. Пазевальд сидел в рабочем кресле, весь перемотанный скотчем и электропроводом удлинителя, из письменного стола все выворочено, шкафы нараспашку, пол завален бумагами и осколками посуды. Первым делом Вилленброк кинулся к связанному сторожу, аккуратно отодрал скотч у него со рта и усов, развязал провода, в остальных местах клейкую ленту просто разрезал.

Пазевальд повторял только одно:

— Где Кэтчер?

Тщетно Вилленброк пытался выяснить у него, что случилось, — сторож только звал собаку. Едва Вилленброк развязал ему ноги, он вскочил и кинулся к двери. На пороге, однако, он приостановился, ухватился за раскрытую дверцу шкафа и судорожно глотнул воздух. А потом выбежал во двор. Вилленброк последовал за ним. Пазевальд снова и снова кликал собаку. Пса они нашли у забора бездыханным. В пасти зажата тяжелая дубинка, зубы впились в дерево мертвой хваткой, череп, похоже, проломлен, и только несколько капелек крови запеклось на ощетинившейся холке. Пазевальд опустился рядом с псом прямо на мокрую землю и только молча гладил его темную шерсть.

Вилленброк еще раз спросил:

— Что произошло, Фриц? Что тут ночью случилось?

Он попытался помочь старику встать, но сторож отвел его руку. Потом повернулся к нему и вымолвил:

— Они убили Кэтчера.

Он произнес это тихим, каким-то бесцветным голосом, словно единственное, что от него сейчас требовалось, — это установить смерть собаки.

Вилленброк мягко тронул его за плечо.

— Вставай, Фриц, простудишься. И пойдем в контору, пожалуйста.

Но сторож не реагировал, он все гладил и гладил неживую, смерзшуюся шерсть собаки. Вилленброк отвернулся и зашагал к бытовке. Попытался позвонить, но телефон молчал. Он потянул за шнур — тот был вырван из розетки. Только тут он вспомнил про свой мобильник, достал его из кармана, набрал номер полиции и сообщил обо всем, что успел обнаружить. Ему пообещали выслать людей немедленно. После этого он начал собирать с пола бумаги и кое-как приводить их в порядок. В окно бытовки он время от времени поглядывал на Пазевальда и видел, как тот поднял наконец собаку, на руках отнес ее к своей машине и уложил в багажник. Вернувшись в контору, сторож уселся на диван, то и дело по-

вторяя: убили Кэтчера, его собаку. Вилленброк подошел к нему, положил руку ему на плечо, но ничего не смог сказать и снова принялся собирать бумаги.

Через полчаса во двор въехала машина, из нее вышли двое работников полиции и направились к конторе. Вилленброк смотрел на них из окна. Одного он узнал сразу, это был тот самый полицейский, что приходил к нему полгода назад, когда Вилленброк заявил о краже нескольких автомобилей, и страшно его разозлил: Вилленброку показалось, что именно его он в этой краже и подозревает.

Вилленброк отворил дверь и пригласил полицейских войти. Рассказал, в каком состоянии обнаружил своего сторожа сегодня утром, сообщил, что грабители убили сторожевую собаку. Только после этого полицейские опросили Пазевальда, который, запинаясь и с трудом подбирая слова, поведал наконец о событиях минувшей ночи.

Часа в два пес залаял, но ничего необычного в этом нет, ночные гуляки куда только не забредают, а некоторые еще и собаку норовят подразнить. Однако потом вместо лая раздался совсем необычный вой, и тогда он взял фонарь, палку и вышел из бытовки. И тут вдруг к нему подскочили эти трое парней, совсем еще юнцы, не старше двадцати.

— Они были в масках, эти ребята? — спросил полицейский.

Пазевальд мотнул головой.

— Вы лица их различили? Узнать сможете?

— Да уж конечно. Вовек не забуду.

Эти трое сразу же на него набросились. У одного в руках была странная коротенькая дубинка, и он все норовил его этой дубинкой ударить. Пазевальд кликнул собаку, защищаясь схватился за дубинку и в ту же секунду получил страшный удар током и потерял сознание. Он не знает, сколько пролежал без памяти, а очнулся оттого, что один из этих троих пинал его ногами. Они заставили его встать и открыть им контору.

— Они говорили по-немецки? — спросил полицейский. — Это были немцы или иностранцы?

Пазевальд секунду смотрел на того, словно не понимая вопроса.

— Это были немцы, — сказал он наконец, — глупые немецкие мальчишки.

В конторе, снова угрожая ему электрической дубинкой, они потребовали от него ключи от машин. Он сказал, что ключи и все документы на машины шеф каждый вечер забирает с собой, а у него ничего нет, и не знает он ничего, он здесь всего лишь ночной сторож. Он спросил их про собаку — в ответ они только рассмеялись. Потом привязали его к креслу, все в конторе перерыли и побросали на пол. Ничего не найдя, вышли во двор. Он слышал, как они много раз тщетно пытались завести то одну, то другую машину. Через полчаса вернулись и спросили, где его машина. А у него ключей как раз при себе не было, они в машине остались, и поскольку они к его старой тачке, видимо, даже не подходили, он сообразил сказать, что машины у него нет, он, дескать, на автобусе сюда ездит. Прежде чем уйти, они заклеили ему рот скотчем и снова ткнули в плечо этой электрической штукой. Но на сей раз он то ли оттого, что сидел, то ли потому, что просто внутренне подготовился, сознание не потерял, только судорога была по всему телу и язык он сильно прикусил. Вот так, привязанным к стулу, его и нашел господин Вилленброк, его хозяин, он его и развязал. А пса он уже только утром нашел, они его забили насмерть.

Служащие полиции попросили описать приметы преступников, после чего поинтересовались у Вилленброка понесенным ущербом и удостоверились в том, что ущерб имеется. Они заявили, что искать отпечатки пальцев в таком разгроме бесполезно, лучше осмотреть взломанные автомобили, там больше шансов найти пригодные для разработки следы. Мертвого пса в качестве улики они осматривать не пожелали, хотя Пазевальд трижды их об этом спросил. Ему они сказали, что он может ехать домой — лучше всего ему лечь и как следует выспаться. Полицейский, фиксировавший его показания на портативном компьютере, сказал, что ему еще придется подписать протокол, но это не к спеху, пусть уж лучше везет домой убитого пса. Кроме того, он взял у Пазевальда домашний адрес и настоятельно посоветовал ему как можно скорее пройти осмотр в поликлинике.

Вчетвером они вышли во двор. Вилленброк проводил Пазевальда до машины и попросил этой ночью остаться дома, ему нужно отдохнуть, однако сторож возразил — нет, он сегодня же вечером будет на месте, правда теперь уже без собаки. Вилленброк обнял его за плечи и сказал, что ужасно сожалеет о гибели Кэтчера, он и сам привязался к псу, которого ему теперь тоже будет недоставать. Пазевальд кивнул и уселся за руль.

Когда он уехал, Вилленброк направился к полицейским. Вместе с Юреком, который с первой секунды своего появления стоял возле них молча, они обошли все машины, поочередно пытаясь открыть дверцы каждой. Выяснилось, что три автомобиля вскрыты. Служащие полиции принесли из своей машины чемоданчик и начали обследовать места взломов в поисках отпечатков пальцев. Вилленброк тем временем прошел в контору, позвонил Герду, рассказал о ночном нападении и попросил извиниться за него перед товарищами по команде — на тренировку он сегодня вечером не выйдет. Потом набрал номер магазина жены. Но когда она подошла к телефону, он ни слова не говоря положил трубку. Не захотел ее волновать. Вместо этого позвонил на телефонный узел в бюро ремонта, сообщил про обрыв провода и попросил как можно скорее прислать монтера. Покончив с этим, вышел во двор спросить Юрека, сможет ли тот сам устранить последствия взломов или надо перегонять машины в мастерскую. Юрек, однако, указал на полицейских, которые все еще возились с одной из машин, наклеивая какие-то полосы на дверцу и рулевое колесо.

— Они еще не готовы, шеф, — доложил он, — велели ничего не трогать, пока не закончат.

Вилленброк кивнул.

— Когда уйдут, осмотри повреждения. Страховой компании их уже предъявлять не надо, так что хоть агентов можно не ждать. Нет худа без добра, Юрек.

Он снова отправился в бытовку, подобрал с пола остатки разбросанных бумаг и, положив их на стол, принялся разбирать, попутно выбрасывая ненужное. Крепеж одной из полок в шкафу был сорван, он вбил в этом месте гвоздь. Постучав в дверь, к нему вошли полицейские. Дав подписать протокол, они попрощались.

— И что вы намерены предпринять? — спросил Вилленброк.

— Начнем розыск преступников, господин Вилленброк, — ответил полицейский и, поскольку снисходительная ирония вопроса от него не укрылась, добавил: — Мы действуем по служебным предписаниям. И, кстати, преступлений раскрываем гораздо больше, чем вы думаете. Но

об этом пресса не пишет, они трубят только о наших провалах и упущениях.

— Тогда, выходит, есть надежда, что вы скоро возьмете этих гангстеров?

— Мы делаем все, что в наших силах.

— А-а, ну тогда я спокоен. Тем более что меня вам на сей раз выслеживать ни к чему, страховая афера исключается. Я, видите ли, больше не застрахован. После прошлой кражи, которую вы раскрыть не смогли и в которой почему-то меня же и заподозрили, страховка обошлась бы мне гораздо дороже, а я себе таких расходов позволить не могу. Слишком дорого. Я ведь, к вашему сведению, плачу очень большие налоги. Так что получилось одно из двух — либо страховка, либо налоги, чтобы вы за счет этих моих налогов успешно ловили преступников. Причем выбора-то у меня нет — солидные налоги на оплату ваших трудов я, хочешь не хочешь, платить обязан, меня ведь даже не спрашивают. Вот и пришлось от страховки отказаться.

— Это ваше решение, — невозмутимо заметил полицейский, — вы вправе страховать или не страховать свое имущество. А мы тогда ничего не расследовали относительно вас лично, господин Вилленброк, мы просто исполняли свои обязанности, предписывающие нам вести разработку по любому делу во всех возможных направлениях. Мы и на сей раз будем действовать точно так же, независимо от того, как к нам относится потерпевший.

— Вы, может, еще и обижены?

— Вы позволите нам попрощаться, господин Вилленброк? В любом случае мы еще дадим о себе знать.

Они отправились к своей машине, погрузили компьютер и чемоданчик с препаратами в багажник и укатили со двора.

Приоткрыв дверь бытовки, Вилленброк глядел им вслед. И не мог избавиться от чувства грубого вторжения в его частную жизнь. Для него-то лично ночное ограбление само по себе оказалось всего лишь мелкой неприятностью. Правда, ему искренне жаль Пазевальда, он чувствовал вину перед ночным сторожем за перенесенные побои и унижения — ведь именно он нанял его на службу и, значит, подверг всем этим опасностям. И конечно же, он очень переживал из-за гибели собаки. Разгром в конторе и повреждения машин расстраивали его не столько из-за понесенного ущерба, сколько из-за причиненных хлопот. Но действия полицейских, их поведение и расспросы были ему, как оказалось, по меньшей мере столь же неприятны. И ночные грабители, и полицейские, что те, что другие, переступили некий рубеж его частной жизни и вторглись в пределы, куда им входить не пристало, где он хотел быть один. Ему было противно, словно нарушены самые интимные сферы его существования, словно его прилюдно раздели и выставили нагишом. Он захотел выпить шнапса, открыл отделение шкафа, где у него хранились три бутылки, — бутылки, конечно, исчезли. Ясное дело, ночные гости прихватили их с собой.

Тогда он вышел к Юреку. Тот сказал, что, наверно, сможет все починить сам, но в пару сотен это выльется, потому что надо вставлять новые замки. К тому же одна дверь погнута сильнее других, может, придется ее заменить, но сперва он у них на складе металлолома пошурует, нет ли там чего подходящего.

Вилленброк кивнул.

— Я полностью полагаюсь на тебя, Юрек. Но все-таки до чего же противно.

— Да, шеф. Прямо убил бы гадов. На месте. И еще: если бы я куда пошел ночным сторожем, то только с настоящим оружием.

— Что ты такое несешь, Юрек! Ты что, правда стал бы в этих жуликов стрелять? Но ты же сам слышал, это еще почти мальчишки.

— Если они у вас все растащат, шеф, я потеряю работу. И что тогда?

— Но чтобы сразу стрелять? Насмерть? Нет, Юрек, ты это не всерьез.

Поляк, склонясь над дверцей, продолжал молча вывинчивать шуруп. Приглядевшись, Вилленброк вдруг понял, что его подчиненный с трудом сдерживает ярость — до того он выведен из себя.

— Мой сын уже два дня в милиции, — вдруг сообщил Юрек.

— В милиции? — переспросил Вилленброк. — Вот уж не ожидал. Но, с другой стороны, в наше время это самая надежная работа. Так сказать, одна из немногих перспективных профессий. Это ты ему присоветовал?

— Да нет, шеф. Владек не работает в милиции. Владек сидит в милиции, его задержали. Вместе с двумя дружками машину вскрыл. Он у меня бандит теперь. Такой же, как эти, которые к нам сегодня пожаловали. Тоже мальчишка-шалунишка, только уже уголовник.

Тут он с такой силой саданул по замку кулаком, словно и вправду надеялся выбить его без всякого инструмента, голой рукой, и в отчаянии медленно повел головой из стороны в сторону.

— Мне очень жаль, — только и смог сказать Вилленброк. — Может, тебе отпуск нужен? Домой съездить?

— Зачем? — буркнул Юрек. — Мое дело деньги зарабатывать. Семью кормить, ущерб возмещать, штраф платить. Зачем мне туда ехать? Работы у меня там нет. А в милиции парень в надежных руках. Они там его поучат уму-разуму, накостыляют как следует, ничего, полезно. Может, с испугу за ум возьмется.

— Да, может быть. Может, твоему парню и впрямь лучше в милиции отсидеться, чем к тебе под горячую руку попасть.

— Да, шеф.

— Тебе бы побольше терпения с твоим Владеком.

— Знаете, шеф, этим подонкам надо просто руку отрубать. Как в Турции или в Аравии.

— Ты в своем уме, Юрек? Ради всего святого, откуда у тебя эти средневековые предрассудки?

— А я говорю — отрубать руку. Посягнула рука на чужую собственность — отрубать, и дело с концом.

— И твоему родному сыну? Ты что, вправду согласишься, чтобы твоему сыну руку отрубили? Калекой сделали? На всю жизнь калекой из-за одной-единственной глупости?

— Лучше без руки, чем во грехе, шеф. Лучше без руки в раю, чем с обеими руками, да в аду.

Вилленброк смотрел на поляка в задумчивости.

— Что ж, если думать только о вечной жизни, то отрубленная рука, может, и впрямь не такая уж дорогая плата за вход. Но на земле без руки — все-таки неудобство.

Он все еще стоял возле машины, смотрел, как Юрек работает, и ждал чего-то. Потом спросил:

— А с Пазевальдом как быть? Что с ним теперь делать? Страховка ничего не дает, полиция не спасает, ночной сторож тоже не помог. Что мне делать, Юрек?

Юрек тем временем уже снял с двери замок и, подсвечивая себе крохотным карманным фонариком, пытался определить повреждения пазов. Потом взялся за сам замок, попробовал вставить и провернуть ключ, долго изучал на просвет личинку, после чего посмотрел на Вилленброка.

— У нас дома люди как-то договариваются. Вот двое моих друзей договорились. Они платят, шеф. Вы меня поняли?

— Что платят? Кому платят? Мафии?

— А в каком мире мы живем, шеф? Да и какая это мафия? Просто пара подонков, которые промышляют уголовщиной. Но они помогают моим друзьям выжить. Вот и все.

— И ты считаешь, это в порядке вещей, Юрек? Именно ты?

— Я так не сказал. Вы меня спросили, я вам рассказываю, что делают мои друзья, чтобы как-то защититься. По мне, никакой это не порядок. Но что в нашем мире вообще в порядке?

Он бросил замок на промасленную тряпку.

— Спросите лучше самого Пазевальда, шеф. Пусть скажет, будет он тут еще ночевать или нет. А если будет — купите ему пистолет.

Из своего чемоданчика с инструментом он извлек картонную коробку и вытряхнул из нее замок, который положил рядом со снятым и теперь тщательно их сравнивал. Ни слова не говоря, Вилленброк повернулся и пошел к себе в контору. Он сел за стол, открыл свой ноутбук, включил его и взялся за телефон.

Ближе к вечеру он сказал поляку, что тот может идти домой — он сам дождется Пазевальда. Если ночной сторож не появится, на что он, честно говоря, всей душой надеялся, он запрет все, что можно запереть, и доверит ночную охрану Божьему промыслу, который в данный момент кажется ему единственной надежной защитой. Юреку поминание Господа всуе пришлось явно не по нутру, однако он только кивнул и пошел переодеваться.

Ровно в семь во двор вошел Пазевальд. На лбу и на руке у него был пластырь. Вилленброк первым делом спросил, что ему сказал врач.

— Все в порядке.

— А твой пес?

— Похороню. В саду у себя, — пробормотал ночной сторож. Вид у него был явно смущенный, Вилленброк заметил, что старика что-то гложет, и посмотрел на него вопросительно.

— Очень сожалею, шеф, — с трудом выдавил тот, — выходит, оплошал я. Не знаю, согласен ты дальше меня держать или нет. Новую собаку я себе так скоро приобрести не смогу, а если опять заявятся, один против всех я мало что смогу.

— За собаку я заплачу, Фриц. Найди себе хорошего пса, ты в этом деле дока, я оплачу тебе все расходы. Только не говори мне, что ты оплошал, это глупости, слышишь, Фриц. Единственное, из-за чего у меня душа не на месте — я же не смогу теперь спокойно спать, зная, что ты один тут сидишь. Хорошо, что так обошлось, а если в следующий раз не обойдется?

— Об этом не думай, шеф. Я уже достаточно стар, чтобы самому за себя отвечать. А что я совсем не такой уж отчаянный смельчак, ты, навер-

но, после сегодняшней ночи и сам заметил. Эх, одну только промашку я допустил — выбегать мне не нужно было. Надо было, наоборот, запереться и полицию вызывать. Тогда, может, и машины бы целы остались. И мой Кэтчер, глядишь, был бы еще жив.

— Как-то мне от всего этого не по себе, Фриц. Увольнять я тебя ни в коем случае не стану, но если ты сам захочешь уйти, я тебя пойму.

— Я знаю, шеф, проку от меня немного. Но работа эта по мне. Я люблю здесь сидеть, мне тут лучше, чем дома.

Вилленброк кивнул, забрал свою папку и попрощался. Однако когда он уже садился в машину, Пазевальд снова к нему подошел.

— Вот еще что, шеф. Жене я ничего рассказывать не стал. Сказал, собака под машину попала. Не хочу, чтобы она знала. Она иначе глаз не сомкнет, пока я здесь. Ты же знаешь, жены вечно всего боятся.

— Я тоже за тебя боюсь, Фриц, — вздохнул Вилленброк, закрыл окно и рванул с места.

Два дня спустя во время совместной трапезы он сказал Юреку, что после обеда поедет в банк, а потом еще должен навестить клиента. Юрек принял его сообщение молча, только продолжал сосредоточенно хлебать свой суп из консервов.

— Что-нибудь слышно о твоем сыне?

Поляк не ответил.

— А что жена говорит?

— Жалуется, — отозвался он безразличным голосом. — Я ей каждый день звоню, а она каждый день жалуется, вечно одно и то же.

— Ей помогает хоть кто-нибудь? Соседи? Или, может, церковь?

— Соседи нам завидуют, как же, у меня ведь работа в Германии. А церковь, она уже не та, что прежде. Прежде она была против правительства, и мы все друг другу помогали, не вопрос. А теперь она на другой стороне. Нашего брата она теперь не слышит, она теперь глухая и могущественная. Я уже подумывал выйти из церкви, только это грех.

— Если домой захочешь съездить, только скажи. Это все можно устроить.

— Нет, шеф. Не нужно.

Он отодвинул тарелку, аккуратно положив в нее ложку, и перекрестился. Пальцы рук и даже ногти у него давно насквозь почернели от машинной смазки. Сейчас он выудил ими сигарету из смятой пачки, что хранилась у него в нагрудном кармане.

— Раньше мы были бедные, мужественные и гордые, — заметил он, закуривая сигарету, огонек которой от первой жадной затяжки даже слегка вспыхнул, стрельнув табачными ворсинками. — А сегодня мы просто бедные. Потому как чем нам гордиться? Я вот на немца работаю и рад. В этом моя гордость, шеф. И такое говорит поляк! Да одно это почти грех!

— Погоди, времена еще переменятся.

— Да. Конечно. Наверняка. Только, надеюсь, уж это-то мне пережить не придется.

— Ты все-таки немножко сумасшедший, Юрек, ты хоть сам-то это понимаешь? — заметил Вилленброк.

Он встал, надел куртку.

— Часика через два-три, думаю, я вернусь. Не забудь кипятильник выключить, когда закончишь.

— У меня сын уголовник, шеф. В тюрьме сидит, и не за то, что он что-то против государства сделал, не за то, что листовки разбрасывал, как мы тогда...

— Сейчас другие времена. Он просто глупый мальчишка, ему там вправят мозги.

Ни слова не говоря, поляк придавил сигарету, встал и пошел заваривать себе чай. Вилленброк вышел из конторы. В банке он посовещался со своей консультанткой по инвестициям и поручил ей приобрести для него различные ценные бумаги. Потом сел в машину, просмотрел проспекты и рекомендации банка, которых ему надавали с собой, достал из кармана телефон и набрал номер. Когда на том конце провода отозвался мужской голос, он, ни слова не говоря, дал отбой, поискал в телефонном списке другой номер и набрал его. На сей раз трубку взяла женщина, она явно не ожидала услышать его голос. Вилленброк извинился, что так долго не звонил, стал что-то плести про работу без выходных и спросил, нельзя ли ему заехать.

— Стосковался по тебе, — сказал он веселым голосом. — Ужасно хочу тебя видеть.

Выслушав долгую тираду, он миролюбиво заверил собеседницу, что да, конечно, он все это время о ней вспоминал. В конце концов, однако, он прервал поток ее упреков, сказав, что не обязательно выкладывать ему все это по телефону, он же сейчас сам к ней приедет, вот пусть она и обрушит на повинную грешную голову все что вздумается. Сунув телефон в карман своей кожаной куртки, он тронул машину с места. Стоянку он выбрал возле Старого музея; задержавшись в нерешительности перед кассой автомата, забросил наконец туда мелочь на два часа парковки. И поспешил к комплексу жилых домов, что на берегу Шпрее. Перед дверями подъезда сидела парочка с овчаркой, преграждая ему путь. На обоих были замызганные оливкового цвета куртки, волосы выкрашены полосами — красными и зелеными. Вилленброк молча остановился перед ними, ожидая, когда ему дадут пройти. Они потребовали за вход пять марок, он дал им одну, бросив монету на их вещевой мешок. Вяло глянув на монету, они обозвали его выжигой, но все-таки подобрали свои мослы ровно настолько, чтобы он мог пройти. На третьем этаже он позвонил в дверь квартиры, отступил на шаг и развернул принесенные с собой розы. Молодая женщина с собранными в пучок белокурыми волосами открыла дверь, молча на него посмотрела, потом некоторое время изучала цветы. Она была в легинсах и широком застиранном пуловере.

— Одна роза уже головку повесила, — заметила она вместо приветствия.

— Эта роза — я, — нашелся Вилленброк. — Пока ты устраивала мне выволочку по телефону, она успела увянуть. Войти-то хоть можно?

Блондинка смотрела на него без всякого восторга.

— У меня мало времени, — сказала она наконец. — Я с ночного дежурства, только что встала. Ты своим звонком меня разбудил. И вообще в доме разгром. Но так и быть, зайди. На чашечку кофе.

Вилленброк сунул букет ей в руки и вошел. Она попросила его посидеть в гостиной, а сама отправилась на кухню. В комнате все было какое-то чужое, должно быть, она успела купить новую мебель или старую переставила, впрочем, даже в этом он был уверен не вполне. Почему-то

Вилленброк эту комнату вообще не помнил. Постояв минуту в нерешительности, он тоже поплелся на кухню.

— Тебе помочь, Барбара? — спросил он, погладив женщину по плечу. Та сунула ему в руки две чашки, а сама продолжала следить за кофе. Положив на тарелки два ломтика поджаренного белого хлеба, поставила на поднос кофейник, тарелку, сахарницу и понесла все это в гостиную. Он последовал за ней.

— Извини, я еще не завтракала, — сказала она, разлив кофе по чашкам и принимаясь за поджаренный хлеб.

Он пожелал ей приятного аппетита.

— Ты не поверишь, — начал он, — но я каждый день о тебе думал. Все это время только о тебе и тосковал, Барбара. Буквально каждый день.

— Я и не поверю, — сухо отозвалась блондинка.

Она отломила кусочек хлеба и отправила его в рот, успев тем временем нервно положить в чашку довольно много сахара.

— Нет, не поверю. Во всяком случае, я ничего такого не заметила. Ты не объявлялся ровно полгода. Полгода. И у меня нет ощущения, что все это время ты умирал от тоски.

Он смущенно водил пальцем по узорам скатерти.

— Да, я долго не объявлялся, я знаю. Но все это время я думал о тебе.

— Может, я за это время снова замуж вышла. Или сердечного дружка завела. За полгода много всего может произойти.

— Это, конечно, вполне может быть. Так ты вышла замуж? Завела себе сердечного дружка?

Она не ответила. Налила себе еще кофе и снова стала нервно сыпать туда сахар.

Долгий, протяжный и грустный гудок корабельной сирены разорвал повисшую тишину.

— Меня бы это не остановило, — сказал Вилленброк, беря ее за руку.

— Зато меня, — ответила она, выдергивая руку.

Вилленброк попробовал объяснить ей, почему он так долго не звонил. Он стал рассказывать о взломах и украденных машинах, о своих беседах с Крыловым и странных советах русского, о бесполезных заявлениях в полицию и неприятностях со страховкой. Блондинка слушала все это без малейшего интереса. Она принесла себе из кухни еще один гренок и, поскольку он все никак не мог остановиться, достала карманное зеркальце и начала краситься. А когда покончила и с этим, аккуратно сложила косметику в сумочку, допила кофе и встала.

— Прости, что я тебя перебиваю, но мне пора идти, — сказала она. — Я не смогу дослушать твою историю. Извини.

Вилленброк опешил. Он взглянул на часы и смущенно пробормотал:

— Действительно, я все говорю и говорю, тебе, наверное, совсем неинтересно всю эту муру слушать. Просто я хотел объяснить, почему я так долго не объявлялся.

— Ты уже объяснил. А теперь пойдем, будь так добр.

Вилленброк упрямо не двигался с места.

— Уж немного времени могла бы для меня найти, Барбара. Всего десять минут. Мы целую вечность не виделись.

— Я нашла для тебя почти час времени. И ты почти успел излить мне душу. Но теперь мне пора идти.

Она вышла в коридор, открыла шкаф. Скинула пуловер, запихнула его в одно из отделений и так, в одних легинсах, стала выбирать наряд.

Перед зеркалом в прихожей, прикладывая к себе платье, поймала на себе его взгляд. Нисколько не смущаясь, повесила платье на спинку стула, стянула легинсы, проверила, как сидят трусики, и только после этого нырнула в платье. Надев туфли на высоких каблуках, через секунду была уже в пальто. И, открыв дверь квартиры, выжидающе замерла на пороге, пока Вилленброк не прошел мимо. Уже на улице, возле дома, он попытался ее поцеловать, но она отвернулась, и он только неловко скользнул губами по ее щеке.

— Надеюсь, мы еще увидимся.

— Конечно, — холодно отозвалась она. Потом ослепительно улыбнулась и с издевкой добавила: — Только не звоните, мы сами вам перезвоним.

Повернулась и с высоко поднятой головой поцокала на своих каблучках, даже ни разу на Вилленброка не оглянувшись. Уже сидя в машине, он с трудом пытался подавить в себе досаду и злость. Он повел себя глупо, нюни распустил, стал распинаться о бедах и трудностях своей фирмы, как будто это кому-то интересно, кроме него самого. Словом, повел себя как ребенок. Он ведь ехал к Барбаре, чтобы переспать с ней, и она даже в квартиру его впустила, что в свете ее скверного настроения, надо считать, было скорее добрым знаком. Но тут он зачем-то начал про нападения нудить и чуть ли не расхныкался, как плаксивый двоечник. Вместо того чтобы провести с ней часа два в постели, он все уши ей прозудел своими неприятностями, да еще и себя выставил полным идиотом, столько времени распинаясь из-за каких-то напастей, которые, хоть слегка и осложнили ему жизнь, но не настолько, чтобы всерьез об этом тревожиться. Вот она его и выпроводила, и правильно, и поделом. Придется теперь изрядно потрудиться, чтобы загладить этот промах, уж тут букетом роз никак не отделаешься. Проезжая мимо молочного магазина, он вдруг увидел Барбару, та беседовала с молодым человеком. Он успел разглядеть ее лицо, вид у нее был оживленный и радостный. Молодого человека он видел только со спины, но мгновенно испытал к нему острый приступ ревности, его взбесило, что тот столь очевидно Барбаре симпатичен, что та смеется и что им обоим так весело вместе.

— Ты идиот, — сказал он себе вполголоса, продолжая смотреть на них из окна машины. И тронулся, только когда сзади — и уже не в первый раз — раздались нетерпеливые, подгоняющие гудки.

10

В начале апреля Сюзанна позвонила ему на работу. Едва заслышав ее голос, он сразу понял: что-то случилось. Обычно она ему на фирму никогда не звонила. Она даже об обеих кражах никаких подробностей знать не пожелала, а когда он все-таки рассказал ей о нападении на Пазевальда, только заметила с упреком, что в таком бизнесе ему бы следовало этого ожидать.

— У тебя плохие новости? — спросил он, едва она успела выговорить его имя.

— Мама умерла.

По ее голосу он слышал, что она плачет.

— Любимая, через десять минут я буду.

Сообщив Юреку о случившемся, он поехал к ней.

Похороны состоялись неделей позже, в субботу. Вилленброк вместе с женой прибыли в дом шурина накануне вечером. Брат и сестра при встрече только обнялись и без слов посмотрели друг на друга.

— Так лучше. Так для нее лучше, — сказал Фред. — После удара она очень быстро сдала. Под конец вообще еле дышала.

Он погладил сестру по щеке. Потом повел их в дом. Вилленброк тащил за ними следом чемодан и еще огромный венок, который он купил невзирая на протесты жены, та хотела ограничиться скромным букетом. На сей раз их снова поселили в гостевых комнатах. Мансарду, где жила теща, уже подготовили к ремонту. Старшая дочка Фреда вскоре должна была туда перебраться.

После ужина, во время которого Фред подробно поведал о последних днях матери, о приготовлениях к похоронам и о том, как оно все завтра будет, Вилленброк отправился вместе с шурином в деревенский трактир пропустить по кружечке пивка, а заодно обсудить с трактирщиком предстоящие поминки. В трактире Фред обменялся со всеми присутствующими вальяжным рукопожатием. Вилленброк заметил, что мужики в пивной обращались к его шурину уважительно, почти подобострастно.

Когда они сели за стол и сделали заказ, Фред, чуть наклонившись к нему, сказал:

— Не хотел при Сюзанне говорить, но последние дни с матерью — это был просто кошмар. Она совсем была не в себе, никого не узнавала, целыми днями бродила по дому и все искала что-то, только не спрашивай меня что. Повсюду свет зажигала, рылась в наших шкафах и во всех ящиках, включала радио, телевизор, стиральную машину и вообще все что под руку попадет. Мне, честно, было страшно. Боялся, а вдруг она, чего доброго, вообще дом подпалит. И еще была морока на улицу ее не выпускать, иначе тут бы такое началось... Здесь же все про всех судачат и сплетничают, а такая вот полоумная старуха на улице — да их хлебом не корми, только дай поглазеть, а потом всю жизнь про это языком молоть. Сюзанна ничего этого не знает и знать не должна. Она, конечно, очень привязана к матери, но заботиться вам о ней не приходилось. Я, во всяком случае, только рад, что она отмучилась. И мы вместе с ней.

Подавальщица принесла пиво, они чокнулись. Фред стал рассказывать о своей колодезной фирме, о долгой и придирчивой проверке, которую им устроила финансовая инспекция, и тут же принялся давать зятю советы по части общения с налоговыми органами. Когда официантка принесла следующую пару пива и при этом доверительно положила руку Фреду на плечо, Вилленброк ей улыбнулся. А когда она отошла, прервал нескончаемые наставления шурина и спросил напрямик, было ли у него что-нибудь с этой девушкой.

Фред ухмыльнулся, потом сказал:

— У тебя, как всегда, только одно на уме. Я женат, между прочим.

— Да знаю я, — не отставал Вилленброк, — но я тебя про ту девчонку спрашиваю, которая пиво нам носит. Хорошенькая. — Он еще раз посмотрел на девушку, потом повернулся к шурину. — Или у вас в деревне это невозможно? Все друг друга знают, ни от кого ничего не скроешь, так, что ли?

И тут Фред Херлауф вдруг вспылил:

— Я женат, и завтра утром мы мою мать хороним. А все остальное, я так полагаю, не твое собачье дело!

Вилленброк кивнул:

— Быть по сему, шурин. Наши жены ждут нас, так что допиваем пиво и идем.

Фред подозвал официантку и расплатился. Вилленброк встал и, собираясь идти, взял свою куртку. Но официантка повернулась к нему и остановила его вопросом, не желает ли он сперва заплатить. Вилленброк даже слегка опешил, он-то решил, что Фред расплатился за них обоих, потом извинился перед девушкой и дал ей, сколько с него причиталось. В полном молчании они оба пришли домой и заглянули еще на полчасика в горницу посидеть со своими женами и девчушкой-подростком.

— Опять поссорились? — спросила Сюзанна.

Вилленброк покачал головой, а Фред сказал:

— Поссорились? Нет, мы не ссорились. Просто иногда я сомневаюсь, все ли в порядке у твоего мужика с головой.

— Иногда я сама себя о том же спрашиваю, — сказала его сестра. — Но, может, все мужчины немного из другого теста. По-моему, у большинства что-нибудь не в порядке.

На похороны заявилось полдеревни. Лишь очень немногие из пришедших успели перемолвиться с покойницей при ее жизни хоть десятком слов, однако как же не уважить соседа, когда у него похороны, тем более что Фред Херлауф был тут известным предпринимателем, многих обеспечивал работой и не один год подряд исполнял обязанности добровольного старосты. К тому же суббота, когда и работать вроде не надо. Священник начал надгробную речь стихотворением Рильке и говорил о любви детей и внуков, в которой жила, почила и пребудет усопшая. В недолгой этой речи имя Фреда Херлауфа упоминалось трижды, и всякий раз священник коротко поглядывал в его сторону и головы собравшихся дружно поворачивались туда же. Вилленброк посмеивался в душе, наблюдая за этим. Когда гроб опустили в черный прямоугольный проем и один из служащих фирмы Фреда выставил на край могилы бронзовую чашу с землей, Вилленброк отступил на пару шагов назад, оставив жену рядом с братом, в лоне семьи. Он не хотел принимать соболезнования от совершенно незнакомых людей, поэтому, стоя в сторонке, наблюдал за их медленно ползущей очередью, покуда последний из участников траурной церемонии не пожал руки всем членам семьи. Потом, вместе с родственниками жены и многочисленными друзьями Фреда, он направился в трактир.

В парадном зале, который являл собой большую пристройку к основному зданию, был накрыт стол на сорок персон. Поскольку Сюзанна села рядом с братом, а по другую руку от нее устроился священник, Вилленброк отыскал себе свободный стул на другом конце стола между красномордым лысым мужичком и худенькой девушкой в темном шерстяном платье. Он не преминул представиться своим соседям по застолью.

— Родственник? — спросил лысый, и когда Вилленброк кивнул, он совершенно безучастной скороговоркой проронил: — Мои соболезнования. — После чего тут же от него отвернулся и заговорил через стол с другим лысым.

Подавальщицы без всяких вопросов ставили перед каждым мужчиной кружку пива, перед каждой женщиной кофейную чашку, на середину стола уже водрузили три больших металлических кофейника. Вслед за чем были поданы тарелки с вареной говядиной, жареной свининой, отварной картошкой и кислой капустой. Вилленброк попытался завя-

зать беседу со своей молоденькой соседкой, но та оказалась удивительно немногословной, надолго задумывалась после каждого заданного ей вопроса, чтобы потом ответить только одно: "Да я не знаю".

— То есть как это ты не знаешь, была ты знакома с покойницей или нет? — изумился он в конце концов и весело уставился на девушку. Та, зардевшись, потупила глаза и, немного помедлив, наконец ответила:

— Да я не знаю.

Когда с едой было покончено, Фред постучал вилкой по своей кружке, встал, поблагодарил священника за надгробную речь и свою жену — за самоотверженный уход за его матерью, теперь уже покойной. Потом поблагодарил всех присутствующих за то, что пришли, и объявил, что, ежели кто желает шнапсу или ликеру, пусть обращается к официантам. Усевшись на место, он пустил по кругу вдоль стола две пачки сигарет и деревянную шкатулку с сигарами. Гости возобновили прерванные разговоры, гомон голосов становился все громче, и только Вилленброк с женой сидели за столом молча, с ними по-прежнему никто не общался. Среди все более шумного застольного оживления они сидели будто немые и слушали разговоры местных. Немного погодя гости стали выходить из-за стола и группироваться кружками, продолжая беседовать о недавних выборах бургомистра, о своих недугах и хворях, о голландце, у которого несколько семей в деревне приобрели очень богатые — в-о-т такой кейс — комплекты столовых приборов; он выставлял их на ярмарке в Ганновере, а потом из-за непомерных таможенных пошлин не смог вывезти, вот и продавал гораздо ниже своей цены.

Фред Херлауф стоял в окружении еще четверых мужчин веского вида, все они, громко беседуя, курили сигары и время от времени разражались дружным хохотом. Когда Вилленброк приблизился к их группе, он услышал, как один из них, низенький, очень толстый человечек со свиными глазками, в упоении рассказывал:

— Моя секретарша тоже считает, что я ей мало плачу. Так я ей сказал: детка, каждая девчушка на своем капитале сидит, надо просто не полениться и вовремя поднять задик.

Все пятеро снова оглушительно расхохотались. Фред, помахав, подозвал Вилленброка и представил его остальным собеседникам, сообщив, что он в Берлине имеет свой авторынок подержанных машин. Потом сказал:

— Знаешь, что нам Хорст только что рассказал? Вот мы сейчас и поглядим, вправду ли вы все в Берлине такие ушлые, как воображаете. Нука отгадай, почему женщин вот уже три тысячи лет угнетают?

И уставился на Вилленброка с торжествующей улыбкой, остальные четверо со снисходительным видом тоже ждали его ответа.

— Да ладно уж, говори, — сдался Вилленброк.

— А потому, что это себя оправдывает! — Фред и остальные мужчины снова разразились радостным гоготом, Вилленброк только слегка скривил губы в вежливой улыбке.

— Ты понял, Бернд? — спросил Фред и на всякий случай повторил еще раз: — Потому что это себя оправдывает!

Вилленброк оглянулся на жену, кивнул шурину и направился к ней. Он слышал, как шурин что-то прошептал окружающим, очевидно про него. Те четверо снова громко рассмеялись. Обернувшись, он убедился, что все они смотрят ему вслед.

Часа через два были поданы торты и пирожные, а незадолго до пяти Фред распустил гостей. В считанные минуты зал опустел, гости прощались с Фредом и друг с другом несколькими скупыми словами и быстрым рукопожатием.

Свояченица с двумя детьми и Сюзанной отправились домой. Шурин снова уселся за стол, распорядился принести ему счет и выпил вместе с Вилленброком и хозяином по рюмке настойки на травах.

Дома он пожелал обсудить с Сюзанной и Берндом раздел наследства, но Вилленброк попросил его из этого разговора исключить, дело это семейное, только им, брату и сестре, его и решать. Сам он ушел из гостиной и в гостевой комнате улегся на кровать. Жена вернулась, когда он уже задремал. Она его разбудила, потому что уже было время ужинать. Он спросил, как они побеседовали, было ли вообще что делить и обо всем ли они договорились. Сюзанна сообщила, что взяла себе только материнское кольцо и старинную брошь, а еще фотоальбом — мама давно и очень аккуратно его вела. Остальное, так они с Фредом порешили, пусть останется его детям — мамина мебель, ну и деньги. Она показала ему кольцо, брошь и альбом, Вилленброк посмотрел на все это без большого интереса.

— Главное, чтобы раздоров между вами не было, — только и сказал он. Потом встал, ополоснул лицо холодной водой и вместе с женой спустился вниз.

Вечером они вместе с детьми играли в слова. Фред вскоре их покинул, сославшись на то, что ему еще надо поработать. Вилленброку показалось, что Фред просто не хочет продолжать игру в его обществе, но он ничего не сказал, а женщины только перекинулись молчаливыми многозначительными взглядами. Они с Сюзанной уже отправились спать, а шурин у себя в кабинете все сидел за компьютером и только едва кивнул им, когда они пожелали ему спокойной ночи.

На следующее утро, сразу после завтрака, они уезжали.

— Теперь вот, наверное, еще реже будем видеться, — задумчиво сказала жена Фреда.

— Вы тоже иногда могли бы нас навещать, — возразила Сюзанна. — Сто лет у нас не были. Даже нашего нового дома еще не видели.

Фред только кивнул, погрузил чемодан в багажник, обнял сестру, Вилленброку протянул руку. И ушел в дом, не дожидаясь их отъезда.

Пока они добирались до автострады, Сюзанна с раскрытым дорожным атласом на коленях работала штурманом. Покончив с этим, она захлопнула атлас, сунула его в перчаточный багажник, именуемый в простонаречии “бардачком”, посмотрела в окно и сказала:

— Ну чем тебе мой брат не угодил? Почему вы никак поладить не можете?

Не отрывая взгляда от дороги, Вилленброк подумал и ответил:

— Не знаю. Лично я ничего против него не имею. Просто мне скучно с ним, вот и все. Твой брат из тех людей, которые любят съесть в ресторане хороший бифштекс, но уже за едой начинают переживать, что бифштекс превратится в дерьмо, а не обратно в деньги.

— Мы бедно жили, он все своим горбом заработал, — проронила жена.

— Это еще не повод, — возразил Вилленброк. — Нельзя же всю жизнь на судьбу пенять и жить только в отместку.

На авторынке, как и всегда по весне, работы было по горло. Людей, решивших избавиться от старой машины, весной почему-то всегда больше, поэтому почти каждое утро множество покупателей из Восточной Европы уже с утра толклись у забора авторынка, ожидая открытия. Вилленброк предложил Юреку несколько машин сдать в мастерскую и отремонтировать там, но поляк не согласился:

— Не вопрос, шеф. Я обойдусь вам дешевле и сделаю лучше, — ответил он и каждый вечер оставался на сверхурочные, проверяя купленные машины, заменяя устаревшие детали, обновляя покраску и лак.

Пазевальд, обзаведшийся тем временем новой собакой, молодым и еще довольно игривым боксером, приходил теперь на работу только к девяти, потому что Юрек раньше не заканчивал. Иногда и Вилленброк, чтобы не каждый день уходить с работы раньше Юрека этаким барином, оставался допоздна, доканчивал свою писанину в конторе, а не дома, как обычно, или засиживался за изучением электронных элементов, которые покупал или получал по заказу, готовясь смонтировать сложную систему охранной сигнализации в Бугевице у себя на участке.

По субботам после работы он опять все чаще стал выезжать в этот свой деревенский дом, перекрывал крышу хлева, подрезал деревья, до которых у него осенью руки не дошли, расчищал лужайку перед домом и вместе с женой приводил в порядок их маленький огород. Вечером они сидели у камина и читали: Сюзанна свои развлекательные романы, а Вилленброк книги о летчиках, биографии знаменитых пилотов, листал огромные тома истории авиации с фотографиями допотопных, трескучих и трясучих летательных аппаратов или современные журналы со снимками новейших моделей.

В первую неделю мая от его адвоката пришло известие, что участок, на котором находился его авторынок, наконец-то можно купить, а это означало, поскольку и разрешение на строительство, полученное им на условиях приобретения участка в собственность, тоже еще не утратило силу, что через каких-то несколько недель он сможет приступить к возведению собственного автосалона. Не желая больше ждать, Вилленброк тут же связался с Мартенсом, своим приятелем-архитектором, с которым он еще года два назад обговорил планы строительства и в бюро которого вскоре были изготовлены чертежи и вся необходимая проектная документация. Так как он и во время строительства не намеревался прекращать торговлю, было решено, что Мартенс формально возьмет на себя и обязанности начальника строительства, а Вилленброк, находясь с ним в постоянном контакте, будет следить за ходом работ фактически. Мартенс обратился с предложениями подряда ко многим строительным фирмам и уже сделал свой выбор в пользу одной, которую хорошо знал, ибо уже четыре раза с ней работал. Вилленброк согласился, сказав, что дает этой фирме "зеленый свет" в надежде, что к концу года магазин его будет построен. Потом он позвонил в управление строительного надзора и попросил соединить его с неким господином Трихтером. У господина Трихтера он поинтересовался, может ли еще на восемь месяцев арендовать прилегающий к его авторынку участок на прежних условиях. Услышав утвердительный ответ, попросил прислать ему договор, вступающий в силу незамедлительно. После чего пошел к Юреку в бывшую оранжерею, рассказал ему о строительстве и о том, что́ в связи с этим необходимо сделать. В течение недели соседний участок следова-

ло обнести забором с еще одними воротами, обеспечить подсоединение к силовому кабелю и перебросить все машины на новую площадку.

Через несколько дней после того, как все это было сделано, начались земляные работы. Большой экскаватор производил выемку грунта под фундамент, экскаватор поменьше — прокладку траншей под коммуникации. Из окна своей бытовки Вилленброк наблюдал за продвижением работ на объекте. Он попросил Мартенса разработать для него подробный поэтапный план строительства, на котором архитектор выделил все работы, которые он, Вилленброк, обязан был контролировать и за них отчитываться. По многу раз на дню выходил он из конторы и шел смотреть, как идет стройка. Когда начали бетонировать, он часами не отходил от котлована, радуясь стремительному продвижению работ. Юрек вытаскивал его с площадки, только когда надо было заключить сделку — окончательно согласовать цену на купленную или проданную машину, оформить договор, выплатить или принять деньги. Строительство увлекало его, он был просто счастлив. С рабочими он был строг и недоверчив, подходил к ним с неизменной миной напускного недовольства, всюду бегал со своим метром, требовал во всем самых доскональных объяснений и донимал расспросами, когда что-либо было ему неясно или казалось недоделанным или сделанным не так. Но, если начистоту, ни мелкие трудности, ни обнаруженные недочеты и недоработки, на устранении которых он настаивал неукоснительно, не могли омрачить стойкого чувства восторга, владевшего им в эти первые недели. Когда пять лет назад он строил себе дом, он поначалу тоже млел от эйфории, затруднения и неприятности стали возникать и усугубляться лишь потом, когда внутренняя отделка из-за банкротства двух занятых в строительстве фирм донельзя затянулась и попортила ему немало крови, так что он, наученный горьким опытом, надеялся, что на сей раз подготовлен гораздо лучше. Когда кто-то из клиентов спрашивал его о строительстве, Вилленброк подробно рассказывал о проекте и, изъяви кто-нибудь такое желание, немедленно потащил бы гостя на стройплощадку.

Он и Сюзанне почти каждый вечер рассказывал о своей стройке и все пытался уговорить ее как-нибудь вечером или в выходной туда съездить, так хотелось ему показать ей растущее из земли здание, но она неизменно отнекивалась. Вечером она возвращалась домой слишком усталая, а в выходные всегда хотела как можно скорее поехать на участок. Магазинчик ее по-прежнему никакой прибыли не приносил, но поскольку по работе ей часто приходилось бывать в разъездах и на это время свой бутик закрывать, она скрепя сердце все же согласилась нанять себе в помощницы молоденькую продавщицу.

Крылов, навестивший его в этом году уже дважды, вдруг предложил ему поставить стройматериалы — по ценам гораздо ниже немецких. Вилленброк засомневался, будут ли эти русские стройматериалы надлежащего качества — при покупке некачественных материалов с рук нельзя будет потом предъявлять никаких гарантийных претензий к строителям. Крылов рассмеялся и сказал, что все материалы будут немецкие и только высшего качества. Вилленброк посоветовался с Мартенсом, после чего договорился с Крыловым о поставке шлифованных напольных гранитных плит для всех залов его автосалона.

— Но мне потребуется счет, — предупредил Вилленброк. — Счет нужен для банка, для финансовой инспекции. Без счета мне даже самый замечательный природный камень, увы, без надобности.

— Разумеется, — кивнул Крылов. — Разумеется, вам нужен счет, я понимаю, мне ли не знать немцев. Но добротный, нормальный счет стоит триста марок, обеспечить его вам дешевле я не могу и поверьте, ни гроша с этого не поимею. Может, вы сами себе такой счет раздобудете? Вам это наверняка будет не настолько накладно.

— Очевидно, у меня в моей стране не такие мощные связи, как у вас, господин доктор Крылов. Я беру ваш камень, и я покупаю ваш счет. Вы позволите мне спросить, каким образом вы исхитритесь поставить мне эти полы так дешево? На пятьдесят процентов ниже рыночной цены.

— Спросить вы, конечно, можете. Но неужели вы всерьез рассчитываете получить ответ, друг мой?

— Это что, камень для России?

Крылов покачал головой.

— Мой дорогой немецкий друг, скажем так: экономическая жизнь полна чудес.

11

В ночь на 27 июля Вилленброка разбудил тихий треск. Накануне он вместе с Сюзанной спозаранок уехал на свой участок и весь день садовой газонокосилкой косил траву, а потом, после позднего обеда, еще успел совершить с женой большую прогулку в лес за первыми грибами — подберезовиками и маслятами. Им пришлось ехать на автомобиле, потому что леса были частично затоплены. Какие-то хулиганы разрыли дамбу, и теперь огромные участки леса стояли под водой чуть ли не на метр. В деревне уже несколько недель все разговоры были только об этом. Ругали защитников природы, которые в последние годы ратовали за то, чтобы ради спасения уникальных местных мхов осушенные леса вновь превратить в болотистые, — этих активистов-экологов и подозревали в злостной диверсии. Другие считали, что это дело рук местной фирмы по строительству дорог и дамб — она, дескать, тайком старую дамбу порушила, чтобы наконец-то подтолкнуть местные власти к сооружению новой, о чем уже годами велись споры и дискуссии. Поскольку фирма эта, едва ли не единственная в округе, давала работу местным жителям, то и поминали ее в этой связи только тишком и с оглядкой. Зато приезжие дачники, среди которых особенно усердствовал известный длинноволосый музыкант, протестовали против новой дамбы во весь голос, ставили повсюду свои плакаты, проводили сбор подписей и даже дороги перекрывали, дабы привлечь внимание общественности к очередному экологическому злодеянию.

После ужина оба сидели у камина. Беседовали о том о сем, смотрели на огонь, Вилленброк листал новый рекламный каталог солнечных батарей. Была у него задумка огромную крышу сарая, все еще покрытую временно и кое-как, наконец-то перекрыть как следует и по всей площади выложить солнечными энергетическими модулями, переведя весь дом на автономное энергоснабжение. Около одиннадцати они отправились спать в нижнюю спальню на первом этаже — в верхней было слишком жарко и душно — и вскоре заснули.

Проснувшись, Вилленброк не сразу сообразил, где он и что его разбудило. Но тут он услышал звук тихих шагов в соседней комнате. В ту же секунду сон слетел с него напрочь. Он осторожно повел рукой по одеялу, чтобы проверить, здесь ли Сюзанна или, может, ей понадобилось в

туалет и это она крадется по соседней комнате. Однако прежде чем рука его коснулась жены, он уже знал, что осторожный шорох за стеной — это не шаги Сюзанны и не шуршанье мыши или еще какого-нибудь мелкого зверька. В доме, совсем рядом, был чужой, Вилленоброк сразу это понял. Сигнализацию он на ночь не включил, обычно они оставляли ее только на время своего отсутствия, когда в Берлин уезжали. Его будто пригвоздило к постели, но мысли неслись галопом. Сразу вспомнился один из рассказов Гензера, одна из его сенсационных криминальных историй. Настоящий профессионал, говорил Гензер, если его не пугать, ничего тебе не сделает. Припомнив историю Гензера, Вилленброк в какие-то доли секунды почему-то понял, что грабитель в соседней комнате не профессионал. И невозможно предугадать, как он отреагирует, обнаружив в доме хозяев, — хватит ли у него хладнокровия не нападать на них, если он увидит, что они, перепуганные насмерть, тихо лежат в постели. Это либо безработный юнец из одной из окрестных деревень, либо нелегально перешедший границу иностранец, которому срочно нужна машина и сколько-то денег, чтобы как можно скорее скрыться вглубь страны. А может, просто голодный бродяга, за продуктами залез. Вилленброк понятия не имел, как поступит этот жулик, если войдет к ним в спальню и их обнаружит. И решил, что просто так лежать нельзя. Вдруг это настоящий бандит, да еще и вооруженный, где гарантия, что он не вздумает на них напасть несмотря на всю их демонстративную кротость, — они же тогда будут совершенно перед ним беззащитны.

Вилленброк ласково, очень нежно погладил жену по лбу, та сонно отвернулась. Но он продолжал гладить Сюзанну по щеке, пока жена с тихим, едва слышным вздохом не проснулась.

— Тихо, только не шуми!

Он положил руку ей на плечо и почувствовал, как она сразу задрожала всем телом.

— Лежи и не шевелись, — прошептал он ей в ухо.

Осторожно, стараясь избежать малейшего шума, он скинул с себя одеяло, встал и подошел к двери. Взялся за дверную ручку и медленно, бесконечно долго на нее нажимал, чтобы она открылась без щелчка. Его ладонь будто приросла к ручке и вся взмылилась от пота. Когда он приоткрыл дверь, то в узкую щелку сразу же увидел мужчину: тот стоял перед раскрытым комодом, глубоко запустив руку в одно из отделений. Видимо, человек его услышал или просто что-то почувствовал спиной: вор оглянулся, увидел его и в ту же секунду отскочил назад. В три прыжка он уже был у двери и исчез в кухне-столовой. Вилленброк включил свет и только собрался броситься вслед за грабителем, как тот появился сам: он шел на него, зажав в правой руке занесенную для удара железяку — то ли монтировку, то ли фомку. Не успел Вилленброк отпрянуть, как на него обрушился удар, пришедшийся, по счастью, вскользь — железяка только чиркнула его по руке и со всего маху грохнулась об пол. Метнувшись обратно в спальню, Вилленброк захлопнул дверь и навалился на нее всем телом. Его жена вскочила, в одной ночной рубашке она стояла возле кровати и громко кричала.

— Уходи! — приказал он ей. — Вылезай в окно! Я за тобой!

Между тем дверное полотно сотрясалось от все новых и новых ударов — это взломщик колотил по нему своей железякой. Казалось, еще немного, и дверь треснет. Вилленброк еще раз крикнул жене, чтобы лезла в окно, бежала, но увидел, что она не в силах сдвинуться с места.

Словно пригвожденная к полу, она стояла у кровати, мелко трясясь и продолжая истерически верещать. Нет, не сможет она вылезти в окно, она вообще не в состоянии двигаться. Видя это, Вилленброк вынужден был отказаться от своего первоначального замысла — выскочить вслед за ней в окно, добежать до соседнего дома, кликнуть на подмогу соседей или вызвать полицию. В двери уже образовалось две дыры, вернее, две продольных полосы выбитой древесины. Долго ему эту дверь не удержать, если дальше так пойдет, он уже вскоре схлопочет монтировкой прямо по незащищенному телу. Еще раз оглянувшись на Сюзанну, он распахнул дверь и заорал что есть мочи. Он надеялся, что крик его, быть может, услышат соседи и придут ему на помощь, хотя до ближайшего подворья было метров триста, не меньше. Однако и грабитель, ошарашенный столь внезапной атакой хозяина, в первый миг отпрянул. Явно растерявшись, он стоял перед Вилленброком с поднятой железякой, но ударить не решался. Яростно сверкая на него глазами, Вилленброк продолжал во все горло орать. Оказывается, вору тоже было страшно. Вилленброк видел, как испуганно моргают и бегают его глаза, как тяжело он дышит, вон даже рот раскрыт. "Да он боится до смерти!" — успел подумать Вилленброк и заорал с удвоенной силой. Трясясь и задыхаясь от страха, он видел — чужак тоже оробел. Но тут грабитель все-таки нанес ему удар, пришедшийся по плечу. Хотя сам удар Вилленброк ощутил, боли он почему-то не почувствовал. В ту же секунду он понял, что вообще не чувствует ударов. Противник между тем размахнулся снова, Вилленброк попытался перехватить железяку на лету, но промахнулся, и его настиг новый удар, на сей раз по руке. Однако он по-прежнему не спускал с негодяя глаз и орал во все горло. Теперь и бандит закричал, причем кричал что-то непонятное, Вилленброк не разбирал его слов, да это было и непросто, поскольку сам он орал непрестанно. Из кухни донесся еще чей-то голос, он звучал взволнованно и требовательно, но Вилленброк даже не повернулся в ту сторону, лишь бы не терять из виду избивающего его подонка. Краем уха он вроде бы уловил славянскую речь и лихорадочно подыскивал подходящие русские выражения, но, так ничего и не вспомнив, начал выкрикивать все что в голову взбредет. Когда монтировка хрястнула об пол, он стрельнул глазами по сторонам в поисках хоть чего-то, чем можно защититься, но успел заметить поблизости только тяжелое, неудобное кресло. Два следующих удара он, прикрывая голову, снова принял на руки. От очередного успел, как щитом, заслониться дверью. Послышался очень внятный треск дерева, и он взвыл пуще прежнего. Голос второго мужчины, которого он еще не видел в лицо, раздался снова и звучал резко, как приказ — теперь Вилленброк уже совсем отчетливо разобрал русские звуки. Человек перед ним, как Вилленброк только теперь заметил, чуть ли не на голову меньше его ростом, похоже, заколебался. Воспользовавшись этой минутной неуверенностью, презрев его вскинутую железяку, крича что-то грозное и свирепое, Вилленброк двинулся прямо на врага. Тот, оробев, отступил в кухню-столовую, Вилленброк тут же захлопнул дверь и припер ее плечом, дабы отстоять это с таким трудом отвоеванное пространство. Он навалился на дверь изо всех сил. Однако два страшной силы удара, потрясшие дверь с той стороны, заставили его содрогнуться. Потом стало тихо. Из кухни не доносилось ни звука. Вилленброк перестал орать и прислушался. Он повернул голову, намереваясь снова сказать жене, чтобы та немедленно

вылезала в окно, но не успел он и рта раскрыть, как филенку двери в каких-то сантиметрах от его виска с треском пробило длинное лезвие ножа. Не отвернись он за секунду до этого — нож вонзился бы ему прямо в щеку, он ведь всем телом на дверь наваливался. Вилленброк замер: тяжело дыша, он уставился на лезвие, торчащее прямо у него перед носом. Когда лезвие ушло обратно, Вилленброк, ни на секунду не ослабляя нажим, уперся обеими руками в дверную раму, массивная древесина которой защищала его и от ножа, и от железяки, и перенес всю тяжесть своего тела на край двери. С той стороны он слышал возбужденные голоса, мужчины нервно и быстро о чем-то переговаривались, теперь он уже не сомневался — говорили они по-русски. Из спальни все еще доносились монотонные подвывания жены. Вилленброк лихорадочно соображал, что же делать дальше, как вообще быть? Все еще налегая на дверь, он огляделся в комнате, что бы такое схватить, чем можно обороняться, но ничего, даже сподручной табуретки, не обнаружил. И тогда он стал делать вид, будто звонит по телефону. Несколько раз подряд громко повторил: "Это полиция? Милиция?", потом начал излагать, что на него напали. Да, хулиганы, повторил он несколько раз, вспомнив, что по-русски это слово вроде бы звучит почти так же. Он взволнованно требовал, чтобы полиция приезжала как можно скорей, повторив это предложение по-английски и даже по-русски. Потом крикнул жене, что полиция будет через несколько минут. Все это он выговаривал громко и предельно отчетливо в расчете на то, что взломщики услышат его и поймут, а заодно надеясь этими безумными заверениями хоть как-то успокоить Сюзанну. За дверью, которую он все еще изо всех сил держал, раздались торопливые шаги — кто-то убегал. Потом по ней снова изо всех сил саданули железякой, и тот, кто, очевидно, стоял с той стороны совсем близко, дважды выкрикнул какую-то фразу по-русски, смысла которой Вилленброк не разобрал. Потом, похоже, решил уйти и он. Вилленброк слышал его поспешные шаги — сперва через кухню, потом, уже глуше, по нижнему коридору. Слышал, как они гулко простучали по плиткам прихожей. Осторожно наклонив голову, он еще плотнее прижался щекой к дверной раме, готовый при малейшем шорохе снова ее отдернуть во избежание нового удара ножом. Только тут, опустив глаза долу, он с изумлением обнаружил, что на нем лишь его пижамная куртка, которая едва доходит ему до причинного места. Хорош, однако, у него был видок в глазах грабителя — немолодой уже мужик, полуголый и безоружный, прет на него, вывалив все свое хозяйство, и орет благим матом. Вилленброк потихоньку приоткрыл дверь в кухню-столовую: в комнате никого не было. На пороге валялась железяка, которой его лупцевали. Вилленброк поспешно ее цапнул, снова захлопнул дверь и, обессиленно привалившись к ней спиной, тщетно пытался перевести дух.

— Все! — крикнул он Сюзанне. — Они смылись. Мы выстояли!

Потом, по-прежнему придерживая дверь, он снова прислушался: нет ли каких подозрительных шумов. Вдруг бандиты только притаились и ждут, когда он откроет дверь и выйдет, тогда они на него и набросятся.

Подвывания жены сменились всхлипами, а потом и вовсе стихли. Теперь в доме стояла мертвая тишина. Вилленброк медленно приоткрыл дверь, все еще крепко сжимая в руке бандитскую фомку. Он слышал, как бухает его сердце. В кухне-столовой никого, дверь в коридор

распахнута. Он выждал, потом рывком распахнул дверь, кинулся в кухню и зажег свет. Тут он огляделся, обеими руками прижимая железяку к груди, чтобы в любую секунду успеть ударить. Затем включил свет в коридоре и увидел, что обе двери, ведущие во двор, тоже раззявлены во всю ширь. Подошел к телефону, что стоял в кухне на подоконнике. Снял трубку, набрал номер полиции, причем на клавиши смотрел краем глаза, стараясь не упускать из поля зрения комнату, освещенный коридор и распахнутые настежь входные двери. Взгляд его при этом упал на железяку, все еще судорожно зажатую в руке. И только тут он сообразил, что это его каминная кочерга с латунной ручкой — обычно она висит на втором этаже около камина. "Они тебя твоей собственной кочергой чуть не угробили", — успел подумать он. Телефонную трубку он прижимал ухом к плечу. Он уже начал раздражаться, что никто не отвечает, и только тут понял, что вообще не слышит гудков. Нетерпеливо постучал по клавише отбоя, но в трубке по-прежнему было глухо. Он потянул за шнур — нет, не выдернут, все как будто в порядке. Наконец он положил трубку, покрепче сжал кочергу и крадучись прошел в коридор. Беспрерывно озираясь по сторонам, осторожно поднялся по лестнице. Наверху толкнул дверь в свой маленький рабочий кабинет и замер на пороге. Ничего не услышав, провел рукой вдоль карниза, пока не нащупал выключатель, а включив свет, одним прыжком очутился в комнате, грозно вздымая кочергу. В комнате все было вверх дном, его "дипломат" валялся раскрытый. Подняв его, Вилленброк сразу увидел, что мобильника в нем нет. Он быстро сбежал вниз и вернулся в спальню. Свет нигде не выключал. Сюзанна, по-прежнему в ночной рубашке, сидела на краю кровати и беззвучно плакала.

— Оденься, — сказал он. — Придется к соседям идти. Надо в полицию звонить.

В спальне он свет выключил: хотел видеть все вокруг, но чтобы самого его при этом видно не было. Попросив Сюзанну дать ему его одежки, положил их в изножье кровати, чтобы одеться, не отходя от открытой двери и ни на миг не теряя из виду соседних помещений. Кочергу тоже бережно положил на кровать, чтобы в любую секунду была под рукой. Одевшись, встал за дверью, дожидаясь, пока Сюзанна будет готова. Когда они вместе выходили из спальни, он и тут включил потолочное освещение. В прихожей они надели пальто, с полки возле двери в подвал он взял мощный, тяжелый, черного металла карманный фонарь, потом включил освещение по всему периметру двора. С небольшой террасы над крыльцом двор теперь просматривался как на ладони: там никого не было.

Знаком он приказал жене подождать, а сам вышел на крыльцо. Мощным лучом фонаря он тем не менее прощупал каждый угол двора, каждый закуток, где можно спрятаться, после чего направил луч на прилегающий луг и проверил путь до самой опушки леса.

— Пошли, — сказал он не оборачиваясь. — Теперь можно.

Они шли очень быстро, почти бегом, он беспрерывно шнырял вокруг себя фонарным лучом, в другой руке по-прежнему сжимая кочергу.

Только заслышав лай соседского пса, Вилленброк почувствовал себя в относительной безопасности. Кое-как пристроив в одной руке и кочергу и фонарь, другой рукой он обнял Сюзанну за плечи, приговаривая:

— Все хорошо, успокойся, дорогая, все уже позади.

У садовой калитки ему как-то удалось отвлечь захлебывающегося яростным лаем пса и все же дотянуться до кнопки звонка. Он звонил долго, упорно, потом обернулся и снова обшарил все вокруг лучом фонаря. Одно из окон на первом этаже приоткрылось, раздался заспанный и злой голос соседа, который спросил, кто там и в чем дело.

— Это мы, Хайнер. На нас напали, — зычно отозвался Вилленброк, стараясь перекрыть голосом собачий лай.

— Что, что случилось? — переспросил сосед, теперь уже окончательно проснувшись.

Окно закрылось, в комнате зажегся свет, плотно закрытые шторы пришли в движение. Вилленброк с женой стояли у калитки, пес лаял беспрерывно, луч фонаря метался по окрестным кустам. Свет уже зажегся на кухне, потом на застекленной террасе, потом на дворе. Наконец появился и сам Хайнер, их сосед, рослый, крепкий крестьянин со всклокоченной рыжеватой шевелюрой. Он уже был одет, босые ноги в деревянных башмаках.

— Что ты сказал? Что случилось?

Он ухватил собаку за ошейник, открыл калитку, взмахом руки велел им проходить и сам проследовал за ними на террасу.

Вилленброк вкратце изложил, что с ними приключилось, и сказал, что у него не работает телефон. Хайнер схватился за свой — тот тоже молчал.

— В деревню надо ехать, — решил он. — Сюзанна пока что тут с Марией может остаться.

Он вошел в дом и вскоре вернулся с ключами от машины.

— Ты на кухню проходи, — сказал он Сюзанне. — Мария уже проснулась, сейчас выйдет. Только дверь входную за нами запри.

Вместе с Вилленброком он вышел на двор, прикрикнул на пса, который все никак не мог угомониться, и вывел из гаража машину. Чтобы выехать со двора, ему пришлось посадить пса на цепь, иначе нельзя было открыть ворота. Они уже тронулись, когда Хайнер вдруг снова остановился, вылез из машины, вернулся во двор, запер ворота и снова спустил пса.

— Так-то оно надежнее, — сказал он Вилленброку. — Никогда не знаешь...

Они медленно проехали мимо дома Вилленброка. Почти во всех окнах горел свет. Оба, не вылезая из машины, пристально осмотрели все вокруг, но ничего подозрительного не заметили.

В деревне они подъехали к многоквартирному дому, где жил участковый полицейский, и позвонили. Им пришлось довольно долго ждать, пока тот наконец не отозвался в домофон сонным, недовольным голосом.

— Спускайся, — сказал Хайнер. — На Вилленброка бандиты напали. Спускайся давай и оружие прихватить не забудь.

В ответ повисла тишина. Потом наконец участковый подал голос. Это не по его части, сказал он, им надо звонить в полицию по телефону срочного вызова, там для этого свои люди имеются.

— Да не можем мы позвонить, у нас телефоны не работают! — воскликнул Хайнер.

Участковый в ответ напомнил про телефон-автомат на главной площади деревни.

— А если эти подонки и его сломали? — не унимался Хайнер.

В маленьком репродукторе домофона раздался щелчок — участковый просто повесил трубку. Онемев от возмущения, они только переглянулись и пошли обратно к машине. Когда они садились, крестьянин в сердцах бросил:

— Пентюх ленивый! И всегда таким был!

Они доехали до главной площади и остановились возле освещенной будки телефона-автомата. Вилленброк пошарил в карманах в поисках мелочи, но у него ничего с собой не оказалось. Он уже хотел было попросить у Хайнера и только тут вспомнил, что полицию можно вызывать бесплатно. Он набрал номер. После первого же гудка в трубке отозвался корректный мужской голос и спросил, что ему угодно. Вилленброк попытался спокойно и по порядку рассказать о нападении. Полицейский записал адрес и попросил объяснить, как проехать. После чего пообещал выслать патрульную машину немедленно. Вилленброк сказал ему, что пока будет находиться у соседа, домом дальше, полицейский и этот адрес записал. Кочергу в течение всего разговора Вилленброк сжимал под мышкой.

— Сейчас будут, — сообщил он Хайнеру. Крестьянин кивнул.

Они поехали обратно. Хайнер поставил машину в гараж, принес из деревянного сарая толстенную цепь с замком, чтобы запереть гараж понадежнее, и снова спустил пса, которого до этого опять ненадолго привязывал.

Женщины все это время смотрели на них с освещенной террасы. Сюзанна уже почти пришла в себя и теперь сама пыталась успокоить соседку, которую весть о нападении разволновала так, что у нее разболелось сердце. Все сели на кухне, и Вилленброк принялся рассказывать, как он проснулся и сразу почувствовал, что в доме творится что-то неладное. Он рассказал соседям о драке, о нанесенных ему побоях и о том, как спасался за дверью. Он закатал рукава и потирал ушибы на руках — они покраснели и мало-помалу начинали болеть. Сосед то и дело вскакивал, шел в прихожую, открывал окно и смотрел в сторону дома Вилленброка. Когда там завиднелись фары автомашины и синие всполохи "мигалки", он вместе с Вилленброком и Сюзанной направился к их дому.

Во дворе стояла патрульная машина, двое полицейских с фонарями в руках осматривали место происшествия. Они выслушали рассказ Вилленброка, после чего направились к машине звонить.

— Криминальная полиция сейчас будет, — доложил один из них, когда они снова вышли из машины. Вместе с Вилленброком и соседом они обошли весь дом, зажигая свет всюду, где он еще не был включен, и обшаривая фонарями все темные углы, в особенности чердачную каморку. В гостиной на втором этаже сетка от мух, которой было затянуто одно из окон, оказалась взрезанной — видимо, через это окно взломщики, или по крайней мере один из них, и проникли в дом. Возле камина валялся ржавый, примерно метровой длины металлический уголок, явно выдернутый из какого-то ограждения. Красивого каминного набора из четырех предметов — солидных, с латунными ручками железных приспособлений для чистки камина — как не бывало. Других пропаж Вилленброк пока что установить не мог. У себя в кабинете он наскоро проверил содержимое своего чемоданчика: кроме мобильника и кожаного несессера с инструментами все вроде бы было на месте.

Оставив повсюду гореть свет, полицейские направились во двор. Новая железная дверь в хозяйственную пристройку, которую Виллен-

брок поставил в начале года, с нижнего угла была погнута, видимо, взломщики тщетно пытались ее вскрыть. Отперев ее, Вилленброк включил свет. Машина его, целая и невредимая, была тут как тут, среди аккуратно сложенных стройматериалов — кирпича, бруса и вагонки. Он подошел к машине и на всякий случай попробовал открыть дверцы — они были заперты. Полицейские осветили фонарями штабеля древесины, после чего он снова запер дверь и они пошли к сараю, вход куда, вообще без двери, был только заложен досками. Поскольку электричества в сарае не было, его пришлось осматривать при свете фонарей. Полицейские спросили у Вилленброка, пропало ли что-нибудь, он ответил, что вроде бы все на месте. Тут к ним на двор пришла Сюзанна, она боялась оставаться в доме одна. Вилленброк обнял ее за плечи. В траве они нашли куртку, вернее, старую замызганную телогрейку, какие носят на работу крестьяне. На вопрос полицейских Вилленброк ответил, что нет, это не его вещь. Он хотел было поднять телогрейку, но его попросили ничего не трогать. В нескольких шагах от этого места они нашли в траве набор ножей, который Вилленброк за два дня до этого купил на местном рынке и, даже не успев распаковать, оставил на веранде. Видно, воры решили прихватить и их, но когда убегали, то ли обронили, то ли бросили.

В это время возле садовой калитки остановилась вторая машина, из нее вышли мужчина и женщина и направились к ним во двор. Женщина подошла первой, представилась комиссаром полиции Бюлер и, кивнув на своего спутника, бросила только:

— Мой сотрудник.

Вилленброк пригласил ее в дом. Тут сосед стал прощаться. Вилленброк проводил его до калитки, еще раз поблагодарил за помощь и извинился за причиненное беспокойство.

— Да брось ты, — отмахнулся крестьянин. — Для чего тогда еще соседи, Бернд?

Все четверо работников полиции тем временем уселись за стол на террасе. Комиссарша извлекла из сумки портативный компьютер и включила его, после чего Вилленброку пришлось еще раз изложить ход ночных происшествий, а она с его слов все записывала. Когда он стал рассказывать о том, как его били каминной кочергой, и показал на свои руки, комиссарша спросила его, вызвал ли он "скорую помощь". Вилленброк поднял обе руки, повертел ими, пошевелил пальцами.

— Переломов вроде нет, — сказал он.

После того как комиссарша составила протокол, они снова все вместе прошли по комнатам дома, потом снова осмотрели пристройку, сарай и лужайку во дворе. Вилленброк все им отпер, а сам пошел обратно в дом уговаривать жену прилечь, но та наотрез отказалась. Через какое-то время полицейские вернулись, неся с собой в полиэтиленовых пакетах различные предметы, собранные для выявления улик. Один из полицейских нес три недостающие кочерги от каминного набора, найденные в саду. Он вернул их Вилленброку, поскольку пригодных отпечатков пальцев на них не было. И эти, в сантиметр толщиной, железные штуковины тоже оказались погнуты. При виде их Вилленброк невольно снова стал ощупывать ушибы у себя на плечах и предплечьях — местами они распухли и болели все сильней.

В проволочной ограде в задней части сада обнаружили тщательно вырезанный широкий проход.

— Судя по всему, работали профессионалы, — заметила комиссарша. — Эти ребята прежде чем в дом лезть, обеспечили себе надежный путь к отступлению.

По ее версии, взломщики пробрались в сад еще с вечера, с наступлением темноты, и первым делом подготовили этот проход в заборе на случай внезапного вынужденного бегства. Потом устроились под одним из деревьев, о чем свидетельствовали найденные там полотенца, очевидно сорванные с бельевой веревки, на которых они то ли сидели, то ли лежали, и стали ждать, когда в доме погасят свет. Ждать им пришлось больше двух часов, после чего они попытались вскрыть пристройку, где стояла машина. И только после того, как им не удалось взломать солидную металлическую дверь, они приняли решение проникнуть в дом и там раздобыть ключи от ворот пристройки и от машины. Они заметили, что окно на втором этаже открыто и решетки на нем нет, только сетка от мух. Один из воров влез на стеклянную крышу садовой террасы, о чем свидетельствовали поставленные друг на друга садовые стулья, через открытое окно проник в дом, поменял вырванный из какой-то луговой ограды железный уголок на более сподручный каминный набор, спустился вниз, отпер входную дверь оставленным в ней ключом и впустил в дом еще одного или нескольких своих сообщников. По найденным предметам и иным установленным следам можно заключить, что грабители шли на дело не с пустыми руками — у них при себе имелись плоскогубцы или кусачки, карманные фонарики, монтировки и деревянные дубинки. Забор взрезан очень аккуратно. Она, кроме того, предполагает, что где-то на подступах к хутору перекушен подвесной телефонный кабель местной линии, но это точнее выяснится завтра в ходе следствия. Принесенные с собой деревянные дубинки преступники оставили возле забора, вооружившись вместо этого металлическим уголком, сложенным там же, видимо, для строительства электроограждения. Взломщик, проникший в дом первым через открытое окно на втором этаже, оставил свой уголок в верхней гостиной, взяв вместо этого все четыре каминных кочерги. И судя по всему, после того как отпер входную дверь, раздал их своим сообщникам. Те, в свою очередь, поменяли на них свои куски уголка, которые, что характерно, они не побросали как попало, а очень аккуратно сложили внизу за лестницей, чтобы не споткнуться о них в случае внезапного бегства. Судя по количеству дубинок и уголков, равно как и по каминному набору, преступников было четверо. Тут комиссарша похвалила Вилленброка: он, дескать, держался просто образцово.

— Что с вами? — вдруг всполошилась она, глянув на Вилленброка. — Вам нехорошо? Может, вам прилечь?

— Да вот гляжу на эти гнутые железяки и все думаю, действительно ли у меня все кости целы? Может, надо все-таки сделать рентген?

— Сделайте. Прошу вас. Так во всех отношениях будет лучше.

Комиссарша попросила патрульных вызвать "скорую помощь". Один из них встал и направился к машине. Вилленброк спросил, не может ли кто-нибудь из полицейских побыть в доме, пока он не вернется из больницы, он не хотел бы сейчас оставлять жену одну. Комиссарша пообещала, что его обязательно дождутся.

— Вы нам очень помогли. Спасибо. Мне теперь уже гораздо спокойнее, — поблагодарил Вилленброк.

— Это моя работа. А вот вы действительно держались молодцом. Прямо как в учебнике. И тем, что все так благополучно обошлось, вы обязаны прежде всего самому себе.

Вилленброк не согласился:

— Вы хоть и говорите мне это уже в третий раз, но, простите меня, это полная чушь. Мне просто повезло, что все обошлось так, как я надеялся. Ведь этот тип, который меня избивал, он же прекрасно видел, что я совершенно беззащитен. Так что если я кого своим ревом и вспугнул, то только его сообщников, которые меня не видели. Может, мои вопли их и вправду напугали, а тот, который меня бил, тоже струхнул, когда понял, что они смылись, хотя я-то был совершенно бессилен. И все могло по-другому кончиться, совсем по-другому. Когда вы в одной пижамной куртке стоите перед вооруженным бандитом, невозможно вести себя правильно. Надо просто что-то делать, и тут ты можешь повести себя либо образцово, либо в корне неверно, это уж как повезет. Мне просто повезло.

— Вы не запаниковали, господин Вилленброк. А это дорогого стоит.

— Это не так. Я был в панике. В противном случае после первого же удара железякой у меня хватило бы ума броситься ничком на пол. Только не говорите мне опять, что я повел себя правильно. Не может быть правильного поведения в подобных ситуациях, даже если в ваших учебниках таковое и описано. Все могло кончиться совсем по-другому. Отнюдь не благополучно, как вы изволили выразиться. Меня могли убить. Нас обоих могли убить.

Оба патрульных молча сидели за столом, с явным интересом прислушивались к разговору и наблюдали за работой своих коллег из криминальной полиции. Они пили кофе, который подала им Сюзанна, и с нескрываемым любопытством следили за тем, как составляется протокол. Вооруженный грабеж внес разнообразие в их монотонное ночное дежурство, и все происходящее явно не было им в тягость.

Входная дверь была открыта, на террасу откуда-то издалека доносилась тихая музыка. Комиссарша спросила у Вилленброка, кто это заводит музыку в такой час, уж дискотеки-то здесь наверняка нет.

— Это Викерт, музыкант из Берлина, — ответил Вилленброк. — У него часто гости, тогда они до самого утра гуляют.

Комиссарша захотела сходить к этому соседу, может, он сам или кто-то из его гостей что-нибудь заметили. Она попросила Вилленброка пойти вместе с ней, а ее сотрудник пока что побудет дома с Сюзанной. Один из патрульных предложил их отвезти, и комиссарша с Вилленброком сели в машину.

На участке музыканта горел костер, вокруг сидело довольно много людей, иные с музыкальными инструментами, почти все пили вино. Когда Вилленброк в сопровождении полицейского и комиссарши открыл калитку и вошел, их приветствовали радостными возгласами, словно долгожданных гостей, однако когда они подошли ближе и собравшиеся разглядели полицейскую форму, гомон голосов разом стих и все напряженно на них уставились. Трое мужчин мгновенно побросали в огонь свои сигареты и принялись разгонять руками дым. Долговязый детина с волосами до плеч стал выяснять у полицейского, что тому угодно и по какому праву он вообще заходит к нему на участок.

— У вас ордер на обыск есть? — осведомился он, с трудом ворочая языком. И только тут, узнав соседа, подал Вилленброку руку и удосужился спросить, не слишком ли они расшумелись.

Вилленброк покачал головой.

Комиссарша вкратце разъяснила причину их появления и спросила, не видели ли они незнакомых лиц и вообще не бросилось ли им в глаза что-нибудь необычное, но никто из присутствующих ничего такого не заметил.

— Так это были русские? — переспросил музыкант. — "Товарищи"?

— Видимо, — ответил Вилленброк.

— Что ж, тогда продолжайте веселиться, — сказала комиссарша и с усмешкой добавила. — Только курить советую поменьше. А то это зелье до добра не доведет.

Когда они направились к машине, один из музыкантов затянул мелодию, другие подхватили, и вскоре, в сопровождении двух гитар, уже все общество с воодушевлением горланило русскую народную песню.

— Веселый у вас сосед, — заметила комиссарша.

Вилленброк кивнул.

Подчиненный комиссарши спросил, удалось ли им что-нибудь узнать, она покачала головой и принялась тщательно раскладывать по пакетам найденные в саду и в доме вещественные доказательства.

Когда наконец перед их калиткой остановилась "скорая помощь", Вилленброк встал и попрощался с женой. Комиссарша вышла вместе с ним. Водитель и молодой врач уже вышли из своего белого с красными крестами "универсала" и поинтересовались, что произошло. Комиссарша попросила их отвезти Вилленброка на рентген, врач стал что-то записывать в свои формуляры. Когда комиссарша упомянула о нападении, он сказал, что по пути сюда на дороге в Анклам они встретили двоих мужчин. Они обратили на них внимание, потому что в половине четвертого утра на пустынном проселке довольно странно видеть пешеходов.

Комиссарша тут же направилась к дому, постучала в оконное стекло и знаками вызвала к себе обоих патрульных. Коротко изложив суть дела, она приказала им немедленно ехать и проверить, что это за ночные гуляки.

Вилленброк забрался в задний салон "скорой помощи" и уселся там. Врач спросил, не хочет ли он прилечь, однако Вилленброк прилечь отказался. Пока длинный белый фургон разворачивался на узкой грунтовой дороге, полицейские в патрульной машине уже успели отъехать. Еще через пять минут, по дороге в Анклам, он снова увидел их машину уже на обочине, а сами полицейские беседовали с двумя мужчинами, светя фонарями им прямо в лица. Вилленброк видел мужчин только со спины, оба были невысокие. "Скорая помощь" проехала мимо них слишком быстро, и лиц он из окна разглядеть не успел.

В клинике ночной вахтер объяснил Вилленброку, как пройти в рентгеновский кабинет. Ему пришлось долго ждать, пока, громко зевая, не появился пожилой врач в сопровождении медсестры. Вилленброк в немногих словах изложил, что с ним стряслось. Врач выслушал его с полузакрытыми глазами, потом сказал сестре, что надо просветить, и исчез за дверью. Вилленброк проследовал за сестрой в аппаратную и разделся до пояса. По завершении процедуры ему предложили подождать в коридоре. Он сел на скамью и прикрыл глаза, пытаясь хоть ненадолго заснуть, но в ту же секунду перед внутренним взором вновь возникла ночная сцена и он отчетливо увидел перепуганное, исполненное отчаянной и злобной решимости лицо парня, который его бил.

Тут он услышал голос врача, звавшего его в кабинет. Прикладывая снимки к светящемуся экрану, тот объяснил Вилленброку, что на них видно, и в итоге заявил, что переломов нет. Ушибы еще несколько часов будут распухать, и только через несколько дней, а то и недель, опухоли спадут и рассосутся. Он настоятельно порекомендовал Вилленброку показаться своему лечащему врачу, у него может развиться воспаление надкостницы, а это штука весьма болезненная. Все это время, пока он, стоя перед светящимся экраном, смотрел на снимки и давал пояснения, глаза его оставались полузакрытыми. Вилленброк уже начал спрашивать себя, не говорит ли с ним доктор во сне. Но тут он как раз повернулся к Вилленброку и посмотрел прямо на него. Веки на мгновение приподнялись, Вилленброк успел перехватить усталый взгляд, но в тот же миг веки снова приспустились, и врач продолжил.

— Каждую неделю, — сказал он, — каждую неделю у нас бывает случай вроде вашего. Стены надо строить. Повсюду стены, иначе с человечеством не совладать. Вокруг всей Германии стену, вокруг каждой страны. А в Югославии, Израиле и Северной Ирландии еще и по нескольку стен внутри. Вот тогда будет тихо. Все озверевшие бестии будут сидеть по своим клеткам.

Тут он закрыл глаза полностью и, казалось, окончательно заснул на фоне экрана — но вместо этого вдруг, ни слова не говоря, вышел вон. В полной растерянности Вилленброк подождал немного, потом пошел искать медсестру, а найдя, спросил, все ли уже с ним закончено и как ему добраться домой — не отвезут ли его на той же машине.

— Служба "скорой помощи" за доставку пациентов домой не отвечает, — ответила медсестра и углубилась в свои записи.

— Но как же мне прикажете добираться?

Вилленброк до смерти устал, был зол и чувствовал себя распоследней тварью на белом свете.

Медсестра как ни в чем не бывало продолжала писать. И лишь немного погодя подняла глаза, со вздохом выдвинула ящик стола, достала оттуда транспортный формуляр, заполнила его и протянула Вилленброку. Такси он может заказать у вахтера, сказала она. Однако прежде чем Вилленброк вышел, она не преминула сообщить ему, что транспортные формуляры у них наперечет, каждый такой формуляр наносит ущерб бюджету их клиники, но пациентам, конечно, до этого дела нет, они же только о себе думают.

Вахтера на посту не оказалось, Вилленброку пришлось дожидаться, пока тот вернется то ли с обхода, то ли из уборной. Когда он садился в машину, таксист спросил, будет он платить сам или у него формуляр больничной кассы. А когда они уже выехали из города, он заявил Вилленброку, что предпочитает оплату наличными, а деньги в больничной кассе Вилленброк пусть сам получит, у него из-за этих формуляров одна морока. Вилленброк ответил, что у него нет с собой денег. Таксист злобно умолк. Всю дорогу Вилленброк смотрел в окно, он боялся заснуть и что-нибудь увидеть во сне, даже глаза закрыть и то было страшно. Небо уже было тронуто первыми проблесками занимающейся зари, едва различимая узенькая кромка света проглядывала между мощными черными кронами убегающей вдаль аллеи.

Когда такси въехало на небольшой взгорок, с которого был виден их дом, водитель, заметив освещенные окна и стоящую во дворе полицейскую машину, спросил, что случилось.

— На меня напали, — бесстрастно ответил Вилленброк.

Таксист присвистнул, оглянулся на Вилленброка и сказал:

— Тогда добро пожаловать в наш клуб потерпевших.

Когда машина остановилась и Вилленброк собрался вылезать, таксист потянулся куда-то под руль и достал оттуда пистолет.

— С тех пор всегда при себе, — пояснил он.

— А не опасно? — усомнился Вилленброк. — Может ведь и самопроизвольно выстрелить.

Таксист засунул пистолет обратно.

— Ничего. Это моя личная страховка, пусть даже рискованная. Зато здорово успокаивает.

Подчиненный комиссарши, фамилию которого Вилленброк то ли не разобрал, то ли вовсе не слышал, все это время оставался с Сюзанной. Она спросила, что показало обследование, а потом сообщила, что тех двоих с дороги полицейские задержали. Они привезли их с собой на заднем сиденье и попросили ее на них посмотреть — на предмет опознания. Она только разок на них взглянула, но ничего сказать не могла, потому что она-то ведь вообще никого из грабителей в лицо не видела. При этом она недоуменно посмотрела на полицейского.

— Мы не исключаем никаких возможностей, — многозначительно заявил тот.

Он встал, осведомился у Вилленброка, все ли в порядке и может ли он теперь идти. Вилленброк его поблагодарил. Тщательно заперев за полицейским дверь, он вместе с Сюзанной обошел весь дом, повсюду выключая электричество. Когда они легли, уже светало.

Они уже довольно долго лежали друг подле друга, когда жена его вдруг вымолвила:

— Мне страшно. Мне страшно в этом доме.

Вилленброк промолчал. Он не знал, что ей ответить.

Около одиннадцати их разбудил стук в дверь. За калиткой стояла патрульная машина, на крыльце ждал полицейский — он попросил Вилленброка вместе с женой проехать с ним в отделение. Подозреваемые задержаны, надо провести опознание. Вилленброк спросил, те ли это двое, которых взяли ночью на дороге, но полицейский на это ничего ответить не мог. У него приказ доставить супругов Вилленброк на опознание. Вилленброк сказал, что жена его во время нападения никого из преступников не видела, поэтому и на опознании не нужна, однако полицейский твердо попросил поехать их обоих. У него приказ доставить их в отделение. Вилленброк слишком устал, чтобы спорить с полицейским и втолковывать ему, почему жена никого опознать не сможет. Он попросил минутку обождать и вернулся в спальню. Они наскоро приняли душ, оделись, съели по черствой вчерашней булочке и только после этого влезли в полицейскую машину.

Отделение полиции, в которое их привезли, размещалось в просторном трехэтажном здании казенного типа, во дворе которого стояло множество машин. Полицейские завели их внутрь и сдали на входе дежурному. Тот поднялся вместе с ними по лестнице на второй этаж, по коридору которого к ним уже спешил офицер полиции, представившийся начальником отделения и пригласивший их к себе в кабинет. Он сообщил, что у обоих задержанных не оказалось при себе никаких вещей — ни похищенных предметов из дома Вилленброков, ни личных вещей, вообще ничего. У них даже документов никаких не было, вероятно, они

перед арестом успели все сбросить. Он послал патрульную машину на место задержания с приказом все там осмотреть, но найти ничего не удалось. Однако личности задержанных уже установлены — через компьютер по отпечаткам пальцев. Это два брата, некто Андрей и Артур Гаджиевы из Москвы, они давно уже состоят на криминальном учете, хотя прежде отличались только у себя на родине.

Офицер попросил супругов посмотреть на задержанных с целью возможного опознания ночных грабителей.

— Или чтобы снять с братьев напрасные подозрения, — добавил он со смешком.

— Но их было четверо, — возразил Вилленброк. — У меня в доме было четверо грабителей. Я видел только одного, остальных только слышал, двоих или троих, они говорили по-русски.

— Мы взяли только двоих, — проронил офицер.

— А должно быть четверо, — не унимался Вилленброк. — Поймите, железяк было четыре, четыре металлических уголка, которыми они вооружились. Какой смысл тащить с собой по две железяки? В этом же никакой логики. Да и несподручно. Вы так не считаете? Вот и госпожа комиссар тоже полагает, что их было четверо.

— Вполне допускаю. Но у нас на сегодня их только двое. Я надеюсь, вы их опознаете.

Он попросил их посидеть в коридоре. Вилленброк предполагал, что сейчас их отведут в специальное помещение с зеркальным окном, через которое видно только с одной стороны, а с другой стороны будут русские, их там поставят, возможно, еще вместе с кем-то, и они будут их опознавать. Во всяком случае, по фильмам он представлял себе процедуру опознания именно так.

Мимо них между тем, с любопытством на них глянув, просеменил какой-то человек в штатском. Он прошел в дальнюю часть коридора, открыл одну дверь, поманил к себе вышедшего оттуда парня, потом открыл соседнюю дверь и тем же манером вызвал второго парня, помоложе. С этими парнями он засеменил по коридору обратно, и только тут до Вилленброка дошло, что это и будет опознание, что эти парни и есть те самые задержанные братья из Москвы. В тот же миг он ощутил, как кольнуло и резко забилось сердце. Он оглянулся на Сюзанну, видимо, она одновременно с ним поняла, что двое парней и есть подозреваемые. Она отвернулась, она не хотела на них смотреть. Вилленброк встал и пошел навстречу этим троим, чтобы их задержать, чтобы как-то заслонить, защитить от них Сюзанну. И вот все четверо — двое русских, полицейский в штатском и Вилленброк — сошлись в коридоре, остановились и теперь смотрели друг на друга. Оказалось, эти русские совсем молоденькие ребята, почти юнцы. Старшему на вид лет двадцать пять, младший лет на пять моложе, если не на все семь. Оба низкорослые, Вилленброк и полицейский на голову их выше. Младший из братьев смущенно улыбался Вилленброку. Вилленброк сразу же понял, что его он никогда не видел, и повернулся к старшему, который неотрывно смотрел ему прямо в глаза. Вид у него был безучастный и даже как будто скучающий.

Вилленброк ощутил, как в нем закипает бессильная злость на полицейского. Такого, прямого и неприкрытого, опознания, по сути — очной ставки он не хотел, он никогда бы на это не согласился и теперь чувствовал себя так, будто его подставили. Не желает он смот-

реть этим русским в глаза, а уж меньше всего хочет, чтобы они снова его увидели.

И тем не менее он стоит перед ними, и теперь уже бессмысленно, да и поздно протестовать. Он в ярости покосился на полицейского — тот спокойно дожидался, когда можно будет снова увести задержанных, — а потом все-таки еще раз посмотрел на старшего из братьев. Он пытался припомнить лицо преступника, но уверенности не было. Здесь, сейчас все по-другому. Ночью перед ним был совсем другой человек, перепуганный, как и он сам, в паническом озверении лупивший его железякой. Теперь же перед ним спокойно и расслабленно стоял просто исхудавший парень. Он был в руках полиции, от него не исходило никакой угрозы. Скорее это он сейчас нуждался в помощи и защите — до того жалкий у него был вид: тощий доходяга в одной легкой рубашке и потрепанных дешевых штанах.

Вилленброка поразило, до чего он маленький. Он попытался воскресить в памяти ночную сцену, но не мог припомнить, какого роста был ночной грабитель, да и из одежды его он тоже ничего тогда не заметил.

Ни слова не говоря, Вилленброк повернулся, подошел к скамье и сел перед Сюзанной, стараясь заслонить ее от взглядов этих двоих. Человек в штатском отвел обоих русских в их комнаты или камеры и запер, каждого поодиночке. После чего попросил супругов пройти в его кабинет для составления протокола. Сюзанна повторила, что никого не может опознать, потому что никого из ночных грабителей в лицо не видела, а Вилленброк заявил, что он не уверен. Не исключено, что это был старший из братьев, но утверждать это под присягой он бы не стал. Он потребовал, чтобы сопоставили отпечатки пальцев. Ведь криминалисты сняли ночью отпечатки пальцев и были очень довольны их качеством. Особо ценными они считали отпечатки на стеклянной крыше террасы, по которой один из взломщиков проник в дом, потому что там никаких других следов вообще не было. На повторные вопросы полицейского Вилленброк снова ответил:

— Я не вполне уверен. Это мог быть он, но я не хочу никого обвинять напрасно. Сопоставьте отпечатки пальцев.

Полицейский удалился в соседнюю комнату печатать протокол на электрической пишущей машинке.

Вилленброк спросил у жены, те ли это двое, которых ей показывали ночью, пока он делал рентген. Сюзанна не смогла сказать ни да, ни нет.

— Они же в машине сидели. Я и лиц-то толком не разглядела. Да и не хотела я на них смотреть. Чего ради? Я ведь никого из них не видела. Ты со всем справился сам. Я только кричала. Мне и так неприятно, что я ничем не смогла тебе помочь.

— Да мы оба только кричали. Именно за это комиссарша нас так и хвалила. Видимо, при нападении лучшей защиты нет, чем орать благим матом. Во всяком случае, комиссарша, похоже, именно так и считает.

В открытую дверь Вилленброк видел полицейского, тот обстоятельно заложил в машинку листы бумаги с копиркой на несколько подкопирочных экземпляров, расправил их, потом снова вынул, чтобы разгладить загнувшийся на одном из листов уголок копирки, и наконец одним пальцем, с трудом находя нужные буквы, принялся перепечатывать только что записанный текст.

— Ключи! — произнес вдруг Вилленброк.

— Ты о чем?

— У них ключи, — сказал Вилленброк. — На регуляторе отопления лежали ключи и бумажник, их они не нашли. Но ключи от нашей квартиры в Берлине и от авторынка они забрали. Я положил их на стеклянную полку в комоде, а сегодня утром их там не было. Я точно помню. Когда в туалет пошел, мне это бросилось в глаза, просто я не осознал. Я, правда, только мельком глянул, но сейчас совершенно точно помню — ключей там не было.

— Что же нам делать? Скажи это полиции, скажи им сейчас же.

— Да, но толку что? Нам надо немедленно ехать в Берлин. Замки менять. Если еще не поздно. Их же четверо было. Допустим даже, эти двое из их шайки. А где остальные?

— Но откуда у них наш адрес?

— Не знаю. Почем я знаю откуда? Но мне срочно надо в Берлин.

Он встал, прошел в соседнюю комнату и спросил удрученно сгорбившегося над машинкой полицейского, долго ли еще им ждать. Тот пообещал, что их сейчас же отвезут домой. Минут через двадцать он пришел к ним с протоколом и попросил внимательно все прочесть и подписать. Не веря своим глазам, Вилленброк уставился на лист бумаги, на котором красовалось всего восемь строчек текста. Полицейскому понадобилось полчаса, чтобы напечатать на машинке эти восемь строк. Прочитав их, Вилленброк запротестовал. Он потребовал, чтобы полицейский в точности записал его слова. Он не говорил, что он этих людей не узнал, он сказал, что он не вполне уверен. Это совсем другое, и он просит именно так в точности и записать. Кроме того, он потребовал, чтобы сопоставили отпечатки пальцев, а об этом в протоколе вообще ни слова. Не говоря уж о том, что их фамилия и адрес тоже указаны неправильно, так что заодно неплохо будет исправить и это. Полицейский кивнул. Он взял бумаги, прошел в соседнюю комнату, сел за машинку и подготовил новую порцию формуляров и копирки. Он тщательно ее разгладил, несколько раз подровнял и только после этого заложил в машинку. Затем, мучительно долго разыскивая каждую букву, то и дело пристально вникая в лежащий перед ним листок бумаги и в их паспорта, принялся печатать снова.

Вилленброк начал нервничать. Он вскочил и стал беспокойно бегать взад-вперед по комнате. Сюзанна несколько раз попросила его сесть, но он пропускал ее слова мимо ушей. Когда еще через полчаса полицейский наконец-то появился с новым протоколом и выяснилось, что Вилленброк и на сей раз с записью не согласен, он потребовал ручку, дабы выправить текст от руки. Полицейский ответил, что это не положено. Если Вилленброк считает, что и этот протокол подписать не может, значит, придется печатать новый.

— Но у меня нет на это времени, — выпалил Вилленброк в раздражении. — Или вы думаете, что я целый день должен проторчать у вас в отделении? Причем именно сегодня?

С этими словами он выхватил у полицейского ручку и подписал протокол. После чего попросил, чтобы его как можно скорей отвезли домой. Полицейский пообещал все немедленно устроить, однако прошло еще четверть часа, прежде чем в их комнату вошел другой полицейский и выкликнул их фамилию.

На обратном пути Вилленброк все время держал жену за руку и заметил, что та все еще слегка дрожит. Впереди них сидели двое полицей-

ских, здоровенные парни с бычьими загривками. Тот, что рядом с водителем, в темных очках, опустил свое стекло полностью и ехал, небрежно развалясь, выставив в окно локоть и перекатывая во рту жевательную резинку. Фуражка у него была залихватски сдвинута на затылок. Не иначе американских боевиков насмотрелся, подумал Вилленброк.

— А что теперь будет с этими двумя русскими, которых вы взяли? — спросил он у полицейских.

Тот, что был за рулем, ответил:

— Не знаю. Выдворят, наверно. Доставят на границу, сдадут польским коллегам, а дальше на родину.

— То есть вы считаете, их просто выдворят, и все? И это все наказание?

— Да.

— А еще через день они уже снова будут здесь?

— Может и такое быть, — согласился полицейский. — Всякое уже бывало. Но их тогда снова выдворят. Такие уж правила игры.

— Но почему их в тюрьму не сажают? Они же, как-никак, пытались меня убить. Покушение на убийство, сколько мне известно, это тяжкое преступление, как же можно таких уголовников просто так выдворять?

— Это уж не мы решаем, — равнодушно отозвался водитель. — Только в наших тюрьмах и своего сброда с лихвой хватает.

— Немецкие тюрьмы только для немцев, да? — с вызовом спросил Вилленброк.

Оба полицейских, как по команде, дружно на него оглянулись.

— Лучше и не скажешь, — глазом не моргнув, ответил водитель.

Очутившись наконец на родной даче, Вилленброк первым делом кинулся искать связку ключей, но, как он и предполагал, его ключи исчезли. Сюзанна порылась в своей сумочке и со вздохом облегчения извлекла оттуда свои ключи от квартиры. Он торопил ее с отъездом, запаковал вместе с ней сумки и корзину с провизией. Потом тщательно, на все замки, запер дом. Но прежде чем окончательно отправиться восвояси, они решили все-таки заехать к Хайнеру — еще раз поблагодарить за помощь и рассказать о дальнейших событиях. Хайнер выслушал их внимательно, а его жена все время только качала головой и приговаривала: дескать, ведь то же самое могло произойти и с ними.

— Нет, — отрезал Хайнер. — С нами такого произойти не могло. У Бернда собаки нет. К нам они бы даже на двор сунуться не посмели.

Вилленброк кивнул. Он предпочел не рассказывать соседу печальную историю про своего ночного сторожа и его пса.

Когда они, уже взяв направление на Берлин, снова проезжали мимо своего дома, им помахал стоявший у забора Викерт, длинноволосый музыкант, которого Вилленброк вместе с комиссаршей навещал прошлой ночью. Викерт вручил им штук шесть кредитных карточек на имя Сюзанны, телефонную карточку и несколько насквозь промокших записок, которые подобрал на обочине во время своей утренней прогулки — как раз на том самом месте, где ночью задержали русских и куда потом якобы специально для сбора улик выезжала патрульная машина. Сюзанна всех этих пропаж даже не успела заметить. Потом Викерт извлек из кармана сотовый телефон и спросил, может, это тоже их, он нашел его там же, неподалеку. Вилленброк узнал свой телефон с первого взгляда. Они поблагодарили музыканта.

— Нелегкая у вас выдалась ночка, да? — посочувствовал Викерт. Его длинные волосы были сегодня стянуты резинкой в конский хвост.

— Да уж, — отозвался Вилленброк.

— А тут еще и мы вчера ночью не очень-то по-соседски себя вели, — продолжил музыкант и виновато улыбнулся.

— Да ладно, — отмахнулся Вилленброк. — Откуда вам было знать, что случилось.

— Вот именно. Мне только сегодня утром все рассказали. Ужасно глупо все получилось. Мы видим — легавые идут, а мы их не слишком-то жалуем на своем участке. Вы должны понять, у нас по части полиции свой опыт имеется.

— Понимаю. — Вилленброк кивнул.

— И русская песня, наверное, в тот момент тоже не очень кстати пришлась, да? Но мы же понятия не имели...

Вилленброк кивнул и вместе с женой сел в машину.

— Хотя это "Сулико" была. "Сулико", ну, знаете, любимая песня Сталина, — пояснил длинноволосый. — Вообще-то очень красивая песня, к тому же грузинская.

— Что ж, если это любимая песня Сталина, возможно, она и бандитам тоже понравилась, — заметил Вилленброк. — Так что, может, вы и не совсем зря ее пели.

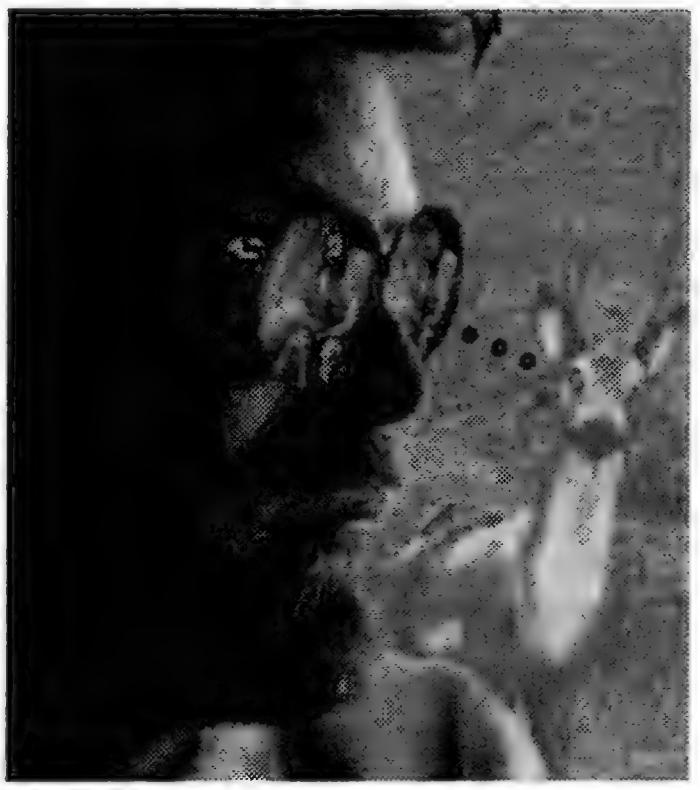
— Считайте, я теперь вам песню задолжал. В любое время, когда только захотите, приду к вам и спою.

Викерт все еще явно был смущен, поэтому Вилленброк ободряюще ему кивнул.

— А за песню спасибо, я непременно воспользуюсь, — сказал он и запустил мотор.

Окончание в следующем номере

Джордж Сондерс



Рассказы

Перевод с английского и вступление С. Силаковой

От переводчика

Американский мастер рассказа Джордж Сондерс — это три "С": сарказм, сюрреализм, сатира. Литературные обозреватели США называют его "безысходно-угрюмым" и "уморительно-смешным". Сондерса находят оригинальным, но также сопоставляют с известными авторами — Куртом Воннегутом, Джеймсом Тербером. Отмечают, что беспощадный черный юмор в его произведениях неразрывно переплетен с трогательной теплотой. Сондерс не раз был назван среди тех, на кого возлагает надежды американская литература в XXI веке. Но ценнее всего, пожалуй, отзыв прозаика Томаса Пинчона (напомним, что этот знаменитый литературный отшельник не высказывается по пустякам): "Голос Сондерса — как безупречно настроенный инструмент; с изяществом и горечью, правдиво и остроумно он рассказывает именно те истории, которые помогают выжить в наши времена".

Кроме того, Сондерс злободневен — он живописует зловещие плоды, которые вскоре разовьются из сегодняшних "цветочков" цивилизации ("Будем надеяться, что Сондерс все-таки не пророк!" — восклицают рецензенты хором). Например, благодаря техническому прогрессу, предполагает Сондерс, нищие старики вскоре смогут распродавать свои воспоминания, а родители — покупать своим обожаемым детям электронные маски, превращающие малышей в роботов-вундеркиндов... С научной фантастикой у Сондерса соседствует мистика: в жизнь его незадачливых героев частенько вмешиваются гости с того света — по сути, такие же горемыки. Как отмечают сами его соотечественники, Сондерс живописует "бытовой апокалипсис" и не оставляет камня на камне от "Американской Этики Успеха и Приобретательства". А для нас будет небезынтересно, что этот заокеанский писатель высоко ценит русских авторов — Гоголя и Бабеля, Чехова и Хармса.

© 1996, 2000 by George Saunders
© С. Силакова. Перевод, вступление, 2001

Публикой веселые трагедии Сондерса вполне востребованы: его печатают в солидных изданиях, выдвигают на премии и т. п. Однако в литературу Сондерс пришел довольно извилистым путем. Инженер-геофизик по образованию, он начал писать прозу в 26 лет — и надолго подпал под влияние Хемингуэя и Раймонда Карвера. Его реалистические опусы отвергались всеми редакциями. Но как-то раз Сондерс коротал время на производственном совещании, рисуя картинки к собственным "дурацким детским стишкам". Показал их соседу — и тот в голос расхохотался. Вдохновленный Сондерс поклялся: "Пусть у меня не напечатают ни строчки — но я буду писать смешно"... и вскоре начал печататься. "Чтобы у тебя что-то вышло, будь пофигистом, — делится он своей жизненной философией. — Мир любит людей, которым по фигу успех, которые трудятся себе в радость и считают искусство спонтанным проявлением восторга". Кстати, писатель искренне не понимает, почему критики прилепили ему ярлык "мастер безысходной прозы". Свои произведения он считает не "чернухой", а описанием подлинной сути вещей, сам себя отождествляя с чеховским "человеком с молоточком", который напоминает счастливым о чужом несчастье. Вот что кроется за его "пофигизмом"... Рассказы Джорджа Сондерса впервые публикуются по-русски.

"Приморские дубы"

В десять часов из динамиков звучит вопль мистера Френдта:
– "Штурвал счастья" приветствует вас!
Он отдает первый приказ: "Рубашки долой!" Мы снимаем наши кожаные куртки и аккуратно складываем. Снимаем рубашки и аккуратно складываем. Шарфы не снимаем. Наш король красоты – Томас Кирстер. Бицепсы у него накачанные, а глаза небесно-голубые. Как только он остается без рубашки, к сцене выскакивают, отталкивая друг дружку, две толстухи, суют ему за пояс деньги и просят быть их Пилотом. "Легко", – говорит он. Подает им салат. Потом подает суп. Звонит мой телефон: мне назначают свидание в макете "спитфайра". Может, в Пилоты пригласить хотят? Хорошо бы. В "спитфайре" оказывается Марджи. Сообщив, что у нее нашли болезнь – "синдром хронической застенчивости" называется, – она сует мне одноразовый фотоаппарат и десятку: задание – отснять Томасов член крупным планом.

И что, я соглашаюсь? Само собой.

Могло быть и хуже. Возьмем Ллойда Бетса – он стал толстеть и лысеть. Всю смену его телефон молчит, и он обслуживает ноль столиков; в конце концов он пристраивается на крыле "П-51" раскладывать пасьянсы; сидит весь скрючившись, отчего его брюхо выпирает еще пуще.

А я сегодня отпилотировал шесть столиков; тридцать долларов чаевых плюс зарплата – пятерка в час.

После закрытия мы рассаживаемся на полу – грядет "Разбор полетов".

– В жизни каждого человека наступает пора, – говорит мистер Френдт, – когда он должен высоко держа голову перейти на следующий этап жизни, совсем как те женщины в Африке – или, может, в Бразилии, точно не помню: они после климакса то ли раскрашивают лица, то ли надевают какие-то особые шляпы. Вы понимаете? Один из нас должен покинуть наши ряды. Не спрашивай, по ком звонит колокол, – в смысле, не думай, что вечно будешь считаться красавцем, – и потому сегодня мы вынуждены попрощаться с нашим другом Ллойдом. Ллойд, встаньте,

чтобы мы могли с вами попрощаться. Мне очень жаль. Нам всем очень, очень жаль.

— О боже, — шепчет Ллойд. — Пусть это будет шутка.

Но это не шутка. Ллойду кранты. От нас он удостаивается краткой овации, а от мистера Френдта получает Прощальную Подарочную Авторучку и мусорный пакет с содержимым своего ящика в гардеробе. С тем Ллойд и уходит. Бедняга. У него жена, двое детей и унылый крохотный полукоттедж в Складском тупике.

— Нам было здорово вместе! — отчаянно вопит он, обернувшись с порога. Боится ненароком сжечь за собой хоть один мост.

Сплошной стресс, а не работа. Стоит твоему Рейтингу Привлекательности упасть — и все. Посетители оценивают нас по четырехбалльной шкале: "Обалдеть!", "Душка", "Ничего" и "Отврат". Учтите, я ни на что не жалуюсь. В конце концов, на работе меня держат. Я не "Отврат", в отличие от Ллойда.

Я — стабильный "Душка"/ "Ничего", и в данный момент я несу домой сорок долларов наличными.

В "Приморских дубах" нет ни дубов, ни моря — только сто субсидируемых городом квартир и вид на задний двор "Федерал экспресс"[1]. Мин и Джейд кормят детей и смотрят "Мой ребенок трагически погиб". Мин — моя родная сестра, а Джейд — двоюродная. "Моего ребенка" ведет Мэтт Мертон, двухметровый такой блондин; он вечно поглаживает родителей по плечам и говорит им, что через горе проходит дорога к святости. Герой сегодняшней передачи — десятилетний мальчик, который убил пятилетнего, поскольку тот отказался вступить в его банду. Десятилетний задушил пятилетнего прыгалками и набил ему рот наклейками, потом заперся в ванной и согласился выйти лишь после того, как родители пообещали сводить его в "Веселый городок". Зал честит родителей убийцы в хвост и в гриву, а родители убитого тем временем призывают к спокойствию и всепрощению — да так настойчиво, что зал в конце концов перекидывается на них. Тут начинается реклама. Мин с Джейд спускают детей на пол, закуривают и начинают ходить из угла в угол, гоняя друг дружку по экзаменационным билетам — им обеим надо сдавать экстерном на аттестат зрелости. Похоже, дело труба. Джейд считает инфляцию болезнью. Мин засунула Сомали в космос — это, оказывается, такая планета сразу за Сатурном. Вызываюсь помочь, но они начинают орать, чтобы я не выпендривался.

— Тебе-то хорошо! — говорит моя сестра. — Ты школу закончил. Аттестат свой паршивый получил. А мы — фига́! Вот и набиваем теперь себе головы всякой мутью. Да с аттестатами в кармане мы бы сейчас сидели не напрягались, телик бы смотрели!

— Во-во, — говорит Джейд. — Ну ладно, старушка, умолкни! Давай заниматься, а то уже передача начинается.

Они спорят, сколько сторон у треугольника. Соглашаются, что Черчилль играл в операх. На экран возвращается Мэтт Мертон и сообщает, что предыдущая передача о самоубийствах, в которой родителям была показана телеинсценировка самоубийства их сына, стала для них целительным переживанием; затем показывают самих родителей, которые признаются: "Это было целительное переживание".

1. "Федерал экспресс" — крупнейшая частная почтовая служба срочной доставки небольших посылок и бандеролей. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ребенка моей сестры зовут Трой, а ребенка Джейд — Мэк. Они уползают на кухню, и Трой засовывает палец в вентиляционную решетку, а вытащить никак не может. Подскакивает Мин и начинает тянуть Троя на себя.

— И-и-и! — визжит Джейд. — Ты совсем с катушек, да? Перестань его дергать, дура, иди вазелин достань. Ты ему руку на две мили вытянешь!

Трой ревет. Мэк ревет. Я подхожу и в один момент освобождаю Троя. А Мин с Джейд тем временем начинают лупить друг дружку по мордасам и чуть не опрокидывают телевизор.

— Эй, ты! — орет Мин благим матом. — Ты мне по роже дала, скажешь, нет? Телевизор чуть не перевернула, скажешь, нет? Рехнулась?

— Не рехнулась! — вопит в ответ Джейд. — На себя посмотри, проститутка! Кто собственному ребенку чуть палец не оторвал ни за что ни про что?

В этот самый момент возвращается из "Неболейки" тетя Берни в своей шапочке с надписью "Страна Не-Болей-ка!"; переваливаясь, она подходит к Трою и берет его на руки, и сразу воцаряются тишина и спокойствие.

— Не стоит кричать, маленький, — говорит она. — Все у нас чудесно. Полный порядок.

— Вот именно что полный, — бурчит Мин, напоследок ущипнув Джейд за бок.

Тетя Берни — настоящий миротворец. Конфликтов она на дух не переносит. Как-то раз на автостоянке у супермаркета "Король еды" один тип не вовремя дал задний ход — и наехал ей на ногу, а она с десятью переломанными костями пришла домой пешком. Замуж она так и не вышла, потому что была нужна деду — кто бы еще вел дом после бабушкиной смерти? Потом дед умер, оставив все деньги женщине, о которой никто из нас в жизни не слыхал, и тетя Берни устроилась в "Неболейку". Но она не озлобилась. Ни капельки — и от этой незлобивости иногда выть хочется. Когда я называю "Приморские дубы" трущобой, она отвечает, что счастлива иметь хоть какую-то крышу над головой. Когда я говорю: "До чего же обрыдло сидеть на мели", она рассказывает, как дедушка однажды подарил ей на Рождество два карандаша и она ужасно обрадовалась — весь день только и делала, что рисовала лошадок на старых конвертах. Однажды я спросил, не жалеет ли она, что у нее нет детей, а она ответила, что нет, совсем не жалеет, и вообще, разве мы ей не дети?

И я сказал, что да, мы ей дети.

Но это, конечно, неправда.

На ужин сегодня сосиски с фасолью. На десерт — просроченное мороженое пополам с инеем из морозильника.

— Как чудесно мы провели день, — говорит тетя Берни, уложив детей.

— Тьфу, ну и оптометристка, — бормочет Джейд.

Сегодня четверг, а значит, придет Эд Андерс, санитарный инспектор. Его обязанность — проверять, чтобы мы ни в коем разе не выставляли на обозрение свои гениталии. И чтобы никого не целовали. Никто из нас и так никогда никого не целует и член никому не показывает — никто, кроме Сонни Вэнса, который мечтает купить лицензию и открыть свой пункт связи "Полный факс". На наши "пенисо-

имитаторы" запрет не распространяется: их можно преспокойно показывать, высовывать из ширинки и так далее; разрешается даже периодически прыскать на лосины водой, чтобы между ног живописнее топырилось. Но наши настоящие пенисы, чтоб чего не вышло, должны болтаться внутри неудобных, слишком длинных и широких обманок.

— Извините, ребята, привет, ребята, — говорит Андерс, устало шаркая ногами. — Прошу учесть: мне это нравится ничуть не больше, чем вам. В университете меня учили инспектировать мясо, но я и помыслить не мог, какими сортами мне придется заниматься. Ха-ха!

Он заказывает энчиладу[1] "Линдберг" и опасливо, точно она живая и может проснуться от его чавканья, съедает. Сонни Вэнс подает суп компании подгулявших парикмахерш и за двадцатку на миг демонстрирует им свой штурвал.

И именно в этот миг Андерс поднимает глаза от "Линдберга".

— О господи, — восклицает он и выписывает "Акт о закрытии", и нас всех распускают по домам. Плохо. У меня каждый цент на счету. В последнее время я приловчился таскать домой в кейсе туалетную бумагу. Три рулона влезает. Пока я добираюсь домой, они сплющиваются, так что вставлять их в вертушку — сущее мучение, но кое-какую мелочишку мы выигрываем.

Отметив на карточке время ухода, я направляюсь домой напрямик, через лесок, что позади "Федерал экспресс". Там очень красиво. Замечаю енота — он пробегает по стволу поваленного дуба и начинает грызть ржавый велосипед. Уже выходя из леса, я слышу выстрел. Кажется, выстрел. Или просто автомобильный выхлоп? Но нет, это все-таки был выстрел, потому что раздается еще один, и какие-то ребята пробегают по двору с криком: "Крутые Собаки-Кусаки круче всех!"

Мчусь домой. Мин, Джейд, тетя Берни и дети сидят за диваном, вжимаясь в стену. Оказывается, когда началась стрельба, дети были на балконе. В ходунки Троя угодила пуля. К счастью, его самого в них не было. Утиная головка на ходунках осталась без клюва.

— Полная херня, — заключает Мин.

— Скажи уж "полная мурня", — цедит Джейд. — Хочешь, чтобы дети выросли типа нас — что ни слово, то херня? Что ни слово, то мурня, я хочу сказать.

— Я хочу, чтобы они вообще успели вырасти. И точка, — отрезает Мин.

— Во сказанула! — говорит Джейд. — Тебе в театре место.

— А тебе — в бардаке, — шипит в ответ Мин.

— Поберегись, сопля, со мной шутки плохи, — вопит Джейд и бьет Мин по руке.

— Девочки, господь с вами! — вмешивается тетя Берни. — Надо быть благодарным судьбе. По крайней мере, у нас есть дом. И, по крайней мере, ни одна из этих пуль ни в кого не попала.

— Берни, ты только не обижайся, ладно? — говорит Мин. — Но какой это, на фиг, дом?

Жить в "Приморских дубах" небезопасно. В подвалах порядочных домов стоят стиральные машины для жильцов — у нас они тоже есть, да

1. Энчилада — блюдо мексиканской кухни.

только среди машин прочно окопались наркоманы. А на той неделе Мин нашла в "лягушатнике" медный кастет. Будь у меня выбор, я перевез бы все семейство на север, в Канаду. Там хорошо. Все очень вежливые. Осенью мы ездили туда на выходные, и у нас спустило колесо, и два фермера с ярко-багровыми лицами почти насильно помогли нам его сменить, потом угостили нас обедом, а потом сами вызвались откладывать деньги детям на колледж. Спустя неделю они прислали нам свидетельства акционеров и фотографию, как мы все едим фруктовый салат в закусочной. Но в Канаду без денег не переедешь. Отец умер, оставив нам грош да пуговицу, а мама теперь живет с Фредди, который нас не особо любит, да и сам он — не миллионер. Он зарабатывает телефонными опросами. В этом месяце Фредди опрашивает разведенных женщин, как часто они дают задний ход, в смысле — спят со своими бывшими мужьями. Заполненная анкета — десять долларов.

На этом не озолотишься, так что Канада под большим вопросом.

Нахожу клюв от утки Троя и приклеиваю его "Элмерсом".

— А знаете что? — говорит тетя Берни. — По-моему, так она даже больше похожа на настоящую. Замечали, у них иногда клювы надтреснутые? Я такую видела в центре.

— Господи, — бурчит Мин. — У ребенка утку расстреляли, а она говорит, нам повезло.

— Но ведь нам и вправду повезло, — не унимается Берни.

— У кого-то клюв треснул, — заявляет Джейд.

— А знаете, что я делаю, если случается что-то плохое? — говорит Берни. — Выкидываю это из головы. Не принимаю близко к сердцу. Не конец ведь света! Вот как я поступаю. Всю жизнь. Вот как я достигла в жизни того, чего достигла.

А у меня уже на кончике языка: Берни, я тебя люблю, но чего ты достигла-то? Вкалываешь в "Неболейке" за минимальную зарплату. В шестьдесят лет — ни кола ни двора. При своем отце ты была, попросту говоря, рабыней. На свидания и то не бегала, ни разу в жизни.

— Конечно, если вам хочется поворчать на судьбу — пожалуйста, — продолжает она. — Но я лично считаю, что для наших обстоятельств мы еще неплохо живем.

— Ага, как сыр в масле катаемся, — бормочет Мин и, вытащив Троя из-за дивана, стряхивает с его пижамы осколки утки.

В пятницу "Штурвал счастья" вновь открывается. Все как сбесились. Техники напускают в зал туман. Тетки из бридж-клуба предлагают мне пятнадцать долларов, если я намажусь маслом и поборюсь с Мелом Тернером. Я мажусь маслом и борюсь с Мелом Тернером. Они предлагают мне еще двадцатку, если я покормлю их куриными крылышками с ладони. Кормлю их куриными крылышками с ладони. Время летит незаметно. В девять бриджистки уходят, и меня выбирает компания студенток. Они поют остроумные похабные песни, хватают меня за имитатор и клянутся, что теперь не смогут взглянуть в глаза жалким гениталиям своих друзей. Тут подходит мистер Френдт и говорит: "Телефон". Это Мин. Голос у нее, как у психованной. Четыре раза подряд она повторяет: "Иди домой". Когда я прошу ее успокоиться, она бросает трубку. Перезваниваю. Никто не подходит. Ну, ничего. Мин у нас паникерша. Наверно, кого-то из детей вырвало. К счастью, я работаю по гибкому графику.

— Я вернусь, — говорю я мистеру Френдту.

— Жду с нетерпением, — отвечает он.

Бегом миную болото, срезаю дорогу через территорию "Федерал экспресс". На холме светятся окна последней уцелевшей фермы. К ней еще автомойка пристроена. Иногда мы возим туда мальчиков — поглядеть на корову. Однако сегодня коровы не видать.

Дома Мин с Джейд скачут вокруг тети Берни, которая сидит на диване истуканом.

— Не впускай детей! — вопит Мин. — Нечего им на жмуриков смотреть!

— Придержи язык! — вопит Джейд. — Она тебе не "жмурик", поняла?!

Присев на корточки, она щиплет тетю Берни за щеку.

— Тетя Берни? — вопит она. — Ой-ё!

— Мы уже два раза так пробовали, подруга! — вопит Мин. — На фиг ты опять ее щиплешь? Шею ей пощупай, бьется там что или нет!

— Вот те на, вот те на! — причитает Джейд.

Я вызываю "скорую"; приезжают врачи и двадцать минут трудятся над Берни, затем сдаются и говорят, что им очень жаль, но она мертва чуть ли не с обеда. В квартире все вверх дном. Ящик, где тетя держала деньги, пуст, а семейный альбом валяется в ванне.

— На ней ни царапины, — говорит один из полицейских.

— Наверно, умерла от страха, — говорит другой. — Видно, грабитель ее напугал?

— Похоже на то, — отзывается врач.

— О боже, — твердит Джейд. — Боже, боже, боже.

Я сажусь на диван рядом с тетей Берни. "Прости меня, — думаю я. — Прости, что это случилось без меня, прости, что у тебя в жизни не было никаких радостей, прости, что у меня не хватило денег переселить тебя в более безопасное место". Я помню ее молодой: она носила розовые эластичные брюки и, напевая "Шла лягушка по дорожке", делала нам бумажные гирлянды из неболейских чеков. Всю жизнь она работала не покладая рук. Ни одной душе ничего плохого не сделала. И так кончить.

Умереть от страха в вонючей квартире.

Мин отнесла детей на кухню, но они все время выползают. Тетя Берни лежит в саване на каталке, а на диване разложены бумаги, которые мы должны подписать.

Звоним маме с Фредди. Попадаем на автоответчик.

— Мама, подойди! — кричит Мин. — Беда стряслась! Ма, пожалуйста, да подойди же к телефону, в самом ты деле!

Но трубку никто не берет.

Оставляем сообщение.

"Похоронное бюро Лобтона" — обычный дом на обычной улице. В салоне — стенд с брошюрами типа "Почему наш дорогой покойник кажется немного выросшим?". У самого Лобтона вид здоровый. Честно сказать, даже чересчур. Под его желтой водолазкой все время непроизвольно шевелятся мускулы. Время от времени он до них дотрагивается, словно проверяя, по-прежнему ли они не уступают по величине бейсбольным мячам.

— Соболезную, очень соболезную, — говорит он.

— Сколько? — спрашивает Джейд. — Я хочу сказать, по базовому тарифу. Безо всяких там лишних наворотов.

— Но дерьма тоже не надо, — вмешивается Мин. — Тетя у нас была просто чудо.

— На какую цену вы рассчитываете? — спрашивает Лобтон, щелкая пальцами.

Мы называем сумму, и, подняв брови, он ведет нас к какой-то штуке, похожей на картонную упаковку для мебели.

— Непосредственно перед использованием мы напыляем на изделие влагонепроницаемый лак, — говорит он. — Тогда его от деревянного не отличишь.

— Больше ничего предложить не можете? — говорит Джейд. — Один картон?

— Я и так вам немного скинул, — отвечает он, отжимаясь от стены. — В связи с трагическими обстоятельствами. Модель "Горный закат". Не совсем картон. Ближе к фибре.

— Ой, не знаю, — говорит Мин. — Больно несерьезно выглядит.

— Вы нам дадите время подумать? — спрашивает мама.

— Безусловно, — заявляет Лобтон. — Мы живем в свободной стране, где никто никому ничего не навязывает.

Подхожу к гробу и осматриваю его повнимательнее. Вдоль линии, на которую придется позвоночник тети Берни, блестят проволочные скобы. Внутри видны надписи типа: "Вставить язычок А в отверстие Б".

— Нет уж! — заявляет Джейд. — Всю жизнь работать, чтобы тебя схоронили в ящике с "Мэйфлауэра"[1]? Не пойдет!

Сбережений у нас ноль долларов ноль центов. Мы усаживаемся за стол, и Лобтон составляет, как он сам выражается, "уравнение кредитования". В рассрочку на семь лет при условии ежемесячных выплат мы можем позволить себе "Янтарный туман": бальзовый гроб двойной толщины, лакировка в два слоя плюс часовая панихида.

— Семь лет? Ишь ты, — говорит Джейд.

— Мы должны схоронить ее по-человечески, — говорит Мин. — У нее сроду ни одной приличной вещи не было.

Решено: "Янтарный туман".

Мы хороним тетю Берни на кладбище Святого Льва: это на холме, у фабрики "Бастко". Сектор кладбища ей достался страшно неказистый. Ни ангелов, ни маленьких каменных домиков, ни цветов — только ряды гладких, как крыши автомобилей, плит. Вылитая парковка, вид сверху. Всюду разбросаны пластиковые стаканчики. Отец Брайан читает молитву. После него кто-нибудь из нас должен произнести речь. Но что тут скажешь? Она, считай, не жила. Замуж не вышла, детей не родила, а только работала, работала, работала. Была ли она хоть раз в теплоходном круизе? Весь жизненный путь тетя Берни проехала на автобусах. Ох уж эти автобусы. Однажды они с мамой поехали — автобусом, само собой — в Квигли, штат Канзас, чтобы попытать счастья в казино и прибарахлиться в центре оптовой торговли. Пока они были на шоу Роя Кларка, кто-то залез в тетин номер, украл ее одежду и наклал в ее чемодан. Вот так-то. Вот и весь ее туризм. Остальное — сплошная "Неболейка", днем и ночью. Пятнадцать лет проработав кассиром, она была разжало-

1. "Мэйфлауэр" — корабль, доставивший в Америку в 1620 г. "отцов-пилигримов" — английских колонистов.

вана в гиды-информаторы. Покупатели спрашивали, где средства от гриппа, и она указывала на стену, где огромными буквами было написано "Средства от гриппа".

Вперед выходит мамин сожитель Фредди и говорит, что знал Берни не слишком долго, но она была ужасно милая женщина и в наших сердцах всегда останется ее светлый и так далее, и тому подобное, язык у Фредди без костей. Пускай ее жизнь не ознаменовалась великими свершениями, но она была все равно очень дорога всем нам, кто ее знал, она никогда не ныла, но всегда была довольна всем, что бы с ней ни происходило, и так далее, и тому подобное.

На сем программа исчерпана; нам положено уйти.

— Будем сюда ходить типа каждую неделю, — заявляет Джейд.

— Я-то знаю, что буду, — отвечает Мин.

— А то, думаешь, я не буду? — взрывается Джейд. — Тетка у нас была просто охренительная!

— Ага-ага, — говорит Мин. — Давай, матерись на могиле.

— С каких это пор "охренительная" считается матом, сопля? — шипит Джейд.

— Девочки, — вмешивается мама.

— Ну как? Нормальную надгробную речь я сказал? — говорит Фредди своим похабным голоском, воняя на всю округу "Английским флотским". — Честно вам скажу — я даже сам от себя не ожидал.

— Прощай, тетя Берни, — говорит Мин.

— Прощай, Берн, — говорит Джейд.

— Дорогая моя сестра, — говорит мама.

Крепко зажмурившись, я пытаюсь вообразить тетю Берни счастливой, хохочущей, тычущей меня под ребра. Но все, что я вижу, — это закоченевшая от ужаса фигурка на диване. Мерзость. Где-то по улицам ходит тот, кто это сделал. Он вошел в нашу квартиру, напугал Берни до смерти, глядел, как она умирает, перерыл наши вещи, украл ее деньги. Этот человек продолжает жить, и вот в эту самую минуту он, возможно, жует пирог, или платит за свет, или чешет себе задницу; этот человек, если захочет, может сесть в машину и рвануть на запад и дня через три, скажем, развалиться на солнышке у океана.

Несколько минут мы стоим, преклонив головы и сложив лодочкой ладони.

Потом Фредди угощает нас ланчем у "Трабанти". В прошлом году Трабанти умер, и ресторан купили в складчину три вьетнамских семьи; спагетти и пицца из меню не исчезли, на стене по-прежнему висит огромный портрет Трабанти, написанный масляными красками, но с кухни теперь доносится страшно красивая вьетнамская музыка, а еда почему-то стала вкуснее.

Фредди произносит тост. Мин говорит: помните, как Берни всегда называла ланч обедом, а обед ужином? Джейд говорит: помните, когда у нее зубы щелкали, она говорила, что челюсть нужно машинным маслом смазать?

— Замечательная была женщина, — говорит Фредди.

— Мне ее уже сейчас не хватает, — говорит мама.

— Я б убила того засранца, который ее убил, — говорит Мин.

— Может, мы все-таки не будем говорить за столом "засранец"? — встревает мама.

– Ма, это просто слово такое, разве нет? – отвечает Мин. – Типа: "ранец" – это тоже просто слово. Тебя ведь не напряжет, если я скажу "ранец"? Ранец, ранец, ранец.

– Ну, "говно" – это ведь тоже просто слово, – вступает Фредди. – Но мы же не произносим его за столом.

– Или "блевать", например, – подхватывает мама.

– Говно-блевать, говно-блевать, – заводится Мин.

Официант откашливается. Мама испепеляет Мин взглядом.

– Какие у вас, девочки, прекрасные манеры, – шипит мама.

– Особенно на похоронах, – добавляет Фредди.

– Мы не на похоронах, – отвечает Мин.

– Сейчас я задаюсь вопросом насчет вас, ребята. Что вы теперь будете делать? – говорит Фредди. – Как мне представляется, вся эта история – звонок будильника, я хочу сказать, вам пора остепениться, как сделал это я, и встать на ноги, выбраться из этой опасной помойки, где вы живете.

– Сказал мистер Телефонный Опрос, – вставляет Мин.

– И вообще, не так уж у нас опасно, – заявляет Джейд.

– Человека убили, а вы говорите "неопасно"? – отзывается Фредди.

– Нам нужно только засов и глазок поставить, – говорит Мин.

– Что такое "остепениться"? – спрашивает Джейд.

– Жить в степи, дура ты набитая, – отвечает Мин. – Ну ладно, – это уже остальным. – И куда нам, скажите, деваться? К вам можно переехать?

– Я лично был бы в восторге, и вы это знаете, – говорит Фредди. – Но вот наш домовладелец в восторге не будет.

– По-моему, Фредди хочет сказать, что вам, девочки, пора устраиваться на работу, – говорит мама.

– Ага, – говорит Мин. – Разбежались. Помните, чем в последний раз кончилось?

Когда я переехал к ним, Джейд и Мин работали в "Сезам-маркете", в справочной. Однажды приходим мы в ясли забирать детей и видим: Трой сидит голый на стиральной машине, к Мэку во дворе примеряется пекинес, а хозяйка яслей, пьяная в доску, играет в "Птиц-Убийц" на "Нинтендо"[1].

Ясное дело, с "Сезам-маркетом" пришлось проститься.

– А если одна будет работать, а другая – сидеть с детьми? – советует мама.

– Не понимаю, чего вдруг я должна работать, чтоб она прохлаждалась дома со своим сыночком, – говорит Мин.

– А я не понимаю, чего вдруг я должна работать, чтобы она прохлаждалась дома со своим сыночком, – говорит Джейд.

– Дилемма – хоть стой, хоть падай, – говорит Мин.

– Дайте-ка мне сказать, – говорит Фредди. – Дайте-ка кое-что вам сказать насчет нашей страны. Тут каждому открыты все дороги. Но надо прилагать усилия. А вы, ребята, их не прилагаете. Две не работают, один догола раздевается? По-моему, это не значит "прилагать усилия". Вы, ребята, ни гроша не зарабатываете. И потому живете на своей опасной помойке. А что бывает на опасных помойках? Трагедии и прочая муть. Надо ж понимать, как устроена Америка: начинаешь свой путь с опасной

1. Игровая приставка к телевизору.

помойки и работаешь как вол, чтобы когда-нибудь перебраться на чуть менее опасную помойку. И в конце концов, если получится, дойдешь до собственного ранчо. Но вам с вашими темпами даже чуть менее опасной помойки не видать.

— А ты, значит, на ранчо живешь, — шипит Джейд.

— Я не утверждаю, что живу на ранчо, — отвечает Фредди. — Но и не в трущобе. А еще я догола не раздеваюсь.

— Вот уж за что спасибо, — вставляет Мин.

— И вообще, совсем догола он никогда не раздевается, — заявляет Джейд.

Верно. Уж лоскуточки на мне всегда есть — это как минимум.

— Неудивительно, что мы никогда не приглашаем этих детей в приличные места, — говорит Фредди.

— Это мы сейчас, что ли, в приличном месте? — интересуется Мин.

На обед Джейд разогревает в микроволновке "Флаги со звездами". Эта штука как наркотик. В соус добавлен сахар, в мясные шарики — тоже. И, кажется, еще кофеин. Кто-то мне говорил, что коричневые прожилки во "Флагах" — это кофеин. Съедаем тарелок по пять на брата.

После обеда дети начинают капризничать; Мин наливает им в бутылочки смесь мороженого с сиропом "Херши", и мы садимся смотреть "Хуже не бывает", тридцатиминутку смоделированных на компьютере трагедий, которых в действительности не было — но теоретически они вполне возможны. Ребенок попадает под поезд и рикошетом отлетает в клетку с волками, которые раздирают его на части. Мужчина, пиля дрова, отхватывает себе руку по локоть; когда, взывая о помощи, он бредет куда глаза глядят, его подхватывает торнадо — и сбрасывает на игровую площадку начальной школы во время перемены, прямо на беременную учительницу.

— Как мне не хватает Берни, мрак, — говорит Мин.

— Да и мне тоже, — отзывается Джейд.

Дети начинают вопить, требуя еще мороженого.

— Умнички, — говорит Джейд. — Прямо хотят сказать: "Заныкали наше мороженое, суки!"

— Не волнуйтесь, зайки, суки ваше мороженое не заныкали, — воркует Мин. — Никто про вас не забыл.

Тут звонит телефон. Это отец Брайан. Голос у него какой-то чудной. Он говорит, что ему очень неудобно беспокоить нас в такой поздний час. Но случилось нечто странное. Нечто ужасное. Нечто, ну понимаете, неудобосказуемое. Вы прежде присядьте, хорошо?

Я не присаживаюсь, но говорю, что присел.

Судя по всему, могилу Берни осквернили.

Первая моя мысль: "Надгробия-то нет! Одна трава. Как можно осквернить траву? Нужду, что ли, на ней справить?" Но священник чуть не плачет.

Итак, я звоню маме с Фредди и говорю, чтобы они приезжали; детей сажаем в машину.

— Осквернили... — бурчит Джейд по дороге. — "Осквернить" — это что?

— Все равно что обосрать, — поясняет Мин.

— Так они обосрали или что? — спрашивает Джейд. — Что они сделали-то?

— Дура! Нам-то откуда знать, — отвечает Мин. — Потому мы туда и едем.

— А зачем? — спрашивает Джейд. — Зачем было так делать?

— Заруби у себя на носу, мисс Шейлок Холмс, — говорит Мин. — Мудаки они — вот и сделали.

— Это каким же мудаком надо быть... — вздыхает Джейд.

У ворот нас встречает отец Брайан с фонариком и моторизованной тележкой, на каких возят клюшки для гольфа.

— Когда я это увидел, — говорит он, — я буквально сел на землю от изумления. Здесь никогда дотоле ничего подобного не бывало. Мне очень жаль. Вы все, похоже, очень славные люди.

Тележка перегружена, а дорога идет в гору, так что я спрыгиваю и бегу рядом.

— Что ж, друзья, приготовьтесь к худшему, — говорит отец Брайан, заглушив мотор.

На месте могилы яма. На дне ямы — "Янтарный туман" без крышки. В "Янтарном тумане" пусто. Берни исчезла.

— Вот черт, — говорит Джейд. — Где Берни?

— Это что же, Берни сперли? — восклицает Мин.

— Вы хоть удержались на ногах, — замечает отец Брайан. — А я, истинно вам говорю, я буквально сел на землю. Сел вот на эту кучу земли. Рухнул как подстреленный. Видите вмятину? Вот здесь я сел.

На куче могильной земли виднеется вмятина в форме задницы.

Приезжает полиция. Один полицейский спрыгивает в яму с рулеткой и фотоаппаратом. Раза три-четыре озарив яму вспышкой, он выбирается назад и отдает маме пару синих "лодочек".

— Ее туфельки, — шепчет мама. — О господи.

— Те самые? — спрашивает Джейд.

— Те самые, — отвечает Мин.

— Обалдеть, — говорит Джейд.

— Обалдеть — не встать, — говорит Мин.

— Мне нужно сесть, — говорит мама и плюхается в тележку.

— Одного не пойму — кому она понадобилась? — спрашивает Мин.

— Не такая она была женщина, — говорит Джейд.

— Обычно это подростки, так? — говорит полицейский. — Обычно мы находим дорогого покойника или покойницу неподалеку, так? Однажды мы нашли дорогого покойника неподалеку и, знаете, с сигаретой в зубах и в шляпе, так? Смелая нынче молодежь пошла, куда уж нам в свое время. Когда я был мальцом, мне и в голову бы не пришло выкопать труп. Надгробие опрокинуть — за милую душу, краской на двери склепа чего-то там намалевать — запросто, пьяному, понимаете ли, в сапог окурок сунуть...

— Но это — бр-р-р! — говорит Фредди. — Совсем другой коленкор.

— Докатились, — говорит полицейский, и мы все смотрим на туфли в маминых руках.

На следующий день я вновь приступаю к работе. Настроение у меня совсем неподходящее, но настроением сыт не будешь. Трава сырая, перебираться через овраг в моих лакированных туфлях — дело непростое. Подметки-то скользкие. И вообще туфли жмут. Несколько раз поскальзываюсь и падаю на свой кейс. В кейсе у меня плавки и пузырек с гелем для волос.

С корабля на бал — меня тут же вызванивают к столу, за которым полно женщин из "Меди-Серва". Над их головами плещется транспарант "Удачи, Беатрис, не поминай лихом". Снимаю рубашку и подаю им салат. Снимаю свои кожаные летные брюки и подаю им суп. Одна роняет на пол долларовую бумажку и говорит:

— Подбери, не стесняйся.

Подбираю.

— Нет, не так, не так, — говорит она. — Вон туда лицом, чтобы, когда нагнешься, мы видели, что там у тебя между ног.

Я делал это с миллион раз, но сегодня почему-то не могу.

Я смотрю на нее. Она смотрит на меня.

— Что-о? — говорит она. — Даже попросить нельзя? Я думала, для того мы сюда и пришли.

— Для того мы сюда и пришли, Филлис, — подзуживает ее другая. — Не отступайся.

— Слушай, — говорит Филлис. — Либо нагнись, как тебя просят, либо отдай доллар. Это будет по справедливости, разве нет?

— Так его, так, — говорит ее подруга.

Я отдаю доллар. Возвращаюсь в гардеробную и какое-то время сижу там. Впервые в жизни меня объявляют "Отвратом". За столом тринадцать "меди-сервщиц", и все они записали меня в "Отвраты". Знают ли эти женщины, что у меня стряслось? А если б знали, стали бы обзывать меня "Отвратом"? И как мне теперь быть — подойти к ним и сказать: умоляю вас, добрые леди, у меня только что тетя умерла, а тело ее куда-то делось?

Мистер Френдт отводит меня в сторонку.

— Может быть, вам лучше пойти домой, — говорит он. — Сочувствую вашей утрате. Но не могу не призвать вас: не уподобляйтесь этим дамам из племени команчей, которые после смерти родных и близких откусывают себе указательные пальцы. Горе — это хорошо, горе — это прекрасно, но чрезмерное горе, как мы все знаем, это чересчур. Если из-за смерти вашей тети у вас, называя вещи своими именами, полон рот откусанных пальцев, возьмите недельку отпуска, но на клиентках срывать зло не надо — не они же убили вашу несчастную родственницу.

Недельку отпуска — да что там, даже день я себе позволить не могу.

— Нам очень нужны деньги, — говорю я.

— А это моя проблема? — отвечает мистер Френдт. — Значит, я должен позволять, чтобы вы танцевали медленно и вяло только потому, что вам деньги нужны? Или мне объявление в газету дать: "Приглашаю всех скорбящих, которым нужны деньги"? Пусть приходят и показывают стриптиз, содрогаясь от рыданий. До свидания. Вернетесь, когда хотя бы чуть-чуть придете в себя.

Звоню домой по таксофону — узнать, не надо ли купить продукты.

— Приходи, — тупо отвечает Мин. — Иди прямо домой, ясно?

— Что случилось? — спрашиваю я.

— Приходи, — повторяет она.

Может, тело нашли? Воображаю себе Берни раздетой, Берни разрубленной пополам, Берни усаженной на скамью у автобусной остановки. Надеюсь и молю Бога, чтобы над ней поизмывались лишь самую чуточку, иначе — хоть в петлю лезь...

Дверь квартиры нараспашку. Мин и Джейд неподвижно сидят на диване, с детьми на коленях, уставившись на кресло-качалку, а в кресле-качалке — Берни. Тело Берни.

Та же "химия", те же очки, тот же самый синий костюм, в котором мы ее схоронили.

Как оно сюда попало? У кого хватило жестокости? И что нам теперь с ним делать?

Тут она поворачивает голову и смотрит на меня. И говорит:

— Садись, мудила.

При жизни она никогда не выражалась.

Я сажусь. Мин то стискивает, то выпускает мою руку, стискивает и выпускает, стискивает и выпускает.

— Ты, голубчик, — говорит мне покойница, — начнешь показывать свою женилку. Сколько надо, столько и будешь показывать. Подходишь к даме — если она желает посмотреть и согласна платить, у нее на лбу будет отпечаток моего пальца. Я сделаю. Увидишь отпечаток — валяй. Постараюсь пригонять тебе по пять в день, сеанс — двадцатка. Сотня в день. Семьсот в неделю. Это черными, так что никаких налогов. Никаких вычетов. Понял? В том-то и весь смак.

В волосах у нее земля, между зубами — земля, на голове что-то вроде вороньего гнезда, а язык, беспрерывно облизывающий губы, весь черный.

— Ты, Джейд, — продолжает она. — Завтра выходишь на работу. "Андерсен лейблз", угол Пятой и Риверы. Когда туда пойдешь, принарядись. Надень что-нибудь приличное. Чуть-чуть посверкай ногами. И не жуй резинку, как верблюд. Спросишь Лена. В конце месяца берем твою зарплату и женилкин заработок и снимаем новую квартиру. В безопасном месте. Это первая ступень "Этапа номер один". Ты, Мин. Сидишь с детьми. Плюс бросаешь курить. Плюс учишься готовить. Больше никаких консервов. Мы должны хорошо питаться, чтобы выглядеть как надо. Я теперь уйму любовников заведу. Может, вы, ребята, и не знаете, но я умерла целкой. Ни любовников, ни детей. Между ног одна плесень. Ха-ха! Высохла, как пустыня, пропала зазря эта красивая финтифлюшка, которую мне Бог между ног приспособил. Так вот, засранцы: теперь у меня будут любовники! Как в кино, мускулы и вообще, и загородный дом, и круизы на белом теплоходе, а утром в моей комнате полная ваза цветов, и соски у меня встанут от океанского бриза, и буду я есть креветок чашками, поняли, сукины дети? А мой любовник будет смотреть на меня с веранды, и его широкие плечи будут лосниться, и весь он натянется как пружина — так он будет меня хотеть, что-что, а это я вам, оглоеды, гарантирую! Ха-ха! Думаете, я шучу? Хрена вам, не шучу я. У меня в жизни ничего не было! В дерьме по уши сидела! Даже на самолете ни разу не летала, во как. Но та жизнь прошла, теперь пошла эта. Моя новая жизнь. Накройте меня, быстро! Одеялом. Здоровый сон — залог красоты. Если кому вякнете, что я здесь, все помрете. И они помрут. Кому скажете, все помрут. Я их убью мыслью. Во мне теперь силища ого-го, поняли? Сила чар! Так что никаких гостей. Я пока не в форме. Ясно? Кому не ясно?

Мы киваем. Я иду за одеялом. Руки и ноги у нее трясутся, она скрипит зубами — и один зуб выпадает.

— Накрой меня, засранец, накрой целиком, — вопит она, и я накрываю ее одеялом.

Мы на цыпочках смываемся на кухню. Разговариваем шепотом.

— Похожа на нее, — говорит Мин.

— Она и есть, — говорю я.

— Она и не она, — говорит Джейд.

— Придется делать, что она велит, — говорит Мин.

— А то, — говорит Джейд.

Всю ночь она сидит в кресле-качалке под одеялом, матерясь и вздрагивая.

Всю ночь мы сидим на кровати Мин, не раздеваясь, держась за руки.

— Глядите, какая я! — кричит она около полуночи, и раздается грохот; выглядываю: у микроволновки оторвана дверца, но она как сидела в кресле, так и сидит.

Утро. Она никуда не исчезла. Сидит, где сидела, матерясь и вздрагивая.

— Снимите одеяло! — кричит она. — Сейчас вы у меня все запляшете!

Я снимаю одеяло. От нее нехорошо пахнет. На коленях у нее — ее собственное ухо. Раз за разом она рассеянно пытается пристроить его на место.

— Ты, Джейд! — орет она. — Одевайся. Иди, не упусти работу. Когда придешь к Лену, чуточку наклонись к нему. Пусть тебе за пазуху заглянет. Дай ему надежду. Он маньяк, но без него нам никуда. Ты, Мин! Готовь завтрак. Что-нибудь домашнее. Типа оладий.

— А ты что, сама не можешь? Этой своей силой чар? — шипит Мин.

— Замолкни, умная нашлась! — визжит Берни. — Что я с микроволновкой сделала, видала?

— Да не умею я печь эти гребаные оладьи, — ноет Мин.

— А читать умеешь? Ты хоть раз в жизни про рецепты слышала? Ты хоть раз в жизни в могиле лежала? Красота: лежишь, жалеешь обо всем, чего не сумела перепробовать, пока живая была. Вот что я вам скажу, сучонки: в могиле вам ой как погано придется, если не возьметесь за ум! Вырубите отопление! Пусть будет холодно. Мне от холода легчает. Что-то со мной не то. Не по себе как-то.

Я отключаю отопление. Она переводит взгляд на меня. И орет:

— Марш женилку показывать! Это первая ступень "Этапа номер один". Когда переедем на новую квартиру, начнется первая ступень "Этапа номер два". Женилку показывать будешь по-прежнему — но только три дня в неделю. Потому что поступишь в колледж. На юриста. Юридическое образование — самое оно. Будешь отличником — ты же не дурак. А Джейд найдет работу на выходные, чтобы женилкин заработок возместить. Ясно? Усекли, как я все продумала? А теперь выметайтесь. Что ты будешь делать?

— Показывать женилку? — переспрашиваю я.

— Именно. Показывать женилку, — говорит она, приглаживая волосы рукой: и тут целый пук вываливается, оголив полголовы.

— О господи, — ноет Мин. — Знаете что? Я с детьми ни за что здесь одна не останусь.

— Ты не одна, — срезает ее Берни. — Я-то здесь.

— Не уходи, пожалуйста, — просит меня Мин.

— Все, хватит, — рычит Берни; дверь распахивается, и какая-то невидимая рука пихает меня в спину.

На улице солнечно. День самый обычный. Какой-то мужик меняет в своей машине масло. Обычные облака, обычное солнце; необычно

лишь то, что моя одежда пахнет Берни — смесью сырого погреба с тухлой ветчиной.

На работе все идет гладко. Я удачно рассыпаю улыбочки и прячу дрожащие руки; за первую половину смены мой рейтинг — Душка. После перерыва подходит одна немолодая дама и говорит, что я страшно, ну прямо нестерпимо похож на настоящего Пилота.

На лбу у нее метка — отпечаток пальца. Как в Пепельную среду — только он еще и тускло сияет.

Что делать? Просто спросить напрямик, хочет ли она посмотреть мой член? А если она откажется? А если на меня настучат? А если она, когда посмотрит, решит, что двадцатку за него слишком жирно?

Тут она спрашивает, не могу ли я станцевать на столе — для ее подруги, в качестве сюрприза на день рождения? Указывает на свою подругу. Красивая девушка, без метки. Где-то я ее уже видел.

Мы идем к их столику; подойдя поближе, я понимаю: это Анджела.

Анджела Сильвери.

Мы начали встречаться, когда учились в выпускном классе. Но тут у нас умер отец, и маме пришлось устроиться на кухню в "Жаркую Пэтти". От жиров у нее началась аллергия — сыпь по всему телу, даже тоненькую блузку надеть больно. Мало того, еще и Мин отбилась от рук. Представьте: заходит ко мне Анджела, а Мин в гараже, накрывшись автомобильным чехлом, нюхает клей, а мама сидит на табуретке в одном лифчике, подставляя живот под вентилятор. А Анджела метила высоко. У нее были планы. В свою записную книжку она наклеила снимок офиса из мебельного каталога "Джей-Си Пенни" и подписала: "Мой (будущий?) кабинет". Раз мы видели черный "порше", и она сказала: ничего, нормальная колымага, но сама она купит красный. Последней каплей стал Эд Эдвардс, запойный пьяница, отцов двоюродный брат. Мы так обнищали, что мама была вынуждена сдать ему кладовку. Однажды поздно вечером мы с Анджелой обнимались на кухонном диване. Тут пришел Эд, пьяный в дым, и начал справлять нужду в посудомоечную машину.

Что я мог сказать? Что он мне седьмая вода на киселе? Что он такое себе позволяет лишь в исключительных случаях?

Глаза у Анджелы стали как круглые плюшки.

Я проводил ее домой, не удостоился поцелуя, вернулся, отдраил, как мог, посудомойку. Спустя несколько дней я получил по почте свое школьное кольцо и книгу "Пророк"[1].

На форзаце она написала: "Ты навсегда останешься моей первой любовью. Но теперь моя тропа начинает подниматься в гору. Благополучия тебе во всем. Да будет радостен твой путь. Очень прошу, не считай меня жестокой — просто у меня очень высокий порог запросов и еще никак в голове не уложится, как тот тип мог обоссать вам все тарелки".

Нет, не буду я танцевать на столе для Анджелы Сильвери! Не буду спрашивать у подруги Анджелы Сильвери, хочет ли она посмотреть мой член! Ноги моей больше здесь не будет — нечего Анджеле Сильвери видеть меня в кожаной куртке и трусиках на завязочках, нечего ей мысленно удивляться, как я докатился... И так далее. И тому подобное.

1. "Пророк" — книга Халиля Джибрана (1883—1930), американского эссеиста, художника и поэта-мистика ливанского происхождения; популярна у любителей сентиментально-выспренного чтения.

До конца смены прячусь на кухне, а потом, еле переставляя ноги, плетусь домой, потому что боюсь Берни – что она со мной сделает, когда я вернусь?

Мне открывает Мин. Блузка у нее вся в муке, а глаза красные от слез.

– Не могу больше, – шепчет Мин. – Она типа как разваливается на части. С нее дерьмо сыплется. И вообще, она меня пирог испечь заставила – веришь, до чего дошло?

На столе кособокий пирог. У Берни только одна рука на месте – вторая в демонтированном виде лежит у нее на коленях.

– О чем ты только думаешь! – орет Берни. – Хоть бы разочек женилку показал! Думаешь, так уж легко метки ставить? Сам бы попробовал, умник! План мой усвоил или нет? Отвечай! Твое дело – нас отсюда вытащить! А чтобы этого добиться, надо использовать все, что есть! А что у тебя есть? Считай, ничего! Морда симпатичная, да снасть еще туда-сюда. Не сказать, чтоб очень большая, но форма приятная.

– О господи, Берни... – вырывается у Мин.

– Чего еще, мисс Ханжа? – вопит Берни, с силой ахнув оторванной рукой себя по коленям. У нее отскакивает и второе ухо.

– Извините, но мне от всего этого блевать хочется, – говорит Мин. – Я пошла на улицу.

– Блевать? – орет Берни. – Намекаешь, что от меня блевать хочется? А вот мне – от тебя. В жизни столько всего чудесного, а ты? Думаешь своей ленивой задницей, так-то. Что бы тебе жизнь ни подсунула, ты на все согласна. Никуда ты не пойдешь. Сиди дома и учись.

– Чего-о?!! – визжит Мин. – Я – учиться?! Хрена! Ишь, воображала-хвост-поджала, приперлась ко мне домой и распоряжается! Так я тебя и послушалась!

– Ты же ни в чем ни бум-бум! – не остается в долгу Берни. – Какая радость от жизни, когда ты – ни бум-бум? Родного города на карте найти не можешь. Ни одного президента не помнишь. Вот мы в Рим поедем, а что ты об его истории знаешь? Ничегошеньки! Изучай "Весь мир". У нас те книжки еще целы – которые "Весь мир" называются?

– В Рим? Ага, уже едем, – бурчит Мин.

– Когда он станет юристом, мы поедем в Рим, – сообщает Берни.

– Мечтать не вредно, – отзывается Мин. – И на Марс мы двинем, когда я брокером стану.

– Не смей надо мной насмехаться! – вопит Берни. Наша единственная ваза срывается с места и, пролетев через всю комнату, едва не ударяет Мин по лбу.

– Она весь день такая, – комментирует Мин.

– Какая еще "такая"? – орет Берни. – День мы провели совершенно прекрасно.

– Она меня заставила, чтоб я ей помогала мои лифчики мерить. И все перемерила, – сообщает Мин.

– У меня в жизни ни одного развратного лифчика не было, – отзывается Берни.

– И все изгадила, – продолжает Мин. – Все какой-то липкой дрянью измазала.

– Сука неблагодарная! – срывается на крик Берни. – Ты хоть понимаешь, чем мне обязана? Я твоего ребенка спасаю! А у тебя хватает наглости сказать, что я твои лифчики измазала! Трой попадет в перестрел-

ку во дворе, поняли?! В сентябре. Восемнадцатого сентября. Троя сбросит с его трехколесного велосипедика! Шквальной очередью, вот! И он будет лежать с неестественно вывернутой ногой, и струйка крови будет вытекать из его уха. Вот вам пророчество, мать вашу. Знаете такое слово — "пророчество"? Думаете, это все пустой треп? Нет, это вам не треп. Это мои чары. Слушайте в оба уха: Джейд весь день сидела за столом у окна и приклеивала этикетки. На ланч начальник всех угостил сандвичами. Что не доели, она принесет домой в зеленом пакете.

— Это все неправда насчет Троя, ну, скажи! — требует Мин. — Или правда? Я не верю...

— Включи телик! — кричит Берни. — И пульт мне дай.

Я включаю телевизор и даю ей пульт. Она останавливает свой выбор на "Фигуре от Филиппа". Филипп сообщает, что плоский, как стиральная доска, живот — вернейший способ свести с ума всех представительниц прекрасного пола. Камера берет крупным планом стиральную доску его живота.

— Да! — выдыхает Берни. — Да, это по мне! Прямо сейчас пошла бы и облизала. Облизала и пощипала. Ух, как мне на него верхом сесть охота!

Тут в дверях появляется Джейд с большим зеленым пакетом.

— Господи, — шепчет Мин.

— Я ж говорила! — провозглашает Берни, ткнув Мин под ребра. — Ха-ха! Теперь верите в мои чары?!

— Никак не пойму, — в полном смятении говорит Мин. — Что случится? Пожалуйста, Берни. Что с ним случится? Да скажи же ты, не тяни!

— Уже сказала, — отвечает Берни. — Он отлетит примерно на пятнадцать футов и проживет еще примерно три минуты.

— Берни, о господи, — Мин начинает плакать. — Раньше ты была такая хорошая.

— Я и теперь хорошая, — говорит Берни и, кусая сандвич, заодно отхватывает себе кончик пальца. И начинает его жевать.

Едва рассветает, как она громко зовет меня.

— Сними одеяло, — приказывает она. — Что-то мне нездоровится.

Снимаю с нее одеяло. Она превратилась в самую настоящую груду запчастей: обе руки валяются на коленях, на руках — голова, ноги сложены пятка к пятке, и все это как бы завернуто в ее костюм.

— Дай полотенце, — говорит она. — У меня что, жар? Кажется, будто жар. Ох, я и сама знала, что все гладко только в сказках бывает. Ну да ладно. Новый план. Новый план. Пересматриваю первую ступень "Этапа номер один". Если увидишь две метки, значит, дама готова с тобой трахаться за деньги. Время нас поджимает. Надо увеличить темп. От меня скоро ничего не останется. Где я тогда любовника найду?

В дверь звонят.

— Вот еще сукин сын... — рычит Берни.

Это отец Брайан с пакетом пончиков. Я быстро выхожу на площадку, плотно прикрыв за собой дверь. Он говорит, что просто решил нас проведать. Может быть, нам не с кем поделиться своим горем? Может быть, мы никак не можем затушить в себе гнев из-за судьбы Берни? Разумеется, это было бы вполне объяснимо, вполне. Однажды, когда он был еще совсем молодым священником, кто-то забрался в церковь и пририсовал Пресвятой Деве усы несмываемым фломастером; несколько не-

дель потом его мучили видения, как он выворачивает вандалу пальцы, пока тот — или та — не разражается покаянными рыданиями.

— Я знал, что это недостойно, — говорит отец Брайан. — Я знал, что, утешаясь этой греховной фантазией, преклоняю колена перед насилием. И все равно я получал удовольствие. Еще мне хотелось застичь их с поличным и проломить им головы булыжником. И попрыгать на их спинах, пока не услышу треск позвонков. Строго говоря, мне пришло в голову около миллиона идей. Но знаете, что я сделал вместо этого? Принялся отмывать нашу Пречистую Мать, и вскоре она стала как новенькая. Разумеется, я статую имею в виду. Сама Она, конечно же, всегда как новенькая.

Из-за двери слышится звон разбитого стекла. Сначала звон, потом грохот — падает что-то тяжелое. Вопли Джейд и Мин, рев детей.

— Уронили что-то, наверное? — говорит отец Брайан. — Я не вовремя? Послушайте, я всего лишь хотел убедить вас, если это возможно, простить злоумышленников, как я простил злоумышленников, которые разрисовали Пресвятую Деву. В конце концов, потеряно лишь тело вашей тети, а ее самая главная часть, уверяю вас, отошла в мир иной, где ее окружают любовью и заботой.

Киваю. Улыбаюсь. Бормочу: "Спасибо, что зашли". Беру пончики и возвращаюсь в квартиру.

Телевизор разбился, холодильник повален набок, а куски Берни разбросаны по всей гостиной, точно ею выстрелили из пушки.

— Пыталась встать, — поясняет Джейд.

— Не знаю уж, куда ее черт понес, — вздыхает Мин.

— Иди сюда, — говорит мне голова, и я присаживаюсь на корточки. — Такое уж мое счастье. Опять облажалась. Как всегда. Не ко двору я на этом празднике жизни. А если подумать, я праздника даже издали не видала. Слушай, показывай женилку, ладно? Это будет самая короткая дорога между двумя точками. Хорошую жизнь за так не дают. Тебе богатое наследство светит? Или ты, может, гений? Показывай женилку. Больше у тебя ничего нету. И помни: Трой в сентябре. На велосипеде. С неестественно вывернутой ногой. Не забывай. И вот еще. Не запоминай меня такой. Запомни меня в тот вечер, когда мы все вместе ходили в "Красного Омара", когда я со свежей "химией" была. Ой, Господи Иисусе. Хотя бы надгробие мне поставьте.

Я глажу ее по плечу, которое валяется рядом с ее ступней. И говорю:

— Мы тебя любили.

— Почему у одних есть все, а у меня — ничего? — бормочет она. — Почему? Почему со мной так вышло?

— Не знаю, — отвечаю я.

— Показывай женилку, — напутствует она и умирает во второй раз.

Мы стоим, глядя на эту груду частей тела. Мэк начинает к ней ползти; Мин отпихивает его ногой.

— Ну это уже вообще... — говорит Джейд, обливаясь слезами.

— Что теперь? — спрашивает Мин.

— Вызовем полицию, — предлагает Джейд.

— И что скажем? — шипит Мин.

Мы надолго задумываемся.

Я нахожу целлофановый мешок типа "гигант" и свои зимние перчатки.

— Я смотреть не буду, — заявляет Джейд.

— Я тоже смотреть не буду, — вторит ей Мин. Обе уходят с детьми в спальню.

Зажмурившись, я засовываю Берни в мешок, завязываю горловину узлом и кладу мешок в багажник. Туда же кладу лопату. Еду на кладбище Святого Льва. Спускаю мешок в могилу на эластичном шнуре и закидываю землей.

Под холмом — город с хорошими домами и домами так себе, и парочками, которые милуются в темных дворах, и детьми, которые, рыдая, зовут мам; и я гадаю, случалось ли уже с кем-нибудь такое, если не считать Иисуса. Может быть, так происходит сплошь и рядом. Может быть, куда ни кинь, везде сердитые мертвецы — прячутся в комнатах, накрытые одеялами, командуют своими перепуганными, очумелыми родственниками. Как проверишь?

Я лично вовсе не собираюсь афишировать нашу историю.

Примяв землю, я произношу короткую молитву: "Если, вернувшись, она совершила грех, прости ее, у нее никакой жизни не было, и вообще, она пыталась нам помочь".

Уже в машине мне в голову приходит дополнение к молитве: "Только, пожалуйста, не пускай ее сюда больше".

Приезжаю домой. Дети уже спят, а Мин с Джейд смотрят рекламу службы "Секс по телефону": три девицы в кожаных комбинезонах, снятые в замедленном темпе, едят бананы, а внизу экрана движется бегущая строка-предупреждение: "Это не обязательно те девушки, которые обслуживают телефоны! Это не обязательно те девушки, которые обслуживают телефоны!"

— Да, похоже, нравятся этим девкам бананы, — произносит Мин тихим тоненьким голоском.

— А мне их комбинезончики нравятся, — говорит Джейд.

— Да, ничего комбинезоны, нормальные, — вторит Мин.

Тут они поднимают глаза на меня. В жизни не видел их такими грустными, забитыми и усталыми.

— Готово, — сообщаю я.

Мы обнимаемся, плачем, клянемся никогда не забывать Берни — такую, какой она была на самом деле, — и прежде чем лечь, я пробую почистить ковер "Резолвом", а они прочитывают по кусочку из "Всего мира".

На следующий день я прихожу на работу заранее. Ни одной метки не вижу. Но они мне и ни к чему. Я спрашиваю совета у Сонни Вэнса, и он мне объясняет, как себя вести. Сначала предлагаешь даме индивидуальную экскурсию. Показываешь ей липовый "П-40", Галерею величайших асов, душевую, где мы мажемся маслом, и так далее, а потом в холле у туалетов спрашиваешь, не хочет ли она увидеть что-нибудь еще. Чувствуешь себя гнусным козлом. Но, делая это, я думаю о сентябре. О сентябре и о Трое под пулями, о его маленькой, неестественно вывернутой ножке. И так далее...

Большинство говорит "нет", но довольно часто мне отвечают "да".

Я уже присмотрел квартиру в комплексе "Лебединая долина". Там никого еще не застрелили и не зарезали, и школа прекрасная, а по субботам они устраивают для детей вылазку на природу — ходят в рощицу за клубом.

С каждой заработанной сотни долларов я откладываю пять — Берни на надгробие.

Что на нем написать? ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО НЕЕ? УМЕРЛА В ОТЧАЯНИИ? ВОСКРЕСЛА, НО РАЗВАЛИЛАСЬ НА ЧАСТИ? Все правда, но слишком уж грустно. Так что я закажу совсем другую надпись.

"БЕРНИ КОВАЛЬСКИ, НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ ТЕТЕ" — вот что будет высечено на надгробной плите.

Иногда она является мне во сне. И всякий раз в жутком виде: то в наручниках, то в изодранном халате. Однажды привиделось, как она стоит голая и вся в грязи, а по ее груди, цепляясь когтями, взбирается бешеная кошка. И всякий раз она твердит одно и то же.

— У некоторых есть все, а у меня — ничего, — бормочет она. — Почему? Почему со мной так вышло?

Каждый раз я отвечаю:

— Не знаю.

И это правда.

Стопудовый шеф

В полдень поступает очередная партия енотов; Клод отвозит их на задний двор и ликвидирует при помощи монтировки. Затем, натянув защитные перчатки, проверяет у них пульс. Затем, перетащив клетку через 209-е шоссе, приступает к похоронам — то есть сбрасывает енотов в яму, что является нашей маленькой производственной тайной. Похороны завершаются молитвой — такова личная прихоть Клода, неизменно вызывающая раздражение у Тима, нашего жестокосердого шефа. Прежде чем основать ГУРПЕ — "Гуманное решение проблемы енотов", — Тим как-то раз нарочно дал задний ход и задавил одного сынка богатых родителей... и получил десять лет за непредумышленное убийство. В тюрьме он прошел курс MBA[1], в качестве дипломного проекта разработал и запатентовал светящиеся значки с хэллоуинской тематикой. Теперь он раздает нам эти значки как премии за деловую смекалку; также он спорадически крушит книжные полки, чтобы напомнить: нрав у него зверский и противоречить ему — безумная опрометчивость.

После похорон я выписываю счета и сочиняю абзац-другой о том, как очумели от восторга еноты, будучи выпущены нами на свободу. Иногда подпускаю кое-какие подробности насчет спонтанных совокуплений в кустах бузины. Сказочки для клиентов я пишу лучше всех. И лучше всех заговариваю им зубы по телефону. Когда клиент звонит спросить, как прошло освобождение его енота, все мои сослуживцы, заранее надрывая животики от смеха, переключают его на меня. Я рассказываю весело и убедительно. Хохочу до слез над историями — сочиненными мною тут же, на ходу — о том, какие сумасшедшие номера отмачивал их енот, оказавшись на воле. Затем, четко выполняя инструкции Тима, я спрашиваю, не затруднит ли их отослать обратно наши рекламные материалы. Буклеты обходятся нам недешево. Они содержат глянцевые фотографии енотов на лоне природы и рядом, для контраста, глянцевые фотографии отравленных енотов, бьющихся в агонии. Подсуньте это домохозяйке, у которой вечно перевернут мусорный бак, — и она облегченно

1. MBA — мастер делового администрирования (у нас, как правило, употребляется латинская аббревиатура) — программа обучения практическому менеджменту и название диплома для прошедших эту программу.

вздохнет. И сделает заказ. И комиссионные, десять процентов от суммы контракта, — ваши.

Комиссионные — единственная радость в моей жизни. Других не осталось. Чтобы привлекать женщин, я слишком дороден. Мой вес — четыреста фунтов. Мне это не нравится, но что я могу? Перепробовано все: бег, гребля на каноэ-тренажере, хатха-йога, ушивание желудка... и даже намордник — в те печальные времена, когда я страдал по Фриде, нашему обработчику документов. Пока я был всего лишь полноват, мне ничто не мешало мнить себя любителем широко пожить, переедающим исключительно из неуемного жизнелюбия. Теперь меня и сослепу за жизнелюба не примешь.

Разделавшись со счетами, я награждаю себя пакетиком орешков. Точнее, двумя. Весь грязный, с похорон возвращается Клод; увидев меня за едой, он не удерживается от замечания, что у меня даже брюхо тройное, под стать тройному подбородку. Он прав, и все же — какая неделикатность! Тим спрашивает, откуда у Клода такие познания — или он всю ночь со мной в койке кувыркался? Это предположение мне тоже не очень-то нравится. Но Тим у нас главный. На его футболке написано: "Моя горячая ручонка держит тебя за бумажник".

— Ха-ха, Тим! — отзывается Клод. — Я не гомик. Но даже будь я из этих самых, я бы раньше помер, чем подпустил к себе мистера Жиронакопителя.

— Ха-ха, — вторит Тим. — Метко. Что, Джефри, метко ведь сказано?

— Метко сказано, — мрачно бубню я.

Жалкий маленький змеюшник — эта наша контора.

Сослуживцы подкладывают мне на стул магниты в виде бегемотиков. Намекают, будто я — изнуренный воздержанием девственник, и сами не знают, как ошибаются. Они бы по-другому запели, если бы спросили Эллен Бертомли о той восхитительной ночи, которую мы с ней провели в коттедже ее брата Боба. Даже тогда я не отличался стройностью, но, по крайней мере, мог покупать брюки в магазине, а от кабинета до кухни добирался ничуть не запыхавшись. Я запомнил ее нагой у окна; с улицы влетали стаями пушинки одуванчика; обернувшись ко мне, она совершенно сознательно продемонстрировала мне свои пышные формы анфас. Это был самый романтичный момент моей жизни. Теперь же, чтобы увидеть что-либо подобное, я вынужен унижаться до визитов в заведение "У Ларни: видеосалон для совершеннолетних". Пока мне это вконец не обрыдло, я приходил туда с полным носком мелочи и особой подушечкой для сидения, чтобы часами созерцать забавы скандинавок. Позор и срам. Наконец на прошлое Рождество я сказал себе: воздержание и еще раз воздержание, лучше быть бесполым, чем дерьмом. И отныне воздерживаюсь. Теперь я бесполый и безгрешный — но нервы! Нервы мои на пределе. Отныне я пытаюсь подняться над мирской суетой. Силюсь не зацикливаться на своей физической оболочке и бескорыстно служить добру. Будучи осыпаем насмешками (практически ежедневно, кстати), я мысленно вижу оплеванное лицо Христа. Будучи снедаем похотью, я вспоминаю, как Ганди, испытывая себя, нарочно лег спать рядом с сексапильной юной девицей. С работы я иду домой, немного смотрю телевизор, иногда произношу две-три молитвы.

Еще тридцать лет такой жизни, и я уйду, никому не причинив зла и не оскандалившись сам.

И все же я человек. Капелька симпатии не была бы лишней. Сослуживцы ничего не знают о жизни моей души. Плевать им и растереть, что у меня когда-то был пес Лешачок, которого раздавило канавокопателем. Плевать им и растереть, что мой отец умер смертью алкаша в Форт-Уорте, в районе скотобоен. На закате жизни он прислал мне письмо, полное изумления.

"Сын, — написал он мне, — и ты тоже растолстел? Меня самого разнесло как-то вдруг, и теперь я — что твой сарай. Берегись — может, это ген у нас такой? Топаю по деревянным ковбойским тротуарам, шляпа голову жмет, а совесть грызет за те сотни жизненных дорог, которыми я не пошел. Адью. В моей памяти ты — мосластый недомерок, который никогда не отвечал, когда я задавал тебе прямой вопрос. Но я любил тебя всем сердцем".

Что знают сослуживцы о моем папе? А обо мне? Какова цена другу, который вешает в столовой карикатуру, где нарисовано, как я целиком заглатываю компьютер? Какова цена тем, кто просто так, ради шутки, пророчит мне смерть от ожирения сердца и похороны в специальном, изготовленном по моим габаритам контейнере?

Простите, но мне кажется, что от жизни резонно было бы ждать большего.

В детстве моей любимой книжкой был "Полицейский Красная Касочка". Красную Касочку любили все. Он знал, что к чему и что почем. Каждое утро он надевал свою форму: майку, брюки, китель и так далее, следуя раз и навсегда заведенному порядку. Он гонялся за злодеями, не теряя каски. Теперь же я окружен психами. Я и сам уже псих. Я наклоняюсь к клеткам и говорю енотам, чтобы принимали смерть по-мужски. Донимаю незнакомых людей разговорами о моем весе. Похотливо разглядываю продавщиц. Через силу нагибаюсь за грязной мелочью. Когда рядом никого нет, долго и тщательно выскребаю из ушей серу, а потом ее рассматриваю. Я все пухну и пухну и ужасно боюсь озлобиться.

Иногда я чувствую, как подступает к горлу горькая обида, и, сделав над собой усилие, проглатываю ее.

К сожалению, я нахожу, что во мне вновь пробудилось влечение к Фриде. Верный признак мании самоубийства. Ведь я ей отвратителен — ясно по всему. Иногда замечаю боковым зрением, как перекашивается ее лицо, когда она смотрит на мое свисающее складками брюхо. Стоит увидеть, как она облизывает губы, стуча по клавиатуре, — и в голову лезут кое-какие нечистые мыслишки. Подслушиваю, как она ласково разговаривает по телефону со своим маленьким сыном Леном, и неудержимо воображаю себе, будто сижу на специально подогнанных под мой вес качелях, пока она жарит отбивные, а Лен возится в луже.

Сегодня, пока мы раскладываем буклеты по конвертам, она мимоходом признается, что ей ужас как хочется бросить работу и засесть дома с Леном. Вот если бы не было так туго с финансами... Зарплата у нее мизерная — я сам в ведомости видел. Есть и другая острая проблема: она подозревает, что миссис Распутин, няня Лена, — алкоголичка.

— Не знаю, что и делать, — признается Фрида. — Приходишь с работы — а она сидит поддатая в одном лифчике и "Скаковым листком" обмахивается.

— Да-да, знаю по себе, — говорю я. — Жизнь порой бывает нелегка.

— Я не про жизнь вообще, — шипит она. — Я про свою пьяную няньку. Ты что, не слушаешь?

Сам не понимая, что несу, я предлагаю пойти куда-нибудь вместе поужинать: вдруг нам обоим станет чуточку легче. В ответ она плюется таблеткой "Рондо" аж в соседнюю кабинку и заявляет: "Хватит, наслушалась". Идет за Тимом и Клодом, чтобы вместе с ними покуражиться над моим нахальством. Посылает подруге, которая работает в банке, факс с язвительным описанием моей самонадеянности. Весь день то и дело косится на меня, склонив голову набок.

Не стоит уточнять, что день длится бесконечно.

И вдруг, когда бьет пять часов и остальные уходят, она робко протискивается мимо меня и говорит, что была бы счастлива куда-нибудь со мной сходить. Сообщает, что я всегда поддерживал ее в трудную минуту. Что ей нравится, когда у мужчины есть немного мяса на костях. И что я должен зайти за ней в восемь и принести что-нибудь для Лена. Я поражен. Я вне себя от радости.

Колени у меня так трясутся, что чуть не разносят в щепки мой несоразмерно маленький стол.

Покупаю Лену футбольный шлем, бейсбольную перчатку, аквариум и многотомную энциклопедию. На это уходят практически все мои скромные сбережения. Ну и пусть. Шанс видеть эту красавицу сидящей напротив, не слыша улюлюканья Клода и К°, дорогого стоит.

Звоню в ее дверь — и кто-то орет, чтобы я входил. Вхожу. Лен прячется за музыкальным центром, а пьяненькая миссис Распутин, держа в руке маркер, просматривает свой альбом "На память о начальной школе". Подняв глаза, она спрашивает:

— Где этот мальчишка?

Мне хочется ответить: "А я почем знаю", но я говорю:

— Он за музыкальным центром.

— Его оттуда за уши не вытащишь, — сообщает она. — Обожает комочки пыли жрать. Не думайте, она не вредная. Она как силос.

— Выходи, Лен, — говорю я. — Тебе подарки.

Он выходит. Поднимает свою крохотную бровку при виде моих габаритов. И тут же залезает ко мне на колени, держа за капюшон своего Дилера Смерти. Очень-очень славный мальчуган. У Дилера в руке оторванная человеческая голова. Если дернуть за веревочку, Дилер хрипит: "Конец тебе — я убил тебя, Принц Отброс!" и показывает флуоресцентный язык. Прочитываю Лену мою коронную лекцию о вреде насилия. Говорю, что ненависть можно сокрушить лишь любовью. Провозглашаю, что мы пришли в этот мир, чтобы жить в гармонии и оказывать друг другу эмоциональную поддержку. Тупо взглянув на меня, он швыряет Дилером в кошку.

Из спальни спускается Фрида, красивая как картинка; она кидает испепеляющий взгляд на миссис Распутин, и мы упархиваем прочь. Я веду Фриду в "Вулканический остров Эйса" — это ресторан с интерьерами в гавайском стиле, расположенный в помещении бывшего автосервиса. Они вечно крутят закольцованную пленку со звуками прибоя; еще тут есть гора из папье-маше, на которую карабкаются куклы Барби в травяных юбочках. Меня здесь знают. Каждую пятницу после работы я устраиваю себе праздник: сидя один в кабинке, заказываю "луау" — так называются ребрышки с гарниром из брокколи. Эйс, владелец "Острова" — интеллигентный стареющий битник, страдающий легкой формой ко-

пролалии[1]. Нет на свете человека, который замирал бы с более виноватым видом, когда с его языка начинают срываться грязные ругательства. Буквально только что он цитировал "Бхагавад-гиту" — и тут же грубым голосом советует посетителю своего собственного ресторана: "Оближи себе зад!" Мы обсуждали с ним эту проблему. Он говорит, что пробовал таблетки. Пробовал прикусывать зубами ластик. Пробовал воображать себя в пойме Ганга и как небесное существо гладит его по голове. Все без толку. Тогда он заказал в типографии извинительные памятки. Шерлин — так зовут старшую официантку — вручает их клиентам, когда провожает к столику. На листочках нарисован Эйс с вылетающим изо рта полчищем вопросительных знаков и всяких прочих символов.

"Я не властен над моим недугом, — написано внизу. — Но, пожалуйста, знайте, что, с какими бы грубыми словами я ни обратился к вам, я всей душой ценю ваше общество".

Перед нами Эйс просто стелется: приносит дополнительные порции воды со льдом, прячется на кухне, как только чувствует приближение приступа. Я сознательно морю себя голодом. Мы беседуем о ее жизненной философии. Потом — о ее прическе, ее заветных детских воспоминаниях, экстрасенсорных талантах ее тетушки. Мне не удается ни слова вставить, и это отлично. Мне приятно слушать. Приятно побольше узнавать о Фриде. Мне нравится ставить себя на ее место и смотреть на вещи ее глазами.

Провожаю ее домой. Ребята в подворотнях свистят при виде моих объемов. Я делаю вид, будто нисколько не задет — напротив: гордо виляю задом. Фрида смеется. Поцелуй кажется возможным. Хочется ущипнуть себя — убедиться, что не сплю.

Поднявшись на свое крыльцо, она жмет мне руку и говорит:

— Здорово, теперь мы сможем заплатить за телефон — спасибо Тиму.

И показывает их письменный договор. "При условии, что ты согласишься появиться на людях с Джефри, я, Тим, обязуюсь заплатить тебе, Фрида, сумму в пятьдесят долларов".

Она скрывается в доме. А я — я беру недельный отпуск и круглосуточно играю в "Кастрол-победитель". Добираюсь до девятого уровня. Дервиш Угль-ибн-водород у меня по струнке ходит. Пещеру Коррозионной Активности знаю как свои пять пальцев. Мистеру Грязу наношу поражение за поражением, упорно препятствуя ему изнашивать мои Поршни. Есть что-то патологическое в той безудержной радости, которую я испытываю, воображая Фриду на месте Мистера Гряза в миг, когда его аннигилируют мои Призовые Моющие Присадки. На исходе ночи номер три выхожу подышать воздухом. Высоко в небе клубятся фантастические облака, навевающие мысли о Таити и храбрых моряках с огромных, деревянных, медленно тонущих судов. А тут я, взрослый мужчина с затекшим от джойстика пальцем.

Выкидываю картридж на помойку и возвращаюсь в контору. Сношу насмешки. Сношу издевки. Кто-то склеил коллаж: голова моя, вырезанная из нашей групповой фотографии, а туловище от какой-то невесты. Тим говорит, что за такую нелепую картину, как мы вдвоем, полсотни не жалко.

1. Копролалия — психическое заболевание. Больной постоянно помимо своей воли употребляет нецензурные слова.

— Ты меня ненавидишь? — спрашивает Фрида.

— Нет, — отвечаю я. — Вечер, который мы провели вместе, доставил мне подлинное удовольствие.

— Боже ж ты мой, а вот мне — никакого, — говорит она. — Все так и пялились. Я сама себя возненавидела за то, что они думали, будто я и вправду с тобой. Понимаешь, о чем я говорю?

Мне ничего не приходит в голову, поэтому я просто киваю. А потом со слезами на глазах удаляюсь в свою кабинку, чтобы утешиться счетами. Я же не злодей. Если бы только я мог отринуть надежду. Если б только я мог сказать сердцу: "Брось. Будь один навеки. У тебя всегда останется опера. Всегда останется суфле, и соседские дети, поющие рождественские гимны, и красота осенних листьев на мокрой от дождя крыше". Но нет. У меня какой-то дурацкий рыбацкий поплавок, а не сердце.

Счета идут как по маслу. Солнце садится, встает луна, круглая и бледная, как моя глупая рожа.

Сокращаю до минимума время пребывания в офисе, добровольно напросившись обрабатывать Карлайлов. Карлайлы богатые. Если у бедняка проблемы с енотами, он опрыскивает свой мусор отравой и на том успокаивается. Карлайлов такой вариант не устроит. Они контролируют всю хлебную торговлю в городе. Говорят, что хлебным королем Карлайл стал благодаря своей неразборчивости в средствах, но как человек он производит довольно приятное впечатление. Я разрешаю ему посмотреть, как я раскладываю гнилые фрукты. Показываю, что дверца ловушки совершенно безопасна — опускаясь, и мухи не убьет. Он уходит в дом, а я остаюсь терпеливо ждать в машине.

Бьет полночь, и почти сразу же я жму на рычаг. Зову Карлайлов, приглашаю их присесть на корточки и дружески пообщаться с пойманным енотом. Затем произношу наш дежурный панегирик, превознося их передовые взгляды. Описываю девственные дебри, где пленник будет выпущен на свободу, плодородные долины с ручьями и как проворно сорвется с места енот, втянув ноздрями первую порцию чистейшего воздуха.

Мистер Карлайл благодарит меня: теперь, дескать, они смогут лечь спать, не мучаясь от угрызений совести. Я отвечаю, что в том и состоит моя работа. В этот самый момент из леса выскакивает громадная супруга енота и впивается мне в икру. Допрыгав на одной ноге до машины, я начинаю колотить енотихой о бампер, пока она не сдыхает, так и не выпустив из пасти моей икры. Карлайлы столбенеют от ужаса около гаража. Я столбенею от ужаса у своей машины. Мое сердце разрывается от скорби. Я изловил немало енотов и чаще, чем хотел бы, помогал Клоду с похоронами, но сам я в жизни еще никого не убивал.

Швырнув обоих енотов в багажник, еду в больницу, где мне делают первый из положенных в таких случаях чрезвычайно болезненных уколов. Задремав на кушетке в приемном покое, вижу во сне выводок енотиков в белых манишках, жалостно скулящих от голода.

Проснувшись, звоню в контору. Тим спрашивает, уж не поехала ли у меня крыша. Это же надо, забить енота до смерти на глазах клиентов. Разве нельзя было ласково отцепить его от ноги или отвлечь гнилыми фруктами? Горжусь ли я своим талантом путаться в трех соснах? Помню ли я еще Дамьена Флаверти? Или забыл?

Разве Дамьена Флаверти забудешь? Он прикарманил служебные деньги, чтобы финансировать свой бутик — галстуками торговал. С помощью дубинки Тим превратил его в размазанную по полу кучку и сказал: "Думашь, я девять лет отмотал, чтобы на воле меня такие, как ты, накалывали?" И дополнительным "хрясь" сломал Дамьену руку. Я чуть кофе не уронил.

Говорю Тиму, что мне очень-очень стыдно, что я не справился с ситуацией. Он отвечает, что не завидует той енотихе — эх, грустно ей стало в последние минуты, когда она поняла, что променяла жизнь на мою несъедобную жирную ногу. Мне больно это слышать. Сам не понимаю, почему я так упорно жду человеческого отношения от типа, который устроил в подвале офиса камеру пыток. Там внизу у него есть откидная, скрытая за стенной панелью кровать, коллекция плеток и маска палача, укомплектованная плеером. Иногда, засидевшись за счетами, я вижу, как он приводит туда какую-нибудь из своих добровольных жертв. Обычно оба чертовски пьяны. В таких случаях я, насколько позволяют мои габариты, кое-как прячусь под столом. Вы только подумайте, как низко пало человечество. Подумайте, как опечалится в своем далеком далеке какой-нибудь отец, если узнает, чем балуется его дочь. Однажды я глянул в щелочку, когда они уходили, и увидел блондинку с подбитым глазом, которая шага не делала без позволения Тима и подбирала его пальто, которое он раз от разу нарочно ронял.

— Может, хотя бы кофе меня угостишь? — спросила она.

— Тебя голую кофе облить — вот это было бы дело, — рявкнул Тим.

— Ням-м, — протянула она. — Отличная идея.

Как только люди до такого доходят, задумался я. Обратимы ли изменения? Сумеют ли эти несчастные вновь научиться любви и нежности? Как они могут смотреться в зеркало или наряжать елку к Рождеству, не захлебываясь от ненависти к себе?

И тут я сказал: пусть у меня ожирение, но, по крайней мере, сатанинская жестокость мне чужда.

На следующий день Тима приняли в клуб "Ротари"[1], и мы все пошли на торжественный обед. Он говорил о том, как радикально повернуть свою жизнь. Толковал о горьких уроках тюремного заключения. Превозносил до небес Америку, перешучивался с лысеющими милягами-офтальмологами, а приехав в контору, повесил свою ротарианскую табличку на лестнице у камеры пыток и приказал мне ежедневно драить ее "Виндексом" под страхом сурового наказания.

Во вторник, когда мы с Клодом тащим к погребальной яме карлайловских енотов, рядом тормозит машина. Затаскиваем клетку в кусты и, тяжело дыша, приникаем к земле. Клод шепчет, что я воняю. Потом добавляет, что если бы он весил четыреста фунтов, то подумал бы об окружающих и сел на диету. Небо лиловое, как на церковных открытках с Голгофой, когда сделалась тьма по всей земле и померкло солнце. Из машины выходит бледная девушка в сари. Подойдя к краю ямы, она измеряет шагами ее окружность и что-то черкает в блокноте. Потом, присев на корточки, съезжает на дно, а вылезает с полным пакетом енотовых костей.

1. Местное отделение организации "Ротари интернэшнл" — элитной общественной организации, объединяющей влиятельных представителей деловых кругов.

Когда она уезжает, мы бегом возвращаемся в контору. Тим, багровый от гнева, начинает натирать детским кремом свою любимую дубинку. Никаких енотов в яме до особого распоряжения, приказывает он. Объявляет чрезвычайное положение: станем держать енотов на сухом льду в наших кабинках и противогазы наденем, если понадобится. Говорит, что если девица еще раз покажется, он будет вынужден ее проучить, чтобы не ставила под угрозу наш кусок хлеба. Говорит, что защита животных — дело хорошее, но есть качественная разница между симпатичными зайчатками-котятками и гнусными енотами, которые питаются падалью и отбросами и создают значительные санитарные проблемы.

— Ой, ладно тебе, — говорит Клод, и в его тупых глазках сияет любовь к Тиму. — Ты за десятку родную маму ликвидируешь.

— Бесспорно, — отвечает Тим. — Особенно если она взбесится или перевернет мусорный бак клиента.

И, сунув мне нашу служебную "Визу", посылает меня в "Сезам-маркет" за сумками-холодильниками. В "Сезам-маркете" можно купить кассету с фильмом "Самые кровавые преступления века в инсценировках". И кассету с фильмом из серии "Золотые ляпы" — сборником курьезов, произошедших при съемках "Самых кровавых преступлений". И кормушку для птиц, которая играет мелодию "Эх, как в горле пересохло", одновременно испуская ультразвуковые колебания, приманивающие и успокаивающие пернатых. И "Молитву от зноя" — дорогущую сумку-холодильник с голографическим изображением какого-нибудь знаменитого религиозного деятеля на крышке. Выбираю Будду. Так и слышу, как Тим саркастически сравнивает наши животы и вопрошает, что сталось с идеей минимизации производственных расходов. Но других моделей у них нет — одни "Молитвы". Так и так я окажусь у Тима в списке на обсёр. Список на обсёр — это не метафора, а самый настоящий список. Фрида создала его на компьютере и украсила изображением комочка кала, сердито топающего ногами.

Покупаю холодильники с Буддой, вопреки здравому смыслу надеясь, что Тим похвалит меня за решимость. Возвращаюсь в контору. Все уже разошлись. Вместо сладких мелодий с кассеты "Музыка для офиса" по помещению разносятся — хоть какое-то разнообразие! — громкие звуки ударов и грязная брань, доходящие из подвала по трубам отопления. Вскоре по лестнице с руганью взбегает Тим. Срочно прячусь.

— Спасибо за потерянное время, — кричит он, — кошку с балкона скинуть — и то веселее было бы. Нет никого зануднее секретарши, у которой сексуальной фантазии — как у ромашки.

— Я обработчик документов, — обиженно поправляет Фрида.

— А разница? — бурчит Тим и уносится прочь на своем "порше".

Ошеломленный, я высовываюсь из своей кабинки. Над ее плечом, за освинцованным стеклом качает головой шокированная осенняя луна. Одна щека у Фриды сильно вспухла, но в остальном она вся светится от любви. У меня отвисает челюсть.

— Что тут сказать? — говорит она. — Не могу без него, просто с ума схожу.

— Доброй ночи, — шепчу я и, забыв о своей машине, как в бреду тащусь пешком до дома все девять миль.

В среду в течение всего дня я готовлюсь сказать Тиму несколько веских слов. Но духу у меня не хватает. Кроме того, он наверняка рявкнет, что

она совершеннолетняя, сама себе хозяйка, и будет абсолютно прав. Мне-то какое дело? Зачем защищать тех, кто не хочет, чтобы их защищали? Взамен я швыряю в его кофе несколько козюль из моего носа да, пользуясь своими привилегиями администратора локальной сети, отменяю печатание документов, которые он посылает на принтер. Он спрашивает, не могу ли я сегодня задержаться на работе, и, вопреки всем моим убеждениям, я подхалимским тоном отвечаю: "Без проблем". Ненавижу его. Ненавижу себя. Все расходятся по домам. Небо затягивают тяжелые тучи. Выписываю счета как заведенный. Стая птиц, опустившись на мусорный бак, начинает клевать присохшие к его крышке субстанции. Как деградировала эта вселенная. Обычная история: началось по-хорошему, а кончилось гадостью.

В семь часов с секундами я слышу его вопль:

— Ты, милая, будешь гореть в аду, когда я собственноручно спихну тебя в могилу!

Вначале я решаю, что он опять воркует о любви с Фридой — наверно, по телефону. Но, выглянув в окно, вижу на краю нашей ямы защитницу животных. С видеокамерой.

Похвальная преданность принципам, думаю я, удивительная ясность ментального зрения.

Из дверей с дубинкой наголо выбегает Тим.

Что делать? Спору нет, он задумал недоброе. Следую за ним, сняв ботинки, чтобы меньше шуметь. Держась в тени, отталкиваюсь необутой ногой и перемахиваю с обочины на обочину. Отвратительно пыхчу. Мой пульс достигает скорости света. Но, к моей чести, я от него не отстаю. Тем временем девушка выбирается из ямы, неся видеокамеру на голове, как жительницы Кении носят свои кувшины; ее прелестно встрепанные волосы подсвечивает медовая луна.

— Блудница, — шипит Тим, — потенциальная осквернительница моей мечты, — и замахивается дубинкой. Мешкаю ли я? О, я не мешкаю! Подпрыгнув, я подставляю под дубинку свое запястье. Моя лучевая кость превращается в кашу, голова кружится, но я обнимаю Тима, наваливаюсь на него, огромный, как Талса[1].

— Бегите, — хрипло советую я девушке и вижу, как сверкают в лунных лучах шикарные белые подметки ее удаляющихся спортивных туфель.

Мои объятия крепки. Приказываю ему бросить дубинку, и, как ни удивительно, он повинуется. Отпускаю ли я его? К стыду своему, нет. Во мне накопилось слишком уж много патологической злобы. Я и сам не знал сколько. И вся она вкладывается в один непомерный порыв, в желание сдавить его, сжать... Что-то ломается, и он обмякает, и я бережно опускаю его в грязь.

Делаю ему искусственное дыхание — изо всех сил. Умоляю его восстать и избить меня в кровь. Исполняю над ним безумный танец скорби. Но все без толку.

Я убил Тима.

Перебежав 209-е, я бессмысленно влачу свои телеса от одного корпуса нашего индустриального парка к другому, рыдая, колотя в запертые двери офисов. В фирме "Ультранаколенник" праздник. Генералы индустрии пьяно подпевают хитам пятидесятых годов, а пехота подхихикивает льстивым идиотским смехом, так что моего отчаянного стука никто

1. Крупный город в штате Оклахома, прозванный "нефтяной столицей мира".

не слышит. Я уже собираюсь запустить в зеркальное стекло пластмассовым валуном. Но вовремя останавливаюсь. Тиму уже не помочь. Чего я добьюсь, явившись с повинной? Или я не спас жизнь ни в чем не виновной девушки? Или Тим не был чудовищным садистом? Что сделано, то сделано. Теперь мне уже не знать душевного покоя. Стоит ли проводить остаток дней в тюрьме, если я всего лишь избавил мир от подонка?

Ежась на улице под праздничный шум, я узнаю о себе кое-что жизненно важное: когда доходит до драки, плевать мне на возвышенные идеалы. По-настоящему я люблю лишь себя. Себя любимого я и хочу защитить.

Себя.

Незаметно возвращаюсь в контору за похоронными принадлежностями. Спихиваю Тима в яму. Засыпаю его известью, а потом закидываю землей. Подделываю письмо, в котором он сообщает, что едет в Мексику, дабы разобраться в своих отношениях с Богом путем безмолвной медитации среди суровой пустыни.

"Друзья мои, — пишу я его детскими каракулями, орошая листок слезами, — вы трудитесь, как рабы, за минимальное вознаграждение! Свобода может стать вашей, если вы раскроете свою душу перед вечным! Доброго здоровья и счастья вам всем. Искренне раскаиваюсь во всех обидах, которые я вам, возможно, причинил. Особенно тебе, Фрида, — ты достойна хорошего человека, а не такой свиньи, как я. Теперь я родился заново, и, милая Фрида, советую тебе обратиться к психотерапевту. И еще кое-что: после долгих и напряженных размышлений я решил передать бразды Джефри, которого я всегда незаслуженно оскорблял. Теперь вижу, что он человек весьма одаренный, и прошу вас всех считаться с ним так, как вы считались со мной".

Оставив письмо на стуле Клода, я выхожу из конторы и укладываюсь спать в машине. Мне снится Тим в белых одеждах, сидящий в мексиканской таверне. У него на коленях — шелудивый пес, который объясняет ему правила поведения на том свете. Плакать и толкать других мертвецов не разрешается. Также не стоит докучать окружающим историями о своем былом величии. Тим с доброй улыбкой чешет пса за ушами. Увидев меня, он говорит: "Не поминай лихом. Спасибо, что помог мне поскорее попасть в эту страну блаженных".

Я резко просыпаюсь. Над горизонтом встает солнце, гоня перед собой воробьев, зажигая зеркальные стекла офисов безумным оранжевым огнем. Выползаю из машины, чищу зубы пальцем.

Мой первый день в качестве убийцы.

Озаренный лучами нового дня, иду к яме с надеждой, что вчерашнее было сном. Но нет. Вот следы наших ног, рассказывающие историю драки. Вот куча свежей земли, скрывающая под собой Тима. Сажусь на пустую канистру среди дрожащего на ветру бурьяна и смотрю, как приезжают на работу сослуживцы. И плачу. И сожалею о добросердечном недотепе, которым был раньше, о том, как, безгрешный, еле продирая глаза по утрам, предвкушал первый глоток кофе.

Когда наконец я вхожу в контору, все обалдело толпятся у микроволновой печи.

— Эль Президенте, — цедит скривившись Клод.

— Прости? — переспрашиваю я.

Читая и перечитывая написанное мной письмо, я старательно демонстрирую свое ошеломление. Без конца мотаю головой. Спрашиваю,

правильно ли я понял, что теперь должен занять кресло начальника. Клод замечает, что с таким сообразительным человеком у руля наша фирма далеко не уедет. Помолчав, спрашивает Фриду, не было ли у нее каких подозрений. Она отвечает, что всегда знала: Тим глубже, чем кажется, но чтоб такое... Клод твердит, что дело нечисто. Говорит, что у Тима ни капли религиозности в душе не было и по-испански он ни бе ни ме. Мои щеки начинают пылать. Слава богу, вмешивается наш подхалим Блэмфин.

— Я вот как считаю: если речь о том, чтобы дать Джефри шанс, давайте дадим Джефри шанс, постольку поскольку Тим был хорошим администратором, но человек он был жестковатый.

— Золотые слова, — цинично произносит Клод. — А я вот как считаю: эта туша что-то знает, да молчит.

Я превозношу Тима до небес и признаюсь, что никогда не смогу полностью его заменить. Преуменьшаю свои организаторские способности и таланты лидера, но клянусь из кожи вон вылезти ради общего блага. Затем смиренно предлагаю устроить голосование: занять мне директорский пост или как? Клод заявляет, что подчинится мнению широких масс; руки поднимаются, и по воле подавляющего большинства я становлюсь директором.

Переношу свои пожитки в кабинет Тима. Он всегда видел во мне безмозглого толстяка, полностью лишенного личных амбиций, а потому доверял безраздельно, так что код служебного сейфа я знаю. Итак, мне ничто не мешает заказать к обеду первосортные ребрышки и трио усатых скрипачей, которые бродят от кабинки к кабинке, надеясь на чаевые. Клод вне себя. Вскочив на стул, он спрашивает, что случилось с идеей извлечения прибыли. Но все игнорируют его, уплетая мои первосортные ребрышки и упиваясь игрой моих музыкантов. Клод сообщает, что на добрых намерениях и младенческой наивности фирма и дня не протянет. Умоляет коллектив меня уволить, а его назначить на мое место. В итоге Блэмфин предлагает, чтобы я его выпер. Предложение поддерживает менеджер по персоналу Торсон. Я пожимаю плечами, мы голосуем, и Клод уволен. Он пинает автомат для воды. Показывает мне средний палец. Но все-таки уходит, и теперь можно спокойно наслаждаться коктейлями и шоколадным муссом.

К ночи мы разгулялись не на шутку. Заказываю жонглеров, комика и море выпивки. Мои сотрудники клянутся в верности до гроба. Мы произносим пьяные тосты за мое и их здоровье. Я говорю им, что убивать мы больше не будем. Сообщаю, что мы покаемся перед всеми соответствующими органами и заплатим все положенные штрафы. Отныне мы будем и вправду делать то, что лишь имитировали, — переселять пойманных енотов в дикую местность. Владельцами фирмы станем мы сами, сотрудники. Приходить и уходить будем когда пожелаем. Напитки и легкие закуски всегда будут в избытке. Страховка станет бесплатной. Одну из комнат отдадим под детский сад.

Фрида, просияв, садится на подлокотник моего кресла.

"Музыку для офиса" заменят личные стереосистемы в каждой кабинке. Мы будем поддерживать честные благотворительные организации, брать под наше коллективное крыло трудных подростков, устраивать себе незапланированные выходные, когда солнце стоит высоко, а воздух сладок от запаха свежескошенной травы, жить одной большой семьей, посылать друг другу ласковые послания по только что инсталлирован-

ной новейшей почтовой программе, а когда придет пора и смерть выдернет кого-нибудь из наших рядов, мы утешимся знанием, что благодаря великодушию фирмы наш покойный коллега не был обделен властью, любовью и радостью, и с пением печальных гимнов, шагая локоть к локтю, мы все проводим гроб до могилы.

На этом месте дверь взламывают полицейские. Первым врывается Клод, размахивая ботинком Тима.

— Если бы вы поехали в Мексику, — торжествующе вопит он, — вы бы прихватили свой "порше", верно? Хватило бы у вас тупости передать дело своей жизни этой тонне сала? Я кое-что смекнул. Потом кое-что раскопал — буквально. И нашел моего друга Тима с раздавленной грудной клеткой — у меня просто сердце кровью облилось — и выражением чрезвычайного изумления на лице.

— Мой Тимми, — шепчет Фрида, вскочив с моего кресла. — Этот мерзкий боров убил моего ненаглядного птенчика!

Меня уводят в наручниках.

На суде я рассказываю правду. Защитница животных по собственному почину является в полицию и подтверждает мои показания. Судья говорит, что ему импонирует моя честность и тот факт, что я спас человеку жизнь. Он задается вопросом, почему, когда жизнь была спасена, я не отпустил Тима и не позволил вознаградить себя за храбрость. Я отвечаю, что утратил контроль над собой. Что переполнилась чаша издевательств, копившихся всю мою жизнь. Он говорит, что отлично меня понимает и что у него самого, когда он был мальчишкой, имелись проблемы с весом.

А затем приговаривает меня к пятидесяти годам, эквивалентным пожизненному заключению без права на амнистию.

И теперь я знаю, что такое настоящее унижение. Я знаю, какой острый дискомфорт доставляет серая тюремная роба, сшитая из двух нормального размера. Я знаю, как пахнет тело Вика, чикагского мафиози, который положил на меня глаз и требует, чтобы во время наших ночных интерлюдий я надевал женскую шляпку с украшениями в виде фруктов. Пишут ли мне бывшие сослуживцы? Нет. Хотя бы Фрида? Ха. Обрел ли я душевный покой? Нет. Поднялся ли я духовно над этой ужасной обстановкой, тем самым завоевав уважение моих суровых товарищей по заключению? Нет. Они с наслаждением гогочут над моим голым телом во время групповых помывок в душе. Воруют мою еду. Есть ли у меня увлекательное хобби, благодаря которому дни мелькают незаметно? Нет. Мне безумно хочется ощутить запах океана. Меня преследует ощущение, что Бог несправедлив, что он склонен наказывать своих слабых детей, своих дурачков, своих толстяков, своих ленивцев. Полагаю, от совершенных созданий Богу радости больше — и он их подзуживает, как безмозглый отец, пока они рвутся вперед по нашим головам. Он дает нам потребность быть любимыми — и никакой надежды. Он дает нам желание нравиться людям — и личные особенности, исключающие малейшую к нам симпатию. Поместив своих ущербных, обделенных детей в мир жестких стандартов, он изымает разницу между тем, что мы имеем, и тем, что нам нужно, из наших сердец, нашей самооценки, нашего душевного покоя.

Вот как я смотрю на жизнь. По-моему, я прав. Но поделать тут ничего нельзя. Остается лишь сохранять достоинство. Поддерживать в камере уют и чистоту. Быть вежливым, но твердым, когда Вик просит, чтобы

я, не снимая шляпы, сбацал шимми. При случае говорить добрые слова безногому калеке, отбывающему пожизненное заключение и вечно драящему параши. Подтягивать, не жалея связок, когда склеротик-убийца из Батон-Ружа запевает свой еженощный псалом.

А что, если Бог, которого мы видим, Бог-старшой по обыденной жизни — и не Бог вовсе, а лишь его заместитель? А вдруг над этим заместителем Бога есть другой Бог, отлучившийся на несколько божественных минут по другому делу, и он вот-вот вернется, а вернувшись, возьмет своего заместителя за ухо и скажет:

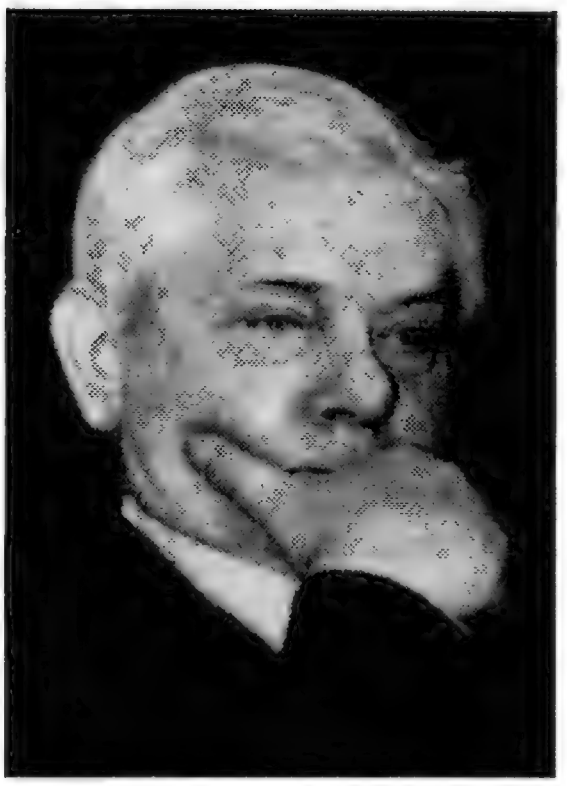
— Нет, ты погляди. Погляди на этого толстяка. Что он тебе сделал? Или тебе мало его смирения? Разве он не снес столько издевательств, сколько отпущено на тысячу человек? Разве он не был вынужден из кожи вон лезть, чтобы решить какую-нибудь ерундовую проблему? Разве ты не заметил, как он изголодался по любви? Неужели ты не отдавал себе отчета, что его дни слились в один сплошной кошмар?

И вот, пока заместитель незаметно выскальзывает из кабинета, настоящий Бог подхватит меня на руки со словами:

— Примите мои искренние извинения за допущенную ошибку. В знак моего к вам почтения, прошу вас, согласитесь родиться заново.

И я вновь выскочу на свет божий из материнского лона более изящным и симпатичным ребенком, которому суждена иная судьба — судьба стройного, как лань, непобедимого хозяина жизни.

Збигнев Херберт



Стихи

Перевод с польского и вступление Владимира Британишского

Збигнев Херберт — классик европейской поэзии второй половины XX века. В большинстве европейских стран такая фраза давно звучит как трюизм. В России с поэзией Херберта познакомились позже, но читатели журнала "Иностранная литература" знают его стихи: три большие публикации — в 1973, 1990, 1998 годах. Эту последнюю Херберт уже не увидел. Она появилась в августе, а он скончался в последних числах июля.

1998 год польская критика успела было окрестить "годом Херберта": вышла его новая, девятая книга стихов "Эпилог бури", вышло его авторское избранное "89 стихотворений", вышло избранное в так называемой "золотой серии" — в "Коллекции польской поэзии XX века", издаваемой поляками в "золотых" обложках, вышел большой том избранных статей о нем — "Познавание Херберта". Но год оказался годом кончины Херберта.

"Струна света" — как назвал он свою первую книгу и как можно назвать всю его поэзию — пронизывала польскую духовную жизнь все эти сорок два года. Херберт был светлым поэтом, лучом света в нашем темном столетии, хотя сам он очень мрачно смотрел на прошлое, настоящее и будущее человечества, был пессимистом, героическим пессимистом. Казалось бы, он не мог дать ни веры, ни надежды, потому что сам не имел их. Он не питал никаких иллюзий, ни во что не верил. Но был *верен*. Верность — едва ли не важнейшее понятие его системы ценностей.

Он был верен себе, и на этом держится единство всего, что он написал. В своем предсмертном авторском избранном он собрал стихи в пять разделов — по тематическим признакам и просто по личному ощущению, — не обращая внимания на хронологию. Таким неизменным, постоянным, "непоколебимым" он видел се-

© Zbigniew Herbert, 1992, 1998
© В. Британишский. Перевод, вступление, 2001

бя в конце жизни сам, как бы отрицая движение времени. Но читателям — и мне в том числе — творчество Херберта представало меняющимся.

В первых четырех книгах стихов — "Струна света" (1956), "Пес, Гермес и звезда" (1957), "Исследование предмета" (1961), "Надпись" (1969) — преобладали история и философия истории. Из эпох мировой истории особенно ощутимо в поэзии Херберта присутствуют две: наиновейшая история, начиная со Второй мировой войны, и история античности — греческой, римской, иудейской.

Греки привлекают Херберта неразделимостью у них понятий добра и красоты. Для Херберта эстетическое тождественно этическому (пережиток этого тождества сохранился во многих языках, в том числе и в русском — когда мы говорим о "некрасивом" поступке, о "некрасивом" поведении).

Чрезвычайно важна для Херберта правда, истина. Стихотворение "Почему классики" можно считать манифестом Херберта. Правдивостью и беспристрастностью, писательским мужеством, беспощадностью к себе симпатична для Херберта фигура древнегреческого историка Фукидида. Близко Херберту и то, что Фукидид имел смелость заниматься историей — для него — наиновейшей: "Фукидид, афинянин, написал историю войны... Начал он труд свой тотчас по возникновении войны..." Вот оно, то сочетание истории и современности, которое единственно и интересует Херберта.

В поэзии Херберта античность и современность ведут диалог между собой. В стихотворении о Фукидиде присутствуют и афинский военачальник Фукидид, и "генералы последних войн", в стихотворении "Иона" — и "современный Иона", и его "библейский коллега". В стихотворении "У врат долины" хербертовская "долина" — это и долина Иосафата, и современный мир с его концентрационными и фильтрационными лагерями (где "спасены" мы будем "поодиночке"), с постоянно висящей над ним угрозой ядерной гибели. "Библейские ассоциации, — писал об этом стихотворении польский литературовед Януш Мацеевский, — делают для нас очевиднее апокалиптичность Освенцима и Хиросимы". Но и наоборот. Отблеск ужасов XX века высвечивает тенденции тоталитаризма и массового человекоубийства в сознании людей библейских времен. В этом стихотворении вся мировая история предстает в сверхсжатом виде как перманентная катастрофа.

На исторической концепции, на исторических интуициях Херберта (и его эмоциях, сколь бы сдержанным он ни старался быть) лежит отсвет гигантского пожара Варшавы-Трои, Варшавы-1944, гибели и самого Города, и сотен тысяч его жителей.

В одном из позднейших стихотворений Херберт назовет свою Польшу "сокровищницей всех несчастий". Небывалые несчастья обрушились на поляков начиная с сентября 1939 года. Херберт был современником этих событий. В 1939-м ему было пятнадцать лет, в 1944-м — двадцать. Он участвовал в польском Сопротивлении. По окончании в 1942 году тайной школы подхорунжих был бойцом Армии Крайовой. Тогда и там сложились основы его этики, его шкалы ценностей.

Любовь к родине. Херберт верен ей с самого начала и до конца.

Стихотворение "Ответ" появилось в книге 1957 года, но написано раньше (когда именно, мы не знаем: до 1956 года Херберт писал "в стол", но и в первую книгу, книгу 1956-го, очень многое не могло войти, вошло лишь во вторую, вышедшую после "польского Октября", в момент максимального — временного — расширения цензурных рамок). Бежать или не бежать отсюда? Отсюда, где в любой момент могут прийти за тобой? Такое напряженное ожидание ареста было и во Львове 1939—1941 годов (когда десятки львовских поляков НКВД арестовало, а тысячи депортировало на Восток). И в том же Львове 1941—1944 годов (нелюдские манекены "из резины и железа" — это гитлеровцы). И в разных городах Польши в 1944—1956 годах, когда Херберт, бывший боец Армии Крайовой, не

явившийся с повинной после амнистии, скрывавший, где он был и что он делал в годы оккупации, в том числе в месяцы Варшавского восстания, так и не вышедший, по существу, из подполья, из конспирации, — в любую минуту мог ждать ареста (и часто менял места проживания!). И все же бежать "на тот чужой желанный берег" он не считает возможным. Херберт признает своими отчизнами и Элладу, и Рим, и Европу Средневековья и Ренессанса, но избраннейшая из всех отчизн —

лишь здесь где втопчут тебя в землю
где заступом звенящим твердо
выроют яму для мечты

Обращает на себя внимание метр, которым написано стихотворение Херберта "Ответ" — четырехстопный ямб. Этот размер, который в России "надоел" еще Пушкину, в Польше оставался редким, не банальным, а потому выразительным даже к 1956 году, к моменту дебюта Херберта. Классическим стихом в польской поэзии с XVI века был и остается стих силлабический, силлаботонические же размеры появились в XIX веке, но четырехстопный ямб у поляков и в XX веке встречается нечасто. В первых четырех книгах Херберта — около двух десятков ямбических стихотворений. Но после 1969 года Херберт от ямба отказался полностью, писал только верлибром, исключений всего два-три.

На протяжении 1960-х годов польские критики числили Херберта классицистом. Сторонники классицизма пользовались его именем как решающим козырем в литературных дискуссиях. Сам Херберт в дискуссиях не участвовал, о поэзии высказывался редко и немногословно. Но некоторые его высказывания толковались в пользу классицизма, например "постулат красоты" и "постулат семантической прозрачности" ("Слово — это окно, открытое на действительность"). Апеллирование к действительности позволяло бы говорить и о реализме Херберта, но в польской критике тех лет это был термин немодный, да и для самого Херберта слово "реализм" крепко и надолго срослось с эпитетом "соц". Поэтому и слово "реализм" появилось у него лишь в 1980-х годах — в эссе о живописи "малых голландцев".

К критикам, классифицировавшим его как классициста, — и к классификаторам в литературе вообще — Херберт относился скептически и с юмором. В самом деле, приглядевшись, нетрудно заметить, что Херберт — тайный романтик, что наибольшее количество реминисценций в его поэзии — из Адама Мицкевича. (Юлиуша Словацкого он тоже любит, но заметить это труднее.) Впрочем, ко многим "крайностям" романтизма — и польского, и европейского — Херберт относится отрицательно.

Диалектично и его отношение к авангарду первой половины XX века в литературе и искусстве. Среди самых ранних публикаций Херберта — эссе-некролог о Фернане Леже (1955). Херберту, оказывается, нравятся "простые, с железной логикой построенные картины" Леже; по мнению Херберта, "этот современнейший из современных подает руку великим умершим", его "классическая простота... заставляет вспомнить Давида и Пуссена".

Словом, эстетика Херберта — эстетика некоего равновесия (подвижного равновесия) между "традицией" ("классикой") и "современностью" ("авангардом").

Поэзия Херберта вообще как бы "между", и число таких "между" можно множить. Например, между поэзией для высоколобых и поэзией для всех. Хотя в этом случае правильнее было бы вспомнить постулат Моцарта: писать так, чтобы верхний слой был понятен каждому, но чтобы для любого, сколь угодно глубокого знатока оставались сколь угодно глубокие слои.

К концу 1960-х годов Херберт был признан — и в Польше, и в Европе — как философский, интеллектуальный поэт. В 1971 году вышло его "Собрание стихотворений". В него вошли первые четыре книги, они прилегли друг к другу, как камни в старинном, добротно построенном соборе — здание выглядело монументальным. Казалось, Херберт свое здание достроил. И вот тогда начали появляться в журналах стихи из книги, которая выйдет в 1974-м и всех ошеломит, — из книги "Господин Когито".

Это роман в стихах, состоящий из 40 отдельных стихотворений (переводы — "ИЛ", 1990, № 8, и особенно "Феникс-XX", 1993, IV-V, а также — в антологии "Польские поэты XX века", т. II, 2000). Но Херберт привязался к Господину Когито, и стихи "когитовского" цикла продолжали появляться во всех следующих книгах.

"Не роман, а роман в стихах — дьявольская разница" (Пушкин). Иногда в этой "рационалистичной" книге с декартовским названием вдруг пробивается хербертовский лиризм (например, в стихотворении "Душа Господина Когито"), лиризм, которого у Херберта за его суровой интонацией, за его интеллектуальностью, за его ироничностью, за его "морализаторством" и в прежних-то книгах не замечали. Господин Когито — это интеллектуал XX века, отчасти альтер эго самого Херберта, отчасти любой думающий поляк, нет, шире — житель Восточной Европы, нет, еще шире — обитатель любой из стран Запада, включая обе Америки. К этому времени Херберт, объездивший и обошедший пешком наиболее интересовавшие его страны Европы, побывал и за океаном: в 1970—1971 годах он читал лекции в Лос-Анджелесе. Херберту удалось создать обобщенный образ интеллектуала Обоих Полушарий.

Образ Господина Когито чрезвычайно противоречив. Это и Дон Кихот, и Санчо Панса в одном лице ("О двух ногах Господина Когито", "ИЛ", 1990, № 8). Он пытается быть на уровне требований, предъявляемых эпохой, он должен быть героем, он пробует быть героем ("Дракон Господина Когито", там же), но это человек, не лишенный слабостей. Есть в нем, как тонко заметил кто-то, нечто чаплинское. Вроде бы выдающийся интеллектуал (ведь он — как бы и сам Херберт) и в то же время интеллектуал рядовой, средний, всякий (и даже "читатель газет", о ком с ненавистью и презрением писала Цветаева). И уж определенно это интеллектуал-"неудачник". Ведь все интеллектуалы XX века — "неудачники". XX век стал веком страшного одичания во всех странах европейско-американской цивилизации — и в тоталитарных, и в так называемых "демократических":

в Амстердаме обнаружили
пластмассовые орудия пыток

девчонка из Массачусетса
приняла крещение крови...

Господин Когито о магии.
Феникс-XX, 1993, IV-V

И когда Господин Когито решает вернуться "на каменное лоно отчизны" ("Господин Когито — возвращение", "ИЛ", 1990, № 8), им движет не только любовь к родному краю:

в прогресс он больше не верит...
...от выставок изобилия
ему тоскливо и тошно...
...а потому возвращается

Бывали периоды, когда Херберт жил за границей подолгу, годами не приезжая или почти не приезжая в Польшу (1965—1971, 1975—1981, 1986—1992). Но возвращался. Вернулся и в 1981-м, в год "Солидарности", в год, начавшийся в Августе 1980-го и длившийся почти шестнадцать месяцев. Херберт тогда вернулся и с небывалой для него активностью и ангажированностью участвовал в событиях того года. Сохранилась — и опубликована — фотография его рядом с Лехом Валенсой и другими тогдашними рабочими лидерами, у каждого рука поднята вверх, и два пальца образуют букву "V" (Victoria). Может быть, это как раз те "волнующие торжества в память познанского Июня" (трагический июнь 1956–го: забастовка и демонстрация в Познани, расстрел познанских рабочих), о которых пишет Херберт в июле 1981-го своему младшему другу за границу, письмо опубликовано в том же номере журнала, где и фотография, — это хербертовский номер журнала "Зешиты литерацке" (1999, № 4). "...Я с повязкой на рукаве, — рассказывает Херберт, — выполнял неблагодарную роль человека, следящего за порядком, и отгонял пилигримов от Валенсы. Это были очень красивые торжества...".

То был июнь 1981-го. 13 декабря ввели военное положение. Херберт не был интернирован. Польские власти считались с его всемирной известностью. Считались — несмотря на его дерзкую нелояльность: в 1984 году в Париже вышла его новая книга "Рапорт из осажденного города", первоначальный, более краткий вариант которой — "18 стихотворений" — был напечатан еще раньше в Польше, в самиздате, позже перепечатывался в самиздате и полный вариант. (Перевод заглавного стихотворения — см. в "ИЛ", 1998, № 8, другие стихи из книги — в "ИЛ", 1990, № 8.) Формула "осажденного города" стала формулой нравственного сопротивления поляков в начале 1980-х, Херберт же стал для них одним из двух — наряду с "Папой-поляком" Иоанном Павлом II — высших нравственных авторитетов.

"Рапорт из осажденного города" — это был опять новый, опять для многих неожиданный Херберт. По контрасту с предыдущей, наиболее "универсальной" книгой — "Господин Когито" в новой книге особенно мощно звучала ее подчеркнутая польскость. Впрочем, польское и общечеловеческое сосуществовали в поэзии Херберта всегда (сосуществуют они и в давнем стихотворении "Ответ"). Сосуществовали в подвижном равновесии. И в новой книге общечеловеческое никоим образом не исчезло. "Осажденный город" — это не только Польша (или Варшава), это любой город (крепость, монастырь, горный перевал), защитники которого решили стоять до конца — в наше время или в древности, потому что любая древность — это тоже наше время.

Вплоть до 1989-го многие стихотворения книги по цензурным условиям публиковать было невозможно.

И вот "последний Херберт", Херберт последних трех книг — "Элегия на уход" (Париж, 1990; Вроцлав, 1992), "Ровиго" (Вроцлав, 1992), "Эпилог бури" (Вроцлав, 1998). Это книги в значительной мере автобиографические. Стихи, как правило, от первого лица. Уже не "лирика роли", не "лирика маски". Максимальная — максимально возможная для сдержанного Херберта (сдержанного по натуре или по многолетней привычке?) — откровенность. Наряду с проповедью и вместо проповеди появляется исповедь:

я не мог выбрать
ничего в моей жизни
согласно моей воле
знаньям
добрым намереньям

ни профессии
ни приюта в истории
ни системы которая все объясняет...

Облака над Феррарой.
Польские поэты XX века, т. II

Если приглядеться, эти перемены — в сторону автобиографичности, откровенности, приватности, домашности — произошли уже раньше. Уже "Рапорт из осажденного города", самая гражданская книга Херберта, была — несколько неожиданно — посвящена жене. И даже не Катажине, а Касе, в уменьшительно-ласкательной, домашней форме (пани Катажина, урожденная Дзедушицкая, стала женой Херберта в 1968 году). Стихотворение о матери было уже в книге "Господин Когито" (перевод — "ИЛ", 1998, № 8), а в "Рапорте" появилась "Фотография" (перевод — там же) — сентиментальное воспоминание об отце и о себе, о довоенном мальчишке-подростке.

Новое в книге "Ровиго" — "итальянские стихи". Города Италии, ее архитектура и живопись, ее архитекторы и живописцы давно занимали важное место в эссеистике Херберта (в книге "Варвар в саду", 1964), теперь они появились и в его поэзии. (Здесь, наверно, нужно напомнить, что Херберт, прежде чем получить дипломы экономиста в Торговой академии и юриста в университете, прежде чем изучать философию в двух университетах, учился короткое время — в 1945-м — в краковской Академии художеств. А рисовать продолжал всю жизнь). В двух стихотворениях книги Херберт говорит о Ферраре, она напоминает ему "отнятый город отцов".

С Феррарой Херберт сравнивает родной Львов (исторический центр которого построен итальянцами). Львов здесь все еще не назван по имени, как не был назван в стихотворении "Мой город" в книге 1957-го и в стихотворении "Господин Когито думает о возвращении в родной город" в книге 1974-го.

По имени Львов будет назван только в последней книге — "Эпилог бури". Свое воображаемое возвращение во Львов Херберт описывает в стихотворении "Высокий Замок".

Высокий Замок — это парк на горе, возвышающейся над Львовом, на горе, где сохранились руины замка XIV века. На гору можно вскарабкаться пешком, но можно ехать и на трамвае. С горы — вид на весь город и на окрестности. Львовянин Станислав Лем, земляк Херберта, человек того же поколения, опубликовал книгу о своем львовском детстве и отрочестве. Книга так и называлась — "Высокий Замок": "...Тем, чем является для христианина небо, был для каждого из нас Высокий Замок... это, собственно, было не место, а состояние — состояние совершенного блаженства..."

В 1973-м, посылая Херберту первую публикацию его стихов в "ИЛ", я послал ему также и только что вышедший в Москве томик другого польского поэта-львовянина, Леопольда Стаффа, с моим предисловием, в этом предисловии мои львовские восторги — тогда еще свежие — присутствовали в полной мере. Херберта особенно тронула надпись: "Zbigniewowi Herbertowi — rzecz o Staffie i o Lwowie". Так началась наша переписка. А увидеться удалось лишь много лет спустя.

При встрече оказалось, что Херберт не только свободно читает по-русски, но и свободно, без акцента, говорит (на мое удивление по этому поводу он заметил с гордостью: "У меня вообще способности к языкам"). А вот русские мотивы в поэзии Херберта немногочисленны. Имена тоже. Толстой и Достоевский? Нет, Толстой и Кропоткин. Достоевский лишь мелькнул — рядом с Паскалем — в стихотворении "Бездна Господина Когито"("ИЛ", 1990, № 8). Зато о побеге Петра

Кропоткина из царской тюрьмы рассказывается подробнейшим образом в стихотворении "Игра Господина Когито". Херберт читал и помнил записки Кропоткина, но кое-что изобразил иначе, чем было. Так, скрипач, дающий знак к побегу, играет у Херберта "Похищение из сераля" (название вещи Херберт выбрал ради "игры", ради игровой, иронической параллели к "похищению" царского узника), а не мазурку Контского, как было на самом деле. И самый побег у Херберта происходит не из тюремной больницы, как было, а из Петропавловской крепости — из твердыни самодержавия.

Подобным образом в стихотворении "Смерть Льва" многие детали бегства и смерти Льва Толстого сохранены Хербертом, а кое-что Херберт изменил. Известно, что православная иерархия, отлучившая Толстого от церкви, мечтала добиться предсмертного покаяния великого еретика и вернуть его "в лоно", но ничего из этого не вышло. Тщетно пытались в ноябре 1910-го пробиться к умирающему Толстому в Астапово тульский епископ Парфений и старец Варсонофий. Так что диалог умирающего Толстого и "попа Пимена" Хербертом вымышлен. Последние слова Толстого были, как мы знаем по рассказу его дочери, об истине и о любви. В версии же Херберта умирающий Толстой дважды повторяет: "Надо убегать". Эти слова — постоянный внутренний монолог Толстого последних лет, иногда выплескивавшийся на страницы его дневника. В стихотворении Херберта бегство Толстого трактуется в свете предсказаний Иисуса о кончине века: "...Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы... Молитесь же, чтобы не случилось бегство ваше зимою..." (Евангелие от Матфея, **24**, 16 и 20). Херберт хочет сказать, что только Толстой (а не церковь) верно читает и толкует Писание: Толстой знает, что конец света уже наступил, что начавшийся XX век и есть конец света, приходит "время беглеца и погони", "время Великого Зверя".

Поэт XX века, Херберт противостоял этому времени. И помогал держаться другим людям. "Ее достоинства, — писал о поэзии Херберта Иосиф Бродский, — уравновешивают безмерность физического и психического давления, оказываемого на человеческую личность современной действительностью". Бродский особенно подчеркивает "духовное мужество" Херберта. Это из предисловия Бродского к итальянскому изданию стихотворений Херберта, под предисловием — дата и место написания: Нью-Йорк, ноябрь 1992.

"...Уход Иосифа Бродского я ощущаю очень болезненно, — писал мне Херберт в открытке от 18.07.1996 (на открытке — а Херберт придавал значение изображениям на открытках, посылаемых и получаемых, — Венеция, которую так любил Бродский, Венеция, где его похоронили). — Он навестил меня в Варшаве. Я очень его ценил, любил его как человека большого сердца и превосходного мастера".

Таков постскриптум, а содержание открытки, с трудом нацарапанной человеком, временно чуть выкарабкавшимся из экстремальностей болезни, — болезнь и "борьба с костлявой": "...Со здоровьем у меня чуть получше. И днем и ночью втискивают мне кислород в легкие с помощью специального устройства. Борьба с костлявой продолжается, и, кажется, впервые — несколько очков в мою пользу. Начал немного работать... Часто и сердечно вспоминаем нашу встречу в Варшаве. Когда увидимся снова?.."

Открытка от 10.04.1997 еще короче и еще более корявым, но читаемым почерком: "...Отвечаю с таким большим опозданием, хлопоты со здоровьем, которое согласно закону природы ухудшается". А ниже, отдельно: "Еду все быстрее саночками вниз" — эти две строки (стихотворные? хореические? фольклорные?) записаны прозой. У древних славян (это известно, в частности, из записей этнографов в Галиции) стариков, провожая на тот свет, зимой вывозили на санях и спускали в глубокий овраг. На этой открытке Херберта — букет цветов, не вооб-

ще какой-то букет цветов, а цветная гравюра, воспроизводящая крестьянский рисунок из деревни в Галиции.

Перед уходом Херберт успел назвать по имени Львов, Галицию — не успел. Но он о ней помнил.

В своих последних книгах Херберт писал об уходящем веке, обо всем, что уже ушло или уходит. Уход самого Херберта обозначил конец XX века в польской поэзии.

Ответ

Ночь будет и глубокий снег
тот что шаги приглушит мягко
и тень что очертанья тел
преобразит в две лужи мрака
лежим дыханье затаив
и даже легкий шорох мысли

если не выследят нас волки
и человек в огромной шубе
грозящий скорострельной смертью
надо рвануться и бежать
под залпы как аплодисменты
на тот чужой желанный берег

земля везде одна и та же
как учит мудрость люди всюду
такими же слезами плачут
качают матери детей
луна восходит
и белый дом возводит нам

ночь будет после трудной яви
конспиративная мечта
как хлеба вкус как легкость водки
но выбор оставаться здесь
лишь подтверждают сны о пальмах

сны вдруг прервет приход троих
тех из резины и железа
прочтут твой документ твой страх
прикажут выйти и спуститься
взять не позволят ничего
лишь взгляд привратника печальный

Эллада Рим Средневековье
край кватроченто край Шекспира
а Франция уж та особо
немножко Веймар и Версаль
все-все отчизны наши тащит
один хребет одной земли

но избраннейшая из всех
единственнейшая на свете
лишь здесь где втопчут тебя в землю
где заступом звенящим твердо
выроют яму для мечты

1957

Почему классики

1

В четвертой книге "Пелопоннесской войны"
Фукидид повествует о своем неудачном походе

среди длинных речей полководцев
описаний войны чумы
хитросплетенных интриг
дипломатических действий
эпизод этот как иголка
в сене

афинская колония Амфиполь
сдалась осаждавшим спартанцам
поскольку он Фукидид опоздал с подмогой

родному городу он заплатил за это
пожизненным изгнаньем

изгнанники всех времен
знают что это за цена

2

генералы последних войн
если с ними случится такое
скулят на коленях перед судом потомков
доказывают свое геройство
свою невиновность

сваливают на подчиненных
на завистливых сослуживцев
на неблагоприятные ветры

Фукидид говорит лишь
что семь кораблей имел он
что дело было зимой
что он торопился

3

если темой искусства
будет кувшин разбитый

душа разбитая скорбью
скорбящая над собой

то все что от нас останется
будет как плач любовников
в грязном гостиничном номере
когда рассветают обои

1969

Господин Когито читает газету

На первой странице сообщенье
убито 120 солдат

война идет долго
можно привыкнуть

рядом уголовная хроника
сенсационное преступление
портрет убийцы

глаз Господина Когито
скользит безразлично
по солдатской гекатомбе
чтоб сладострастно углубиться
в уголовный ужас

тридцатилетний крестьянин
в нервной депрессии
убил свою жену
и двоих детей

сообщают подробно
как именно он убил их
положение тел
и другие детали

120 павших
напрасно искать на карте
слишком большая удаленность
скрывает их как джунгли

не потрясают воображенье
слишком их много
цифра ноль на конце
делает их абстракцией

тема для размышлений:
арифметика сострадания

1974

Душа господина Когито

Прежде
как известно
душа выходила из тела
когда остановится сердце

с последним вздохом
удалялась тихо
на пажити неба

душа Господина Когито
ведет себя иначе

покидает тело при жизни
ни словом не простившись

месяцы годы проводит
на других континентах
за границами Господина Когито

трудно узнать ее адрес
вестей от нее не слышно
она избегает контактов
не пишет писем

вернется ли никто не знает
может ушла безвозвратно

Господин Когито борется
с низким чувством зависти

думает о душе хорошо
думает о душе с нежностью

конечно же она должна
обитать и в других телах

душ явно слишком мало
на целое человечество

Господин Когито приемлет жребий
другого выхода нету

даже пытается убеждать себя
— моя душа моя —

думает о душе с сентиментом
думает о душе с нежностью

и когда нежданно
она является обратно
он ее не встречает словами
— хорошо что вернулась

а только смотрит искоса
как перед зеркалом сидя
она расчесывает волосы
спутанные и седые

1984

Смерть льва

1

Большими скачками
через необъятное поле
под небом нависшим
декабрьской хмурью
от ясной поляны
к темному лесу
убегает Лев

за ним вослед
охотников погоня

большими скачками
со всклокоченной бородою
с лицом вдохновенным
пылая гневом
убегает Лев
к лесу на горизонте

за ним
Господи помилуй

идет облава
остервенело
идет облава
на Льва

[140]
ИЛ 7/2001

впереди
Софья Андреевна
вся мокрая
после попытки утопиться
зовет призывает
– Левочка –
голосом который мог бы
заставить смягчиться и камень

за нею
сыновья дочки
дворня приблуды
городовые попы
эмансипантки
умеренные анархисты
христиане невежды
толстовцы
казаки
и всякая сволочь

бабы пищат
мужики улюлюкают

ад

2

финал
маленькая станция Астапово
как деревянная колотушка
возле железной дороги

милосердный железнодорожник
положил Льва на кровать

теперь он уже в безопасности

над маленькой станцией
зажглись огни истории

Лев закрыл глаза
безразличный к миру

только настырный
поп Пимен
который поклялся
втащить душу Льва
в рай
склоняется над Львом
старается перекричать
хрипящее дыханье
хитро пытает
— А что теперь —
— Надо убегать —
говорит Лев
и повторяет
— Надо убегать

— куда — вопрошает поп
— куда христианская душа

Лев замолчал
схоронился в вечную тень
в вечное молчанье

пророчества никто не понял
как если бы не знали слов Писанья

“восстанет народ на народ
и царство на царство
одни падут от меча
других погонят в неволю
во все народы
ибо то будет время отмщения
да исполнится
все написанное”[1]

вот и приходит время
бегства из дому
блужданья в джунглях
безумного скитанья в море
круженья во мраке
ползанья во прахе

время беглеца и погони

время Великого Зверя

1990

1. “Восстанет народ на народ...” — сокращенный пересказ фрагмента главы 21 Евангелия от Луки, стихи 10–24. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Высокий Замок

Лешеку Электоровичу
в знак непоколебимой дружбы[1]

1

в награду
экскурсия
к Высокому Замку

прежде
чем мы достигнем подножья
поездка на трамвае

кончерто гроссо
для железа
литого
кованого
нам дарованного

альт рельс
гобои
в густой траве диссонансов

на каждом
повороте
трамвай сгорает
в экстазе

на крыше
комета
фиолетовохвостая

яростный грохот
меди красной
меди охриплой
меди победоносной

отраженный в окнах
утихший
Львов
спокойный
бледный
канделябр слез

1. Лешек Электорович (р. в 1924 г.) — поэт, переводчик, эссеист, львовянин, земляк и ровесник Херберта, в годы оккупации был в Армии Крайовой.

2

Высокий Замок
прячет стопы свои стыдливо
под одеяло
из лещины
волчьих ягод крапивы

своднический лесочек

белой
потной блузкой
обнимает
плечо на котором якорь

3

срезаем по диагонали
тропинкой
быстрой как ручей

тут повесили
Юзефа и Теофиля
за то что они слишком пылко
возлюбили свободу

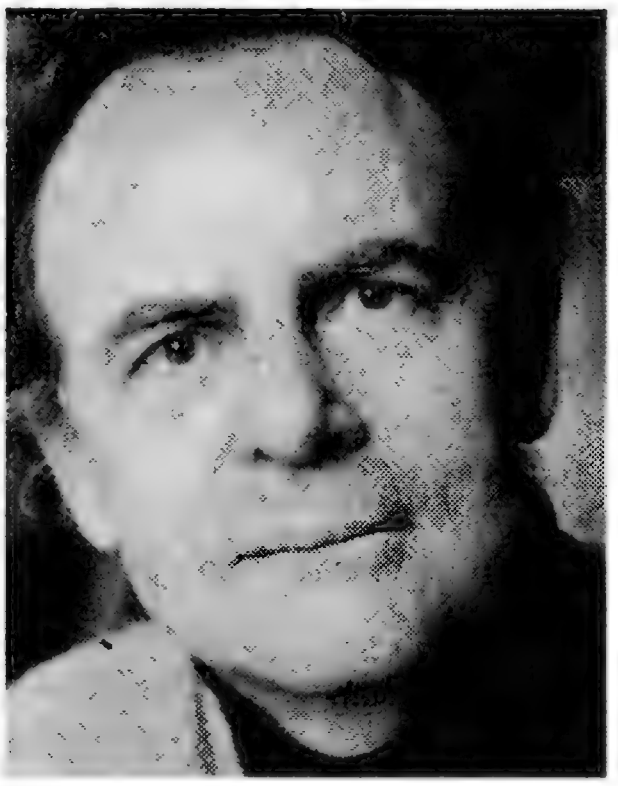
— не раздражает ли вас
что дети кричат
что матери их зовут
что хрипло галдят торговцы

— пусть каждый
делает свое

— нас же
уже скоро
заберут
на вечерних крыльях
абрикосовых
яблочных
с синеватой
каймою
к другому
еще более высокому
замку

1998

Патрик Модиано



Незнакомки

Повесть

Перевод с французского Ирины Волевич

Из интервью с П. Модиано[1]

"Бюльтен Галлимар". "Незнакомки" состоят из трех женских монологов, образующих триптих. Почему вы решили на сей раз дать слово женщинам?

Патрик Модиано. Я пытался найти новый ракурс, искал иного рассказчика, нежели "я" большинства моих прежних романов, чтобы выступить самому не в роли повествователя, а как бы в роли слушателя. Мне хотелось создать у читателя впечатление, будто он каждый раз слышит голос по радио — кто-то рассказывает случай из своей жизни, и вдруг передача прерывается или голос заглушают помехи. И тщетно слушатель будет крутить ручки приемника — ему уже не удастся снова настроиться на нужную волну и узнать продолжение истории.

"Б. Г." Обычно главные герои ваших книг поглощены поисками самих себя и своего прошлого. А здесь, похоже, этого поиска нет...

П. М. Каждая из женщин рассказывает о конкретном отрезке своей жизни, но читатель не знает, ни кто эти женщины, ни как их зовут. Рассказчицы остаются безымянными. Можно также читать эти три текста как свидетельские показания, которые кто-то напечатал на машинке, забыв указать имена и фамилии допрошенных. И теперь уже личность установить невозможно.

"Б. Г." Когда-то вы сказали по поводу своего романа "Из самых глубин забвения": "Я понял, что бессилен "воскресить" прошлое. От него остаются лишь фрагменты, разрозненные эпизоды". Можно ли считать "Незнакомок" вариацией на тему "размытости" воспоминаний?

П. М. В "Незнакомках" перед нами тоже именно фрагменты, разрозненные эпизоды. Ясно, что каждая из женщин говорит о своем прошлом. Но неизвестно,

© Éditions Gallimard, 1999
© И. Волевич. Перевод, 2001
1. Le Bulletin Gallimard, NRF, № 426, 1999.

где они находятся сейчас, в момент рассказа, и что с ними сталось в жизни. В общем, непонятно, откуда исходят эти голоса, одновременно и близкие, и далекие. И поскольку невозможно увязать ни одну из этих историй с дальнейшей судьбой героини, то кажется, будто каждый рассказ — это отколовшийся кусок льдины, навеки обреченный одиноко носится по волнам.

"Б. Г." Временами пелена сомнамбулической грезы рвется, приоткрывая жестокую действительность — неожиданный арест, убийство. Что это — мечта, обернувшаяся кошмаром реальности, или реальность, грубо напоминающая о себе мечтателю?

П. М. Я думаю, это реальность, с которой сталкивается грезящий, и всякий раз это оказывается для него жестоким пробуждением. Но поскольку все три эпизода принадлежат прошлому, "жестокая действительность" тоже обретает черты то ли сновидения, то ли фантазии.

I

В этом году осень наступила раньше обычного, принеся с собою дожди и прелую листву, окутав туманами набережные Соны. Я тогда жила еще у родителей, возле Фурвьерского холма. Мне нужно было найти какую-нибудь работу. В январе меня взяли на шесть месяцев машинисткой в фирму "Вискоза и шелк", что на площади Круа-Паке, и я придержала все, что заработала там за полгода. На эти деньги я съездила летом на юг Испании, в Торремолинос. Мне было восемнадцать лет, и я впервые покинула Францию.

На пляже Торремолиноса я познакомилась с одной женщиной, француженкой, которая уже много лет жила здесь с мужем; ее звали Мирей Максимофф. Такая эффектная, красивая брюнетка. Они с мужем были владельцами отеля, где я снимала комнату. Мирей сказала мне, что осенью собирается надолго приехать в Париж и остановится у друзей; она дала мне адрес. Я обещала навестить ее в Париже, если получится.

Когда я вернулась, Лион показался мне совсем уж мрачным. Вблизи от нашего дома, справа, на спуске Сен-Бартелеми, находился пансион лазариетов[1]. Здания, построенные на склоне холма, угрюмо высились над улицей. Ворота в толще монастырской стены казались входом в пещеру. Для меня Лион той сентябрьской поры — это стена лазариетов. Черная стена, куда лишь изредка ложились лучи осеннего солнца. В такие минуты пансион выглядел заброшенным. Но под дождем эта стена казалась тюремной, и мне чудилось, что она преграждает путь в будущее.

От одной покупательницы в родительской лавке я узнала, что некий дом моделей ищет манекенщиц. По ее словам, там платили восемьсот франков в месяц — на двести франков больше, чем в "Вискозе и шелке". Она дала мне адрес, и я решила попытать счастья. Дама, ответившая по телефону, властно приказала мне явиться на следующей неделе, ближе к вечеру, на улицу Гроле в дом № 4.

В течение последующих дней я окончательно убедила себя, что должна освоить профессию манекенщицы, хотя никогда раньше не помышляла об этом. Может, тогда мне удастся перебраться из Лиона в Па-

1. Лазариеты — члены конгрегации, утвержденной в 1632 г. папой, последователи святого Венсана де Поля (1581–1660), французского священника, основателя многих приютов и благотворительных заведений, одно из которых находилось в монастыре Сен-Лазар. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

риж. Но по мере того как близилась назначенная встреча, я трусила все сильнее и сильнее. Вся моя жизнь была поставлена на карту. Я говорила себе, что если меня не возьмут туда, другой такой случай уже не представится. Есть ли у меня хоть малейший шанс? И как одеться для первого просмотра? Выбирать было не из чего. Моим единственным презентабельным нарядом были серая юбка и белая блузка. Я купила себе темно-синие туфли на низком каблуке.

Накануне вечером, в своей комнате, я надела белую блузку, серую юбку, темно-синие туфли и встала перед зеркальным шкафом, спрашивая себя, кто эта недвижно замершая девушка — неужто я? Это вызвало у меня улыбку, но она быстро увяла при мысли о том, что завтра решится моя судьба.

Я ужасно боялась опоздать и вышла из дому за час до назначенного времени. Когда я дошла до площади Белькур, начался дождь, и я забежала в холл отеля "Руайяль". Мне не хотелось являться в дом моделей с намокшими волосами. Я соврала швейцару, что снимаю здесь номер, и он дал мне зонтик. На улице Гроле, в доме № 4, мне велели подождать в салоне с серыми деревянными панелями и большими, до полу, окнами с шелковыми, тоже серыми, шторами. У стен в ряд стояли стулья. Стулья из позолоченного дерева с красной бархатной обивкой. Прошло полчаса; я начала думать, что обо мне забыли. Я сидела на одном из стульев и вслушивалась в шепот дождя. Люстра сияла ярким белым светом. Я раздумывала: стоит ли ждать дальше? Но тут вошел мужчина лет пятидесяти, с черными зачесанными назад волосами, щеточкой усов и хищным взглядом. Он был одет в темно-синий костюм и темные замшевые туфли. Иногда он является мне во сне: толкает дверь и входит, и волосы у него такие же черные, как тридцать лет назад.

Он попросил меня не вставать и уселся рядом. Сухим, жестким голосом спросил, сколько мне лет. Работала ли я уже манекенщицей? Нет. Затем он велел мне снять туфли и пройтись до окна и обратно. Я пошла к окну, вся напрягшись от неловкости. Он сидел ссутулясь, опершись подбородком на руку, и мрачно следил за мной. После этой "проходки" я встала перед ним столбом, а он все молчал и молчал. Я изо всех сил старалась держаться спокойно, упершись взглядом в свои туфли, сиротливо стоявшие возле пустого стула.

— Садитесь, — сказал он мне.

Я села на свое место, рядом с ним. Я никак не могла решить, надевать ли мне туфли.

— Это ваш естественный цвет? — спросил он, указав на мои волосы.

Я ответила: да.

— Я хочу взглянуть на вас в профиль.

Я повернула голову к окнам.

— У вас довольно красивый профиль...

Он произнес это так, словно объявлял мне плохую новость.

— Это большая редкость — красивый профиль.

Казалось, его ужасно раздражает тот факт, что в мире мало красивых профилей. Он не сводил с меня ястребиных глаз.

— Вы вполне фотогеничны, но все же это не то, что ищет месье Пьер.

Я вся сжалась. Неужели у меня нет никаких шансов? Может, он еще посоветуется с этим месье Пьером — наверняка хозяином заведения? Я была готова на что угодно, лишь бы понравиться месье Пьеру.

— Весьма сожалею... Мы не можем вас взять.

Приговор был вынесен. У меня не хватило сил возразить. Сухой учтивый тон этого человека ясно давал понять: я недостойна даже того, чтобы обо мне говорили с месье Пьером.

Я надела туфли. Встала со стула. Он молча пожал мне руку, проводил до двери и, открыв ее, выпустил меня наружу. На улице я заметила, что забыла зонтик, но это уже не имело никакого значения. Я прошла по мосту. И зашагала по набережной вдоль Соны. А потом оказалась в своем квартале, на спуске Сен-Бартелеми, у стены лазариетов; как часто я потом видела эту картину во сне! Меня невозможно различить на фоне этой стены. Я растворяюсь в ее тени, принимаю ее цвет. И никому не под силу вырвать меня из этого мрака. Какой контраст с салоном на улице Гроле, залитым беспощадно-ярким светом люстры, под которой я сидела и ждала! И тот тип в синем костюме и замшевых туфлях снова и снова выходит пятясь из салона. Как в старом фильме, прокрученном от конца к началу.

Всегда один и тот же сон. По прошествии нескольких лет стена лазариетов перестала казаться такой уж темной, а в какие-то ночи ее даже озарял лучик закатного солнца. Люстра в салоне на улице Гроле светила приветливей и мягче. Синий костюм человека с ястребиными глазами как будто выцвел, стал совсем бледным. И лицо его тоже со временем побледнело, кожа сделалась почти прозрачной. Только волосы так и остались черными. Зато голос стал каким-то надтреснутым. Как будто это не он говорил, а играла старая заезженная пластинка. Одни и те же слова звучали, сменяя друг друга, неостановимо, вечно: “Ваш естественный цвет... Повернитесь в профиль... Это не то, что ищет месье Пьер...”, но все они давно утратили смысл. Просыпаясь, я всегда удивлялась, почему этот эпизод моей жизни, давно ушедший в прошлое, причинил мне столько боли, сделал вконец несчастной. Я ведь даже подумывала в тот вечер, проходя по мосту, не броситься ли мне в Сону. Господи, из-за такой ерунды!

У меня не хватило мужества вернуться домой, к родителям и зеркальному шкафу в моей спальне. Я спустилась по длинным лестницам в Старый город, словно хотела сбежать от всего этого. И снова побрела по набережной, вдоль берега Соны. Потом вошла в кафе. У меня сохранился клочок бумаги, на котором Мирей Максимофф записала адрес и телефон своих друзей в Париже. Долгие звонки следовали один за другим, никто не отвечал, и вдруг я услышала женский голос. Я даже онемела от неожиданности. Потом с трудом пробормотала:

— Могу я поговорить с Мирей Максимофф?

Я спросила это так тихо, что там, в Париже, меня, наверное, едва расслышали. Мирей не оказалось дома, она должна была вернуться позже, к вечеру.

На следующий день я села в ночной поезд на вокзале Перраш. В купе царила тьма. На скамейках по углам дремали неясные тени. Я села у самой двери. Поезд все стоял и стоял, и я тоскливо спрашивала себя, дадут ли мне уехать. У меня было такое чувство, будто я пустилась в бега. Наконец вагон дернулся, в окне проплыла и исчезла Сона, и мне полегчало, точно груз с души свалился. Не думаю, что я спала той ночью — скорее всего, просто кемарила, как вдруг поезд неизвестно почему остановился на пустом перроне Дижона. В голубоватом свете ночника я сидела и думала о Мирей Максимофф. Там, на пляже Торремолиноса, все дни как один были озарены солнцем. Она рассказывала мне, что в моем

возрасте жила в маленьком городке в Ландах — забыла его название. Накануне экзамена на бакалавра[1] она очень поздно легла спать, и утром будильник почему-то не зазвонил. И она проспала до полудня вместо того, чтобы сдавать экзамен. Потом она встретилась с Эдди Максимофф, своим будущим мужем. Это был высокий красивый мужчина, русский по происхождению, которого прозвали Консулом и который имел привычку пить ром с кока-колой. Он и мне порывался налить эту смесь в качестве аперитива, но я всякий раз отвечала, что предпочитаю кока-колу в чистом виде. Он говорил по-французски без всякого акцента. До этого он жил в Париже, и я все забывала спросить у Мирей Максимофф, какой случай забросил их обоих в Испанию.

Я приехала очень рано. На Лионском вокзале еще стояла темень. Впрочем, в первые дни моей жизни в Париже мне казалось, что тут всегда темень. У меня была с собой только дорожная сумка, совсем не тяжелая. В то утро я сидела в кафе на площади Трокадеро вместе с Мирей Максимофф. Я дождалась в вокзальном буфете десяти часов, чтобы позвонить ей. Она не сразу поняла, откуда я говорю. В кафе я пришла первая. Я ужасно боялась, что она обдаст меня холодом, когда я признаюсь, что мне негде жить. Но она шла ко мне с такой же улыбкой, с какой встречала меня на пляже. Словно мы расстались только вчера. Похоже, она была рада увидеться со мной: стала расспрашивать, как мои дела. И я все ей рассказала: про мой поход в дом моделей, про того типа с хищными глазами и сухим голосом, снова звучавшим в полудреме прошлой ночи, после Дижона: "Это ваш естественный цвет? Повернитесь в профиль..."

И вот тут-то, сидя перед ней, я и разревелась. Она положила мне руку на плечо и сказала, что все это сущие пустяки. Как тот экзамен на бакалавра, который она проспала в семнадцать лет по вине будильника, не зазвонившего вовремя. Она предложила мне жить вместе с ней в квартире ее знакомых.

Мы шагали через площадь, и мне чудилось, что моя дорожная сумка стала совсем невесомой. Шел дождь — как в Лионе, но здесь и дождь тоже казался невесомым.

Дом находился в конце улицы Винез. В первые дни я носила при себе бумажку с адресом и номером телефона, боясь заблудиться в Париже. Квартира со светлыми стенами. Гостиная почти без мебели. Мирей Максимофф открыла дверь маленькой комнатки, где одна стена была сплошь заставлена книжными полками. Напротив стоял диванчик с серой бархатной обивкой. И никакого зеркального шкафа. Окно выходило во двор. Она хотела принести простыни, но я сказала, что сейчас не нужно. Она задернула шторы. Я бросила сумку рядом с диваном, не открыв ее. И почти мгновенно уснула. Я слышала шум дождя во дворе, и он убаюкивал меня. Время от времени я просыпалась, но тут же опять соскальзывала в сон. Там, во сне, я шла по спуску Сен-Бартелеми, с удивлением обнаруживая, что стена лазариетов, справа от нашего дома, исчезла. От нее остался лишь зияющий проем, а дальше открывался вид на площадь Трокадеро. Шел дождь, но небо было очень светлым, бледно-голубым.

Все следующие дни Мирей Максимофф брала меня с собой в город. Мы пересекали Сену и шли в Сен-Жермен-де-Пре. Она встречалась с друзьями в кафе "Нюаж", в "Ла Мален". Я сидела среди них, не осмеливаясь рта раскрыть. Только слушала. А иногда она уходила из дому без ме-

1. Экзамен на аттестат зрелости во Франции.

ня и возвращалась лишь к семи вечера; тогда я проводила весь день в одиночестве. Ходила пешком в Булонский лес. Часто выглядывало солнце. Сеял мелкий дождичек, который я не сразу и замечала. И снова солнце ласкало рыжую листву деревьев и аллеи Пре-Кателан, пахнущие влажной землей. Возвращалась я уже в темноте. Смутная тревога овладевала мной при мысли о будущем. Оно казалось мне наглухо закрытым, неприступным, как будто я все еще стояла перед стеной лазариетов. Я гнала прочь черные мысли. Этот город сулил новые встречи. Шагая по проспекту, ведущему из Булонского леса к Трокадеро, я поднимала голову и глядела на освещенные окна домов. Каждое из них казалось мне обещанием, знáком, что все возможно. Несмотря на палую листву и дождь, воздух был насыщен электричеством. Странная осень. Непохожая на другие и навсегда оторванная от всего остального в моей жизни. Там, где я живу теперь, осени не бывает. Маленький порт на Средиземном море, где время для меня навсегда остановилось. Солнце... Каждый день — солнце, и так будет до самой моей смерти. В редкие наезды в Париж за последующие годы мне с трудом верилось, что именно здесь я провела ту осень. Тогда все было куда более ярким, более таинственным — улицы, глаза прохожих, огни, — словно я грезила во сне или наглоталась "дури". А, может, я просто была слишком молода, и напряжение оказалось мне не по силам. Тем вечером, вернувшись на улицу Винез, я столкнулась в подъезде с темноволосым мужчиной в плаще. Я уже видела его в компании друзей, с которыми мы встречались в Сен-Жермен-де-Пре. Вероятно, он провожал Мирей до дверей квартиры. Я позвонила. Мне пришлось долго ждать, пока она откроет. На ней был красный махровый халат, волосы растрепаны. Свет в гостиной не горел. Она объяснила мне, что спала. Я не осмелилась сказать ей, кого встретила на лестнице. Ее взгляд светился томно и мягко; она притянула меня к себе и обняла. Потом спросила, что я делала весь день, и очень удивилась, узнав, что я брожу в одиночестве по Булонскому лесу.

— Тебе бы нужно завести возлюбленного, — сказала она мне. — Знаешь, нет ничего лучше любви.

Я была согласна с ней, но стеснялась сказать, что хорошо бы мне найти еще и работу. Я ни за что не хотела возвращаться в Лион. Мы сидели с ней на диване в гостиной, и она все не зажигала лампу. Огни дома напротив рассеивали тьму, превращая ее в полумрак. Мирей обнимала меня за плечи, пояс ее халата развязался. От нее исходил какой-то пряный, терпкий аромат — может быть, туберозы. Мне хотелось исповедаться ей, но я молчала. Никто не знал, что мы находимся здесь. Мы жили в этой квартире незаконно. Мирей Максимофф проникла сюда, взломав замок. Я боялась. Не нужно мне было уезжать из Лиона. Я чувствовала себя не на месте в этой пустой гостиной. В квартире давно уже никто не жил, воры вынесли мебель. Она спросила, почему у меня такой озабоченный вид. Тогда я попыталась, с трудом подбирая слова, объяснить ей, в чем дело. Конечно, очень мило с ее стороны пригласить меня сюда, но я ощущаю себя незваной гостьей. Я и так уже осложнила свою жизнь, ни с того ни с сего уехав из Лиона, и не хочу быть ей в тягость. И вообще, скажет ли она хозяевам квартиры, что поселила меня здесь? Да и знакома ли она с ними? Честно говоря, я иногда сильно сомневалась, имеем ли мы обе право жить тут; а вдруг хозяева вернутся и выгонят нас взашей! Она расхохоталась. И бархатным своим голосом, с хладнокровием и беспечностью, которым я так завидовала, вмиг рассеяла мои

страхи. Владелица квартиры — ее давняя подруга. Слегка взбалмошная особа, вышедшая замуж за богатого торговца мехами. И уж если я хочу знать, то и она, Мирей Максимофф, тоже в свое время сбежала в Париж. Села на поезд в Бордо и приехала. В то время она была одинока и не старше меня. Вначале снимала комнатку в какой-то гостинице в Латинском квартале и как раз там встретила ту женщину, когда пришла по объявлению наниматься продавщицей в магазин ее мужа. Эта женщина и познакомила ее со всеми нынешними друзьями и с будущим мужем, Эдди Максимофф. Она возила их на уик-энды в Монфор-л'Амори или в Довиль на своей американской машине. Шикарная была жизнь. Так что мне совершенно не из-за чего волноваться. Эта женщина с радостью предоставила ей свою квартиру. Тут я набралась храбрости и сказала, что меня все же волнует мое будущее. Что мне делать в Париже без работы? С минуту она молча глядела на меня. Потом ответила:

— Знаешь, я ведь тоже боялась, когда приехала в Париж. Но все рано или поздно улаживается. Ты сейчас даже не понимаешь, какое это счастье — когда вся жизнь впереди. И потом, я тебе помогу. У меня много знакомых в Париже. А нет, так можешь уехать со мной в Испанию.

И тут я успокоилась. Я чувствовала, что она желает мне добра. Значит, нужно просто довериться ей, и жизнь будет прекрасна. Как-то вечером мы пошли в театр — посмотреть, как играет одна девушка по имени Паскаль. Действие пьесы происходило в наши дни в замке воображаемой страны: несколько великосветских особ оказались застигнутыми снежной бурей. Все они носили одежды из черного бархата с белыми воротниками; женщины походили на пажей, мужчины — на конюших. Время от времени звучала клавесинная музыка. В просторном салоне горели свечи в канделябрах, стояла старинная мебель, углы были затянуты паутиной, однако тут же стоял телефон, а гости с изысканными манерами курили сигареты, пили виски и беседовали о прекрасном. Когда мы вышли на улицу, моросил дождь. Мы с Мирей Максимофф сели в машину одного из ее друзей и поехали в ресторан; там нас ждали другие знакомые, а под конец вечера явилась и та девушка, Паскаль. Ее сопровождал высоченный мужчина лет сорока, со светлыми волосами ежиком. Это был кинорежиссер, его строгое застывшее лицо напоминало череп. Он собирался снимать Паскаль в своем фильме, о котором говорили все сидевшие за столом. Режиссер рассказывал содержание; я не все понимала, так как он часто вставлял в свою речь разные ученые слова. Это была история нескольких пар, собиравшихся то в каком-то доме в Португалии, то в горном шале на лыжном курорте, то в бургундском замке; женщины (все до одной красивые) и мужчины (все до одного умные) по ходу фильма менялись партнерами — как он выразился, "передвигались, точно геометрические фигуры в пространстве". Я сидела рядом с Мирей Максимофф; казалось, она тоже не очень-то понимает рассуждения режиссера, однако все присутствующие слушали его с большим почтением. Затем было решено отправиться выпить еще куда-нибудь; впрочем, мы всегда ходили в одни и те же места — в "Нюаж" или "Ла Мален". И снова мы сидели в машине. Теперь все молчали. Автомобиль скользил под дождем вдоль набережных. Красные огни и свет фонарей действовали на меня успокаивающе. Я любила парижские ночи, они унимали тоску, которая часто одолевала меня днем. Мне только хотелось, чтобы меня выпустили из машины на вольный воздух — побродить одной вдоль реки.

— Нечего тебе сидеть тут, в квартире и кукситься! — говорила Мирей Максимофф.

И она уводила меня почти каждый вечер в компанию этих своих друзей. Мы сидели с ними допоздна, заполночь, и я едва не засыпала за столом. Под гул разговоров. Во всех этих ресторанах с чудны́м убранством. В погребках со сводчатыми потолками, где ужинали при свечах. В других местах, где ели мясо, зажаренное на рашпере прямо здесь же, в большом камине. Подсвечники. Граненые зеркала. Темные балки над головой. В погожие вечера — вечера бабьего лета, как они говорили, — мы садились за столики на тротуаре. Тесно, бок о бок. И всё на одних и тех же улицах — Бернара Палисси, Сен-Бенуа, — которые Мирей Максимофф называла таксистам. Я сопровождала Мирей Максимофф в дома ее друзей. Воскресными вечерами мы ходили в одну мастерскую рядом с парком Монсури. Там гости ели бразильские блюда. Их всегда было человек двенадцать. И пока они болтали, играла бразильская музыка. Я-то сама помалкивала. Сидела в сторонке. Нередко даже уходила с этих вечеринок, чтобы побродить по окрестным улицам. Я исчезала тихонько, стараясь не привлекать ничьего внимания. Мне нравилось гулять вот так, совсем одной, в темноте, на вольном воздухе. Сначала я сбежала из Лиона, а теперь сбегала отовсюду, где люди говорили слишком громко, где я никого не знала; наверное, вся моя жизнь будет одним нескончаемым бегством. Я была уверена, что на моем пути рано или поздно встретится кто-нибудь, думающий точно так же, как я, где-то на другом конце Парижа. В один из воскресных вечеров я так и не вернулась в мастерскую возле парка Монсури. Еще в подъезде я услышала доносившиеся сверху бразильскую музыку и шумный говор. Я пошла на улицу Винез пешком, через весь город. Я больше ничего не боялась, даже будущего. Улицы и бульвары раскрывались передо мной; они были пустынны, огни сверкали ярче обычного. В листве копошился, шуршал ветер. Я совсем ничего не пила. Когда я вошла в квартиру, Мирей уже вернулась. Она была обеспокоена. Она спросила, почему я так внезапно ушла. Я ответила, что мне стало нехорошо и захотелось пройтись. И что все эти люди вызывают у меня робость. Они намного старше и умнее меня. И мне не место среди них. Вообще, где оно — мое место? Я его пока не нашла. Она поцеловала меня в лоб, точно старшая сестра, но я видела, что она не принимает всерьез мои слова. Наконец она сказала:

— По-моему, ты слегка не в себе.

Однажды в воскресенье она повела меня обедать в китайский ресторан на Елисейских полях. Едва мы вошли, я увидела того типа в плаще, которого встретила как-то в нашем подъезде. Он ждал нас. С ним был еще другой, выше его ростом, в замшевой куртке и черной водолазке. Мирей Максимофф поцеловала того, первого. Никак не вспомню его фамилию. Вальтер... а дальше что-то итальянское. Его друг пожал нам руки и представился: Ги Венсан. Позже я узнала, что это не настоящее его имя; меня всякий раз интриговала та резкость, с которой он подходил к людям, протягивал им руку и коротко представлялся: Ги Венсан. Теперь-то я понимаю, что это имя служило ему защитой, эдаким барьером, который он хотел с первой же минуты возвести между собой и другими. И все-таки мне кажется, что в то воскресенье, когда я увидела его впервые и он пожал мне руку, назвав свое вымышленное имя, у него был не такой уж резкий голос. По-моему, он произнес это имя с иронической усмешкой, как будто мы с ним уже разделяли некую тайну.

Ги Венсан сидел на диванчике рядом со мной. Наступила пауза. Потом Вальтер наклонился к Мирей Максимофф:

— Это тот самый Ги... о котором я тебе рассказывал...

Она улыбнулась и сказала, что счастлива с ним познакомиться. Меня же, как всегда, одолела робость. Я не произнесла ни слова. Если я правильно поняла, человек, сидевший напротив, друг Мирей Максимофф, давно уже работал фоторепортером, и его часто посылали в разные опасные места. Он даже был ранен в какой-то горячей точке. Они с Ги Венсаном познакомились в кафе на Елисейских полях, где часто собирались фотографы.

В начале обеда Ги Венсан тоже молчал. Мирей Максимофф старалась разрядить атмосферу, задавая ему какие-то безобидные вопросы. Но он односложно отвечал "да" или "нет". Вальтер указал на меня пальцем:

— Ну-с, а кто эта юная девица?

Ги Венсан обернулся и с любопытством взглянул на меня.

— Она приехала из Лиона. С ней случилось странное и грустное происшествие, — сказала Мирей Максимофф, незаметно подмигнув мне. И она поведала им историю об экзамене на бакалавра — ее собственную историю, произошедшую давным-давно где-то в Ландах. Про то, как однажды в понедельник в семь утра не прозвенел будильник. В общем, это было очень мило с ее стороны — считать меня настолько близкой, чтобы смешать наши биографии.

Вальтер громко рассмеялся.

— Вам повезло, — сказал он. — Судьба не пожелала, чтобы вы сдали свой экзамен.

Мне стало как-то не по себе. Мирей Максимофф взяла меня за руку.

— Надеюсь, вы не вздумаете снова пытаться его сдать? — добавил он. — Только зря время потеряете.

Ги Венсан продолжал хранить молчание, но теперь в его взгляде читалось не столько любопытство, сколько заботливое участие; он как будто хотел проникнуть в мои мысли.

— Вас очень огорчила эта история? — спросил он тоном, выдававшим искренний интерес ко мне.

Я попыталась улыбнуться ему.

— Нет, не согласен, — сказал он, обращаясь к тем двоим. — Все-таки эта незадача с экзаменом довольно печальна.

Вальтер спросил, сдавал ли сам Ги экзамен на бакалавра. Ги Венсан ответил, что нет, не успел и сожалеет об этом. Он объяснил, что должен был заканчивать школу как раз в конце войны, но тут швейцарцы его репатриировали вместе в другими беженцами, его ровесниками. Потом все они долго жили в Лионе, в каком-то заведении вроде пансиона, но там не проходили школьную программу. Бóльшую часть времени их занимали ручным трудом.

Преодолев робость, я спросила:

— И долго вы пробыли в Лионе?

— Не очень. Месяцев шесть.

В ту первую встречу я не осмелилась спросить его, в каком именно заведении Лиона он находился. Впрочем, мне все и так было ясно — я сразу представила его за черной стеной пансиона лазариетов.

Выходя из ресторана, Мирей Максимофф предупредила меня, что вернется поздно. Вальтер чмокнул меня в обе щеки и сказал, что был очень рад познакомиться, хоть я и не сдала свой "бак". Они оба сели в

машину, и Мирей Максимофф, опустив стекло, махнула нам рукой на прощанье.

Мы остались наедине с Ги Венсаном. Он спросил, не в этом ли квартале я живу. Я ответила: нет, возле Трокадеро, но я плохо знаю Париж и не могу точно сказать, далеко ли это.

— Тогда я немного пройдусь с вами. А если устанете, мы сядем в метро на "Этуаль".

Вот тут-то у меня и возникло чувство, что состоялась та самая встреча, о которой я мечтала с первого же дня в Париже. Фраза, произнесенная им в ту минуту, так прочно запечатлелась у меня в памяти, что я до сих пор, спустя годы, помню звук его голоса. Однажды я гуляла в районе порта в той стране, где мне не часто приходится говорить с кем-нибудь по-французски. Я шла, углубившись в свои мысли, как вдруг чей-то голос произнес с парижским выговором: "Если устанете, мы сядем в метро на "Этуаль". Я оглянулась. Конечно, рядом никого не было.

А в тот воскресный день мы с ним шагали в толпе гуляющих по правой стороне Елисейских полей. Светило солнце. Тротуары перед каждым кафе были заставлены столиками. Еще один погожий денек бабьего лета — как его называли те люди, что собирались по вечерам в "Ла Мален". Но до каких пор оно будет продолжаться? Наконец мы подошли к "Этуаль".

— Устали? — спросил Ги Венсан.

Нет, я совсем не устала.

— Если хотите, можно прогуляться до Булонского леса, — предложила я.

Возле Порт-Дофин мы свернули на дорожку, ведущую к прудам. Я указывала путь.

— Похоже, вы неплохо изучили Лес.

И правда, я часто бывала здесь днем. Я не могла сидеть одна в квартире на улице Винез. И сбегáла оттуда — точно так же, как удирала по вечерам от друзей Мирей Максимофф. Притом всякий раз с удовольствием — оттого что исчезала незаметно. Была — и нет меня!

Мы сели на скамейку возле пруда. Я спросила, гуляет ли он здесь когда-нибудь. Нет, не гуляет, уже целую вечность. Он был лет на десять-пятнадцать старше меня. И наверняка где-то работал. Он глядел на меня так же, как недавно в ресторане, — с пристальным, почти заботливым интересом. Но казалось, он тоже не очень-то понимает, что я за птица. Он спросил, сколько мне лет. Я хотела прибавить себе возраст, но лучше было сказать правду. Все-таки один год я себе накинула. Девятнадцать. Он очень удивился. Сам он давал мне чуть больше двадцати.

Мимо нас по аллее целыми семьями дефилировали гуляющие. Дети все время отставали от взрослых, и те окликали их по именам, одни плаксиво, другие властно; голоса постепенно затихали вдали. Кто-то крикнул несколько раз: "Ги!", и я вспомнила, что моего спутника тоже зовут Ги. Но он и глазом не моргнул. Я тогда еще не знала, что это его ненастоящее имя.

— Вообще-то я ищу работу, — робко вымолвила я.

И вдруг быстро, так быстро, что слова путались и налезали одно на другое, рассказала ему часть правды: я приехала из Лиона, живу сейчас у Мирей Максимофф и ищу работу в Париже.

— А ваши родители? Что они об этом думают?

Меня смутил этот вопрос. Покидая Лион, я даже не вспомнила о родителях. Не то чтобы они мне были безразличны, просто я давно уже от-

далилась от них. И все же они фигурировали в моих планах на будущее, вот только пускай моя жизнь определится и я избавлюсь от чувства неприкаянности, мучившего меня каждое утро. Когда все станет ясно и прочно, я буду рада снова увидеться с ними.

— Они ничем не могут мне помочь, — ответила я.

Мы еще немного побродили по дорожкам вблизи Пре-Кателан. Аллеи мало-помалу становились безлюдными и превращались в лесные тропинки. И тогда он сказал, что надо поворачивать назад, не то мы заблудимся. Я спросила, кем он работает. О, ничего интересного, мотается по делам между Францией и Швейцарией. У него есть компаньоны, и они все вместе держат некое агентство в Париже. Самая банальная работа, из тех, о которых даже рассказывать нечего, только скуку наводить. Я решила не настаивать.

Ближе к вечеру мы зашли в один из чайных салонов Булонского леса. За столиками сидели семьи, гулявшие недавно по берегу пруда. За другими столами громко, во весь голос, беседовали женщины в возрасте. Он с интересом разглядывал окружающих. Я подумала: уж не очутился ли он в таком месте впервые, как и я?

— Странно, — сказал он наконец. — Здешние посетительницы носят каракулевые манто.

Он по-прежнему выглядел невозмутимым и задумчивым. Позже всякий раз, когда мы находились среди людей, мне казалось, что ему не по себе, словно у него не было с другими ничего общего. Эдакий иностранец, который не знает местного языка и все время боится, что с ним заговорят. Может быть, он думал, что если кто-то заметит на его лице малейшее колебание, малейшую боязнь, это принесет ему несчастье. Вот он и хотел выглядеть бесстрастным и избегал резких движений. Он улыбался какой-то отрешенной улыбкой.

— Я насчитал целых четырнадцать дам в каракулевых манто. Можете сами проверить, если хотите...

Я чувствовала, как между нами рождается что-то вроде взаимного доверия. Интересно, нашел ли он свое место в этом мире? Мы сели в метро на "Этуаль". Потом сделали пересадку и вышли на станции "Трокадеро". Он хотел проводить меня до дома. Он шагал рядом своей размеренной походкой, чей ритм, как мне думается сегодня, ничто не могло нарушить. Так он не привлекал к себе внимания. Известно ведь, что если вас преследуют, лучше всего не оборачиваться. И вообще, всякий раз, когда вам грозит опасность, нужно идти ровным, спокойным шагом. У подъезда нашего дома на улице Винез он спросил, есть ли у меня планы на вечер. Я сказала: нет, никаких. Но сегодня он, к сожалению, не может пригласить меня поужинать, у него уже назначена встреча. Зато завтра, послезавтра и далее везде... В настоящее время он живет в отеле. Он дал мне номер телефона.

Я позвонила ему на следующий день, ближе к вечеру, оставшись одна в квартире. Он объяснил мне дорогу. Нужно сделать пересадку на "Этуаль" и выйти на станции "Георг V". Потом он велел мне взять карандаш и подробно продиктовал, как добраться до его отеля. Судя по тону, он, кажется, всерьез боялся, что я заплутаюсь.

Отель "Дю Берри". Он находился недалеко от вчерашнего китайского ресторана, на улице Фредерика Бастиа. Я спросила номер "месье Ги Венсана" у женщины-портье. Брюнетка в строгом костюме — потом я проходила мимо нее каждый день, и теперь мне чудится, что это дли-

лось долго-долго, чуть ли не всю мою жизнь. Хотя на самом деле, если припомнить хорошенько, не больше месяца.

Я поднялась по лестнице на второй этаж. Он ждал меня у распахнутой двери, как будто боялся, что я раздумаю и сбегу в последнюю минуту. Я остановилась на верхней ступеньке, и мне в самом деле захотелось убежать.

Я была в таком смятении, что села на краешек кровати. Вообще-то, в номере, между двумя окнами, стояло кресло, но у меня не хватило сил до него добраться. А он остался стоять передо мной.

— У вас волосы мокрые.

Да, и плащ тоже. Когда я вышла из метро, сеял дождь, мелкий такой дождичек, на какие была щедра та осень. Он принес полотенце. И бережно вытер мне волосы, сев рядом на постель.

— Вам бы надо снять плащ.

Он произнес это глухо, еле слышно, как будто говорил с самим собой. Мне почудилось, что мы оба минуту назад вошли в отель и укрылись в этой комнате от дождя. И что я только сегодня утром приехала в Париж. А он встретил меня на Лионском вокзале. Свет люстры резал глаза, на улице шуршал дождь. Я не знала, где я, что со мной. И ничего не знала о нем, но это было совершенно не важно. Он взял меня за плечи, и тогда я поцеловала его. И тут же вся моя тоска, вся робость куда-то исчезли, и мне стало абсолютно безразлично, что он даже не погасил люстру, — наоборот, пускай бы она светила еще резче, еще ярче, чтобы прогнать все тени до одной. Когда на следующее утро я вернулась в квартиру на улице Винез, Мирей Максимофф уже не спала. Она сказала, что очень беспокоилась, но не задала ни одного вопроса. Тогда я сама сказала, что встретила друзей из Лиона и вечеринка неожиданно затянулась. Все последующие недели я продолжала лгать и хранила свою тайну до конца. Даже сегодня я себе не представляю, что́ могла бы сказать ей. Правда была настолько банальна! Такое может случиться с кем угодно. Мне вспоминается вечер, когда он признался, что его зовут вовсе не Ги Венсан. Он тогда повел меня в ресторан поблизости от гостиницы. Вообще он никогда не выходил за пределы своего квартала. Его поразил тот факт, что я уроженка Лиона. Сразу после войны он жил в этом городе, но слишком недолго, чтобы сказать мне, в каком именно пансионе разместили его с товарищами. Где-то неподалеку от Соны. Крутые лестницы. Старые дома. А не помнит ли он улочку с отвесным спуском и нависшие над нею здания за черной стеной? Да... кажется... хотя точно сказать он не может. Скорее всего, это и был пансион лазариетов. Я-то как раз верила в такие совпадения.

Ну, а потом он тоже приехал в Париж, на Лионский вокзал. Однажды рано утром, как и я. И примерно в том же возрасте. Он начал рассказывать все это еще в номере отеля, при свете люстры, которую не выключал даже днем. Со временем я привыкла к этому — более того, наивно полагала, что яркий свет поможет рассеять окутывающий его туман. В то утро, когда он приехал в Париж, на вокзале его никто не встретил. А в квартале, где он провел все свое детство, его родные и друзья бесследно исчезли. Все это он рассказал мне потому, что я приехала из Лиона — города, с которым была связана часть его жизни, те времена, когда ему было столько же лет, сколько мне сейчас. И еще потому, что в нашу первую ночь я назвала его “Ги”, но как-то через силу — мне не нравилось это имя, оно ему не шло. Наверное, он почувствовал мое внутреннее сопротивле-

ние и, сказав мне: "Ну да... Можешь называть меня Ги", расхохотался. Он все твердил: "Ги...Ги...", словно сам хотел привыкнуть к этому коротенькому имени; в конце концов я тоже стала смеяться.

Вот тут-то он и объяснил мне, что "Ги Венсан" — его псевдоним. Я спросила, можно ли мне называть его настоящим именем. О, это очень мило с моей стороны, но он бы не хотел, он уже давно свыкся с "Ги Венсаном". Для него "Ги Венсан" ассоциировался со свежестью, весной, с белым цветом, это было надежное, успокаивающее имя. И потом, оно служит ему барьером, укрытием. Оно всегда стоит между ним и другими людьми, как двойник, как ангел-хранитель. И он снова захохотал. И я тоже. Дурацкий смех заразителен, вот только было ли мне смешно на самом деле? В резком свете люстры комната вдруг показалась мне холодной, нежилой. А рядом со мной находился незнакомец, скрывавшийся под чужим именем. Я замечала, что он никогда ничего не оставляет за собой — ни на тумбочке, ни на кресле, ни на ковре. Он прибирал все — одежду, окурки, даже обувь. Когда мы выходили из номера, от нас не оставалось никаких следов, разве что неубранная постель, да и то я часто видела, как он наспех оправляет ее и накидывает покрывало. Старая привычка времен пансиона, объяснил он. Его костюмы, несколько книг и другие вещи хранились в чемоданах в просторном помещении агентства. Там, где он работал со своими пресловутыми "компаньонами". Он часто наведывался туда поздно вечером и брал меня с собой. Агентство тоже находилось рядом с отелем, в жилом доме на улице Понтье. В эти часы там никогда никого не бывало. Я ждала его в кабинете. Он брал нужные вещи, складывал их в дорожную сумку. И мы возвращались в отель. Один-единственный раз он назвался своим собственным именем. Это случилось во время нашей с ним поездки в Швейцарию. В Лозанне мы сидели в холле какой-то гостиницы в квартале Уши́[1], даже не помню почему. Вокруг нас было полно мужчин и женщин, похожих на зажиточных буржуа. В основном французы с несколько старомодными манерами; даже в их туалетах проскальзывало что-то устаревшее. Но выглядели они прекрасно. Такие загорелые. И все были явно знакомы друг с другом. На большом столе высились стопки книг. Сухощавый человек с густыми бровями, в галстуке бабочкой подписывал эти книги всем желающим. Участники сборища поглядывали в нашу сторону удивленно, даже неприязненно. Они, видимо, никак не могли понять, каким образом мы затесались в их компанию. Я пытаюсь представить себе, как же мы тогда выглядели среди них. Недавно я заметила на террасе кафе у причала белокурую девушку; рядом сидел мужчина с лицом гангстера. В молодости я была похожа на эту девушку с широко распахнутыми глазами. Она молча, затаив дыхание, внимала своему спутнику. А он слегка напомнил мне Ги Венсана своими темными волосами и небрежной манерой курить и наполнять стакан. Только Ги — придется уж мне называть его этим именем — был более крепкого сложения. Но притом ходил он легким упругим шагом, точно на пуантах. В тот день в Лозанне, в холле отеля, Ги встал и пошел именно такой поступью сквозь светскую толпу. Он застрял в давке, и я испугалась, что он начнет расталкивать этих лощеных дам и господ. Я была уверена, что он пьян. Вдруг он вернулся, обнял меня за плечи и повел к столу, где автор с бабочкой надписывал свои книги. Ги взял одну книгу из стопки. Она называлась "Жить на Мадейре". Я потом долго хранила ее у себя и потеря-

1. Уши — фешенебельный квартал Лозанны на берегу Женевского озера.

ла лишь при отъезде из Франции. Человека, сидевшего за столом, окружала густая толпа почитателей. Ги перелистал книгу и нагнулся к нему:

— Можете надписать ее мне?

Писатель поднял голову. Выражение лица у него было отнюдь не любезное. Он носил бабочку в горошек.

— Как ваше имя? — сухо спросил он. И тогда Ги назвал свое настоящее имя. Я впервые услышала его: Альберто Цимбалист. Писатель нахмурился, как будто это звонкое имя его шокировало. И пренебрежительно спросил:

— Не угодно ли назвать по буквам?

Ги положил открытую книгу на стол и опустил руку на плечо писателя. Так, что буквально припечатал его к стулу. Он нажимал все сильнее и сильнее, и писатель, сгибаясь под его рукой, испуганно таращился на него. Потом Ги продиктовал свое имя по буквам. Окружающие боязливо разглядывали его. Им явно хотелось вступиться за писателя, но они не решались, видя крепкую фигуру Ги. В общем, пришлось автору все-таки надписать книгу. На лбу у него выступили капли пота. Ему было страшно. Ги забрал книгу, но продолжал сжимать плечо писателя. Тот смотрел на него с ненавистью, плотно сжав губы.

— Оставьте же меня, месье, — прошипел он наконец.

Ги любезно улыбнулся ему и убрал руку. Писатель встал и с нарочитым старанием принялся поправлять свою бабочку в горошек, устремив на нас злобный змеиный взгляд. Я испугалась: вдруг он сейчас вызовет полицию! Ги прочел название на обложке и спросил, все с той же любезной улыбкой:

— Ну и как там, на Мадейре, красиво?

Не знаю, был ли он пьян или просто ему вдруг стало тошно, как это часто случалось. В этом гостиничном холле мы с ним были совсем одни, как в тот первый день в Булонском лесу, среди принаряженных гуляющих семей и дам в каракулевых манто. Но зато мне теперь было известно его настоящее имя. Только вправду ли оно принадлежало ему? Все, с кем он встречался в Париже, видимо, знали его не под этим именем. Интересно, до какого возраста он жил с ним? Я не смела его расспрашивать. Однажды днем он повез меня в такси на улицу Винез, потому что Мирей Максимофф наверняка волновалась: вот уже три дня я не давала о себе знать и хотела успокоить ее. Вдруг он сказал:

— Сейчас я тебе покажу, где жил, когда был мальчонкой.

Он выразился именно так, как говорят в парижских предместьях, — мальчонка.

— Это совсем рядом с Булонским лесом.

Он остановил машину при въезде в Сад Ранлага: простоватое словцо "мальчонка" никак не сочеталось с этим фешенебельным кварталом.

Мы шагали по аллеям. Солнце едва просвечивало сквозь дымку облаков, все вокруг пылало медно-рыжими красками. Под ногами шуршали опавшие листья.

— Вот, смотри — я играл в этом саду по воскресеньям и четвергам...

Я по-прежнему остерегалась расспрашивать его. Я была очень молода и плохо знала мужчин, но быстро уразумела, что он не тот человек, который станет отвечать на вопросы.

Мы очутились в глубине парка и вышли на какую-то широкую улицу. Сделали еще несколько шагов, и он остановился на тротуаре перед жилым домом, первым с угла.

— Тут я и жил, на третьем этаже.

И он указал на одно из окон.

— Вон там была моя комната.

Он зашел в подъезд, увлекая меня за собой. Постучал в застекленную дверь консьержа. Она приоткрылась, и в проем высунулась лысая мужская голова.

Ги сказал:

— Я хотел узнать, нет ли новостей от месье Карпантье.

На всякий случай я запомнила это имя. Карпантье. Старик объявил, что месье Карпантье давно уже тут не живет — с тех пор как он сам заступил на это место. Ги пожал плечами.

— У вас нет его нового адреса? — спросил он.

— Нет.

И снова мы зашагали по улице, вдоль Сад Ранлага. Ги объяснил мне, что месье Карпантье — бывший консьерж того дома, где они с отцом жили когда-то в большой квартире. Его отец был консулом Перу в Париже. Потом началась война, и отец вернулся туда, в свою страну, а его оставил на попечение месье Карпантье. По всей видимости, отец напрочь забыл о нем, так как больше никогда не давал о себе знать. Говорил ли он правду? В тот день я попросила его высадить меня на площади Трокадеро. Мне не хотелось, чтобы Мирей Максимофф видела нас вместе. Консул Перу. Эдди, мужа Мирей Максимофф, тоже называли Консулом. Это странное прозвище было взято из какого-то романа, где один персонаж очень походил на него и точно так же много пил. Долгие годы спустя я иногда просыпалась среди ночи внезапно, словно от толчка, и потом не могла уснуть до утра. Лежала и перебирала в памяти все эти горестные подробности. И говорила себе: надо все-таки когда-нибудь проверить то, что он тебе нарассказал. Но в конце концов я вразумляла себя и успокаивалась. Бесполезно все это. Слишком поздно.

Консул Перу... Ветер взметал сухие листья и гнал их по аллеям с мертвым сухим шорохом, от которого надрывалось и стыло сердце. Я не сердилась на него, даже если он и лгал мне. В общем-то, его россказни были частью его самого. И если под ними скрывалась одна пустота — что ж, тем хуже. Потому что именно эта пустота и привлекала меня к нему. У него часто бывал такой пустой, отсутствующий взгляд. Мне очень хотелось узнать, о чем он думает. Я пыталась разгадать его мысли. Он казался мне таинственным, непостижимым. Например, умел совершенно беззвучно открывать дверь и входить в комнату. И мог, шагая рядом, так же беззвучно, незаметно исчезнуть в один миг. Со мной он никогда такого не проделывал, зато нередко поступал так с другими, с теми, кого я видела с ним в кафе возле отеля или в кабинете агентства. Этот трюк даже служил предметом шуток между ними. Иногда память изменяет мне, но я хорошо помню нашу поездку в Швейцарию, где он встречался с какими-то странными типами в холле отеля "Рона" в Женеве. До того как пересечь границу, мы проехали на машине через Анмас. В воскресенье. Уже темнело. Улицы Анмаса были запружены народом — по городку шествовала процессия с духовым оркестром. Нас одолел дикий хохот, когда трубачи затянули "Ах ты лапочка моя!". Потом вся эта музыка удалилась, затихла вдали, и улицы опустели. На границе таможенники даже не проверили у нас паспорта. И тут Ги рассказал мне, что в шестнадцать лет, когда шла война, он дважды пытался пробраться в Швейцарию. В первый раз, после того как он тайком перешел границу, швейцарские таможенники за-

брали его и передали французским жандармам. А поскольку в те годы он уже был таким же рослым и крепким, как сейчас, они из осторожности надели ему наручники, чтобы сопроводить в Анмас. Он так и не смог забыть это и с тех пор часто видел во сне, как ходит в наручниках и долгими часами, с утра до вечера, ездит в метро, высматривая, нет ли у кого ключа, чтобы разомкнуть их. Позже, в Анмасе, один жандарм дал ему сбежать. Он снова попытался перейти границу и на сей раз ему это удалось. В Женеве он долго, но безуспешно разыскивал консула Перу.

Мы остановились в отеле "Рона", и он назначал деловые встречи в холле после полудня. Часто они продолжались до самого вечера. Он боялся, что я заскучаю. Вынимал из дорожной сумки пачку денег и совал мне. Уговаривал ходить по магазинам и покупать себе туфли, часы, украшения. Тщетно я отказывалась, убеждая его, что мне приятнее всего сидеть в номере и читать, — он настаивал на своем. Сам он, впервые попав в Женеву в моем возрасте, был ослеплен витринами и огнями города. Ему хотелось покупать все подряд, а главное, обувь. До чего же приятно ходить в новых башмаках, которые не просят каши! Нужно пользоваться жизнью, ведь она так коротка! В конце концов я сдавалась. Выходила из отеля, шла через мост, гуляла по улице Роны. Но в магазины входить не осмеливалась. В первый день стоял густой туман, я даже боялась, что пойдет снег. Я шагала по набережной. Мне чудилось, будто я совсем одна в незнакомом городе. Наверное, он тоже испытал это чувство глубокого одиночества, когда впервые попал сюда. В конце проспекта виднелся вокзал. А может, лучше сесть в парижский поезд да и вернуться к Мирей Максимофф? И все ей объяснить? Но что она могла бы мне посоветовать? Я свернула в боковую улочку и заметила кинотеатр. Вечер еще не настал, и я сидела там одна. Показывали какой-то мультфильм.

На следующий день вернулось солнце. Можно было подумать, что снова настало бабье лето, как говорили те люди в Париже. Я все-таки купила себе часы. И еще одну пару обуви. Мне уже надоело таскать синие туфли, те самые, что заставил меня снимать мерзкий тип из дома моделей.

Я просила Ги разрешить мне сидеть в холле, где-нибудь в сторонке, пока он проводит свои встречи. Я исподтишка разглядывала его. Пыталась определить, с какими людьми он имеет дело. Это были всегда одни и те же. В основном алжирцы. Они приходили с кожаными портфелями — все, кроме одного, который запомнился мне своей улыбкой и темно-синим плащом. Иногда, закончив переговоры, Ги разыскивал меня в глубине холла и сажал рядом с этими людьми.

Мне кажется, они говорили о деньгах, всегда полушепотом. Ко мне они относились очень учтиво. Я хотела бы узнать о них побольше, но давно взяла за правило не соваться в чужие дела. По вечерам мы ужинали в итальянском ресторане в обществе двух мужчин, которые работали вместе с ним в агентстве. Один из них, ровесник Ги, грузный одышливый толстяк, довольно милый, был его компаньоном. Второй, лет пятидесяти, очень элегантный, с иссиня-черными волосами, говорил по-французски с легким акцентом. Этот тоже вел себя крайне предупредительно, но отчего-то внушал мне робость. Иногда его взгляд становился пронизывающе-холодным. В Париже он занимал квартиру на улице Артуа, совсем рядом с нашим отелем. Нужно бы напрячься и вспомнить их имена. Это поможет мне хоть чем-то занять свои пустые дни. В один такой пустой день мы с Ги прогуливались по Женеве. Он показал мне место, где часто скрывался во время своего первого, нелегального пребывания в этом го-

роде. Сквер на берегу Роны. Нужно было пройти в ворота, и вы вдруг оказывались в большом саду, со всех сторон окруженном домами. Кроме нас, там никого не было. В центре сада под тенистыми деревьями стояли скамьи. В тот день, когда он очутился здесь впервые, он наконец понял, что никогда не отыщет консула Перу. По ночам, в Париже, он не выключал свет. Он страдал бессонницей. Не покидал пределы своего квартала. Мы часто оставались наедине. Днем я ходила с ним в агентство. Садилась где-нибудь в уголке, совсем как в холле "Роны", и читала иллюстрированные журналы, ожидая, когда он закончит свои дела. А он вел переговоры с одышливым толстяком. И еще они без конца названивали по телефону. Толстяк сидел в кожаном кресле, а он на краешке письменного стола. Они передавали друг другу трубку. Или же разговаривал один толстяк, а он только слушал через отводную трубку. Иногда являлся тот элегантный тип с черными волосами, и толстяк уступал ему место за столом.

Ги исчезал в комнате, где хранились его чемоданы и одежда, а затем подходил ко мне, пока двое других беседовали по телефону, передавая друг другу трубку. Он протягивал мне пачку денег. Как в Женеве. Улыбался. Говорил, что нечего мне сидеть тут и ждать его. Ведь это скучно. Лучше побегать по магазинам, накупить себе платьев, теплой одежды. И верно — близилась зима, а у меня даже пальто не было. Странная ты девушка, говорил он, и о чем ты только думаешь, лучше бы слушалась меня. А ну-ка, шагом марш, иди и купи себе теплое пальто!

Тогда я уходила из агентства и брела по улице Фобур-Сент-Оноре, не осмеливаясь заглядывать в лавки. Как в Женеве. Впрочем, однажды я все-таки расхрабрилась и купила себе плащ и еще одну пару туфель.

По ночам, в номере отеля, он расспрашивал меня о детстве, о семье. Но я, по его же примеру, старалась запутать следы. Убеждала себя, что такая простушка, как я, приехавшая из Лиона всего с одним — невымышленным — именем, не может его интересовать.

Однажды в понедельник я должна была, как обычно, встретиться с ним. Стоял ноябрь, уже рано темнело. Но когда я подошла к улице Фредерика Бастиа, было, по-моему, еще светло. Я заметила две черные машины, стоявшие у входа в отель, а на другой стороне улицы группу мужчин, похожих на полицейских. Я вошла в гостиницу. Женщина-портье была на своем месте, а рядом стоял, облокотясь на стойку, тот самый алжирец в синем плаще, которого я видела в Женеве. Он тоже узнал меня. У него был смущенный вид. Я до сих пор не знаю, какую роль он играл в этом деле.

Он сухо сказал мне:

— Вам не стоит подниматься. Там никого нет.

Я все-таки собралась подняться в номер. Но он загородил мне дорогу. И повторил:

— Там больше никого нет.

Женщина застыла как статуя у себя за стойкой. Глаза у нее были широко открыты, а взгляд какой-то слепой. Мужчина легонько вытолкнул меня на улицу. И тихо сказал вслед:

— Уходите побыстрее. Они еще не знают, кто вы. Пока что вы для них всего лишь НЕОПОЗНАННАЯ молоденькая блондинка.

Он путался в словах, хотел еще что-то добавить, но у него уже не было времени. Я стояла на тротуаре в полной растерянности. Потом перешла улицу. Приблизилась к группе мужчин. И спросила у одного из них, что случилось в отеле. Он ответил:

— Не знаю, о чем вы говорите, мадемуазель.

Они все пронизывали меня холодными взглядами. Если бы я замешкалась около них, они и мне надели бы наручники. Но, несмотря на страх, мне хотелось завыть, закричать во все горло, устроить скандал, лишь бы они сказали правду.

Я побрела наугад по соседним улицам. Улица Артуа. Улица Берри. Улица Понтье. Я прошла мимо агентства. Уже стемнело. Я снова прошла мимо отеля. Мужчины по-прежнему стояли там, напротив. И обе машины так и не тронулись с места. Наверное, он умер. Или они увезли его, надев наручники. Он всегда оставлял по ночам свет у себя в номере.

Все остальное было, кажется, на следующий день. Я не вышла из своей комнаты на улице Винез. Сказала Мирей Максимофф, что больна. Тем вечером она ужинала с Вальтером. И я подумала: а вдруг он что-нибудь знает. Я спросила у Мирей Максимофф, можно ли мне пойти с ними. Я боялась, что она поведет меня в тот же китайский ресторан, но нет, нас посадили в большую машину, мы долго ехали и наконец очутились в каком-то незнакомом квартале. Мы сидели в кафе: по одну сторону Мирей Максимофф и Вальтер, по другую — я. В зеркале отражалось мое лицо — лицо утопленницы. Вероятно, они заметили это. Мне налили вина, но я ничего не могла взять в рот. Они разговаривали, а я безумно боялась потерять сознание и изо всех сил заставляла себя слушать, не терять нить беседы, осмысливать их слова, запоминать движения губ. Вальтер говорил, что хочет сделать репортаж о людях, которые исчезают в Париже. Он собирался фотографировать по ночам в комиссариатах полиции. Так, чтобы никто ничего не заметил. В "обезъяннике". В "перевозках". В моргах.

Меня замутило. Я встала, больше всего боясь грохнуться в обморок. Спустилась по лестнице в туалет. Там меня вырвало. Мне больше не хотелось подниматься назад. Мне хотелось тайком уйти из ресторана и ходить, ходить одной по улицам. Я стала искать черный ход. Как сказал тот алжирец, я все еще была НЕОПОЗНАННОЙ блондинкой. Девушек, которых вылавливают в водах Соны или Сены, тоже часто называют неопознанными или неизвестными. Хочу надеяться, что останусь такой незнакомкой навсегда.

II

Я родилась в Анси. Мой отец умер, когда мне было три года, и мать вышла за мясника, жившего в пригороде. Отношения у нас с ней были неважные. Иногда я приходила в гости к матери и ее новому мужу, но что-то мешало нам общаться нормально. Мне кажется, я вызывала у нее скверные воспоминания. Мать была женщиной суровой, вспыльчивой и начисто лишенной сантиментов — как, впрочем, и я. Ее приступы гнева пугали меня. Впадая в ярость, она орала во всю глотку, брызгала слюной, и ее северный акцент сразу становился заметнее. Странная это была пара. Мясник, с его стрижкой бобриком и впалыми щеками, походил на строгого священника — из тех, что сверлят вас взглядом и, как инквизиторы, выспрашивают о грехах. Я заметила, что под влиянием этого человека мать становилась все более мужеподобной. Любви между ними не было, скорее, они относились друг к другу, как боевые товарищи по полку или как кюре и его служанка. Да и детей у них тоже не было. Любила ли когда-нибудь мать моего отца? Не знаю — похоже, любовь вовсе

не интересовала ее, даже внушала гадливость, и мое рождение явилось для нее несчастной случайностью.

Моя тетка, сестра матери, кое-как заботилась обо мне в детстве. Она тоже не отличалась чувствительностью. Не доверяла мужчинам. Не доверяла вообще никому. Даже мне. И, честно говоря, нас с ней мало что связывало. Так же, как и с матерью, которая почти ничего не значила в моей жизни.

Воспоминания, сохранившиеся у меня от детства, не назовешь ни плохими, ни хорошими. Думаю, будь жив мой отец, я бы с ним ладила, и все сложилось бы совсем иначе. Про отца говорили: "Горячая голова!", и я долго не могла уразуметь, что это значит.

С пяти лет я начала ходить в школу Святой Анны, рядом с Маркизатами. Моя тетка жила в Верье-дю-Лак. Она работала на виллах богачей в самом Верье и в Таллуаре. Убирала там, готовила, ходила за покупками. В ранней молодости ей довелось служить в одном из отелей Анси, и она сохранила добрые отношения с хозяином. Он продолжал помогать ей деньгами, когда у нее возникали затруднения. Эта женщина умела устраиваться в жизни.

В школе Святой Анны я была первой ученицей в классе, и директриса посоветовала тетке записать меня в женский лицей для сдачи экзаменов на бакалавра. Я так хорошо успевала по французскому языку, что могла, по ее словам, "далеко пойти". Однако тетка не прислушалась к ее совету. Она отдала меня в монастырский пансион, что на дороге Гран-Борнан, в двадцати километрах от дома. Не то чтобы она решила приучить меня к дисциплине, просто ей хотелось отделаться от меня. Мне уже исполнилось двенадцать лет.

Моя мать никогда не предлагала мне жить у нее. Как и ее муж, мясник. В те редкие дни, когда я навещала их, меня поражал его суровый пронизывающий взгляд. Со временем я поняла, что так он смотрел не на меня одну, а на всех женщин. Этот тип считал, что женщина — сосуд зла, и, без сомнения, убедил в том же мою мать. Мне кажется, он предпочел бы, чтобы она была мужчиной.

Я так и не узнала настоящей семейной жизни. И, откровенно говоря, думаю, она не пришлась бы мне по вкусу. Я чувствовала себя слишком независимой для этого. И мне часто хотелось остаться совсем одной. Я бы не вынесла всех этих воскресных трапез в обществе братьев и сестер, кузенов и их мамаш, праздничных обедов по случаю первого причастия, именин или Рождества... Единственное, чего бы мне хотелось, так это жить вдвоем с отцом. Уж он-то наверняка отдал бы меня в лицей, чтобы я могла сдать свой "бак". Но отца не было в живых.

В пансионе дисциплина была еще строже, чем в школе Святой Анны. Я спала там в двух дортуарах — сперва для младших, потом для старших. Сестра-монахиня гасила лампы в девять часов, оставляя только ночники, источавшие слабый синеватый свет. Честно говоря, я предпочла бы лежать в темноте.

В четверть седьмого утра звонил будильник. Мы быстро мылись над длинными умывальниками, похожими на поилки для скота. Раздеваться строго запрещалось. Нужно было прятать свое тело и от чужих и от собственных глаз как нечто постыдное. Я так и не уразумела почему, да, впрочем, и не старалась вникать в это.

После подъема и утреннего туалета мы шли в часовню. Затем в классы, где занимались в течение часа. Затем в столовую, завтракать. Кофе с

молоком без сахара и сухой хлеб без масла. И снова в класс. В одиннадцать часов начиналась перемена. Потом опять уроки. Обед. Отдых. Уроки. Отдых и полдник — краюха хлеба и кусочек черного шоколада. Вечерние занятия. На ужин нам давали всего одно блюдо — поленту[1]. Никакого мяса. Снова в часовню. И спать. Назавтра все повторялось.

Каждый второй четверг мы ходили на прогулку в окрестности деревни. Или же сидели в рабочей комнате за шитьем и штопкой... Моей единственной связью с внешним миром был маленький транзистор, который я выпросила у тетки, но его приходилось прятать. Я слушала его по вечерам в дортуаре или после обеда, на перемене, спрятавшись в дальнем уголке двора.

Однажды в апреле — мне было уже пятнадцать лет — по радио объявили, что алжирские парашютисты готовятся высадить десант во Франции. Об этой угрозе говорили дня два или три. Я очень надеялась, что разразится гражданская война. Тогда взрослые перестанут давить на нас, и, может быть, в этой суматохе мне удастся сбежать. К сожалению, все обошлось, к вечеру воскресенья порядок был восстановлен.

У меня не осталось никаких воспоминаний о людях, с которыми я провела все эти годы в пансионе. Помню только, что уже с четырнадцати лет мне страстно хотелось изведать ВЕЛИКУЮ ЛЮБОВЬ. Но, увы, никто не заставил мое сердце биться чаще в те времена. Так они и канули в прошлое, окутанные туманом забвения, который поглотил все лица и мелкие события моей жизни. Иногда я даже спрашиваю себя, уж не привиделось ли мне все это во сне. В одном из тех снов, что часто посещают меня и где я снова и снова вижу себя в монастырском дортуаре в синеватом свете ночников.

*

Воскресными вечерами я ждала автобуса, чтобы ехать назад, в пансион. Остановка находилась рядом с раскидистым платаном возле мэрии Верье-дю-Лак. Мне отчего-то помнятся только зимние или осенние вечера. Уже темнело. Я входила в автобус, где все места бывали заняты до самого Анси. Многие пассажиры ехали стоя, стиснутые в давке. Крестьяне после воскресного дня в городе. Солдаты из увольнения. Дети. Собаки. Я тоже стояла, обычно прямо за спиной шофера. Автобус трогался. Он ехал медленно. Внизу справа, не доезжая поворота, виднелась решетка виллы "Липы", где моя тетка работала одно лето у отдыхающих американцев. Потом, когда автобус выезжал на дорогу, ведущую к перевалу Блюффи, открывался вид на замок Ментон-Сен-Бернар; он возвышался на самой верхушке горы, словно сказочный дворец. Дальше мы проезжали мимо маленького кладбища деревушки Алекс. За ним шли памятники похороненным здесь героям плато Глиер[2].

Мне рассказывали, что мой отец тоже сражался на этом плато против бошей. Думаю, что и он был героем, хотя и не погиб на войне, а умер несколько лет спустя. Автобус тормозил на деревенской площади, откуда мне оставалось пройти еще несколько сот метров по дороге, ведущей к пансиону. Я ходила одна. Никто из моих товарок никогда не ездил на этом автобусе. Все они жили в окрестных деревушках. Кроме Сильви, с

1. Полента — кукурузная каша.
2. На плато Глиер в 1944 г. произошло кровопролитное сражение между участниками Сопротивления и немцами, в котором почти все французские партизаны погибли.

которой мы так и остались подругами. Она жила в Анси, а потом стала работать там же в префектуре, — но родители отвозили ее в пансион на машине.

Я шагала по этой дороге, и мне частенько хотелось убежать. Чего проще — развернуться, дождаться на площади автобуса, который в девять идет в Анси. И проделать весь путь в обратном направлении. В полдесятого я уже была бы там, на конечной остановке "Вокзальная площадь". Ну а дальше что? Конечно, если бы у меня были деньги... Да, будь у меня деньги, я не осталась бы в Анси. Сошла бы с автобуса, тут же взяла бы билет на Париж и дождалась ночного поезда. Но я еще не созрела для столь решительного шага, я боялась. И потому плелась в часовню вместе с остальными, отстаивать воскресную вечернюю мессу.

В классе моей соседкой по парте была белокурая девочка, отец которой работал аптекарем в Крюзейе. Мне кажется, она чувствовала себя в этом пансионе такой же несчастной, как и я. Иногда я давала ей свой транзистор. Мы часто болтали с ней во дворе, хотя разговоры с глазу на глаз были строго запрещены. Либо сиди одна, либо со всеми. Моросил дождь, нескончаемый ноябрьский дождь — предвестник пяти снежных месяцев, делавших мое заточение совсем уж невыносимым. Та девочка из Крюзейя стащила в родительской аптеке два тюбика снотворного, которое называлось "имменоктал". Один из них она дала мне. И объяснила, что, если надумаешь покончить с собой, нужно проглотить все таблетки разом. А лучше постоянно носить этот тюбик с собой. "Тогда, — сказала она мне, — ТЫ БУДЕШЬ ХОЗЯЙКОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ И СМЕРТИ. И никто уже не сможет осилить тебя. И ничто уже не будет иметь значения. И ты никому не обязана давать отчет. Ты свободна как ветер!" Она была права. С той минуты, как я стала носить с собой тюбик имменоктала, я почувствовала какую-то легкость и мне стало наплевать на дисциплину в пансионе и на все, что говорили нам монашки.

В один прекрасный день моя белокурая соседка исчезла. Рассказывали, будто ее исключили из пансиона, так как сестры-монахини обнаружили у нее в тумбочке "запрещенные" книги. Я-то давно знала, что она читает в дортуаре при свете карманного фонарика. Отныне рядом со мной в классе зияла пустота. Но я до сих пор храню тюбик со снотворным, который она дала мне, и временами жалею, что тогда не проглотила разом все его содержимое.

*

Я проводила летние каникулы у тетки, в Верье-дю-Лак. Помогала ей убирать на окрестных виллах и делать покупки. За это она давала мне немного карманных денег. В четырнадцать и пятнадцать лет я выглядела намного старше своего возраста. Однажды днем мы с теткой делали уборку на вилле одного парижского адвоката, ежегодно приезжавшего в Шавуар, и он ей сказал сочным баритоном: "У вас чертовски свеженькая племянница!" Он улыбался мне, стоя посреди своей библиотеки; его седые, зачесанные назад волосы отливали голубизной. Чертовски свеженькая... Я не понимала, с чего это я "свеженькая", и слегка пугалась этого слова точно так же, как боялась странного прозвища отца — "горячая голова".

Мои ровесники, жившие на виллах, изредка заговаривали со мной. Но я чувствовала, какая дистанция разделяет нас. Это были детки бога-

тых родителей. Одни — их было большинство — приезжали из Лиона, другие из Парижа. Отдыхали здесь и местные жители. Все они проводили время на пляжах спорткомплекса в Анси, на теннисных кортах, в яхт-клубе Маркизатов. Устраивали танцевальные вечеринки. Носили костюмы для тенниса, длинные волосы, мокасины, блейзеры. Правда, видела я их только издали.

В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать, мы с теткой работали на одной большой вилле в Таллуаре. По вечерам мы прислуживали за столом. Хозяин и его жена принимали множество гостей. А днем они ездили в Экс-ле-Бен играть в гольф. Хозяйка была изысканная белокурая дама. У них было четверо детей — две девочки примерно моего возраста и двое сыновей, девятнадцати лет и двадцати пяти, — старший отбывал военную службу в Алжире.

Тем летом он приехал в Таллуар в длительный отпуск. Это был юноша со светлыми волосами, спадавшими на лоб, и лицом, которое моя подружка Сильви назвала бы "романтичным". Он часто напускал на себя вид мечтателя или мученика, однако с братом и сестрами говорил приказным тоном и будил их с утра пораньше, торопя на теннисный корт или в яхт-клуб. По утрам в парке виллы братья устраивали то, что они называли "спортивными соревнованиями". Лежа на спине, они сгибали и разгибали руки. Побеждал тот, кто дольше всех продержится согнувшись и размахивая руками. Я стелила постель старшего брата, убирала его комнату и однажды заметила на тумбочке у кровати книгу, название которой помню до сих пор — "Как проходит время...".

Над его кроватью висела увеличенная фотография матери, а на письменном столе красовался кинжал в кожаных ножнах. Я часто видела, как он играет в теннис — каждый раз с другой девушкой. Насколько я поняла, он был любимчиком матери и сам питал к ней горячую привязанность. Ко мне он относился пренебрежительно, свысока. Однажды вечером сухо приказал подать ему апельсиновый сок. В другой раз, утром, велел — чуть любезнее, но так, словно это вполне естественно, — почистить его мокасины. А еще как-то он сказал: "Если увидите мамочку, передайте ей, что я проведу вечер в Женеве". Впервые мне довелось услышать, как кто-то произносит слово "мамочка" таким тоном. Я, например, говоря с другими о своей матери, просто сказала бы: "Передайте матери..."

Однажды часов в девять вечера я осталась с ним на вилле одна. Я работала в кухне — домывала посуду. Он сказал:

— Принесите-ка мне виски в гостиную.

Я поставила на поднос виски, бутылочку перье, лед и стакан.

В гостиной царил полумрак, лампа освещала только середину комнаты. Он сидел на диване. Я поставила поднос на длинный низенький столик, чувствуя на себе его пристальный взгляд. Он казался смущенным, почти робким.

— Тебе сколько лет?

Он задал этот вопрос как-то неожиданно. Я ответила: шестнадцать. Наступила пауза.

— А дружок у тебя есть?

Я сказала, что нет. Он отпил глоток виски. А я стояла перед ним столбом.

— У меня в твоем возрасте было полно девчонок...

Он говорил строгим назидательным тоном, как будто упрекал в чем-то. Мне захотелось поскорее уйти из гостиной. Но тут он сухо промолвил:

— А знаешь, ты красивая девушка...

И вдруг весь напрягся и пробормотал скороговоркой:

— Хотите пойти ко мне в спальню?

Сама не знаю, зачем я туда поднялась. Он зажег лампу у кровати. Взял меня за плечи и усадил на край постели. Потом стал целовать. Поцелуй был долгий, старательный, как у мальчишек, с которыми я целовалась в тринадцать лет "на выдержку", кто дольше; остальная компания засекала время по часам. Меня слегка удивило, что он, в своем возрасте, целуется так по-детски. Вдруг он резким толчком опрокинул меня на кровать и лег рядом, тесно прижавшись. И снова впился мне в губы тем же "поцелуем на выдержку". Потом чуть отодвинулся. Мы лежали бок о бок, и я не осмеливалась встать. Он закурил сигарету. Похоже, сильно нервничал. Он и мне предложил закурить, но я отказалась. Тогда он спросил:

— Ты и вправду настоящая девушка?

Что это означало — настоящая девушка? Я ничего не ответила.

— Я хочу сказать, ты... ты девственница?

Он произнес это холодно и настойчиво, прямо как врач. Я сказала, что не знаю. И отвернула голову к стене. Мой взгляд упал на фотографию его матери. Потом он лег на меня сверху. Я испугалась, что он меня придушит. Он терся об меня, но, поскольку был одет, ничего не происходило. Тогда он снова прибег к "поцелую на выдержку". Но я оставалась холодной как лед. Я чувствовала, что он в себе не уверен, а в голове у меня все время вертелся вопрос, который он задал мне строгим тоном врача или кюре. Я спрашивала себя, обращается ли он так же с другими девушками, например с теннисного корта. Он каждый раз играл с другой. Он по-прежнему лежал сверху, придавив меня. И настойчиво, но бестолково пытался целовать в шею. Он ужасно старался. Затем опять отодвинулся, и я подумала: с какой стати я с ним лежу, что я тут забыла? Его мать всё глядела на нас со стены.

— Хочешь, я прочту тебе что-то очень красивое?

Меня крайне удивил этот вопрос. Он протянул руку к тумбочке и взял оттуда книгу с тем самым названием — "Как проходит время...".

— Это так прекрасно!.. Вот отрывок "Ночь в Толедо"...

И он принялся читать все тем же странным голосом не то врача, не то священника. Описание ночи любви, которую провела одна пара в номере гостиницы в Толедо. "Они лежат, прильнув друг к другу, обнаженные... в невинной прохладе сада, а там, за стеною, испанская ночь..."

Он продолжал чтение: "Тело юноши, стоящего перед своей добычей... Братская схватка..."

Я не выдержала и захохотала. Он удивленно воззрился на меня, разинув рот. Положил книгу между нами. Внезапно его лицо окаменело, губы плотно сжались и стали еще тоньше обычного. А я всё хохотала и никак не могла остановиться.

— Убирайся отсюда, замарашка!

Он употребил это смешное старозаветное слово, наверняка желая унизить меня. Я встала, на минуту задержалась у двери. Посмотрела прямо ему в глаза, и он так и не смог заставить меня отвести взгляд. Его губы сжались еще плотнее. Похоже, он собирался обругать меня этим своим фальцетом. Или женским голосом, похожим на материнский. Или просто зашипеть как змея.

*

В те летние дни и вечера, когда тетка предоставляла мне свободу — это бывало два раза в неделю, — я ездила на автобусе в Анси. Остановка находилась там же, у большого платана, только через улицу, не доезжая церкви. До чего же приятно было ехать в обратную сторону от пансиона! Я выходила не на конечной остановке, а раньше. У "Казино".

Там я встречалась с Сильви, моей подружкой по пансиону. Мы назначали встречи в кафе "Ле Реган", с правой стороны, за улицей Пакье. Сильви была на два года старше меня. Она ушла из пансиона после рождественских каникул и, поскольку она умела печатать, ее взяли в префектуру на скромную должность машинистки. Летом, когда мы с ней ходили в кино на девятичасовой сеанс, я ночевала у нее дома. Тетка разрешала — с условием, что я вернусь в Верье-дю-Лак на следующее утро, ровно в семь часов, чтобы работать на виллах. Это у нее было святое.

Мы с Сильви болтались по улицам, по магазинам, ходили на пляжи Маркизатов. Часов в шесть вечера шли пить аперитивы на террасе "Таверны" под аркадами или в кафе "Казино". Самое приятное в это время дня было сознание, что впереди еще целый вечер до полуночи.

К концу дня перед ужином в "Таверне" собиралось много народа. Большей частью молодые люди и девушки, постарше нас, возвращавшиеся из спортклуба. Они заказывали аперитивы и какие-то мудреные коктейли. Другие останавливали свои открытые машины у края террасы и, не выходя, пили виски или апельсиновый сок, забравшись на спинки сидений. Парни за соседними столиками улыбались нам. Сильви была светлая блондинка, я — жгучая брюнетка, но глаза у нас были одинаково голубые. И еще я была, как сказал тот адвокат, "чертовски свеженькая"; правда, эти слова не внушали мне особой уверенности в себе.

Они приглашали нас к себе за стол. Иногда там сидело человек пять, иногда десять; некоторые были лет на двадцать старше нас. Со временем я познакомилась с ними со всеми... Жак, по прозвищу Маркиз, рослый блондин в черных очках; Пьер Фурнье, который прогуливал на поводке абиссинского кота и щеголял тростью с набалдашником; черноволосая Доминика — эта шествовала под аркадами с высокомерно-холодным видом, подняв воротник черной кожаной куртки. Говорили, что она ведет "богемную" жизнь в Женеве... Зази, Помпен Лаворель, белокурая Рози. Клод Брен и Пауло Эрвье; однажды вечером они повели нас в кино на "Прекрасную американку", фильм, который им жутко нравился и который они знали наизусть, так как, по их словам, видели его "пятьдесят три раза"... И множество других, чьи имена я уже и не помню. Но мы с Сильви слегка дичились их. И чаще всего сидели вдвоем, на отшибе. Сильви посвящала меня в свои планы. Она не желала оставаться в этих краях. Рассчитывала найти работу в Париже. Один из кузенов ее отца держал там кафе в квартале Вожирар. Это название — Вожирар — пробуждало во мне какие-то неясные мечты.

Ну а я? Сильви спрашивала, долго ли я еще пробуду в пансионе. Я очень надеялась, что нет. Мне хотелось работать, как она, в префектуре и больше не зависеть от тетки. Мы строили всякие планы. На будущий год Сильви что-нибудь придумает, чтобы вырваться в Париж. Снимет там комнату, и тогда я тоже приеду к ней, в квартал под названием Вожирар.

Мы, конечно, могли проводить вечера в компании тех, кто посещал "Таверну", — эти парни охотно приглашали бы нас в рестораны ужинать с ними, а то и в ночные кабаре Женевы. Но мы предпочитали общаться между собой.

Сильви была намного рассудительней меня. Она хотела только одного — уехать и устроиться на хорошую работу в квартале Вожирар. Я же говорила ей, что стремлюсь в Париж только ради одного — чтобы встретить там свою ВЕЛИКУЮ ЛЮБОВЬ. Здесь мне ее никогда не найти. Это ее смешило.

В девять часов мы шли в кино. То в "Сплендид", то в "Голливуд" на улицу Соммелье. А иногда и в другие кинотеатры, где билеты стоили чуть дороже, — в "Казино" или "Вокс" рядом с "Таверной". В перерывах мы покупали себе эскимо. Свои велосипеды мы оставляли в начале бульвара Пакье, прислонив их к дереву. В полночь все уже затихало. Мы неторопливо катили бок о бок к дому Сильви, вдоль берега озера, под покровом листвы проспекта Альбиньи.

*

То воскресенье в конце сентября, последнее перед началом учебного года, показалось мне особенно угнетающим. Я ждала автобуса. Мне пришлось ехать в пансион раньше обычного, в четыре часа, чтобы успеть к вечерней мессе.

Ночью, лежа в дортуаре, я никак не могла заснуть. Я уже отвыкла ложиться так рано. Сон пришел ко мне только в два или три часа ночи, да и то я время от времени вздрагивала и просыпалась, не понимая, где я и что я, под мертвенно-синим светом ночников.

В классе никто так и не сел рядом со мной, на пустующее место белокурой девочки из Крюзейя. Но я была рада этому. Снова я носила в кармане тюбик имменоктала. Все два месяца каникул, проведенных у тетки, я прятала его в тумбочке, засунув поглубже в ящик. Теперь все вернулось на прежнюю стезю. Но произошла странная вещь. Шел октябрь месяц, и вдруг я обнаружила, что не нуждаюсь даже в этом тюбике имменоктала, чтобы стойко держаться. Я аккуратно соблюдала дисциплину. Дортуар, класс, рабочая комната, школьный двор, столовая, часовня. Все это существовало тут, рядом, но совершенно не затрагивало меня. Я мысленно отсутствовала. Мне чудилось, будто я слушаю заезженную пластинку. И делала крошечное усилие, чтобы слушать эту надоевшую музыку и дальше, зная: скоро мои мучения кончатся.

Сестры-монахини заметили эту перемену. Я им улыбалась, но не слушала их. Однажды утром я вышла умываться совершенно голая, потом прошлась в таком виде через весь дортуар и легла на кровать. Будь у меня при себе пачка сигарет, я бы, пожалуй, так, лежа, и закурила, устремив взор в потолок. Сестры и воспитанницы изумленно таращились на меня. Хоть на минутку, но я развлеклась.

Настоятельница сделала мне выговор. Я стояла и улыбалась. Она возмутилась:

— Очнитесь наконец! Вы даже не слышите, что я говорю!

Мне показалось, что она сейчас схватит меня за плечи и начнет трясти, как будто хочет разбудить. А я была так далеко... Где уж мне было услышать ее.

*

За несколько дней каникул, на Праздник всех святых, я еще больше отдалилась от всего, что составляло мою жизнь в пансионе. Мне даже чудилось, что я и вовсе не возвращалась туда к началу учебного года, а прислала вместо себя своего двойника.

В полдень я ждала Сильви около префектуры. Мы шли в "Ле Реган" съесть по сандвичу. И опять строили планы на будущее, мечтали о Вожирере. Сильви явно дивилась тому, что я не учитываю в этих планах пансион, а я не смела признаться ей, что мысленно давно уже распрощалась с ним.

В два часа я провожала ее до префектуры, и мы договаривались о вечерней встрече. Чтобы, как и летом, сходить в кино.

Оставшись одна, я брела по проспекту Альбиньи, не зная, куда себя девать, как убить время. Кроме Сильви, мне не с кем было поговорить по душам. Я думала об отце. В Анси жил один человек, хорошо знавший его, — некий Боб Брюн; он держал кафе напротив почты. Я видела его только однажды, когда мне было двенадцать лет. Меня тогда срочно отправили в больницу с острым приступом аппендицита. Там мне сделали операцию, и я провела в этой клинике неделю. В день выписки за мной пришел тот самый Боб Брюн; он отнесся ко мне словно к родной дочери. Я видела, что он подписал какие-то бумаги в администрации и заплатил деньги. Лишь позже я поняла, что моя мать и ее муж из скупости попросили Боба Брюна забрать меня из больницы, а заодно и оплатить операцию. Мне до сих пор стыдно за них и за себя.

В пятницу, на День всех святых, я с бьющимся сердцем пошла на Королевскую улицу. Долго топталась у почты, потом наконец собралась с духом и вошла.

Обеденное время уже кончилось, в кафе никого не было. Кроме хозяина за стойкой, того самого Боба Брюна. Это был коренастый широколицый мужчина с огненно-рыжими волосами. Он совсем не изменился за эти годы. Он читал газету. Я подошла ближе. Он поднял голову.

— Мадемуазель?..

Он смотрел сквозь меня. Тогда я сказала:

— Я дочь...

Мне никак не удавалось выговорить имя отца. Я испугалась: вдруг он меня не вспомнит?

Он нахмурил брови и вгляделся в мое лицо. Потом спросил:

— Дочь Люсьена?

С минуту мы стояли и молча смотрели друг на друга. Мне казалось, я сейчас разревусь вовсю. Но тут он сказал мне, как самой обычной клиентке:

— Что будете пить?

И я сразу успокоилась. А он, не спрашивая, налил мне и себе коньяку.

Я сидела в кафе на Королевской улице, и голова у меня кружилась от коньяка и от всего, что он наговорил мне об отце. Горячая голова. В двадцать лет уже куролесил будь здоров как! И на войне продолжал в том же духе. Партизанил. А потом так и не смог приспособиться к мирной жизни. Промышлял контрабандой золота на швейцарской границе. Все было — и женщины, и приступы хандры. И любимые стихи, всегда одни и те же: "Вспомнишь печалясь, дни, что промчались..."[1]. А еще у твоего

1. Строки из стихотворения П. Верлена "Осенняя песня". Перевод А. Ревича.

отца была одна фирменная шуточка: пожмет, бывало, кому-нибудь руку и обязательно спросит: "Все пальцы при тебе?" Потом, одно время, была история с гаражом в Бальмет...

Он путался в словах, и я так ничего толком и не узнала, кроме того, что отец ходил по тем же улицам, что и я. Наверное, он тоже присаживался выпить стаканчик на террасе "Таверны". И смотрел фильмы в кинотеатре "Вокс". Когда я шла назад по Королевской улице, мне чудилось, что его призрак витает где-то рядом. Мать и тетка никогда не вспоминали о нем, словно хотели прочно забыть эту давно растаявшую тень. И мне стало ясно, что для них я была частью этой тени. Потому-то они и относились ко мне холодно и всегда глядели с подозрением. Они не любили меня. Да и я платила им той же монетой. В общем, мы были квиты.

Я даже не заметила, как проскочила весь проспект Альбиньи и миновала префектуру. Я шла и шла куда глаза глядят, хотя начался дождь. "Вспомнишь печалясь, дни, что промчались..." Надо бы мне выучить эти стихи.

*

В понедельник после Дня всех святых мы с Сильви условились встретиться, как всегда, в "Ле Реган". Я хотела рассказать ей об отце, но слова не шли у меня с языка. Накануне, когда мы гуляли вдвоем на бульваре Пакье, среди принаряженных людей, их детишек и собак, я совсем уж было собралась исповедаться ей. Но и тогда почему-то смолчала и шла, думая о том, что среди окружающих наверняка есть такие, что знали моего отца.

Вечером мы пошли в кино, но мне никак не удавалось сосредоточиться на фильме. Я должна была вернуться в пансион; впервые эта перспектива вызывала у меня смех. Как будто меня заставляли натягивать одежки, из которых я давным-давно выросла. Или как будто за эти три дня мне стало на десять лет больше.

*

Я ждала автобуса, стоя у платана. В полном одиночестве. Уже стемнело. Весь день я спрашивала себя, пойдет ли снег. Одни и те же события — первый снег, День всех святых, листопад, весенние ливни — происходили всегда в одно и то же время. И снова в дортуарах станет холодно, так холодно, что придется спать в одежде и пропадет всякая охота умываться ледяной водой. А перемены мы будем проводить — из-за снега — на крытом школьном дворе, где стоит ряд туалетов с незапирающимися дверцами. И я никому не могла признаться, что нахожу такую жизнь бессмысленной. Вот мой отец — он бы меня понял.

Мне снова почудилось, что его тень витает вокруг меня. Я уже не понимала, с какой стати торчу здесь, возле этого платана. Меня одолел нервный смех. Горячая голова. Приступы хандры. Я перебежала через дорогу.

Автобус остановился возле платана. Шофер, наверное, дожидался меня. Но на остановке было пусто. Я стояла по другую сторону улицы. В окнах виднелись тесно стоящие пассажиры и головы сидящих. Похоже, сегодня людей набилось больше обычного. Наконец дверь хлопнула, и автобус покатил дальше, одышливо тарахтя мотором. Скоро он минует виллу "Липы", замок Ментон-Сен-Бернар и кладбище в Алексе. Один и тот же неизменный маршрут. Я села в другой автобус, тот, что останав-

ливался у церкви и шел обратно, в Анси. В нем было всего три пассажира — парни в военной форме. Наверное, они возвращались в свою казарму, как я должна была вернуться в свой пансион. Они горланили вовсю, и я испугалась, что они начнут приставать ко мне. Когда автобус миновал поворот на Шавуар и покатил прямо, вдоль озера, меня вдруг охватила паника. Зачем я еду в Анси? Ведь у меня даже денег при себе нет. Я вышла на остановке у "Казино". Кругом ни души. За моей спиной тянулся проспект Альбиньи, пустынный, с оголенными, растерявшими листву деревьями. В призрачном свете фонарей улица казалась нескончаемо длинной, уходившей в никуда. Кафе "Казино" уже закрылось, но в окнах второго этажа блестел свет, виднелись силуэты людей, сидевших вокруг стола. Это был клуб, где несколько дам — владелицы вилл, на которых работали мы с теткой, — раз в неделю играли в бридж.

Свет горел и у входа в кинотеатр. Фонтан уже отключили. Ни одной машины на стоянке. Тишина. Казалось, кроме этих теней за окном да меня самой, в городе все повымерло. Я испытывала ощущение пустоты. Меня снова обуял страх. Я была совершенно одна, без всякого прибежища в этом мертвом городе. Я даже к Сильви прийти не могла. Там были ее родители. И мне пришлось бы с ними объясняться. Я не хотела ее компрометировать. А может, мне всё это снится и сейчас я очнусь? Только где очнусь-то? Неужто в дортуаре пансиона?

Я побрела по Королевской улице, надеясь застать в кафе того самого Боба Брюна, который знал моего отца. Попросить его помочь мне. Я зашагала быстрее, стараясь дышать спокойно и ровно. Но паника не отпускала меня. Улица Почты. Кафе было закрыто. Я повернула назад. Мои шаги звонко отдавались эхом на пустынной улице. Здесь было не совсем темно. В витрине книжного магазина горел свет. И у входа в отель "Англетер" тоже.

Я прошла весь бульвар Пакье, до самой "Таверны". Очутилась под аркадами. Вход в "Вокс" тоже был освещен. В окошечке кассы сидела женщина, продававшая билеты. Я побрела дальше, куда глаза глядят. У меня кружилась голова. Аркады уходили вправо, я тоже. Здесь мои каблуки стучали еще громче, чем на Королевской улице.

Я развернулась и зашагала обратно, к "Таверне". Заглянула в окно. В кафе было пусто. Только в глубине за столом сидели трое. Я узнала девушку на банкетке — белокурую Гаэль, мы с ней учились в школе Святой Анны. Гаэль уже и тогда красилась вовсю. Сейчас она работала в парфюмерном магазине на Королевской улице.

Я вошла и направилась к их столику. Гаэль и двое других изумленно таращились на меня. Наверное, выглядела я очень неважно, потому что один из парней спросил:

— Вам плохо?

Неоновые лампы, тянувшиеся вдоль стен, слепили мне глаза. Я не могла как следует разглядеть их лица. Один из них взял меня за плечо и усадил на банкетку рядом с Гаэль.

— Ну-ка, хлебните коньячку... Вам сразу полегчает...

Я пила коньяк маленькими глотками. Мне и впрямь становилось легче. Я понемногу привыкала к неоновым лампам. И снова все видела ясно и четко. Даже еще яснее прежнего, как в стереокино. Вот и голоса тоже зазвучали громче.

— Ну что, вам получше?

Он улыбался мне. Гаэль и его приятель тоже улыбались. Я наконец узнала обоих мужчин. Того, кто меня усаживал, звали Лафон; это был брюнет лет тридцати пяти, круглолицый, смешливый, всегда болтавший без умолку на террасе "Таверны" летними вечерами. Иногда он объявлял, что угощает всех присутствующих аперитивом, люди сдвигали столы, и он полновластно царил среди этого веселого сборища. Кажется, он занимался торговлей тканями — между Лионом и Швейцарией. Второй тоже был летним завсегдатаем "Таверны". Его звали Орсини. Он говорил, что живет в Женеве. Но больше о нем никто ничего не знал.

Гаэль спросила, что я тут делаю совсем одна. Я сказала, что опоздала на автобус и не смогла вернуться в пансион.

— Как! Вы, в вашем возрасте, еще живете в пансионе? — воскликнул Лафон.

Орсини был удивлен не меньше Лафона.

— А сколько лет вы ей дадите? — спросила Гаэль.

— Двадцать, — сказал Орсини.

— Вот и нет, ей шестнадцать, как и мне! — объявила Гаэль.

— Внимание, девушки! — возгласил Лафон, торжественно подняв палец. — Пошутили и хватит... Вам обеим двадцать один год. Вы совершеннолетние.

И верно, мы с Гаэль вполне тянули на двадцать один год.

— Завтра утром мы вас отвезем в пансион, — обещал мне Орсини.

Я втайне удивилась: почему только завтра утром?

— Ну конечно, — сказала Гаэль. — И ничего страшного — подумаешь, опоздала на автобус!..

Она была накрашена, как всегда, ярко — тени на веках, губная помада, волосы уложены так, словно только-только из парикмахерской. Красный лак на длинных ногтях. На среднем пальце правой руки ноготь был сломан. Я бы, конечно, предпочла встретить вместо нее Сильви. Но Сильви в этот поздний час давным-давно была дома.

— Поужинаете с нами? — спросил Орсини.

Меня охватило какое-то тупое безразличие. Я встала и пошла вместе с ними по галерее словно во сне. Все было легко, я не шагала, а скользила куда-то. Их машина ждала на углу Озерной улицы, и ее вид поразил меня — точно это был единственный автомобиль на весь город.

— Я ленюсь ходить пешком, — сказал Лафон.

Гаэль села впереди, рядом с ним. А нам с Орсини пришлось теснить-ся на заднем сиденье, половину которого занимал кожаный чемодан. Орсини приобнял меня за плечи. Лафон включил мотор. Когда машина тронулась с места, я вдруг захохотала, как ненормальная. Это наверняка была реакция на коньяк и на страх, который я недавно пережила. Может, этот страх скоро вернется ко мне? Я не хотела об этом думать, пусть все идет как идет, потихоньку-полегоньку. Я уже забыла, почему оказалась в этой машине.

*

"Савойя" была пуста, как и "Таверна". Метрдотель раздал нам меню. Я не хотела есть. Я часто проходила мимо этого ресторана, пересекая площадь Сен-Франсуа, и даже представить себе не могла, что однажды вечером... Мне казалось, что в "Савойе" бывают одни только богачи, например хозяева вилл, где работали мы с теткой.

Мужчины выбрали себе блюда. И Гаэль тоже. Меня удивил ее апломб: она заказала гусиную печенку и устрицы. Ей хотелось, чтобы я взяла то же самое, но меня мутило при одной мысли об этом. Тогда Лафон спросил, не хочу ли я мяса.

— Вы очень бледны, — заметил Орсини. — Вам обязательно надо поесть.

Он глядел на меня с участием и симпатией. Но можно ли было полностью доверять ему?

— Ты не должна отказываться от ужина, — шепнула мне Гаэль. — Это невежливо.

Она говорила вполне серьезно. Так, словно сама получила светское воспитание.

— А вы давно знакомы? — спросил Лафон, как будто угадав мои мысли.

— Мы вместе учились в школе, — ответила Гаэль.

— И, держу пари, вы научились в этой школе многим интересным вещам, — заметил Орсини с милой улыбкой, в которой однако крылось что-то двусмысленное.

Поскольку они настаивали, я в конце концов взяла себе фруктовый салат и мороженое. Лафон заказал шампанское. Я одна ничего не пила.

*

Когда мы вышли на площадь Сен-Франсуа, я испугалась, что они возьмут да и бросят меня здесь. Но тут Орсини снова обнял меня за плечи. И я успокоилась. Я была готова идти с ними хоть на край света.

Мы расселись в машине точно так же, как в первый раз. Гаэль обернулась ко мне:

— Ты насчет пансиона не волнуйся. У нас еще вся ночь впереди... Мне тоже завтра на работу к восьми утра...

Машина тронулась. Лафон хотел отвезти нас в "Сентра" на улицу Вожла. Рука Орсини по-прежнему сжимала мне плечи.

Ни души вокруг. Ни одной машины. У входа в кинотеатр "Казино" и на втором этаже свет уже погас. Когда я увидела проспект Альбиньи — безлюдный, безнадежно прямой в свете фонарей, — меня снова охватила паника.

На улице Вожла было темно. Только у входа в "Сентра" горела тусклая красная лампочка. При нашем появлении человек за стойкой вздрогнул, словно очнулся от дремы.

— Мы уже собирались закрывать...

— Ну вот видите! — весело возразил Лафон. — В последний момент всегда случаются приятные сюрпризы...

И мы сели за стол. Мне захотелось выпить, чтобы развеять страх, и я спросила, нельзя ли заказать виски. Гаэль потрепала меня по волосам нарочито покровительственным жестом.

— Ага, и ты туда же! Только пей хотя бы с содовой...

Я чокнулась с остальными и сделала большой глоток. Виски было горьким на вкус, но зато паника вмиг рассеялась.

Говорить нам больше не требовалось — человек за стойкой включил музыку. Гаэль приникла щекой к плечу Лафона и подмигивала мне, давая понять, что я должна так же вести себя с Орсини. Я была готова на все, лишь бы не терзаться страхом. Мой взгляд упал на плакат, ви-

севший над баром: "ОГРАДИМ ДЕТЕЙ ОТ ПЬЯНСТВА!" Мне стало смешно. Вот меня-то кто оградит, а? В голове вдруг как-то все смешалось. Тот тип на вилле в Таллуаре, который лежал на кровати и зачитывал мне "Ночь в Толедо". И фотография его мамочки — как он выражался — на стене спальни. Моя мать никогда меня не защищала. Единственный раз, когда ей пришлось провожать меня в пансион, она потащилась туда со мной к четырем часам дня вместо семи вечера, лишь бы отделаться поскорее. Каждое воскресенье я покупала себе две плитки черного шоколада, потому что мы буквально подыхали с голоду в этом пансионе. И вот, в тот воскресный день мать велела своему мужу остановить машину возле булочной, и мы вошли туда, чтобы купить шоколад. Подойдя к кассе, она вдруг обнаружила, что у нее нет при себе денег. Я подумала, что она сейчас выйдет и возьмет их у мужа. Но она смущенно пробормотала:

— Не говори ему ничего... Я куплю тебе шоколад в другой раз.

Она не хотела просить у него денег. Предпочла сэкономить даже эту малость, а меня оставить голодной. Я ничего для нее не значила. Эта история с шоколадом потрясла меня до глубины души.

— Вы что-то загрустили, — сказал Орсини.

Они, все трое, молча глядели на меня. Гаэль уставилась на мои туфли.

— Тебе бы не мешало купить себе новую обувку...

Не знаю, хотела ли она преподать мне урок элегантности или просто говорила что на ум придет, лишь бы разрядить атмосферу.

— Вот в "Седрике" есть очень красивые туфли... Я тебе покажу завтра...

Под конец они стали танцевать. Гаэль с Лафоном. Потом она же с Орсини. Я-то сказала, что не умею. Лафон и Орсини, оба настаивали, но я отказалась. Я их больше не слушала. Слушала только музыку, очень печальную, приглушенную, и мне чудилось, будто она звучит не в зале, а внутри меня. Одна из тех мелодий, которые не различимы за гулом разговоров, но которые потом, много позже, всплывают откуда-то в тишине и живут в тебе до тех пор, пока все не заглушит новый шум. Их лица расплывались у меня перед глазами, они шевелили губами, беседуя меж собой, но я не слышала ни звука. Я забыла, где нахожусь, что меня привело сюда. А они все танцевали и танцевали. Гаэль и Орсини. Лафон и Гаэль. А я вся целиком воплотилась в ту далекую музыку, которая вроде бы вот-вот должна была оборваться, но звучала опять и опять, с каждым разом все медленнее, как будто хотела, чтобы в этой наступившей тишине ее хоть кто-нибудь еще услышал.

*

На улице Вожла я вдруг заметила исчезновение своей дорожной сумки, в которой по воскресеньям увозила в пансион чистое белье и плитки шоколада. Видимо, я забыла ее в "Таверне".

На этот раз за руль сел Орсини, а я рядом с ним. Лафон попросил отвезти их с Гаэль в "Англетер". А затем Орсини должен был подъехать со мной за сумкой в "Таверну", если она еще не закрылась.

Машина затормозила около отеля "Англетер", и Гаэль опять потрепала меня по волосам.

— Ну, до скорого, подруга! — бросила она мне.

Слегка пошатываясь, она шла под руку с Лафоном по усыпанной гравием дорожке, ведущей в отель. Орсини развернулся, и мы поехали по Королевской улице.

"Таверна" как раз закрывалась. Официанты уже водрузили стулья на столы, и один из них подметал зал при свете единственной неоновой лампы. Моя сумка стояла на виду, на столике.

— Ну что, отвезти тебя в пансион? — спросил Орсини.

Он уже звал меня на "ты". Когда он вырулил на проспект Альбиньи, я подумала: вот сейчас машина помчится по этой пустой и прямой улице, освещенной фонарями, а затем проделает привычный маршрут вечернего воскресного автобуса. Однако, поравнявшись с префектурой, мы вдруг свернули куда-то вбок. И мне померещилось, что моя жизнь тоже сделала резкий поворот. Кончено прежнее унылое бытие, где тебе ничего не светит, где отираешься на обочине, в стороне от главного, словно в зале ожидания.

Пока мы ехали по безлюдным улицам, мне казалось, что машина все замедляет и замедляет ход и я опять слышу ту недавнюю музыку.

Он остановился у входа в "Англетер". Мы прошли по гравиевой дорожке в холл. За стойкой портье никого не было. Я поднялась по лестнице вслед за Орсини. Коридор на втором этаже был освещен ночником. Ключ торчал в двери номера.

Он пропустил меня вперед. Просторная полутемная комната. В глубине светился прямоугольник — открытая дверь в ванную. В левом углу лежали на диване Гаэль и Лафон, но я едва видела их. Гаэль стонала все громче и громче. Орсини запер дверь на ключ и подвел меня к кровати со спинками из медных прутьев. Позже, когда все кончилось, он высказал мне свое удивление. По его словам, я даже не была девственницей.

*

Я так и не вернулась в пансион и никогда больше не видела ни мать, ни тетку. Да и невелика потеря! Боб Брюн, старинный друг моего отца, нашел мне работу — официанткой в чайном салоне на Озерной улице под аркадами. Мне отвели крошечную комнатку для жилья в том же здании, что и салон, на верхнем этаже.

В январе Сильви уехала в Париж. Она рассказала мне, что будет работать у своего дяди в квартале Вожирар и вызовет меня к себе, как мы с ней давно уже задумали. Через две недели я получила от нее открытку: "Все хорошо. До скорого. Целую". Адреса своего она не указала. На парижском штемпеле значилось: "Улица Ренод". И больше от нее никаких вестей не было. Она меня наверняка забыла.

Зима уже прошла, дни текли один за другим, монотонной чередой. По будням в чайном салоне почти никого не бывало. Посетители приходили в основном по субботам и воскресеньям, на масленицу и на пасхальные каникулы. Теперь я носила не школьную форму с черным фартуком и красной каемкой на вороте, а костюм официантки — широкую черную юбку и белый кружевной передничек. Одни и те же движения изо дня в день. Одни и те же слова. Уже не дортуар, занятия, столовая и часовня, а шоколадные эклеры, чай с молоком, эспрессо, фисташковое мороженое с клубникой, миндальное пирожное, "Еще немного сахару, мадемуазель!". По вечерам, после работы, я была вольна гулять по ули-

цам и ходить в кино. В те зимние и весенние месяцы я ни с кем не виделась. Предпочитала одиночество. В пансионе я целых пять лет провела среди чужих людей, ни минуты не оставаясь одна. Все, что я делала, происходило сообща, в группе — и еда, и сон, и умывание... Вот отчего первое время я не могла нарадоваться на свою отдельную комнату и часто вскидывалась по ночам от страха, что опять лежу в общей спальне, под синим светом ночников. Я торопливо включала свет, чтобы успокоиться. Нет, слава богу, все хорошо, с пансионом покончено навсегда.

Гуляя по вечерам, я вполне могла бы заходить в городской парк или на Марсово поле, к проспекту Альбиньи, то есть в места, привлекающие туристов, с видом на озеро. Но я неосознанно шла в обратную сторону. Ноги сами несли меня на Вокзальную площадь.

Ближе к ночи я входила в здание вокзала и садилась на скамью у перрона, откуда уходили поезда на Париж. Я воображала, будто сейчас сяду в такой поезд и оставлю здесь все, что доселе было моей жизнью. Но Сильви бросила меня, и, приехав в Париж, я бы отправилась еще дальше, в какую-нибудь страну, где не говорят по-французски, чтобы уж разом сжечь за собой все мосты.

Потом я возвращалась в свою комнатку. По дороге, на Королевской улице, меня охватывало уныние. Нет, видно, мне суждено до конца дней прозябать в этом городишке и никогда не встретить человека, который увлек бы меня за собой в другую жизнь. И я со страхом думала, что нетерпение, гнавшее меня прочь отсюда, будет слабеть день ото дня.

*

Но вот наступило теплое время. Лето моих семнадцати лет. В июне хозяин салона предупредил меня, что со следующего месяца ему официантка не требуется. Тогда я зашла в отель "Империал" к портье, которому рекомендовал меня Боб Брюн. Я сказала, что могу работать у богатых постояльцев отеля, если кому-то из них понадобится няня для детей. Или, может, у него есть место официантки, горничной...

Портье внимательно оглядел меня и пообещал сделать все возможное, чтобы найти мне работу. Потом добавил:

— Ну, вы далеко пойдете...

И повторил еще раз:

— Вы далеко пойдете...

Не знаю, может, он просто хотел меня приободрить. В тот день я что-то совсем раскисла. Будущее представлялось мне мрачным и безнадежным. Но три дня спустя портье сообщил, что рекомендовал меня одной даме, живущей в "Империале".

Ее звали мадам Эль-Кутуб, ей было лет семьдесят, а то и больше, хотя выглядела она на пятьдесят. Дама жила и в Лозанне, и в Париже, а на лето приезжала сюда и останавливалась в "Империале". Я должна была состоять при ней чем-то вроде компаньонки. И еще ухаживать за ее собакой.

При первой же встрече с мадам Эль-Кутуб меня поразило, что она совершенно не похожа на здешних богатых буржуа — обитателей вилл у озера. Она сразу же заговорила со мной по-свойски, как будто я приходилась ей дочерью или внучкой; у нее был какой-то странный акцент — портье назвал его "акцентом парижских предместий". И еще он рассказал мне по секрету, что в двадцать лет она работала танцовщицей. В данный момент она была вдовой.

*

Июль месяц, который я провела с ней, стал для меня единственным светлым периодом того лета. Нужно сказать, что мои обязанности оказались куда легче утомительной работы вместе с теткой на виллах в прошлые летние сезоны и, уж конечно, легче моей службы в чайном салоне, где приходилось целыми днями быть на ногах.

Я выгуливала собаку мадам Эль-Кутуб; это был боксер, хозяйка звала его Бобби-Каторжник и часто говорила, что у него "бандитская морда". Затем я составляла компанию самой мадам Эль-Кутуб за обедом на просторной террасе ресторана "Империал", с видом на озеро. До этого я готовила еду для пса, кормила его в комнате и приводила к хозяйке в ресторан. С четырех до семи я опять гуляла с ним. Потом провожала мадам Эль-Кутуб в казино. Она просиживала там до одиннадцати вечера — как объяснил мне портье, за игрой в баккара. В одиннадцать я встречала мадам Эль-Кутуб у казино и провожала в "Империал". Тут она вручала мне конверт, где я каждый раз находила три стофранковые купюры. И еще голубой листочек с вытесненным в левом верхнем углу адресом:

ЭЛЬЕТТ ЭЛЬ-КУТУБ
авеню Маршала Монури, 1
Париж XVI

А поперек листка красовалось написанное ее крупным почерком лишь одно слово: "Благодарю".

В первый день я решила, что это месячная зарплата, и сказала ей, что она может рассчитаться со мной в конце месяца. Но она только пожала плечами и ответила:

— Слушай, малышка, лучше получать плату каждый день. Ты уж поверь моему опыту. Так оно будет надежнее...

Дважды в неделю я сопровождала ее и собаку на такси в Лозанну. Бóльшую часть времени она жила там в отеле "Бо Риваж". Впрочем, с этого года она решила прочно осесть в Лозанне и после нынешнего отдыха в Анси больше не ездить за границу. Она объяснила мне, что Франция и Париж вызывают у нее слишком много воспоминаний. А в Лозанне, по ее словам, время остановилось навсегда, и там ни о чем больше не думаешь. "Старые женщины вроде меня, прожившие несколько жизней, на склоне лет приезжают в Лозанну, чтобы здесь окончить свои дни".

Такси доставляло нас в отель "Бо Риваж", где мадам Эль-Кутуб встречала друзей, с которыми играла в канасту. Я же гуляла с собакой в парке отеля. Миновав теннисный корт, мы шли по дорожке вдоль травянистого склона, где тянулись ряды крошечных надгробий — могилы собак с их кличками и эпитафиями на разных языках — английском, французском, немецком. Судя по датам, эти собаки жили в первой половине века и были родом из многих стран, одна даже из Америки. Значит, в Лозанне кончали свои дни не только женщины, подобные мадам Эль-Кутуб. Собаки тоже.

Ужинала я в отеле в обществе Бобби-Каторжника. В одиннадцать вечера такси забирало нас троих и увозило обратно в Анси. В такие дни мадам Эль-Кутуб платила мне пятьсот франков.

Я привязалась и к ней, и к собаке. Во время наших прогулок в парке отеля "Империал" или в "Бо Риваж" пес изредка останавливался и

бросал на меня странный взгляд. Казалось, он не принимает меня всерьез и хочет убедить, что мы с ним оба в надежных руках его хозяйки. Лишь бы только это длилось и длилось. В Анси я часто уводила его часам к десяти вечера на прогулку подольше. Мы с ним шли до Вокзальной площади. На обратном пути мне даже не приходилось брать его на поводок. Видно, он хорошо разбирался в жизни, не хуже, чем сама мадам Эль-Кутуб.

В такси, увозившем нас в Лозанну, она очень мило беседовала со мной, расспрашивала о моей жизни. А однажды потрепала по плечу и с улыбкой сказала:

— Ну, малышка, я вижу, ты сделана из того же теста, что и Эльетт Эль-Кутуб.

Тогда я не поняла, что она имеет в виду. Она объяснила, что мужчины всегда ублажали ее "со всех сторон", и, как ей кажется, меня ждет то же самое, хотя внешне мы совсем разные. В моем возрасте она была блондинкой с изумрудными глазами. Она хотела бы дать мне несколько хороших советов, но боялась, что это бесполезно: со времен ее молодости мир сильно изменился. Мужчины стали какие-то ненастоящие, скупые, подозрительные. И сущие голодранцы. Я поведала ей, что меня интересуют не деньги, а ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ.

— Ну, знаешь ли, великой любви деньги не помеха!

Она вдруг задумалась и погрустнела. По дороге в Лозанну шофер такси обычно включал радио. Тем летом часто передавали песенку, которая очень нравилась нам обеим, мадам Эль-Кутуб и мне:

Любовь короче дня, короче дня.
День минул, и любовь оставила меня...

*

Однажды утром, когда я пришла в отель, портье сообщил, что мадам Эль-Кутуб здесь больше не живет. Уехала ночью, вместе с Бобби-Каторжником, без всяких объяснений. Она оставила для меня конверт, а в нем тысячу франков стофранковыми купюрами и крупно выведенное "благодарю".

Меня ужасно опечалил ее отъезд... Странная манера — исчезать вот так, внезапно... Во все последующие дни я много раздумывала о мадам Эль-Кутуб, о ее собаке, о Сильви, о моем отце. Как-то вечером ноги сами принесли меня к вокзалу, а оттуда в кафе на Почтовой улице.

Боб Брюн подводил счета у себя за стойкой и собирался закрывать кафе. Он обрадовался мне — по его словам, я пришла очень кстати. Он как раз нашел кое-какие вещи, принадлежавшие моему отцу, и хотел отдать их мне. Коричневый кожаный саквояж. В нем лежали книги, фотографии, револьвер и коробочка с патронами. Вынув револьвер, он сказал, что отец пользовался им во время войны, ну и "после". Он был великолепным стрелком. Боб Брюн непременно хотел показать мне, как действует этот револьвер, вернее, "автоматический пистолет". Хотя я не люблю оружие, я все же внимательно выслушала его. В конце концов, если хочешь лучше понять неизвестного тебе отца, нужно попытаться пройти по его следам, проделать те же движения, что и он. На большинстве фотографий отец был снят с какой-то женщиной. И ни разу — с моей матерью.

По вечерам я стала читать книги, которые наверняка читал и он, раз они лежали в его саквояже: "Улица Кота-рыболова", "Жизнь Мермоза", Справочник альпиниста, Правила маскировки.

И еще тоненькую книжицу в бледно-зеленой обложке — "Антологию поэзии XIX века", где он подчеркнул две строки:

Вспомнишь печалясь,
Дни, что промчались...

Но все это не помогло мне лучше узнать его.

В конце августа портье "Империала" сообщил мне, что одна очень богатая супружеская пара из числа постояльцев ищет няню для своих детей. Месье и мадам Фредерик Аспен. Им обоим было лет по тридцать. Мадам, высокомерная блондинка, всегда выглядела надутой и недовольной. Она не сказала мне ни слова, да я ее, можно сказать, почти и не видела. Ее муж не понравился мне с первого взгляда — француз, такой же спесивый, с манерами избалованного дитяти. Он постоянно снимал теннисный корт отеля для себя одного, так как не желал, чтобы кто-то играл там в его отсутствие. Еще он арендовал скутер и целыми днями занимался вместе с женой водными лыжами. Нрав у него был крутой, но при этом он стремился нравиться тем, кого считал ниже себя. Мне, например, он заявил:

— Нет-нет, не зовите меня "месье". Это глупо, какие между нами могут быть церемонии!

И он обволакивал меня презрительным и в то же время насмешливым взглядом из-под тяжелых век. Но я упрямо обращалась к нему "месье". У него были белокурые вьющиеся, почти курчавые волосы, загорелая кожа и голубые глаза; портье сказал мне, что он похож на "наследника итальянской короны". Как будто я знала, кто это такой.

В течение трех дней я ухаживала за их двумя детьми. Водила купаться в бассейн спорткомплекса. Потом мы шли обедать на террасу ресторана, и я укладывала их спать в детской. В пять часов — снова бассейн. В полвосьмого — ужин в детской, рядом со спальней родителей. В девять — отход ко сну. До полуночи я ждала возвращения месье и мадам Аспен, читая одну из книг моего отца — "Кот-рыболов".

Через три дня они уехали вместе с детьми домой, в Женеву. Однако через день месье Аспен позвонил в "Империал" моему портье. Им нужна была няня в Женеве на неделю, пока не вернется из отпуска гувернантка их детей. И они хотели, чтобы это была я. Сама не знаю, зачем я согласилась. Наверное, просто хотела подработать перед тем, как окончательно уехать из этих мест. Куда, собственно? Я понятия не имела, но мне хотелось сбежать отсюда как можно дальше. Да и портье советовал мне ехать к ним. Он питал к "месье Фредерику" необыкновенное почтение — может, из-за его сходства с наследником итальянской короны? Он рассказал мне, что дед месье Фредерика, тоже француз, еще до войны нажил огромное состояние в Америке благодаря изобретению особой пластмассы, которую потом часто использовали в промышленности. Лет десять назад месье Фредерик унаследовал от деда эти деньги. На них он жил то в Швейцарии, то в Америке и был настолько богат, что считал себя как бы выше всех законов и условностей, которым подчиняется большинство простых смертных. Он часто отдыхал по нескольку дней в Анси, потому что в детстве его возила туда мать. Вообще, это пря-

мо трогательно — до чего же он любил свою мамашу. Слова портье должны были бы насторожить меня. Тот тип на вилле в Таллуаре тоже обожал свою мамочку.

*

Мне нужно было явиться к месье и мадам Аспен до ужина. В воскресенье к вечеру я ждала на автостанции женевский автобус. Поодаль, на Вокзальной площади, уже фырчал, готовый отойти, другой автобус — тот, что отвозил меня по воскресеньям в пансион.

У меня вдруг возникло какое-то дурное предчувствие. Я старалась подавить его. В конце концов, никто меня не заставлял ехать в эту Женеву. Но я убеждала себя, что тысяча пятьсот франков за неделю на дороге не валяются. И я села в автобус со своей сумкой, той самой, с которой ездила в пансион; кроме одежды и туалетных принадлежностей, в ней лежали вещи моего отца, которые я хранила как талисман, — фотографии, книги и револьвер с патронами.

Автобус тронулся. В нем было гораздо меньше пассажиров, чем в том, которым я возвращалась в пансион. Несколько мест остались незанятыми. Я села сзади и поставила сумку на соседнее сиденье.

Было еще светло. Автобус сделал остановку в Крюзейе. Я вспомнила белокурую девочку, мою соседку по парте, которая жила здесь. Что с нею сталось? Я все еще хранила ее тюбик имменоктала, вот только сегодня не захватила его с собой. Он остался в моей комнате на Озерной улице.

Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Граница. На таможне у нас даже не проверили документы. Автобус пересекал в сумерках предместья незнакомого мне города. Наконец он прибыл на автостанцию.

Я показала служащему, еще сидевшему за окошечком кассы, адрес месье и мадам Аспен и спросила дорогу. Он сказал мне, что это за парком Фонтанов, нужно немного пройти пешком. Тогда я взяла такси. Попросила шофера остановиться на набережной, в нескольких сотнях метров от дома месье и мадам Аспен. Мне хотелось пройтись, чтобы хоть немного унять свой неясный страх. Уже стемнело. В свете фонарей берега Женевского озера ничем не отличались от берегов озера Анси. Слева от меня тянулась кованая ограда какого-то большого здания — наверное, префектуры. Тротуар, платаны — всё здесь было как на проспекте Альбиньи в Анси. Я шагала по улице, неся свою дорожную сумку — точно так же, как в другие воскресные вечера, когда возвращалась в пансион. Да, видно, ничто и никогда не изменится в моей жизни. Все повторялось — в одни и те же часы, в одной и той же обстановке. Портье когда-то сказал мне: "Вы далеко пойдете!", но сколько уже лет я бегаю по кругу, и никак мне оттуда не вырваться... Меня захлестнуло унылое чувство неприкаянности и одиночества, которое я даже не пыталась побороть. А ведь я знала, что для этого нужен сущий пустяк — дружеский голос, который дал бы мне совет, заботливая рука на плече...

Я позвонила у ворот. Спустя несколько долгих минут под чьими-то шагами заскрипел гравий на дорожке. Мне открыл сам месье Аспен. Он был такой же курчаво-белокурый, как в Анси, только загорел еще больше. Здороваясь со мной, он как-то странно ухмыльнулся. Да и взгляд его из-под тяжелых век так настойчиво пронизывал меня, что мне стало не по себе. Похоже, он крепко выпил. На нем был пуловер, в вороте рубашки виднелся пестрый шелковый шарф. Мы прошли по аллейке, освещенной фона-

рем, висевшим у входа в дом — белое здание с низкими французскими окнами и крыльцом с колоннами, куда более внушительное и роскошное, чем виллы, где работали мы с теткой. Внутри, у лестницы, он мне сказал:

— Детей сегодня здесь нет. Моя жена завтра привезет их из Гштада[1]. Если хотите, я вам покажу вашу комнату.

Он говорил это в обычной своей небрежно-ленивой манере, с улыбочкой, которая создавала впечатление, что он либо презирает вас, либо просто высмеивает.

Пол вестибюля был выложен мраморными черно-белыми ромбами. Он стал запирать изнутри на ключ входную дверь из кованого железа. Мне вдруг почудилось, что меня заманили в ловушку. Потом он направился к лестнице.

— Идемте, я провожу вас в вашу комнату.

Я шла следом за ним по лестнице. Когда он стал запирать дверь там, внизу, меня охватила паника, но чем выше я поднималась, тем становилась спокойнее. Дойдя до площадки, он сказал:

— Тут у меня гостит друг. Не хотите ли выпить с нами?

Это предложение застало меня врасплох.

— Ну... как вам угодно, месье...

— Только не зовите меня "месье"! Хотя бы сегодня вечером...

Он все еще улыбался этой своей гаденькой улыбочкой.

Мы вошли в небольшую гостиную с деревянными панелями. Одну стену занимали книжные шкафы. У камина стоял диванчик. Горела люстра. И лампа на камине. На диване сидел мужчина. При нашем появлении он встал. Блондин среднего роста, того же возраста, что и месье Аспен, — лет тридцати пяти. Он был в блейзере и при галстуке. На запястье поблескивала золотая цепочка. Он протянул мне руку и представился:

— Я Ален. А вы — подружка Фредерика?

Он говорил тонким, надтреснутым голоском. И лицо у него было какое-то помятое и нездоровое — лицо молодого старичка.

— Это наша новая няня, — сказал месье Аспен.

Этот тип тут же смерил меня презрительным взглядом: что, мол, за ничтожество. И покачал головой.

На низеньком столике — поднос с полупустой бутылкой коньяка. Рядом два бокала. И пепельница с потухшей сигарой.

— Садитесь, — сказал мне месье Аспен.

Я села в кожаное кресло возле дивана, держа сумку у себя на коленях.

— Да вы устраивайтесь поудобнее!

Он взял у меня сумку и поставил на пол между креслом и диваном. Тот, другой, все еще пристально разглядывал меня; он улыбался, но улыбка была фальшивой, его холодные глаза в ней не участвовали.

— В общем, тот итальянский ресторан — не бог весть что, — сказал ему месье Аспен.

Над камином висел женский портрет в раме. Светлое лицо, сияющая улыбка. Наверняка его мать, которую он так любил и у которой был любимчиком — если не единственным сыном.

— Как удачно, что мы не поехали охотиться в Клуб-58, — ответил второй. — Тем более сейчас, когда к нам пожаловала столь очаровательная особа...

1. Гштад — город в Швейцарии.

Месье Аспен как-то принужденно улыбнулся; он глядел на своего друга с восхищением, почти влюбленно. Я чувствовала, что их связывают темные, сомнительные отношения.

— Ну что ж, — продолжал тот, — поскольку детей дома нет, пускай она будет нашей няней.

— И как ты себе это представляешь? — со смехом спросил месье Аспен.

В этот момент я окончательно убедилась, что они оба пьяны и готовы на все. Этот самый друг явно тоже считал себя, по выражению портье, выше законов и условностей, которым подчиняются простые смертные. А я была для них всего лишь ничтожной простой смертной.

Месье Аспен встал и выключил люстру. Теперь диван окружала мягкая полутьма. Второй присел на ручку моего кресла, и я почувствовала его руку на своем затылке.

— А ну-ка, — сказал он, — покажите нам, на что способны няни.

Месье Аспен опустился на диван, поближе ко мне, словно готовясь созерцать интересное зрелище. Рука его друга все тверже нажимала мне на затылок. Он хотел заставить меня опустить голову и согнуться, но я застыла, как камень, и не меняла позу.

— Мне бы хотелось, чтобы это произошло в моей комнате, — сказала я, медленно и раздельно.

Они оба явно удивились моему хладнокровию.

— Ну конечно же... Она права, — сказал друг. — В ее комнате это будет гораздо приятнее.

И его хватка ослабла.

Я встала. Месье Аспен тоже. Я взяла свою сумку.

— Ваша комната на третьем этаже, — сказал месье Аспен.

— Постарайся хорошенько подготовить нашу няню к моему визиту! — сказал другой своим ломким противным голоском. — Я приду через полчасика...

Он опять улыбался мне.

— Сделаю все, что смогу, — ответил месье Аспен.

— Вот-вот... именно... что сможешь...

И он разразился хохотом, еще более пронзительным, чем его голос.

Мы вышли из гостиной. И снова я стала подниматься наверх, следом за месье Аспеном.

Просторная комната, широкая кровать, стены затянуты бледно-желтой тканью. Другая, распахнутая дверь вела в ванную. Между двумя окнами — трюмо с множеством женских мелочей: головными щетками, пудреницами, флаконами духов. Я с первого же взгляда поняла, что это не моя комната. В двери торчал маленький ключ. Он запер дверь на ключ. Спрятал ключ к себе в карман. С каждым мгновением я становилась все спокойнее.

— Можно мне пройти на минутку в ванную, месье?

Он кивнул. И сунул мне в руку пятидесятифранковую бумажку, как будто чаевые давал.

— Ладно, сегодня можешь называть меня "месье"... Так даже приятнее...

Я зашла в ванную со своей сумкой. Закрыла дверь и включила воду. Вода шумно текла из крана. Я присела на край ванны, порылась в сумке, вынула револьвер и коробку с патронами. Зарядила револьвер. Все равно, что бы ни произошло, меня ждет одно и то же. Одни и те же поступки. Одни и те же времена года. Одни и те же озера. Одни и те же автобу-

сы воскресными вечерами. Понедельник. Вторник. Пятница. Январь. Февраль. Март. Май. Одни и те же дни. Одни и те же люди. В одни и те же часы. "Все пальцы при тебе?" — так говаривал мой отец.

Я вошла в комнату. Он ждал меня, сидя в кресле рядом с трюмо. Он испуганно дернулся. Вытаращил глаза, подняв наконец свои тяжелые веки. Наверное, я унаследовала от отца талант к стрельбе, потому что убила месье первым же выстрелом.

III

Я, конечно, забыла многие подробности того времени, но и теперь, думая о нем, все еще слышу цокот копыт.

Я приехала в Париж в январе месяце, мне было тогда девятнадцать лет. Я вернулась из Лондона. Один австриец, с которым я познакомилась осенью в Ноттинг-Хилле, дал мне ключ от своей парижской студии[1]. Сам он намеревался долго пробыть на Майорке и хотел, чтобы в его отсутствие в квартире кто-нибудь жил. Я согласилась на это предложение.

Раньше мне никогда не приходилось бывать в этом квартале. Улица Шовло возле метро "Порт-де-Ванв". Широкое окно выходило в садик с небольшим павильоном; и домик, и сад выглядели давно заброшенными. Очутившись в этой студии совсем одна, я спросила себя, смогу ли прижиться здесь. Я уехала из Лондона нежданно-негаданно; ничто меня там больше не удерживало. А тут, в Париже, в незнакомом квартале, я была полностью отрезана от остального мира.

Мне долго не спалось в первую ночь на новом месте. Вокруг стояла мертвая тишь, как будто дом был необитаем. А поутру, еще на заре, меня разбудил цокот копыт. Я подумала: наверное, какой-то кавалерийский полк проходит мимо дома по бульвару.

Стояла последняя неделя января, погожая и ясная. Небо сияло прозрачной голубизной. И дни шли, сменяя друг друга, под этим неизменно голубым небосводом и приветливым солнцем. У меня оставалось еще две тысячи франков, я их получила, когда они уволили меня из "Баркерза"[2]. На эти деньги можно было продержаться целый месяц, а потом придется ехать обратно в Лондон.

Через два или три дня после моего приезда часов в одиннадцать утра зазвонил телефон. Я как раз только что проснулась. Женский голос спросил Георга Крамера — так звали австрийца. Я сказала, что он в отъезде. Пауза. Затем женщина осведомилась, кто я такая. Я ответила, что стерегу квартиру в отсутствие хозяина. Она оставила свое имя и номер телефона, попросив передать ему, если он объявится. В любом случае она перезвонит через пару недель.

Я подумала, что этот аппарат на ночном столике мне совершенно не нужен. Я так давно покинула Францию, что вряд ли кто-нибудь помнит меня. Напрасно я прикидывала, кому бы позвонить, — нет, решительно некому. Ничто не смутит мирное течение моей жизни. Однако где-то после шести вечера меня начинала донимать такая тоска, что я поневоле спрашивала себя: а не позвонить ли той женщине, что оставила свой те-

1. Так во Франции называют однокомнатную квартиру, иногда совмещаемую с мастерской художника.
2. Сеть английских обувных магазинов.

лефон? Я тогда записала его на клочке бумаги, который сунула в ящик ночного столика. И я открывала этот ящик. Разглядывала номер. Отёй 15—28[1]. Я уже знала его наизусть. Ну и потом, вдруг этот самый Георг Крамер позвонит мне, чтобы узнать, все ли в порядке. Да и сама женщина обещала перезвонить сюда. В общем, мои дела не так уж плохи.

После полудня я садилась в метро на станции "Порт-де-Ванв" и ехала на Монпарнас. Оттуда я шла пешком улицей Ренн и улицей Вожирар к Люксембургскому саду и Латинскому кварталу. Все то же голубое небо и морозное январское солнце. Я бродила по книжным лавкам и кафе бульвара Сен-Мишель. Вид студенческих ватаг на бульваре слегка успокаивал меня. Как мне хотелось тоже носить ранец за спиной, сидеть на лекциях, жить по расписанию! Я, конечно, могла бы гулять по правому берегу, со стороны Елисейских Полей и Больших бульваров, но сейчас мне был милее этот квартал. В конце концов, именно здесь обреталось большинство моих сверстников.

Еще я ходила в кино, часто на два сеанса в день, и, сидя по вечерам среди других людей в тесных зальчиках улицы Шампольона, забывала о своем одиночестве еще до начала фильма. Обратный путь тоже пролегал по улице Вожирар, затем по улице Ренн до Монпарнаса. И пока я ехала в метро, в полупустом вагоне, тоска моя все росла и росла. Мне чудилось, будто студия Георга Крамера находится где-то за тридевять земель, и это впечатление крепло по мере того, как я выходила из метро на "Порт-де-Ванв" и в течение нескольких минут шла к дому.

После первых дней, отмеченных солнцем и голубым небом, зима снова вступила в свои права. Серая хмарь и январские холода усугубили мою хандру. Все люди моего возраста, среди которых я пыталась раствориться в кафе и маленьких кинотеатрах, казались мне теперь чужаками. Или, вернее, я сама была им чужой. Я слышала их разговоры, но больше не понимала их языка и была уверена, что они тоже не поймут меня. Я старалась разобраться в своих чувствах — ведь прежде я никогда не дичилась людей. Это началось в Лондоне, на следующий день после того, как они уволили меня из "Баркерза". Я проработала в этом огромном магазине полтора года, привыкла к нему. Сама работа мне не очень нравилась, но без нее дни мои стали безнадежно пусты. Да, это началось именно в Лондоне. И, если честно, еще тогда, когда я работала в "Баркерзе".

С наступлением темноты моя тоска утихала. Парижская ночь, с ее контрастами тьмы и огней, казалась мне более искренней, чем все эти туманные дни, скорее похожие на сумерки — так и чудится, будто серое марево обволакивает тебя и вот-вот поглотит без остатка.

Теперь я больше не выходила из квартиры до самого вечера. Целыми днями я слушала транзистор или проигрыватель, лишь бы заглушить эту давящую тишину. В глубине комнаты стояли полки со множеством книг, я брала первую попавшуюся. Но и во время чтения не выключала приемник или проигрыватель. Все книги были посвящены путешествиям по дальним странам, по необитаемым островам. Путеводители, планы, морские карты. Можно было с утра до вечера сидеть в этой маленькой квартирке на "Порт-де-Ванв", странствуя по всему свету. За книгами мне становилось легче, они пробуждали во мне тягу к путешествиям. В конце концов, я вольна была уехать куда угодно, хотя для начала не рассчитывала забираться слишком далеко.

1. Прежде парижские номера телефонов начинались с названия квартала.

Часам к шести вечера я выходила на улицу. Первый настоящий страх я испытала в метро. В тот вечер я решила изменить маршрут. Привычная пешая прогулка по улице Ренн и по улице Вожирар стала внушать мне смутную боязнь. Наверное, из-за ходьбы по одним и тем же тротуарам, неизменно приводившим к тому же Латинскому кварталу, который с каждым разом выглядел все мрачнее и мрачнее.

На Монпарнасе я сделала пересадку в сторону Елисейских Полей. Я шагала по длинному туннелю с указателями: "Направление Порт-де-ла-Шапель", зажатая в плотной толпе пассажиров — начался час пик. Можно было идти только прямо, иначе раздавят. Толпа еле-еле продвигалась вперед. Люди были притиснуты друг к другу, туннель становился все у́же по мере того, как мы подходили к лестнице, ведущей на перрон. Отступать было некуда, толпа тащила меня за собой, и мне казалось, что я вот-вот бесследно растворюсь в ней. Просто исчезну, не дойдя до конца туннеля, и все тут.

На перроне я безумно испугалась, что никогда уже не вырвусь отсюда. Сейчас меня внесет в вагон вместе с окружающей людской массой. И на каждой станции новая волна пассажиров будет оттеснять меня все дальше, вглубь. Поезд остановился. Не обращая внимания на давку и толчки со всех сторон, я кое-как протиснулась к дверям и вырвалась на перрон в потоке выходивших людей. В конце концов я поднялась наверх и очутилась на свежем воздухе. Я снова была жива. И твердила вслух свое имя, фамилию, дату рождения, стараясь убедиться, что я — это я.

Потом зашагала куда глаза глядят. К счастью, было уже темно и заметно похолодало. Я с облегчением смотрела на яркие переливающиеся огни, на мерное чередование красных и зеленых глазков светофоров.

Спасибо этой темноте и холодному воздуху — я вдруг словно вынырнула из дурного сна, где чуть не увязла в топкой трясине. Теперь у меня под ногами был твердый надежный асфальт. И чтобы попасть домой, достаточно просто идти вперед, никуда не сворачивая. Давно уже голова моя не работала так четко — как будто я приняла допинг; такое случалось со мной лишь в Лондоне в "Баркерзе", днем, когда я, устав стоять на ногах, глотала витамин С. На меня нежданно снизошел таинственный дар ориентации в пространстве. Я уверенно шла по каким-то незнакомым улицам, все прямо и прямо. Только позже я узнала их названия — улица Доктора Ру, улица Дюто. Я была твердо уверена, что это и есть кратчайший путь к дому. Наконец я оказалась на тихой площади, какие можно увидеть разве лишь в маленьких провинциальных городках, — площади Аллере.

В одном из кафе еще горел свет. Я вошла туда. Заказала мартини. Это слово слетело у меня с языка само собой, как будто вернулось откуда-то из забытого детства.

*

С этого дня я уже не осмеливалась ездить в метро. Конечно, можно было избежать часа пик, выходя из дому пораньше, днем, но стоило мне вспомнить ту кошмарную, неминуемую пересадку на Монпарнасе, тот бесконечно длинный туннель... А единственный автобус, проходивший мимо "Порт-де-Ванв", не выезжал за пределы левобережных кварталов и следовал по маршруту, которого я теперь безотчетно боялась: улица Ренн, улица Вожирар.

Назавтра я снова пошла в то кафе на площади Аллере. К чему эти длинные поездки в метро через весь Париж! Не лучше ли оставаться здесь, поближе к дому, и ходить пешком, как в деревне.

Еще несколько дней над городом снова сияли голубые небеса и зимнее солнце. Я садилась за столик на открытой террасе; из глубины кафе доносилось щелканье электрического бильярда. Один человек — брюнет в белом халате, работавший в соседней клинике, — ежедневно играл на нем с двух до половины третьего. Ровно в два тридцать он покидал кафе и шел к себе в клинику. Эта пунктуальность тоже странным образом успокаивала меня. Часам к трем хозяйский пес боксер ложился на тротуар у двери кафе. Примерно в то же время открывались ворота типографии напротив, и выезжавший оттуда грузовичок тормозил у кафе. Из него выходили два довольно молодых человека, чтобы выпить по стаканчику у стойки бара. Один из них бросал монетку в музыкальный автомат, и оттуда неслась всегда одна и та же песенка "Whiter Shade of Pale", напоминавшая мне о Лондоне. Потом они уходили. Тот, что помоложе, всякий раз с улыбкой кивал мне. Грузовичок исчезал за поворотом улицы Аллере. Через несколько минут боксер вставал и возвращался в кафе. И больше до самого вечера — ни души.

Именно тогда, в один из этих ранних вечеров, я и поняла, отчего меня так часто будит на заре цокот копыт. Однажды, возвращаясь из кафе на площади Аллере, я прошла по еще незнакомой мне улице Брансьон. Оказалось, что это самая короткая дорога к дому, хотя обычно я ходила по улице Кастаньяри. В первое время я вообще ничего не знала в этом квартале, кроме пробежки от дома до метро.

Итак, в тот день я шла по улице Брансьон и вдруг очутилась перед лошадиными бойнями Вожирара. Так гласила надпись над решетчатой оградой. Я шагала по другой стороне улицы, где сплошной чередой тянулись кафе. Дверь одного из них была широко открыта. Я заметила на полу забрызганные кровью опилки. У стойки вполголоса беседовали трое коренастых краснолицых мужчин. Один вынул из кармана огромный бумажник, туго набитый деньгами. Он начал пересчитывать их, то и дело мусоля указательный палец. Я подумала: уж не они ли убивают лошадей? Спустя несколько дней я проходила по этой улице рано утром, там как раз начались лошадиные торги. На тротуаре у ограды толпились другие мужчины, такие же краснолицые и массивные, в плотных пальто.

Раньше я обычно спала до полудня; теперь же просыпалась все раньше и раньше, даже если накануне читала или слушала музыку заполночь. А однажды утром проснулась и вовсе до рассвета, в полной темноте.

Я решила позавтракать в "Терминюсе" — одном из двух кафе, расположенных поблизости, на бульваре Лефевра. Вот там-то я и увидела впервые конское шествие. Лошади возникали одна за другой из мрака и вереницей шли по безлюдному бульвару Лефевра. Я слышала мерный стук их копыт, тот самый, что настигал меня в предутренней дреме, только звучал чуть глуше. Лошадей было около десятка. На сей раз я видела их воочию. Сбоку, почти во главе процессии, шагал человек, он вел в поводу одну из лошадей. Мне показалось, что я уже где-то встречала его. Может, в метро, на станции. Да, я наверняка видела эту кожаную куртку, белые брюки и пестрый шейный платок, какие носят "гардианы"[1]. Он был довольно высокого роста, с черными волосами и помятым

1. Так в Камарге, на юге Франции, зовут пастухов, стерегущих табуны.

лицом. И вот теперь он шагал рядом с одной из лошадей, подергивая ее за узду. Они миновали кафе и свернули на улицу Брансьон. Больше я их не видела, до меня доносился только стук копыт, и я сидела, замерев, в ожидании минуты, когда он наконец стихнет.

Хозяин следил за мною из-за стойки. Он сказал мне, что нынче утром лошадей не очень много и что их привели из Нейи по бульварам. Он сразу распознавал их по аллюру. Например, цирковых лошадей, ставших ненужными. Такое случалось время от времени. Или лошадей из шикарных кварталов, от богачей.

— Вы можете быть спокойны... Эти господа с бойни мое кафе не посещают. Они ходят в другое заведение, дальше по улице.

И он неопределенно махнул рукой в сторону улицы Брансьон, куда увели вереницу лошадей.

С тех пор я всячески избегала улицы Брансьон. В то утро я сказала себе, что не смогу долго жить в этом квартале. Но куда податься? У меня было слишком мало денег, чтобы снять комнату. И я не хотела возвращаться в Лондон. Да и какая разница, где жить, в другом квартале, далеко отсюда, или здесь — разве это что-нибудь изменит? Я все равно не смогу выкинуть из головы ту вереницу лошадей, выступавших из тьмы и скрывавшихся за поворотом, и того типа — "гардиана" в белых штанах, ведущего под уздцы вороного коня. Конь не хотел идти за ним, он наверняка ускакал бы, дай ему волю.

*

Я снова попыталась ездить в метро. Но на Монпарнасе не смогла преодолеть себя и продолжить путь. Тогда я вернулась пешком в кафе на площади Аллере. Надо бы все-таки разузнать, есть ли тут рядом автобусная остановка, чтобы добраться до правого берега. Но дни проходили, а я даже не пыталась навести справки. В конце концов я пришла к выводу, что уже неспособна передвигаться на длинные расстояния. Ибо стоило мне отойти подальше от дома, как меня охватывал страх заблудиться, утратить последние ориентиры и, растворившись целиком в серой мгле, забыть, где я и кто я. Часто мне снилось, как я иду по улице — даже не знаю по какой, парижской или лондонской, — и не могу вспомнить дорогу домой, да и есть ли у меня вообще дом. Я обнаружила поблизости, в самом конце улицы Вожирар, кинотеатр под названием "Версаль". Самый короткий путь к нему проходил по бульвару Лефевра. Таким образом я избавляла себя от вида боен. Я стала ходить в кино почти каждый вечер, к девяти часам; показывали один и тот же фильм, но мне это было совершенно безразлично. Я садилась в последний ряд, и сразу чувствовала облегчение. Под конец я даже забывала, что кинотеатр находится по соседству с бойнями.

Почему тот лондонский австриец не сказал мне, что живет в таком квартале? Если бы я это знала, то ни за какие блага не приняла бы его предложение. А теперь было слишком поздно.

После кино я возвращалась в студию той же дорогой. На другой стороне улицы высились недвижные глыбы домов с темными окнами; только в одном из них горел свет. Он всегда там горел — верно, кто-то читал допоздна или ждал гостей, кто-то, с кем я могла бы поговорить. Теперь я понимала, как плохо быть одной, и засыпала в страхе, что меня вот-вот разбудит стук копыт. За тем освещенным окном стук, должно быть, слы-

шался еще отчетливее, чем у меня, и оттуда можно было видеть проходивших лошадей. На протяжении долгих лет человек, который жил там, и все другие, чьи окна выходили на бульвар, видели — как я недавно — вереницы лошадей на заре. И мне хотелось узнать, что они думают об этом. Нас было сравнительно немного таких — знавших о лошадях, которых ведут на убой, — в многомиллионном городе.

Я дошла до улицы Брансьон. Она была пуста и безмолвна. В этот поздний час все кафе уже давно закрылись. Мне вспоминались подробности, рассказанные хозяином "Терминюса". "Убийцы", как он их называл, шли перекусить после работы в кафе напротив бойни — то самое, где я заметила опилки с брызгами крови. Мужчины с толстыми бумажниками — это барышники, торговцы лошадьми, мясники. "Убийце" требовалось каких-нибудь десять минут, чтобы забить лошадь. А те, другие, покупали и продавали животных по понедельникам и четвергам. Они всегда платили наличными и при этом хранили деньги не только в бумажниках — некоторые держали их в обувных коробках, а иногда, сидя в кафе, заворачивали пачки банкнот в столовые салфетки, и над всем этим витал кислый запах крови — крови на башмаках и фартуках "убийц". Лошадей доставляли не только из Нейи, их привозили издалека в грузовиках и вагонах, и по утрам мы слышали стук копыт: это животных выводили из конюшен квартала, где они ждали своего смертного часа. Таких конюшен здесь было довольно много. Работа начиналась в четыре утра. Грузовики, вагоны, пачки денег, переходившие из рук в руки за столиками кафе... Тот человек в узких белых штанах и кожаной куртке, что вел под уздцы вороного коня, появился здесь в прошлом году. Ему платили какую-то малость за труды. Никто не знал, откуда он взялся. Может, из Камарга. Все звали его "гардиан". Хозяин "Терминюса" рассказывал мне все это своим жиденьким, почти плаксивым голоском, текущим изо рта, как струйка теплой воды. Казалось, он забывает о моем присутствии и говорит для самого себя. Даже когда я вставала и шла к выходу, он продолжал вспоминать все новые подробности, но я уже не могла его слушать. Мне хотелось глотнуть свежего воздуха, уехать из Парижа, оказаться где-нибудь на берегу голубого моря, как тот австриец, что отдал мне ключ от своей студии, ни о чем не предупредив. Я все больше времени проводила в студии, читая книги, слушая музыку. И говорила себе, что не случайно оказалась совсем одна здесь, у ворот Парижа[1].

Я добралась до некой границы и временно остановилась, перед тем как шагнуть за нее и узнать новую жизнь. Все эти книги на полках вокруг меня звали в дальний путь. Австриец, верно, и жил-то здесь между двумя перелетами; квартирка служила для него перевалочным пунктом, и ему некогда было задумываться над тем, что происходит в квартале... Да и мне самой она могла бы стать надежным приютом, не услышь я на рассвете цокот копыт. Во дворе на ступеньках заброшенного павильончика валялся бюст из обожженной глины — женский бюст — и еще большой камень, который начали обтесывать. Наверняка там когда-то жил скульптор. Посреди двора росло дерево. Весной, не вставая с кровати, можно было видеть через широкое окно его колыхавшуюся листву.

Каждый день я с надеждой ждала обеденного часа, чтобы отправиться пешком на площадь Аллере. Это было единственное время, когда я испытывала благостное чувство покоя, если не считать вечеров в киноте-

1. Героиня живет у "Порт-де-Ванв" — букв.: "Ванвские ворота", эта станция метро находится на южной границе Парижа.

атре на улице Вожирар. Тут, в кафе, все повторялось с точностью часового механизма. Щелканье электрического бильярда, человек в белом халате, идущий через площадь к своей клинике ровно в два тридцать. Пес у входа на тротуаре. Притормозивший грузовик и двое мужчин у стойки, один из которых улыбнется мне на выходе. Это свидетельствовало о том, что и я заняла свое прочное место в этом кафе, в этот час, среди других людей.

И каждый раз один из мужчин с грузовика заводил "Whiter Shade of Pale". Казалось, он выбрал эту песню специально для меня. Вначале я даже и не прислушивалась к ней. Так, ничего особенного, звуковой фон, вроде пощелкивания электрического бильярда, одна из тех мелодий, что баюкают вас и делают одиночество почти приятным. Слушая ее, я вспоминала те утра, когда мне приходилось вставать на рассвете и идти по Ледбрук-Гроув на работу в "Баркерз". Работать в "Баркерзе" было трудно, но ранние вставания как-то отделялись в моей памяти от остального дня. Они были отсрочкой, обещанием — даже зимой, когда стояла темень. А в первые дни весны деревья одевались белыми и розовыми цветами. Я давно забыла и "Баркерз", и вечера после работы. Теперь я помнила только эти утра, когда шла пешком по Ледбрук-Гроув, в темноте или под солнцем, но всегда с надеждой, что сегодня случится что-то новое.

Потом эта музыка стала напоминать мне еще и тот послеобеденный час, когда мы, Рене и я, гуляли с собакой. За несколько дней до отъезда Рене. В одну из суббот, в базарный день на Портобелло. Я тогда взяла отпуск в "Баркерзе". Я была свободна, но это ничего не меняло. Рене все равно уезжал. Как я боялась долгих пустых дней, которые мне предстояло прожить без Рене! И вот та суббота, солнечная, погожая. В самом начале Портобелло-роуд, напротив бывшей школы, посреди улицы торчал какой-то верзила с "Роллефлексом". Бродячий фотограф. Прохожих на улице было еще немного, и он сразу ухватился за нас. Сфотографировал вместе с собакой. Потом дал мне бумажку с записанным номером, сказав, что я должна прийти с ней на следующей неделе в ателье, где он работает, если хочу получить снимок.

Потом мы вошли в бывшую школу, где теперь торговали букинисты. Рене выбрал несколько книг, и мы пошли дальше в шумной субботней толпе.

На следующей неделе Рене уже не было. В пятницу к концу дня я решила сходить за фотографией. Ателье находилось далеко, на Хаммерсмит. Я села в метро. Бумажку с номером я положила в конверт, чтобы не потерять. Это ведь будет единственный снимок Рене со мной, вместе. Бывают люди, которые демонстрируют вам свои наклеенные в альбомах фотографии, где запечатлен каждый миг их жизни. Им повезло — наверное, у них всегда был под рукой аппарат, верный свидетель и спутник. Мы же никогда не думали об этом, ни Рене, ни я. Нам было достаточно просто жить, день за днем.

От станции метро до ателье пришлось еще пройти порядочный кусок по Кинг-стрит. Я боялась, что ателье закрыто. Но нет, множество клиентов толпилось у стойки, за которой сидели двое черноволосых мужчин; они выдавали снимки или брали для проявки пленку. Наконец подошла моя очередь. Я протянула бумажку одному из мужчин. Он рассеянно взглянул на нее и, держа в руке, продолжал обслуживать других посетителей. Я спросила, когда же он выдаст мой снимок. Он сухо ответил:

— Я этими фотографиями не занимаюсь. Вам придется подождать.

Я стояла и ждала; люди входили в ателье, протягивали свои талончики через прилавок, и им выдавали фотографии. А брюнет уже и не держал в руке мою бумажку. Я, конечно, могла бы сесть в глубине ателье и подождать до закрытия. Но лучше было торчать у стойки, иначе он и вовсе забудет обо мне в этой толпе входивших и выходивших клиентов. Я снова попыталась привлечь к себе внимание брюнета, окликнула его, но он притворялся, будто не слышит, и избегал моего взгляда. Я подумала: куда же он сунул мой талон? И я старалась держаться как можно ближе к стойке и не спускать с него глаз. Это был брюнет лет тридцати, с презрительным выражением лица. С какой ледяной вежливостью он сказал мне: "Я этими фотографиями не занимаюсь". Я воспользовалась моментом, когда у прилавка никого не осталось, и снова попросила его выдать мне снимок. Небрежным жестом он вынул из кармана мой талончик. Не напомни я ему о себе, он бы, наверное, так и оставил его у себя в кармане, а позже разорвал бы и выбросил. Он мельком взглянул на номер, повернулся и начал рыться в ящичке, туго набитом конвертами с фотографиями. Он перебирал их уверенно-небрежными движениями, и я видела, что он уже подходит к концу. Он делал это слишком быстро. Мне казалось, он даже не смотрит на номера, записанные на конвертах. Затем он повернулся ко мне:

— На этом номере ничего нет.

И с холодной улыбкой протянул мне талон. Я спросила, уверен ли он, что нет, может, взглянуть еще раз?

— Нет-нет. На этом номере нет ничего.

Но я-то была убеждена, что фотография лежит там, в одном из конвертов. И я набралась храбрости спросить:

— А я не могла бы взглянуть сама?

— Я вам повторяю: на этом номере ничего нет.

Голос звучал совсем уж сухо, а взгляд был такой ледяной, как будто этот тип считал меня полным ничтожеством. Я, без сомнения, была недостойна даже смотреть ему в глаза. И я поняла, что мне не на что надеяться.

На улице я еще раз взглянула на талон. Номер 0032. В обычное время я не придала бы никакого значения случившемуся. И мне было бы наплевать на голос этого типа, звучавший у меня в ушах как смертный приговор. Если бы Рене был со мной, мы бы наверняка получили снимок. Этот тип сразу же сменил бы тон. И мне вдруг захотелось вернуться назад и сказать ему: "Мой друг набьет вам морду, если не отдадите снимок!", но этот приступ гнева показался мне нелепым и тут же утих. Рене здесь больше нет. И вряд ли я когда-нибудь снова увижу его. Все те минуты, что мы провели вместе, канули в небытие. И вот теперь кто-то решил уничтожить последний след нашего общего существования — Рене, меня, собаки, — единственное изображение, запечатлевшее нас всех вместе.

Я продолжала идти по Кинг-стрит. Я уже ни в чем не была уверена, тротуар уплывал у меня из-под ног, как палуба корабля во время качки. Да, именно так: этот брюнетик с металлическим голосом и презрительным взглядом взял и выбросил нас за борт, всех троих — Рене, меня и собаку. Несколько ночей подряд мне снилась эта картина; от испуга я просыпалась и долго не могла отдышаться и осознать, что вовсе не утонула. И снова мне вспомнился тот человек за стойкой. Почему бы, собственно, не вернуться в ателье и не объяснить ему спокойно, что мне необхо-

дим этот снимок, что я готова заплатить за него тройную цену? Да я была готова на все что угодно, лишь бы заполучить эту фотографию. Но в конце концов я поняла, что это бесполезно. И надеяться не на что. Мое первое впечатление, наверное, не обмануло меня: этот тип не любил женщин. Я сразу угадала это по его взгляду, по металлическому звуку голоса, по брезгливой складке губ. Рене рассказывал мне о таких мужчинах — женщины для них не существуют. Они не любят заниматься любовью с женщинами. Но не осмеливаются делать это и с мужчинами. Почему? Рене объяснял мне, что они так и остаются девственниками. И что именно из-за них разгораются войны. По словам Рене, таким был Гитлер. И Робеспьер. Рене хотелось написать о них книгу. Он собирал документы и фотографии на эту тему. На снимках фигурировали суровые мужчины, которых Рене называл "монахами-воинами". Белокурые юноши с обнаженными гладкими торсами маршировали сомкнутыми рядами; были и другие — жирные, с безволосыми лицами и бритыми головами. На одной фотографии такие типы били витрины магазинов и заставляли людей собирать осколки и чистить тротуар. Их предводитель, с дряблым и одновременно жестким лицом, носил кожаные тирольские штаны — короткие, до колен, хотя был уже в возрасте и довольно пузат. Он злорадно улыбался, глядя, как несчастные люди ползают на коленях, отмывая тротуар. Рене объяснял мне, что этот толстяк — девственник. Он доживет до глубокой старости и умрет среди запахов кожаных сапог и остывшего пепла, так и не узнав любви.

Я спросила себя, что же сделает тот брюнет с нашей фотографией. Наверное, просто разорвет. Или засунет в кучу других снимков, за которыми никто не пришел или которые он отказался выдать некоторым клиентам под тем предлогом, что на данном номере ничего не значится. А может, он поступал так даже не по злобе, а от усталости или равнодушия. Его работа за стойкой — весь день на ногах — была такой же однообразной, как моя в "Баркерзе". Вот я и попалась ему под руку, на свою беду явившись некстати. А мог бы попасться и кто-то другой — как в лотерее, оттого что номер 0032 оказался несчастливым.

Я осознала это в последующие дни, бродя в том же месте Портобелло, где фотограф снял нас троих — Рене, меня и собаку. Тогда была суббота, самая обычная суббота, и пес шел, как обычно, в серединке между нами. В левом углу снимка можно было, наверное, различить вход в бывшую школу, где Рене купил тогда несколько старых книг. И, может быть, где-то сзади виднелся силуэт прохожего, перекресток с Чепстоу-Виллас, спуск к антикварному магазину. В общем, документальное свидетельство для будущего — о том, что однажды летом в субботу, в Лондоне, в середине дня мы проходили по улице Портобелло — Рене, собака и я.

В первую же субботу, когда я вернулась туда уже одна, на улице оказалось гораздо больше народа. Но фотографа там не было — ни в тот день, ни во все другие субботы, хотя я пыталась разыскать его, чтобы потребовать объяснений, а может быть, с его помощью все же вызволить нашу фотографию. И вот тут я окончательно утратила веру в себя. Мне чудилось, будто меня здесь нет, что я никогда уже не найду своего места в этом уголке города. Я с завистью глядела на других людей, уверенно шагавших по тротуару. Уж под их-то ногами он никуда не поплывет. Вот и для нас, для Рене и меня, когда мы гуляли вместе, эти улицы и скверы были такими знакомыми и близкими, что становились частью нас самих. А теперь все связи разорваны, я уже лишняя здесь, как будто вернулась по-

сле смерти. В первое время я даже боялась выходить из комнаты. Потом мало-помалу тротуары перестали плыть у меня под ногами, вызывая головокружение. Тем летом я ощущала не панический страх, а, напротив, какое-то странное умиротворение. Вечерами я совершала долгие прогулки по безлюдным улицам вокруг Холланд-парка, где мы обычно ходили вместе. Но Рене и собака остались в иной, прежней жизни. И тщетно я буду возвращаться на эти улицы и скверы или бродить по субботам в толпе на Портобелло — теперь мне уже не дано испытать там прежние чувства.

*

Отныне я приходила в кафе на площади Аллере к одиннадцати часам утра. Я делала большой крюк, лишь бы избежать улицы с бойнями. В это время дня "они", наверное, в очередной раз закусывали, в своих забрызганных кровью башмаках и фартуках, со своими толстыми бумажниками. На площади Аллере утренние клиенты отличались от дневных. До обеда нас было в кафе только двое — я да какой-то мужчина лет тридцати, проверявший школьные тетради. Затем подходили остальные посетители. Они работали по соседству. Хозяин называл эту группу "телефонной компанией". Им всегда не хватало столов, приходилось потесниться. Они очень громко разговаривали между собой. Не помню, чтобы мне довелось, работая в "Баркерзе", хоть раз обедать вместе с сослуживцами. Я общалась только с одной белокурой девушкой, стоявшей за соседним прилавком. Иногда я ходила вместе с ней в кино.

Однажды утром, когда "телефонная компания" еще не ввалилась в кафе, я сидела вблизи того столика, за которым человек проверял тетрадки. Вдруг он поднял голову и взглянул на меня. Это был мужчина с правильными чертами лица, глубоко посаженными глазами и коротко остриженными волосами, сквозь которые кое-где уже просвечивала лысина. Он спросил, не студентка ли я. С самого моего приезда в Париж никто вот так, по-человечески не заговорил со мной. Его взгляд и голос внушали доверие; взгляд был прямой, голос искренний — казалось, человек обратился ко мне без всякой задней мысли. Я ответила: нет, не студентка. Он сказал, что ведет курс философии в одном коллеже в окрестностях Парижа. И трижды в неделю ездит в этот коллеж на автобусе от "Порт-де-Ванв". А вечером возвращается обратно на поезде, который приходит на вокзал Монпарнас. Потом добавил, что его ученики пишут сочинения донельзя скверно, поэтому он и предпочитает исправлять их здесь, в кафе, нежели дома в одиночестве, но он не сердится на них, на своих учеников. Вот какие дела. Ну а я — училась ли я где-нибудь?

Я так настрадалась от одиночества в эти последние недели, что мне безумно хотелось — не исповедаться, конечно, но хотя бы перемолвиться с кем-нибудь словом. А этот человек, казалось, проявляет искренний интерес к словам собеседника, может быть, в силу своей преподавательской профессии. Я рассказала ему, что приехала из Лондона, что один из моих друзей предоставил мне квартиру недалеко отсюда, но что я чувствую себя немного потерянной в этом квартале. Странный квартал!

Он слушал, не спуская с меня глаз, как будто хотел выведать мои затаенные мысли. Так глядят священники или врачи.

— Может быть, вы и правы, — сказал он. — И в самом деле, странный квартал...

Мой взгляд упал на одну из раскрытых тетрадок, лежащих перед ним. Я заметила, что многие фразы подчеркнуты красной шариковой ручкой, а на полях такой же красной пастой проставлены вопросительные знаки.

— А я живу в этом квартале очень давно... В старой квартире моей матери на бульваре Лефевра... Со стороны церкви...

Возвращаясь из кино, я проходила мимо этой церкви — современной, построенной то ли из бетона, то ли из кирпича, в темноте я не могла различить. Может быть, именно в его комнате и горел тот поздний свет.

— Церковь носит имя святого Антония Падуанского. Да она и не могла называться иначе.

Он не спускал с меня своего прямого, открытого взгляда, так что я в конце концов потупилась, и снова мне в глаза бросилась тетрадь, которую он только что проверил. Мне почудилось, что там, на полях, так и выведено красной ручкой: "Церковь носит имя святого Антония Падуанского. Да она и не могла называться иначе".

— А вы знаете, о чем просят святого Антония Падуанского? Помочь найти пропавшие вещи.

Он улыбался — как будто угадывал, что и я потеряла какую-то вещь. Я никогда не была суеверной, но если бы я знала, в чем помогает святой Антоний Падуанский, и если бы в Лондоне была церковь этого святого, я бы уж точно сходила помолиться ему, чтобы он нашел ту фотографию.

— Недалеко отсюда, на улице Морийон, есть бюро находок, куда свозят все потерянные вещи. А на Данцигской улице — приют для бездомных собак... Такой уж это квартал — здесь люди постоянно что-то ищут.

Излагая все эти подробности, он говорил не тоном гида, знакомящего вас с Парижем, но именно как преподаватель философии. И этот спокойный голос внушал мне доверие. Я вдруг захотела потолковать с ним о лошадях. Но не находила слов. И боялась их произнести.

— А потом, здесь уже сто лет как занимаются лошадьми...

Все тот же спокойный голос, все та же улыбка. Как будто это вполне естественно — заниматься лошадьми.

— Когда я был маленьким, то ходил в школу неподалеку отсюда... А затем поступил в лицей Бюффона. В общем, я всю жизнь провел в этом квартале.

Сто лет — именно так он и выразился. Значит, за это время по бульвару и улице Брансьон прошли многие и многие тысячи лошадей.

— Вы что-то очень уж бледны. Не хотите выпить чего-нибудь?

Теперь его взгляд выражал снисходительное сочувствие, как будто моя тетрадка тоже лежала у него на столе среди прочих и он написал в ней своей красной ручкой: "Оставляет желать лучшего".

Я ответила, что все в порядке. Просто я плохо спала эту ночь.

— Ну а чем вы занимаетесь в дневное время?

Под его взглядом я снова почувствовала себя школьницей, которая сбежала в кино с уроков и даже не запаслась объяснительной запиской от родителей. Нужно было солгать что-то, а главное, как можно увереннее.

— Я нервничаю, потому что ищу работу.

— О, я мог бы помочь вам с работой. Вы умеете печатать на машинке?

До того как уехать в Лондон и поступить в "Баркерз", я училась печатать в школе Пижье, у Венсенских ворот, где тогда еще жила с матерью. Я сказала, что умею печатать и даже стенографировать.

— Значит, я буду давать вам печатать тексты. Мы с друзьями организовали небольшой кружок и пишем их сообща.

Он улыбался благостной улыбкой священника так, словно выслушал мою исповедь и счел мои грешки несущественными.

— Может быть, эти тексты вас заинтересуют... Мы все вместе работаем над одним учением... Я буду счастлив, если оно вас заинтересует. А машинку я вам дам.

Эта возможность заняться делом и не проводить в мучительной праздности пустые дни внезапно обрадовала меня. Я буду печатать на машинке — одна, спокойно, в своей студии, среди книг. Я даже смогу за работой слушать музыку. Я поставлю машинку так, чтобы сидеть лицом к окну, выходящему в сад.

— Вот брошюра, которую написал я сам. Вы можете ознакомиться с нашим учением и понять, какие тексты вам предстоит печатать.

Он порылся в коричневом кожаном портфеле, стоявшем у его ног, и протянул мне тоненькую книжицу в бледно-зеленой обложке с названием "Призыв к себе". Сверху было написано: Мишель КЕРУРЕДАН. Он указал мне на это имя:

— Да-да, это я...

Он попросил меня проводить его на "Порт-де-Ванв" к автобусной остановке. В тот день он должен был обедать в столовой своего коллежа, а потом проводить занятия. Он шагал рядом со мной, неся свой портфель, и меня поразили его худоба и высокий рост, а еще странное несоответствие строгого костюма и летних плетеных сандалий, надетых на черные носки. Мы условились встретиться завтра в одиннадцать часов, в кафе. Он обещал принести машинку и рукопись.

*

Вернувшись в студию, я решила прочесть брошюру, которую он мне дал. Между страницами лежала фотография. Я сразу узнала моего нового знакомого, он был снят вместе с другим мужчиной, таким же высоким и худым, как он сам, на фоне сельского пейзажа. Они стояли рядом, учитель прислонился плечом к дереву. Второй держал в руке открытую книгу и, казалось, читал ее вслух. У них были одинаково серьезные лица, лобастые головы. На обороте фотографии я прочитала:"Мишель и Джанни. Апрель-май, Рекулонж". Я почувствовала, как во мне поднимается смутная горькая печаль. Ну почему мне попалась в книге фотография этих двоих, которых я знать не знаю, тогда как единственный нужный мне снимок сгинул без следа?!

Прочтя несколько страниц, я отложила брошюру. Прежде мне никогда не доводилось читать философские книги, и я с трудом сосредоточивалась на содержании. Если я верно поняла, речь шла об учении, которое позволяло людям достигать мудрости. Зачинателем этого учения был некий доктор Бод. Почти все главы начинались с упоминания о нем: "Когда спрашиваешь у доктора Бода, в чем смысл его учения...", "На одном из последующих собраний доктор Бод затронул вопрос...", "Доктор Бод имел обыкновение приводить в качестве

примера...". Интересно, знает ли этот Мишель Керуредан доктора Бода лично? На тех нескольких страницах, что я успела прочесть, об этом говорилось как-то туманно. Но главное, по мнению Мишеля Керуредана, было то, что из уст доктора исходили истина и мудрость и что нужно обязательно следовать его учению. Меня удивило такое отношение — я-то помнила, что во время учебы в начальной школе, а потом в лицее Элен Буше не уделяла особого внимания словам преподавателей. Да и на уроках катехизиса вечно спала. К великому моему стыду, я вдруг осознала, что никогда не задумывалась о смысле жизни. Жила себе одним днем и искала только удовольствий. Вначале, еще в детстве, таким удовольствием было получить стофранковую монету и купить в кондитерской Недлека фисташковое мороженое или же прокатиться на "американских горках" в парке аттракционов — мне нравилось, когда там, на высоте, у меня кружилась голова. Позже, когда в моей жизни появился Рене, мы ходили на пляж часам к одиннадцати утра, а днем оставались вдвоем в прохладной комнате с закрытыми ставнями. А еще я любила посидеть на террасе кафе летом, в утренние часы, когда там никого не было. Любила читать детективы, любила слушать музыку. Питала слабость к собакам и лошадям. Да, со времени отъезда Рене и той мерзкой истории с фотографией я вообще мало о чем задумывалась. Я захлопнула книгу. Снимок соскользнул на кровать, и я снова принялась изучать его. Этот Керуредан говорил как истинный проповедник. Он внимательно слушал меня, но по-моему, то, что я отвечала и как выглядела, для него не имело никакого значения. Ясно, что он по-настоящему заинтересуется мной, только если я соглашусь следовать их пресловутому "учению". Я попыталась разглядеть на фотографии, носил ли тот, другой мужчина плетеные сандалии... Странно, до чего же они походили друг на друга. Наверное, этот Джанни тоже посвящен в учение. На снимке оба они выглядели как священники, но мне казалось, что они все-таки слегка позируют: Керуредан, выпятив подбородок, картинно прислонился плечом к древесному стволу, другой держался неестественно прямо, устремив взгляд в книгу. Может, это та же книга, что у меня в руках, — "Призыв к себе"? Я подумала: а есть ли в их жизни женщины, или каждый из них обитает один в комнате, напоминающей монашескую келью, и довольствуется лишь дружбой? Допускает ли их учение любовь? Я бегло просмотрела "Призыв к себе", но не нашла там ни слова "Любовь", ни слова "Счастье". Я решила, что нужно прочесть книжку повнимательней, но в тот день у меня не хватило терпения.

*

На следующий день он пришел в кафе с опозданием, за несколько минут до того, как "телефонная компания" заполонила все столы. Нам пришлось почти кричать, чтобы расслышать друг друга в общем гомоне. Он принес мне пишущую машинку, маленькую, портативную, в твердом сером футляре. И текст — тридцать страниц, исписанных синими чернилами, аккуратнейшим почерком, без единой помарки, — озаглавленный "Работа над собой".

Он спросил, прочла ли я брошюру. Я ответила: да, прочла, но еще не до конца, а вообще, это очень интересно. Он молчал, не сводя с меня своего глубокого взгляда, и явно ждал продолжения. Я пробормотала,

что читаю медленно, что мне приходится вникать в каждую фразу, так как я далека от философии.

— Это не философия, — возразил он, — а учение, которое помогает улучшить нашу жизнь... Всего лишь несколько правил самодисциплины. Если вы отнесетесь к этому с должным вниманием, то скоро увидите, что все предельно ясно.

Может, он в конце концов и убедит меня в своей правоте. По приезде в Париж я находилась в состоянии такой неопределенности, что мне не помешали бы чьи-то советы и указания, как жить дальше. Но способен ли человек, сидящий напротив меня в кафе, где с трудом можно расслышать друг друга, прийти мне на помощь? И нужна ли мне эта самая дисциплина? Да и вообще, в чем состоит так называемая "работа над собой"? Мы вышли на улицу; я несла машинку, а рукопись сунула в карман плаща. Он же держал под мышкой свой коричневый портфель, у которого, видно, оторвалась ручка. Мы шагали по улице Кастаньяри, пустынной и тихой, застроенной низенькими домами; наверное, скоро их снесут, а пока это место напоминало провинциальный гарнизонный городок, где по утрам слышен конский топот и где лошади проходят в строю, а не идут на бойню.

— Печатайте не торопясь, — сказал он мне. — Главное, чтобы этот текст помог вам лучше вникнуть в наше учение.

И он снова улыбнулся мне.

— Однако я не хочу, чтобы вы работали бесплатно.

Он вынул из-за пазухи бумажник, далеко не такой толстый, как у барышников с улицы Брансьон, и протянул мне вчетверо сложенную стофранковую бумажку. Я медлила, не решаясь взять ее.

— Это не мои деньги, — сказал он. — Их дала мне для вас знакомая, у которой мы собираемся. Я рассказал ей о вас.

Ну что ж, почему бы мне, собственно, и не принять плату за труд.

— Я думаю, что когда вы закончите эту работу, вам было бы полезно прийти на одно из наших собраний.

По его словам, собрания эти устраивались не реже одного раза в неделю на квартире той самой дамы, о которой он упомянул. Их приходило человек шесть-семь, и они участвовали в сеансах "работы над собой" — именно так назывался текст, который мне предстояло печатать.

— Вам хотелось бы работать с нами?

Его голос звучал мягко, ласково, и я прониклась уверенностью, что этот человек желает мне добра. Он вдруг вынул из кармана пальто пачку сигарет и протянул ее мне. Синие "Голуаз".

— Держите. Это придаст вам бодрости.

Я не посмела отказаться и объяснить, что не курю.

— Ну так что ж, хотите присоединиться к нам? — спросил он меня совсем уж по-свойски, но вместе с тем настойчиво, не как священник, а скорее как преподаватель гимназии.

Я ответила, что хочу. Когда тебя мучит одиночество, на что только не согласишься.

— Очень рад, очень рад. В следующий раз мы поговорим об этом подробнее.

Ему нужно было садиться в автобус на "Порт-де-Ванв". Он назначил мне встречу в кафе через два дня, в обычное время. Помахав на прощанье, он сел в автобус. Я заметила, что теперь он обут не в сандалии, а в черные ботинки на шнурках.

*

В течение трех дней я занималась печатанием текста. Я немного работала утром, а потом днем, часов до пяти. Оказалось, я еще не забыла, чему меня обучили на курсах Пижье. Сначала я включала музыку — записи гавайских гитар, найденные среди пластинок австрийца. Но потом решила работать в тишине, чтобы лучше понимать смысл того, что печатаю. Некоторые фразы, которые я бегло, не вникая, прочла в "Призыве к себе", встречались и здесь, в "Работе над собой". Керуредан объяснил мне, что этот текст "доведен" ими сообща, совместными усилиями, как он выразился. Но этот ровный почерк принадлежал ему, я уже видела его в ученических тетрадях, которые он проверял. Я печатала медленно, и на протяжении многих страниц некоторые слова повторялись довольно часто. Там говорилось, что мы живем как сомнамбулы, механически совершая все действия нашей жизни. Вот почему они не имеют никакой ценности. И если наши жесты, мысли и чувства стали механическими, значит, мы ограничиваемся минимальным количеством "поз" и "движений", тем самым заключая себя в жесткие рамки обыденности. Необходимо вырваться из этого порочного круга, и это возможно лишь через "призыв к себе". Но тщетно я останавливалась и перечитывала написанное, я никак не могла уразуметь, в чем же состоит это упражнение. Скорее всего, они практиковали этот "призыв к себе", называемый также "работой над собой" или просто "работой", во время своих собраний. Наверное, я узнаю об этом побольше, когда Керуредан приведет меня на такое сборище.

В первый день, долго просидев за машинкой, я вышла из дома часов в пять и, шагая по улице Вожирар, вдруг почувствовала, что тоска, обычно мучившая меня в это время дня, куда-то исчезла. Я села в метро на станции "Конвансьон", доехала до Монпарнаса и в течение всего маршрута была абсолютно спокойна. Потом направилась к Латинскому кварталу. Я снова увидела стайки студентов на тротуарах бульвара Сен-Мишель, по которому мне теперь вдруг стало так приятно спускаться к реке. Наконец-то я пришла в нормальное состояние, как в первые мои дни в Париже, когда я еще не поняла, что означает тот стук копыт. Я без всякого страха смотрела, как опускаются сумерки, как загораются огни на террасе кафе "Клюни" и у входов в кинотеатры.

На улице Месье-ле-Пренс я заметила книжную лавку под вывеской "Зодиак"; объявление в витрине гласило: ОККУЛЬТИЗМ, МАГИЯ, ЭЗОТЕРИКА, ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ. Я вошла. Книги были расставлены по фамилиям авторов, в алфавитном порядке. Дойдя до буквы "К", я нашла брошюру, которую дал мне Керуредан, — "Призыв к себе". Эта находка поразила меня, притом поразила приятно. В общем, у меня была работа, позволявшая чем-то заполнять пустые дни, и сознание, что я участвую в чем-то важном.

*

Когда я пришла на площадь Аллере к десяти часам утра, он уже сидел в кафе за столиком и проверял свои тетрадки. Увидев меня, он встал и поздоровался. И улыбнулся мне. По дороге я купила большой конверт и вложила в него рукопись вместе с напечатанными страничками. Он бегло просмотрел их, одну за другой, и убрал конверт в портфель.

— Вам не слишком трудно было это печатать?

Я сказала: нет. Я надеялась, что там не слишком много опечаток. На столе лежала целая груда тетрадей с исправлениями красной ручкой, и я спросила себя, не употребляет ли он для оценок те же слова, что без конца попадались мне в тексте, который я печатала. Призыв к себе, сон, механический, сомнамбула, группа, поза, работа, движение... Под конец у меня от них уже кружилась голова.

— И вы хоть немного уяснили себе смысл нашей работы?

Он произнес это полулюбезно, полуснисходительно, как будто я еще была не совсем достойна "работать" в их "кружке". Мне следовало выказать интерес и покорность, тогда можно надеяться на что-то хорошее.

Он молча смотрел мне прямо в глаза. Если бы другой мужчина глядел на меня так же пристально, мне стало бы не по себе. Но Керуредан был не из тех, что тискают руку девушки или пытаются сорвать поцелуй. Да и влюблялся ли он хоть когда-нибудь?

— Вы могли бы прийти на наше собрание послезавтра?

Меня удивило, что он так сразу предлагает это. Я думала новичку необходим длинный "испытательный срок" перед тем, как его допустят к "работе" в группе. Я прочла это в тексте, который он дал мне печатать. "Испытательный срок". Эти слова повторялись там довольно часто.

— Наши собрания проходят в этом квартале, совсем недалеко отсюда, у той дамы, о которой я вам говорил. Она руководит нашей рабочей группой. Это большой друг доктора Бода...

Имя доктора Бода тоже повторялось чуть ли не в каждом параграфе текста, который я печатала. Он все время повторял своим ученикам: "Вы постоянно забываетесь... Вам нужно вспомнить самих себя... Вы должны пробудиться..." Чем дальше я печатала, тем явственнее мне слышался его голос, глухой, монотонный. Я пробовала представить себе доктора Бода. Мне казалось, что это человек с ясным взглядом и ласковыми руками, которые одним прикосновением разгоняют все ваши страхи. Я не осмеливалась поделиться этими мыслями с Керуреданом, боясь разочаровать его, но на самом деле была весьма сентиментальной девицей, типичной "мидинеткой" — это словцо почему-то всегда пленяло меня.

— А вы, — спросила я его, — вы знакомы с доктором Бодом?

— Я был представлен ему в начале года той дамой, к которой хочу вас отвести... Ее зовут Женевьева Перро...

И он рассказал мне еще кое-что. Раньше доктор Бод жил в Париже. Потом он много путешествовал и наконец осел в Калифорнии, в городе Сан-Диего. Но он часто приезжает в Европу, чтобы направлять работу групп в Париже, Швейцарии, Англии. С минуту он глядел на меня так, словно не решался сказать самое важное. Потом все же заговорил:

— В будущем месяце у нас состоится собрание в присутствии доктора Бода. Там же, у Женевьевы... Может быть, она согласится представить вас ему... Посмотрим...

Он наверняка хотел дать мне понять, что доктору Боду никого не представляют так просто, с бухты-барахты. Мне еще предстоит зарекомендовать себя. Завтрашнее собрание решит мою судьбу. Вероятно, меня подвергнут испытанию.

Он собрал свои тетрадки и уложил их в портфель. Затем вынул оттуда конверт.

— Это вам... от Женевьевы Перро.

В конверте были деньги: Женевьева Перро платила их мне авансом за другие тексты, которые Керуредан будет регулярно давать мне печа-

тать. Примерно два-три текста в месяц. Они понадобятся для их собраний. Это означало, что меня уже считают членом кружка. Он благоприятно отозвался обо мне в разговоре с Женевьевой Перро, и та готова была довериться мне. У них существовало правило ежемесячно помогать деньгами членам группы, не имевшим средств к существованию, с тем чтобы они могли отдавать все свое время подготовке собраний.

Я ответила, что мне очень неудобно принимать деньги, но не высказала свою затаенную мысль: шестьсот франков в месяц, которые я зарабатывала в "Баркерзе", убедили меня в том, что деньги никогда не даются просто так, даром. Уж не окажется ли эта Женевьева Перро такой же требовательной, как владельцы "Баркерза"?

— Вы должны взять их. Это свидетельство доверия, которое Женевьева питает к вам.

Я сунула конверт в карман, испытывая чувство облегчения. Значит, они решили взять надо мной опеку... Я была ужасно одинока перед отъездом из Парижа в Лондон, а потом в Лондоне, когда уехал Рене... Кроме того, перспектива печатать на машинке для этой Женевьевы Перро удручала меня куда меньше, чем работа в "Баркерзе".

— Я принес вам также книгу доктора Бода... Вы читаете по-английски?

— Да.

Он протянул мне книгу в картонном переплете; на черной суперобложке я прочла: B. Бод. In Search of Light and Shadow[1].

На обложке была фотография человека лет сорока, темноволосого, с ясным взглядом — таким я его себе и представляла.

— Это читается гораздо легче двух предыдущих текстов. Мне следовало дать вам эту книгу в первую очередь. В ней доктор Бод простыми словами рассказывает о своем жизненном пути...

Он улыбался мне. И впервые со времени моего приезда в Париж я ощутила глубокое умиротворение. Теперь достаточно было всего лишь послушно следовать ходу событий. И чаще говорить себе, что я нашла людей, желающих мне добра, и что им можно довериться. Они будут давать мне советы. И я перестану терзаться одиночеством, забившись в угол, или умирать от страха на шумных перекрестках. Они утешат меня. Они укажут мне дорогу. Вот в чем я так отчаянно нуждалась — в руководстве.

Он попросил меня проводить его до дома. В тот день ему не нужно было садиться на автобус и ехать преподавать философию. Но он должен был проверить еще кучу тетрадей вместо другого, отсутствующего преподавателя. Он сказал мне, что это какой-то странный коллеж — случается, один из учителей вдруг бесследно исчезает. И тогда другие подменяют его, распределяя между собой занятия — в одном классе по математике, в другом по английскому или географии. Некоторые работавшие там преподаватели не имели дипломов, но начальство смотрело на это сквозь пальцы. Вот он, например, тоже не сдавал экзамены на лиценциата. Зато он открыл для себя учение доктора Бода, а это с лихвой заменяет все в мире ученые степени по философии.

Он говорил со мной доверительно, как с близким человеком. Может быть, я уже стала ему другом, равной, если мне дозволили присутствовать на одном из их собраний?

— Женевьева советует мне бросить работу в коллеже и посвятить все свое время нашему кружку...

1. В поисках света и тени (*англ.*).

Но он не решался оставить преподавательскую должность. Она хорошо оплачивалась, и пусть лучше их группа материально поддерживает новых членов вроде меня.

Мы шли по бульвару Лефевра неспешным шагом, каким гуляли бы по берегу моря.

— Ну а вы? — спросил он. — Каковы ваши настроения?

Впервые он задавал мне такой личный вопрос. Но я была не очень-то расположена откровенничать.

— Да нет у меня никаких настроений, — ответила я.

— Это хорошо. Доктору Боду понравился бы такой ответ.

Мы поравнялись с церковью Святого Антония Падуанского. Он указал на один из домов по соседству с храмом.

— Я живу вон там, на втором этаже.

Не в его ли окне всегда горел свет, который я видела, возвращаясь из кино?

У входной двери он опустил свой портфель наземь, чтобы пожать мне руку.

— Самое удобное, — сказал он, — чтобы вы пришли встретить меня завтра вечером в десять минут восьмого на вокзале Монпарнас, к версальскому поезду. И мы сразу поедем к Женевьеве Перро. Не забудьте же: в девятнадцать десять.

Днем, вернувшись в студию, я принялась читать "In Search of Light and Shadow". Я очень боялась, что английский язык напомнит мне о Лондоне и о Рене. Но по мере того как я переворачивала страницы, меня охватывало чувство легкой эйфории, как будто слова доктора Бода подтверждали, что я вполне могу жить настоящим, да и будущее мне тоже не заказано.

Книга была написана гораздо лучше, чем брошюра Мишеля Керуредана и текст, который я для него печатала. Доктор Бод не использовал все эти мудреные термины — призыв к себе, работа над собой, позы, движения и особенно словосочетание "ключ к октаве", которое часто встречалось в рукописи и которое я печатала, совершенно не понимая его. Он просто рассказывал о страхах и сомнениях своей молодости, очень напоминавших мои собственные. И о том, как ему удалось их преодолеть. Мне казалось, я не читаю, а слышу знакомый голос, тихо нашептывающий мне на ухо понятные и простые слова. Доктор Бод родился в Ламбете, квартале лондонской бедноты, где я никогда не бывала, только видела какую-то его часть из окна поезда, подъезжая к вокзалу Ватерлоо.

*

Ровно в девятнадцать десять я стояла на перроне, боясь проглядеть Мишеля Керуредана в толпе пассажиров, выходивших из версальского поезда. Но мне удалось заметить его еще издали: он выделялся среди других благодаря высокому росту и особой манере нести толстый кожаный портфель без ручки, обнимая его руками, точно ребенка или собаку.

Мы вошли в метро. И снова все стояли зажатые в давке, но на сей раз мне совсем не было страшно. Рядом находился мой провожатый, а книга доктора Бода, которую я кончила читать заполночь, придала мне необыкновенное спокойствие. Мы вышли на станции "Конвансьон". Керуредан сказал, что Женевьева Перро живет совсем рядом, в начале улицы Домбаль.

Впоследствии я часто ходила к Женевьеве Перро, изобретая самые замысловатые маршруты, лишь бы не видеть бойни и улицы, где находились конюшни торговцев лошадьми. Помнится, я сворачивала возле кинотеатра "Версаль" на узенькую дорожку, обсаженную деревьями, чьи кроны простирались надо мной зеленым шатром; кажется, она шла вдоль ограды Вожирарской больницы. Эта тропинка и аромат лип надолго запали мне в душу. С той поры прошло много лет, а я так больше и не побывала в этом квартале. Бойни давно уже снесены. Но собачий приют, бюро находок и церковь Святого Антония Падуанского все еще стоят на своих местах. И когда я думаю об этом, мне почему-то кажется, что только в этом квартале я и могла встретить Женевьеву Перро и доктора Бода.

Дом под номерами 5 и 7. Светлое узкое здание на высоком фундаменте было отделено от улицы решеткой и небольшим двориком. Мы вошли в правый подъезд под номером 7. Керуредан шел по лестнице впереди меня, прижимая к себе обеими руками коричневый портфель. Теперь уж и не помню, какой это был этаж. Кажется, один из верхних. Керуредан трижды позвонил в дверь.

Нам открыла сама Женевьева Перро. Ее темные, гладко зачесанные волосы были собраны в узел. В полумраке прихожей ее лицо показалось мне строгим. Мы прошли по коридору, повернули налево и очутились в гостиной. Несколько торшеров источали мягкий теплый свет. Оконные портьеры были задернуты. Нам навстречу встал высокий мужчина. По его росту я сразу узнала друга Мишеля Керуредана, того, с фотографии, сделанной "в апреле-мае, в Рекулонже". Одно мгновение он стоял неподвижно, почти в той же позе, что на снимке, где он держал открытую книгу. Затем приветствовал взмахом руки Мишеля Керуредана и обратился ко мне:

— Меня зовут Джанни. Очень рад вас видеть.

Голос у него был чуть ниже, чем у Керуредана. Я пожала ему руку, не назвав себя. Он был одет в серый вельветовый костюм, поношенный и слишком просторный для его худого тела.

Женевьева Перро улыбнулась мне. Теперь она выглядела моложе, чем там, в передней, и лишь строгий пучок противоречил мягкому выражению лица. Эта легкая загадочная улыбка приятно обволакивала меня, как и взгляд ее зеленых глаз. Она была одета в скромное бордовое платье. Ни украшений, ни колец. Лишь на запястье поблескивала цепочка.

— Мишель рассказывал о вас много хорошего. А я благодарю вас за работу, которую вы сделали для нас.

Она говорила чистым голосом, с произношением урожденной парижанки. Мишель Керуредан и Джанни сели, скрестив ноги, на пол, где был расстелен шерстяной ковер.

— Садитесь, — сказала она мне все с той же улыбкой. И указала на ковер. Впрочем, в комнате и не было стульев, только между окном, скрытым портьерами, и письменным столом темного дерева стояло кресло с кожаной спинкой.

Она тоже опустилась на ковер, скрестив ноги и держась очень прямо. Мы сидели все четверо вот так, кружком, на полу, словно собрались затеять какую-то игру, правил которой я пока еще не знала.

— Сейчас мы займемся чтением, — объявила Женевьева Перро. — Выберем что-нибудь простое, но важное, чтобы отметить приход нашей новой подруги.

Мишель Керуредан расстегнул свой коричневый портфель, стоявший рядом с ним, вынул несколько листков и протянул их Джанни.

— Сегодня тебе читать, — сказал он.

Джанни начал читать, медленно и размеренно, певучим голосом, точно актер классического театра или оперный тенор. Я узнала отрывок из книги доктора Бода. Там говорилось о сне, который он увидел в возрасте одиннадцати лет. До этого он был обыкновенным ламбетским мальчишкой, сыном обыкновенных родителей. И вел самую обыкновенную жизнь в этом квартале, с его блеклыми тонами, кирпичными зданиями, бетонными складами и лужами на тротуарах. Но в ту ночь ему приснилось, будто он летит над кварталом, летит так низко, что без труда различает прохожих, собак, домики, где жили его приятели, и знакомые, исхоженные перекрестки. Дело было воскресным утром, и он даже увидел отца, сидевшего у окна. Вместе с тем его взгляд охватывал все окрестности, все другие кварталы Лондона, лабиринты улиц, пеструю путаницу людей и машин, весь этот огромный город, простиравшийся до самого горизонта.

Джанни читал все медленнее, делая длинные паузы между фразами, так что текст звучал ритмично, как стихи. Его голос становился приглушенным, падал до шепота, убаюкивал. Женевьева Перро, все так же прямо сидя на ковре, не сводила с меня своих зеленых глаз, обволакивала загадочной улыбкой. Ее руки поглаживали ворс ковра — изящные руки, длинные тонкие пальцы с коротко подстриженными ногтями. Керуредан сидел, опустив голову и сложив руки на груди. Джанни закончил чтение; наступило молчание, словно двое других слушателей хотели уловить эхо его голоса и, быть может, расслышать в нем голос самого доктора Бода.

— Скажите мне, было ли в тексте, который вы печатали, что-нибудь непонятное? — спросила меня Женевьева Перро.

В ее голосе звучало такое участие, что я совсем смутилась. Нужно было хоть как-то ответить. Наконец я пробормотала:

— Я не очень-то поняла слова “ключ к октаве”.

Двое других повернулись и ласково взглянули на меня. Керуредан порылся в портфеле и вынул напечатанный мною текст, видимо, желая проверить, что там написано о “ключе к октаве”.

— Это очень просто... сейчас я вам объясню...

Зеленые глаза Женевьевы Перро и впрямь мало-помалу гипнотизировали меня. Я уже не слушала ее, а только следила за движениями губ, пальцев, машинально гладивших ворс ковра. И до моего слуха долетало лишь одно слово, которое она часто повторяла: гармония.

Наконец она умолкла, и я кивнула в знак того, что поняла.

— Ну вот... Теперь вы знаете почти все о ключе к октаве, — сказал мне Джанни. — Есть еще вопросы?

— Я думаю, на сегодня достаточно, — сказала Женевьева Перро.

Она поднялась одним гибким движением и вышла из комнаты. Мужчины остались сидеть в прежних позах. Я тоже не осмелилась двинуться с места.

— Ну как, вы довольны нашим первым собранием? — спросил меня Керуредан.

Джанни в это время листал текст, который я напечатала.

— Вы очень хорошо печатаете, — сказал он. — Я думаю, вы скоро станете секретарем наших групп.

— Гораздо больше, чем секретарем, — возразил Керуредан.

Он закурил "Голуаз". Я удивилась: неужели во время собраний можно курить? Мне-то казалось, что этот торжественный церемониал ничего такого не допускает.

Женевьева Перро вернулась в гостиную. Она принесла поднос с четырьмя чашками и, поставив его на ковер между нами, налила каждому по полчашки чая. Это был мятный чай, но в нем ощущался незнакомый привкус, как будто она тайком подмешала в напиток еще что-то.

Они пили медленно и молча. Я тем временем оглядывала комнату. Весь угол слева от стола был занят полками с книгами в старинных переплетах. Внизу под ними стоял диван с серой бархатной обивкой. Лампочка под красным абажуром, прикрепленная к одной из полок, ярко освещала диван. Я подумала: наверное, Женевьева Перро ложится туда, чтобы почитать. А может, и сам доктор Бод, когда он бывает в Париже.

Наконец они встали. Мишель Керуредан и Джанни церемонно пожали на прощанье руку Женевьеве Перро, сказав, что придут на собрание в пятницу вечером. Я было тоже собралась распрощаться и уйти, но Женевьева Перро знаком удержала меня.

Мишель Керуредан сказал мне: "До свидания... до пятницы или, может быть, раньше, в кафе". Он уже прижал к себе свой толстый коричневый портфель. Она проводила их к выходу. Я ждала, стоя одна посреди комнаты. Дверь хлопнула. Женевьева Перро снова стояла рядом, обволакивая меня улыбкой и мягким взглядом зеленых глаз.

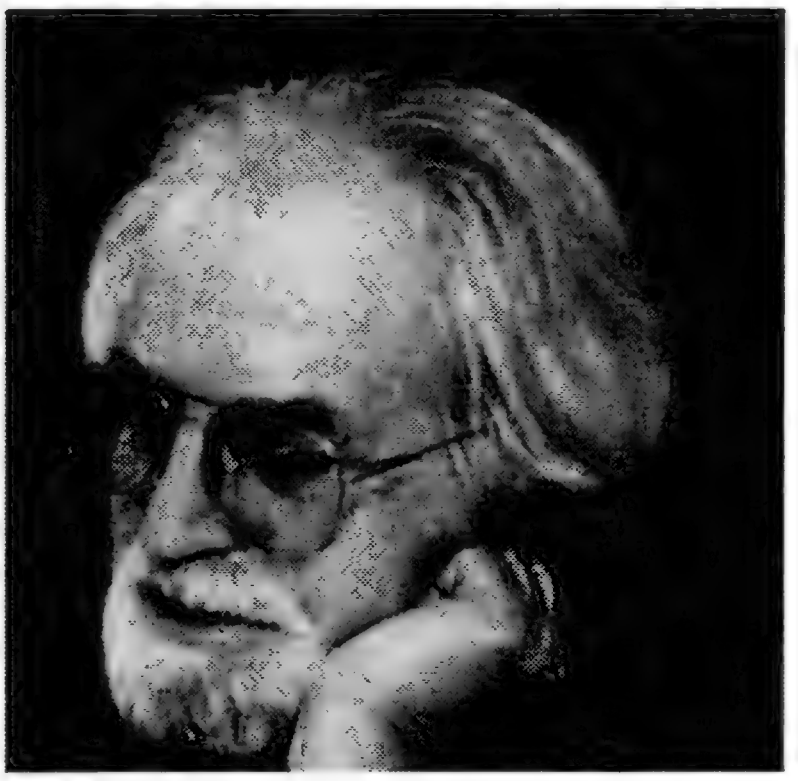
— Расслабьтесь, дорогая... У вас такой печальный вид. Ну-ка приляг-те на диван...

Никогда еще я не слышала такого успокаивающего голоса. Я легла на диван. А она села за стол.

— Расслабьтесь... Закройте глаза...

Я услышала, как она открыла и закрыла ящик стола. Затем подошла и выключила лампочку над диваном. Теперь в комнате царил полумрак. Она села на диван рядом со мной и начала легонько массировать мне лоб над бровями, веки, виски. Я боялась заснуть и доверить ей во сне все, что так долго хранила для одной себя: Рене, собаку, потерянный снимок, бойни, цокот копыт, который будит вас на заре. Из-за всего этого я и оказалась здесь, на диване, в доме номер 7 по улице Домбаль. Это было не случайно. И если я хотела лучше понять жизнь с ее темными и светлыми сторонами — как говорил доктор Бод, — мне следовало еще на некоторое время задержаться в этом квартале.

Петре Андреевский



Рассказы

Перевод с македонского Е. Верижниковой и Ж. Гилёвой

Этот странный, странный балканский мир. С ним читатели журнала "Иностранная литература" познакомились в последние годы по причудливым картинам сочиненной Милорадом Павичем реальности, по лирическим миражам Горана Петровича и мрачным фантазиям Данилы Киша. Видимо, в этом прекрасном крае, который и поныне раздирают жестокие страсти и смертельная вражда, что-то пробуждает необузданное воображение. Суровая правда жизни сочетается с вымыслом и в рассказах македонского писателя Петре Андреевского, его сборник "Все лики смерти", откуда взяты публикуемые ниже рассказы, заставляет вспомнить — и не только из-за названия — "Энциклопедию мертвых" Д. Киша.

Петре Андреевский — признанный в своей стране поэт и прозаик. Он удостоен всех самых престижных премий в Македонии. За свои шестьдесят с лишним лет он написал множество стихотворений, рассказов и несколько романов. Короткий рассказ — квинтэссенция его стиля, его поэтики. Сюжеты часто взяты автором из недавнего прошлого, но, судя по событиям, происходящим в последнее время в странах, составлявших прежнюю Югославию, злая судьба, как крот в рассказе Андреевского, неотвратимо преследует живущих в них. Трудно не согласиться с характеристикой, которую дают сборнику его издатели: "В рассказах Андреевского есть и наш македонский простор, и подлинные человеческие судьбы, и поразительная способность автора соединять реальное с нереальным, открывая каждый раз новый лик смерти и новые истины жизни".

М. Тарасова

© Петре Андреевски, 1994
© Е. Верижникова, Ж. Гилёва. Перевод, 2001
© М. Тарасова. Вступление, 2001

Крот

ВСЕ вокруг слышали о кроте, но никто не знал, откуда взялось это скверное и вредное животное. Уже несколько лет он хозяйничал в огороде Данаила Кордановского. И за все это время Данаил ни разу не порадовался урожаю. Едва посадит он перец и помидоры, как крот тут же до них доберется. Прямо напасть какая-то, чума подземная. Не дает ни корни пустить, ни ростки выгнать. Случалось, Данаил Кордановский не узнавал своего огорода. Грядки разорены, борозды засыпаны, лунки разрыты. Ужас и тоска охватывали Данаила. Будто крот перерыл его самого, вскопал ему грудь, перепахал легкие. Будто его всего исколошматили, разворотили, выпотрошили. И никак не мог он понять, почему это крот вредит только ему. Может, если бы он забирался и в соседние огороды, Данаилу было бы не так обидно. Потому как общая беда вроде не так тяжела. Одно горе утешается другим, одно другое облегчает. Но все соседские огороды были целехоньки и весело зеленели.

Придет, бывало, Данаил Кордановский в свой огород и только моргает, вот-вот заплачет. Особенно как увидит жалкие квелые стебельки перца и помидоров, подрытые и поваленные, точно им кто колени перебил. И, конечно, с увядшими листьями. У некоторых корешки подъедены, будто их ножницами обрезали. И как ему, проклятому, удается столько земли перелопатить, сетовал Данаил Кордановский, да еще и все корни повыдирать? И почему он не лазает по чужим огородам, думал Данаил, или ему здесь медом намазано? Он все пытался угадать, где прячется крот, пока еще ничего не посажено. Здесь ли пережидает зиму или следит откуда-то издали? И как это он следит, если ничего не видит? Или у него есть какая-нибудь постоянная связь с огородом? Уж не доносит ли ему кто обо всем, что тут делается? Только оживет огород, а кто-то побежит и доложит кроту. И крот приходит, чтобы перевернуть все. Исподтишка, никем не замеченный. Хоть бы раз увидеть его крохотное розовое рыльце и лопаточки на его коротеньких ножонках — больше ведь ничем путным природа его не наделила. Видать, крот сильно провинился перед Богом, и тот судил ему всю жизнь рыться под землей. В темноте и сырости. Однако же хлебнуть этой беды досталось и Данаилу Кордановскому. Шли годы, а он все делил с кротом его кару. И даже, можно сказать, взвалил на свои плечи всю ее тяжесть.

Данаил Кордановский частенько даже не ночевал дома. Он верил, что крот чаще вылезает по ночам и именно тогда разоряет огород. Данаил, словно тень, крался по междурядьям, перешагивал грядки, все карaулил крота. И за этим ожиданием Данаила заставал рассвет, касались его первые лучи солнца. Да и днем, опершись на свою мотыгу, Данаил часами всматривался, не приподнимется ли где земля, нет ли где какого движения. И лишь заметит малейшую осыпь, тут же несется туда и лупит по тому месту что есть силы. Так они с кротом гонялись друг за другом вслепую. А люди смотрели на это и спрашивали:

— Кого это ты ловишь, Данаил?

— Ловлю соек, — отвечает.

— Не видать их что-то...

— Моя сойка под землей летает, вот ведь какое диво, — отвечает Данаил. — Крота я ловлю.

— Какого еще крота, Данаил?

— Того самого, что мне весь огород испоганил, а я его еще и не видел ни разу!

— Как же ты можешь ловить того, кого не видишь?

— Хотите верьте, хотите нет, но, может быть, это не я его, а он меня ловит.

Дивились этому люди, дивились и птицы. Они взлетали с земли, рассаживались вокруг по верхушкам деревьев, смотрели издалека. Расправляли крылья, вертели головами. А Данаил Кордановский все бегал по грядкам с мотыгой. Все пытался застать крота врасплох. Он то и дело вонзал мотыгу в землю, переворачивал пласт за пластом, но все понапрасну. Он никак не мог понять, почему удары его мотыги звучат так глухо, так безнадежно. Устав, Данаил опускался на землю, можно сказать, припадал к земле всем телом. Но и тут мысли его вились вокруг крота. Интересно, думал Данаил, а крот тоже устал? Данаил просто с ума сходил, так ему хотелось увидеть, что и тот выбился из сил.

И все же Данаил Кордановский не сдавался, не отступал. Разве можно допустить, чтобы крот остался безнаказанным? Данаил устраивал облавы, придумывал западни. Он делал это каждый год, но все без толку. Строил преграды, рыл глубокие ямы. Засыпал в кротовые ходы древесный уголь, лил вонючую отраву. Крота ничто не брало. Смрад выветривался, и крот вновь начинал шевелиться то там, то сям. Вернее, шевелилась земля, приподнимаемая кротом. И никакие ядовитые испарения не могли одурманить крота, заставить его кашлять или плакать. Наконец Данаил испробовал огонь. Он пропитывал тряпки керосином и поджигал. И горящими запихивал их в кротовые норы. Он надеялся, что уж дым-то выкурит крота. Но глаза Данаила полыхали сильнее, чем тлеющая ветошь, торчащая из земли. Данаил нагибался, почти ложился на землю. Он набирал в грудь побольше воздуха и, затаив дыхание, ждал. Подождет с надутыми щеками, а потом выдохнет через рот. Подует на землю, как от сглаза, от порчи. А потом вдруг задышит часто и неглубоко — так он прислушивался, не шевелится ли земля, слышал, как копошатся муравьи и дождевые черви. Но никак не мог услышать, где роется этот мерзавец крот.

Однажды у Данаила возникла мысль утопить крота. И он залил водой весь огород. Развернул придорожный ручей — не для полива огорода, а чтобы его затопить. И целый день удерживал воду на грядках. Делал запруды, чтобы не ушло ни капли. Вода заливалась в кротовые дыры, и он тут же их затыкал. Сначала заполнял водой, а потом закупоривал. Заталкивал в них дерн и сушняк, утаптывал сверху. Вокруг пузырилась мутная вода, а он все месил грязь, и она чавкала у него под ногами. Он залил огород так, что вода покрыла помидоры и перец. Данаил надеялся, что крот утонет или, по крайней мере, вода хоть на время выгонит его с огорода. Но навредил он лишь самому себе. Потому что после этого не мог даже войти в огород. Ноги вязли, стебли перца и помидоров, вымазанные в грязи, повалились, зелень помялась и слиплась. Нужно было время, чтобы растения поднялись и хоть немного окрепли. С какой тоской Данаил смотрел на разоренные грядки, превращенные им в болото!

Наконец вода ушла, земля подсохла, но глянул Данаил Кордановский на свой огород, и в глазах у него вновь потемнело от гнева. По-

всюду виднелись кротовые норы. Весь огород был в новых дырках. Рассада опять валялась корнями вверх. Каково было это видеть Данаилу Кордановскому? Он чувствовал себя так, как если бы крот прошел сквозь него, прокопал ему грудь, взрыл легкие. А может, и того хуже. Данаил с безумным видом бродил по своему огороду, подумывая, уж не поменять ли в нем всю землю. Но поскольку на такой подвиг его не хватило, он начал ругаться с соседями. Сначала он рассорился с Пейко Джамовским.

— Ты, Пейко, видел крота?

— Видел разок, — сказал Пейко, — шкурка как у черного поросенка или черной собаки.

— Ты хорошо его разглядел? — спросил Данаил.

— Да так, мельком видел, — сказал Пейко.

— А он тебя видел? — поинтересовался Данаил.

— Не знаю, — сказал Пейко, — говорят, кроты днем ничего не видят.

— Ну, значит, это ты мне его и подкидываешь, — сказал Данаил, — раз ты столько знаешь про кротов. Я вот его до сих пор почему-то не видел, — сказал Данаил Кордановский.

— Так и я только раз его видел, — возразил Пейко Джамовский.

— А что ж тогда в твоем огороде нет кротовых нор? — сказал Данаил Кордановский.

— А вот поди спроси, — ответил Пейко Джамовский.

— Вот я и спрашиваю, — сказал Данаил Кордановский.

— Вот я тебе и говорю, — сказал Пейко Джамовский.

Так, слово за слово, дело дошло до драки. Сначала между Данаилом Кордановским и Пейко Джамовским. Потом Данаил поссорился с Корумом Сивевским. А потом и со всеми остальными соседями. Он стал думать, что эта напасть — их рук дело, что это они подкидывают ему крота. И никто больше не хотел иметь дело с Данаилом Кордановским. Все обходили его стороной. Шарахались даже от его тени. Старались не попадаться на его пути, да и он стал их дичиться. Кроту же все было нипочем. Днем он забирался к Данаилу в огород, по ночам — в его сны. Только Данаил уснет, как земля встает на дыбы, забрасывает его кротовыми кучками. Он ловит крота, а груды земли все падают и падают на него, погребают его под собой. А когда он просыпался, лоб его был покрыт каплями холодного пота. Шло время, лицо Данаила осунулось, почернело. Данаил угасал, словно что-то грызло, точило его изнутри. И вот наступил день, когда он сдался и сомкнул веки. А может, он решил умереть, чтобы сойти под землю и там встретиться с кротом. Убить его или хотя бы наконец посмотреть на него.

Есть такой обычай — когда несут покойника, полагается по дороге несколько раз остановиться, чтобы он в последний раз простился со всем, что ему было дорого. Обычно — у колодцев и перекрестков. Когда несли Данаила, остановились напротив его огорода. Это недалеко от кладбища, так что, если соскучится, Данаил сможет даже прийти на свой огород. Как же он теперь без крота, сказал кто-то, да и как же теперь крот без Данаила...

И действительно: на сороковины родственники пришли на могилу помянуть усопшего и увидели там свежий кротовый лаз. Будто пришел старательный пахарь и проложил через могилу первую борозду. Люди посмотрели и прошептали:

— Господи боже, он и могилу его не оставил в покое...

Отец

— ЧТО за проклятое время! — сказал предводитель разбойников Ракип. — Тени и той человек лишился. А человек без тени — полчеловека: не знает ни с кем он, ни что он. — Так сказал Ракип и начал спускаться в котловину.

За ним потянулся и его отряд — на дымок, что стелился над крышей постоялого двора у дороги и растворялся в низко нависшем мрачном небе. Разбойники знали, что там, у огня, они смогут наконец погреть свои кости. Зяблики уже давно предвещали ненастье, и оно висело в воздухе, набрякшее от влаги. На вершинах гор уже белел первый снег. Вдобавок к частым облавам и засадам наступили холода, и жизнь в низине замерла. Только потому, что стаи диких гусей и черные тучи воронья то взлетали, то садились на землю, можно было сказать, что она еще теплится. Да еще то тут, то там копошились обитатели постоялого двора и шатались по лесу не ведавшие, что такое жалость, разбойники. Стоян Сираковский был одним из них. Как оказался он среди головорезов, пробиравшихся сюда из Албании, чтобы красть скот и детей? Его и самого когда-то похитили разбойники, а у отца не нашлось денег, чтобы выкупить сына. Когда он узнал, сколько с него требуют, он только и сказал: "Где ж нам взять такие большие деньги за такого маленького человека?" Была в этих словах тоска, но было и облегчение — одним ртом меньше. Так Стоян Сираковский вырос в отряде и стал здесь не последним человеком.

Разбойники вошли на постоялый двор, и крестьяне, стоявшие вокруг печки посреди комнаты, отступили назад, чтобы дать вошедшим место. Вернее, уступить им свое. Стоян Сираковский сел, прислонившись к стене, и стал с любопытством разглядывать лица людей. Одно из них выделялось, как солнце, проглядывающее сквозь чад и дым. Стоян глянул в ту сторону раз, другой и вдруг почувствовал себя так, будто на него наваливается страшная тяжесть. Он весь похолодел, во рту пересохло, все поплыло перед глазами. Он смотрел на незнакомого старика, на его морщинистый лоб, нависшие брови, в его холодные, словно две льдинки, глаза. Правду сказать, где бы ни появлялись разбойники, все сразу будто застывало. Но эти широко открытые глаза, даже отведенные в сторону, все никак не отпускали Стояна Сираковского. Они добирались до него даже когда старик смотрел куда-то в сторону. И вот Стоян Сираковский велел принести кофе — не только себе, но и старику тоже. Кому, удивленно спросил хозяин, и Стоян Сираковский, подняв ружье, молча указал на старика. Сотоварищи Стояна недоумевали — ведь он никогда не проявлял милосердия даже к тем, кто молил о пощаде.

А Стоян посмотрит на старика и тут же переводит взгляд на ружье, зажатое между колен. А не смотреть не может. И снова поднимает глаза. Изучает, разглядывает это лицо, каждую складку, каждую черточку. Он или не он? Стыдно ему признаться себе в том, что он не узнаёт это лицо, забыл его. Потому что, глядя на него, он как бы видит себя — пришедшего из какого-то иного времени. Он знает, что это время ждет и его, только не уверен, что ему суждено дожить. Мало кому из разбойников удается встретить старость... Когда же старик наконец отхлебнул из чашки, лицо Стояна осветилось улыбкой. Даже глаза засмеялись. Вот бы подняться, поцеловать старику руку, открыться ему, рассказать о себе... Но Стоян боялся, что все это будет глупо, по-дурацки. А как хотелось ска-

зать: "Что за проклятое время — я боюсь сказать, ты боишься спросить". Но он промолчал, молчали и другие. В комнате зависла какая-то мраморная тишина, которую нарушало только человеческое дыхание. И в этой тишине все почувствовали себя жалкими и потерянными. Только хозяин сновал туда-сюда, стараясь прикрыть страх притворной любезностью. Старик допивал кофе, ссутуленный, сморщенный, как печеное яблоко. Видно было, как ему не по себе оттого, что приходится принимать угощение от разбойника. Предводитель Ракип хмыкнул и бросил на Стояна Сираковского неодобрительный взгляд. Взгляд свысока. Но ведь Стоян Сираковский не сделал ничего такого, он просто угостил старика чашкой кофе. И это, верно, был единственный в его жизни миг слабости, когда ему захотелось кого-то пожалеть. Может быть, он искал в этом для себя избавления от чего-то?

Когда разбойники покинули постоялый двор, предводитель Ракип вдруг остановился перед Стояном Сираковским. Преградил ему дорогу и, пыхтя, словно раздувает костер, сказал:

— Мы гяурам ничего не даем, мы только отбираем.

— Он мне тоже кое-что дал, — сказал Стоян Сираковский.

— Что же это он тебе дал? — спросил Ракип.

— Жизнь, — ответил Стоян Сираковский. — Эту проклятую жизнь, которую я мыкаю. Он мне отец.

— Что же ты ему ничего не сказал? — со злостью спросил Ракип.

— Я боялся тебя, — сказал Стоян Сираковский. — А его стыдился.

— Сейчас ты перестанешь бояться и стыдиться, — сказал Ракип и, протянув руку, забрал у Стояна ружье, почти сорвал его с плеча. Потом навел его на Стояна и стал медленно давить на курок. — Твоя судьба — быть убитым из твоего же ружья, — прошептал он и выстрелил. Стоян Сираковский раскрыл рот, но из него не вылетело ни слова. Он больше ничего не мог ни сказать, ни услышать. Раздался только оглушительный ружейный выстрел, который затухающим эхом вернулся с холмов в котловину. Он вернулся со стаей воронья, и птицы, покружив, расселись на голых ветках, как нанизанные. Вернулся на постоялый двор и один из разбойников. Его послал Ракип сказать старику, чтобы тот закопал своего сына. Впервые Ракип сделал что-то с таким спокойным и гордым достоинством. Но за что он убил Стояна Сираковского, так никто и не понял. То ли за то, что тот узнал своего отца, то ли за то, что угостил неверного, то ли за что-то, что копилось в нем годами?

Б*ашмаки*

ГРОЗДАН Ошавковский много повидал и пережил на своем веку, только жениться не успел. Не довелось, или, может, бродяжья душа не позволяла. Когда ж остепенился, меняться было уже поздно. Сестры повыходили замуж, родители умерли, и он остался в доме один. Как говорится, бобыль бобылем. И от привычек никуда не денешься. Но вот однажды он вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. А началось все весной, когда женщины копали огороды и аисты возвращались в село, чтобы принести новых детей.

Впервые он заметил это после стрижки. Хотя лет ему было уже немало, он за собой следил, не опускался. Не хотел ни милости, ни жалости от других. И что ни месяц стригся. Косматая голова, говорил он, как по-

ле, заросшее бурьяном: никогда не знаешь, что родит. Когда волосы становятся тяжелыми, говорил он, мне все кажется, что по ним ползает тля или гусеницы — ползает что-то и шуршит. Тогда и мысли у меня путаются, и слова не те... А не сказать, чтобы Гроздану Ошавковскому было что стричь: волосы жиденькие, белые, как пух одуванчика. Кажется, чихнешь — и пушинки оторвутся, полетят прочь. А вот поди ж ты: терпеть не может волос. Чуть отрастут, зовет Нове Сапожника:

— Бога ради, пройдись-ка машинкой!

И Нове без разговоров начинает чикать. Гроздан Ошавковский стискивает зубы, а Нове щиплет ему волосы, оголяет голову. Сперва надо лбом, потом на шее. Наклоняет ему голову, загибает уши, каждый волосок захватывает. Собирает ему кожу на затылке в мелкие складки, словно курицу ощипывает. Под конец дунет в шею и радостно скажет:

— Ну, на здоровье!

— И тебе дай бог здоровья, — отвечает Гроздан Ошавковский, — как же мне легко-то стало!

И пойдет проводить его, открыть ему дверь. И вот в последний раз показалось ему, Гроздану Ошавковскому, будто никто из дому не вышел. Нове Сапожника нет, а кто-то все же остался. Потом заметил Гроздан и следы в пепле, рассыпанном на полу перед очагом. След одной ноги в одну сторону, а другой — обратно. Точно струпья на оцарапанном лице — глаз режут.

На следующее утро пошел он в хибарку, что на краю села, — гнать ракию из виноградных выжимок. Их всего-то на один котел было. Засыпал он выжимки, залепил тестом крышку и коленца трубочки, развел огонь. Пламя тут же набросилось на дрова, похрустывая, как собака, грызущая кость. Скоро в помещение налетели мухи. Повылезли из щелей, поднялись с навозных куч, потянулись к теплу. Но только потекла из трубочки первая струйка, как кто-то перекрыл воду для охлаждения. Иссякла вода, и ракия заклокотала, как ключ. Гроздан Ошавковский загасил огонь, вышел, снова пустил воду, остудил крышку, и ракия опять потекла как надо. Наладил вроде все как следует. Да только смотрит, котелок не наполняется. Вьется тонкий ручеек на донышке, а ракии ну ничуть не прибывает, будь она неладна! Словно сама собой испаряется или словно кто-то пьет ее, а кто — не видать. Либо нечисть какая завелась? Озирается Гроздан Ошавковский, вертится во все стороны, как теленок на короткой привязи. Не верит, что с ним такое творится. Да и кому здесь быть, коли никого не видно? Дым столбом, все как в тумане: чад глаза ест, пеленой застилает. Может, меня здесь и нет, думает Гроздан, может, мне все это чудится. Уж не помешался ли я, сказал он вслух, взял котелок, собрался уходить. Идет и всю дорогу чувствует, что кто-то идет за ним, на пятки наступает. Оборачивается Гроздан Ошавковский, а видеть никого не видит. А этот кто-то все же здесь, рядом. Так и пришел он домой не один. Пришел домой, сел на лавку, и стало ему вдруг холодно, засквозило отовсюду. А как стемнело, появились летучие мыши. Они носились над домами, как улетевшие раскрытые зонтики. Господи, что-то рано появились летучие мыши, сказал он себе, или это у меня в глазах рябит? И тут одна летучая мышь ударилась в окно. Гроздан Ошавковский только вздрогнул, душа ушла в пятки. Может, и этот с ними, сказал он себе и мотнул головой, словно сгоняя с лица муху.

Теперь уже было ясно, что в дом повадилась чья-то тень, призрак. Стал Гроздан высматривать его, как орел добычу. Тут-то и вспомнился

ему сельский кузнец Киприян Железаров. Давно это было. Только что закончилась первая война, вновь оживали замершие села. Улетали совы, возвращались соловьи. У кузнеца в ту пору было полно работы, только успевай поворачиваться. Жизнь входила в привычное русло, люди справляли новые плуги и лопаты, кирки и мотыги, топоры и колуны, тесла и косари, да мало ли чего в хозяйстве надобно! И за всем этим шли к сельскому кузнецу Киприяну Железарову. Шли к нему, чтобы он обшил им телеги железом, обул им колеса. И он обтягивал колеса шиной, словно пришивал ее заклепками к колесным дугам, к ободу. Ставил втулки и хомуты на ступицы, укреплял оси, и получалось одно целое. Будто росли вместе дерево и железо.

Отовсюду приходили люди к сельскому кузнецу Киприяну Железарову. Приходили и жандармы, искавшие наших повстанцев. И Киприян Железаров всегда обслуживал их в первую очередь. Подковывал им коней, починял седла, удила. И при каждой встрече обнимался-целовался с ними. Они и с коня, бывало, еще не слезут, а он уже руки раскинул, будто родню встречает. Лебезил перед ними и словно становился ниже ростом, так старался им угодить. Было это не раз и не два, и все уже знали, кто выдает бунтовщиков, среди которых был и Гроздан Ошавковский. И вот однажды ночью бунтовщики спустились с гор и выволокли Киприяна из кузни. Он как раз потушил огонь в горне, и его увели в лес допрашивать. Он пытался было кричать, да никто не отозвался. Ему и сказать ничего толком не дали. Спрашивали, да не давали ответить.

Порешили содрать с него кожу, как с козла: с головы до пят. В ужасе от того, что его ожидает, Киприян Железаров упал на колени, запричитал, стал рвать траву. Он так обезумел, что не соображал, что делает. Выдирал пучки травы и запихивал себе в рот. Жалкое это зрелище, когда от страха делаешься таким ничтожеством, превращаешься в скотину! Киприян умолял простить и пощадить его, но с набитым ртом ничего не мог толком выговорить. Он и дышал-то с трудом. Это разозлило бунтовщиков еще больше. Кожу с него сдирали, как сорочку с плачущего младенца. Киприян Железаров ревел и дрыгал ногами, колотя ими о землю. Оголялось мясо, брызгала кровь, а он хрюкал, скулил, рычал. Даже в селе слышали его крик. Может, сам Бог его слышал, да ведь он не всегда и не всякому отзовется. Откуда только взялся у кузнеца такой сильный голос? Знать, боль была такой же сильной. Ведь боль и голос всегда идут рука об руку.

Потом его завязали в мешок из-под угля и так отнесли домой. Постучали в дверь и бросили на пол. Жена как увидела, глаза закатила и упала замертво. Сын его, Пейко, стоял оцепенев, с лицом как глинистая земля, залитая дождем. То на отца посмотрит, то на бунтовщиков. Не сообразит, что и делать.

— Узнаешь? — говорят они Пейко.

— Не узнаю, — говорит Пейко. — У него лица нет.

— У него и раньше не было, — говорят ему, — он так и ходил без лица. Руки у него были золотые, а вот лица не было...

Пейко хотел было что-то сказать, но только губами задергал, вот-вот заплачет.

— Заявлять будешь? — спрашивают его.

— Не буду, — говорит Пейко и моргает, смаргивает слезу.

— Что же ты плачешь, — говорят ему, — негоже мужчине плакать...

— Я не о нем плачу, а о себе. Теперь моя очередь умирать. Никого больше передо мной нет, — говорит и ртом ловит слезы, жует их, как соленый турецкий горох.

— Значит, заявишь? — говорят ему.

— Нечего мне заявлять, — говорит Пейко и, всхлипывая, утирает нос. — Нечего мне заявлять.

И впрямь не заявил. Скрыл смерть отца, никому ничего не сказал. Он знал, как легко они убивают, и не хотел, чтобы и с ним случилось такое же, если не хуже. Потому не пошел ни в суд, ни в жандармерию. Не стали искать кузнеца и жандармы. Киприян Железаров заявился сам собой. Вернулся ниоткуда и бродит как ни в чем не бывало. Гроздану Ошавковскому не верилось, что через столько лет кузнец может вернуться, вспомнить о нем. И почему именно Гроздана тот не может простить? Невдомек ему, что не осталось больше никого, с кем Киприян Железаров мог бы свести счеты. Из всех, что сдирали с кузнеца кожу, только он и был жив: одних убили, другие умерли, и время их теперь разделяло так, как оно всегда разделяет живых и мертвых.

И вот Киприян Железаров вернулся и послал за Грозданом свою тень, приставил ее к нему. И всюду ходит она за ним по пятам. Придет Гроздан домой, и кузнец с ним. А то поджидает его дома. Сядет Гроздан покурить, а Киприян тут как тут: зашебаршится, дает о себе знать. Сидит Гроздан Ошавковский, смолит свою цигарку: присосется к ней и таращится в пустоту. Чуть погодя почудятся ему шаги, будто по всему дому кто-то бродит. Шагает кто-то по дому, а Гроздану кажется, что это у него по голове кто-то ходит. Тень расхаживает, рыщет по шкафам, стучит. А Гроздан Ошавковский один во всем доме. Некому пожаловаться, не у кого защиты попросить, некого на помощь позвать. Прежде, бывало, сам черт ему не брат, а теперь мурашки по спине бегают, волчьи когти на душе скребут, цигарка гаснет. Сама собой гаснет в руке. Да только куда хуже, коли позабудешь бояться. Но пуще всего Гроздан испугался, когда у него пропали башмаки. Кто ж еще мог их взять, как не Киприян Железаров? Обулся и ходит по дому. Без них, может, он бы не так громко топал. Подумал Гроздан и про Нове Сапожника: не он ли привел тень, когда меня стриг?

Обхватит Гроздан голову руками, пригорюнится и сидит, пощипывает свои впалые щеки. Кажется ему, что вся кожа у него скрипит и осыпается, как песок. Человек должен состариться, чтобы понять, как он слаб и беззащитен. Его не страшили облавы и погони, а теперь он боится тени, которую никто не отбрасывает. Правда, он знает, чья это тень, но самого хозяина не может увидеть. Как мало, оказывается, нужно, чтобы изничтожить человека! У страха ведь глаза велики, только иные закрывают голову руками, а иные поют. А Гроздан Ошавковский все крутит цигарку за цигаркой. Мнет табак на листке, прижимает его большими пальцами, а он, будто ртуть, все выскакивает у него из рук, никак не слушается. И слюну-то Гроздан с трудом собирает, чтобы склеить цигарку. И до рта ее еле-еле доносит. Рука дрожит, клонится в сторону. Но Гроздан не сдается: затягивается, будто пьет, а огонек блестит, как золотой зуб, как подожженный червячок, тлеет. И тут распахивается дверь, и цигарка опять гаснет. Гаснет и валится из рук. У Гроздана Ошавковского перехватывает дыхание: стоит перед ним вроде человек, а не человек. Ни лица не видно, ни рук. Или это он за своей тенью спрятался?

Гроздан Ошавковский долго силится различить что-нибудь в темноте. Но не видит ничего, кроме своих башмаков. В окно светит низкая луна, освещает только эти башмаки. Башмаки ходят, а ног нет. И тут чувствует Гроздан, что кто-то сел с ним рядом. Ни глаз, ни лица не разглядеть. Все будто густой тенью занавешено. Лунный свет в комнате совсем слабый, и лицо непрошеного гостя скрыто во мраке. И вдруг обнимает Гроздана чья-то рука, холодит, будто слизень. Чувствует он, что нет в ней жизни, что она не живая. Может, потому такой от нее холод, такая тяжесть. Тень говорит ему прямо в рот, а воздух не движется. Дыхания не чувствуется, а слышно хорошо.

— Узнаешь меня?

— Не узнаю.

— Не узнаешь, — отвечает голос, — потому что не видишь меня. Верни мне лицо, и увидишь, — так он ему говорит.

О господи, как же колотится у Гроздана Ошавковского сердце под рубахой! Глаза на лоб лезут, все плывет перед ними. А голос все говорит, говорит. Будто припоминает все, что забыл Гроздан Ошавковский. Правду сказать, Гроздан и сам уже не разберет, кто спрашивает, кто ответ держит. Да и как тут разберешь, если собственным ушам не веришь? Ведь от большого страха, когда волосы встают дыбом, могут послышаться слова, которых никто не говорил. А можешь и свои слова услышать как чужие. Бывает, и сам с собой заговоришь. Однако слова эти застревали в голове и, как пила, как гвоздь, вонзались ему в мозг.

Так каждую ночь донимала его тень Киприяна Железарова. Никак не угомонится, не успокоится. Но теперь Гроздан хотя бы знал, кто терзает, бередит ему душу. Тяжко это — разговаривать с тем, кого не видишь. А ведь тень на этом не остановится. Гроздан насилу дожидался рассвета. Когда наконец этот уйдет и оставит его в покое. Наступал день, а Гроздан был так измочален, что даже солнце было ему не в радость. Даже собственную тень он с трудом волочил за собой — ему казалось, что на нее все время кто-то наступает.

Иногда он ложился в одной комнате, а просыпался в другой. И все утро спрашивал себя, незваный гость ли перетаскивает его или он сам, Гроздан Ошавковский, забыл, где лег. Может, ошибся комнатой, утешал он себя. Но всякий раз спрашивая: почему я здесь, он слышал: “Потому что и я здесь”. И тогда ему хотелось крикнуть: убей меня, как убил тебя я! Враг все время был рядом, и это было невыносимо. Порой даже комната казалась Гроздану незнакомой. Окна он видел высоко над собой, будто они поднялись куда-то в небо.

Шло время, и Гроздан все больше опускался, дичал. Он уже перестал за собой следить, поставил на себе крест. И все подозревал Нове Сапожника — не звал его уже несколько месяцев. Махнул на себя рукой человек, перестал даже стричься. И лицо его все больше скрывалось под бородой. Тело высыхало, будто его точили все человеческие недуги разом. Голова стала тяжелой, ноги заплетались. Да и руки плохо слушались. Так изо дня в день, изо дня в день. Раньше, бывало, то одна, то другая сестра приходили, чтобы позаботиться о нем. Испекут ему что-нибудь, постирают, приберут в доме. Теперь же все словно позабыли о нем. Все его боялись, и он всего боялся. Боялся даже смотреться в зеркало, да и в воду не глядел. А вдруг я увижу там его, думал он, вдруг он оттуда мне покажется. Гроздан ходил угрюмый, с тоской в глазах. Переживал в одиночку — что-то мешало ему открыться, пожаловаться людям.

Так бы все оно и шло, но повстречался ему как-то Ристе Дамьяновский:

— Что это с тобой стряслось, Гроздан, одна тень от тебя осталась!

— Не знаю, — говорит ему Гроздан Ошавковский, — повадился ко мне кто-то ходить, не дает мне покоя.

— Может, у тебя кто на совести, — говорит Ристе Дамьяновский, — или причаститься забыл?

— Причащался, — говорит Гроздан Ошавковский, — на Пасху причащался.

Первый вопрос Гроздан пропустил, но насчет причастия не солгал. Он помнил, как принял от попа ложечку с вином. Открыл рот и даже высунул язык, будто ему не хватало воздуха. После обеда сразу пошел в трактир, где сельчане пили вино. Может быть, то же самое, которым причащались. В трактире было дымно, пар валил и от людей, оттого что они все время запрокидывали головы и пили залпом. Кожа у них на шее шевелилась, как земля, под которой только что проснулись кроты. Вино клокотало в глотках с таким звуком, будто кто-то бежит по лестнице. Вот так же топает у него в доме Киприян Железаров. Крестьяне открывали глаза, в которых уже появился блеск, их лица покрылись мелкими каплями, будто сыпью. Около трактира бегали дети и бились красными яйцами. Кто-то кричал: дай вина, чтоб смеяться, не давай, чтоб ругаться. Сидевших в трактире оставил разум. Бросил их здесь и отправился неведомо куда.

Ристе Дамьяновский смотрел на унылое заросшее лицо Гроздана Ошавковского. Пересчитал все волоски, торчавшие у того из ушей и из носа, все морщинки на лбу. Губы Гроздана были крепко сжаты, почти не видны из-за бороды.

— Вот что я тебе скажу, — говорит ему Ристе Дамьяновский.

— Скажи, — говорит Гроздан Ошавковский.

— Если на тебе есть грех, нужно в нем покаяться, — продолжает Ристе Дамьяновский. — А нет, так ищи человека с одной дыркой в носу. С одной ноздрей. Чтобы дышать, если заткнут рот. Всем бывает невмоготу, но тебе только такой человек может помочь.

В те дни зарядил дождь. Какой-то беспросветный, частый, так что и взгляду не проложить дорогу. И все это время Киприян Железаров не появлялся. То ли он куда провалился, то ли где завяз, то ли так вымок и отяжелел, что не мог дотащиться до села. Верно, ждал, пока обсохнет, пока вся вода с него стечет. Но лишь только кончился дождь, Гроздан опять обнаружил следы в пепле перед очагом. Будто прошли козел и курица. Один след козлиный, другой — куриный. Тут-то и решил Гроздан Ошавковский искать человека с одной дыркой в носу. Он всматривался в каждое лицо, чтобы разглядеть ноздри. Сельчане по-прежнему старались с ним не встречаться. Потихоньку обходили стороной, так, чтобы он не заметил. Много дорог исходил Гроздан Ошавковский, но нужного человека не повстречал. А Киприян Железаров все продолжал изводить его, теснил по всему дому.

Лето было на исходе, а гость все не уходил. Только раз, во время жатвы, он явился еще и Грнчаровским. Они вышли жать, а он ходил за ними и раскидывал им валки. Приподнимал снопы, перерезал веревки, рассыпал колосья. Да еще Гергичины говорили, что кто-то передавил им кур, а крови нигде нет. Кур нашли в курятнике, ноги кверху, шеи свернуты. Будто коршун заклевал их спящими, они и закудахтать не успели. Мо-

жет, кузнец навестил и других, но молвы об этом не было. Ведь он, как стемнеет, неизменно возвращался к Гроздану Ошавковскому. Приходил как гость или, вернее, как свой человек и бродил по комнатам. Знай топает себе в украденных башмаках Гроздана Ошавковского. Носит их, никак не стопчет.

За неделю до Успения в село пришли лудильщики. Каждый год приходили они перед праздником заклепать сковороды, противни и бидоны, подновить их. Гроздан побежал посмотреть на их носы — пока они еще не слезли со своих неуклюжих ослов и мулов. Один из лудильщиков смекнул, в чем дело, и говорит:

— Не трудись, добрый человек, перевелись нынче люди с одной ноздрей. Возьми-ка ты лучше медвежью шкуру, стебелек базилика, цветок бессмертника, корень синеголовника, перевитый серебряной ниткой, и комочек дегтя. Все это сложи кучкой и подожги. Как придет тень, ты и подожги.

Послушал Гроздан Ошавковский лудильщика. Собрал все, что было велено, сложил и сел ждать. Наступил вечер — вот и он, кузнец Киприян Железаров. Входит, как всегда, и стучит краденными башмаками. И тут Гроздан Ошавковский не мешкая развел огонь. Да он бы и себя самого поджег, лишь бы избавиться от напасти. Вспыхнули сухие травки, загорелась шерсть, потек деготь, дым и вонь заполнили дом. В этом коротком всполохе пламени он снова увидел свои башмаки. Никакого Киприяна Железарова он не увидел, но почувствовал, что тот, кто бродил невидимкой во мраке, застыл на месте, может, у него тоже запершило в горле. Гроздан Ошавковский набрал в грудь побольше воздуха, сжал кулак и размахнулся что было силы. Но кулак ничего не задел. Прошел сквозь холодную пустоту, как сквозь снежный сугроб, взметнув облако пыли. Кто знает, может, это и не пыль была, а все тот же дым, но Гроздану показалось, что пыль, и не знал он, откуда она и что в ней прячется. Здесь ли еще тень, или ему все это померещилось? А когда пыль рассеялась, перед Грозданом было пусто. Сделал свое, сказал Ошавковский, сделал и исчез сельский кузнец Киприян Железаров. Когда же Гроздан зажег лампу, чтобы поискать башмаки, он еще больше удивился и испугался: он увидел их у себя на ногах. Он недоумевал, кто это его обул и когда, если еще недавно башмаки носила тень Киприяна Железарова. Господи, неужто я их так и не снимал и все время видел у себя на ногах? Неужто, повторял он, это я сам топал и сам себя боялся? Он твердил это, задыхаясь, он и сам уже не знал, жив ли он и что это такое — его жизнь.

Он стоял, глядя на свои ноги, обутые в башмаки, ни жив ни мертв. Вот так всегда и бывает у людей: про одних не знаешь, то ли жили они, то ли нет, а про других не знаешь, живы ли. А ни те, ни другие ведь не скажут.

О. Генри

Искатели риска

Рассказ

Перевод с английского Е. Суриц

ПУСТЬ наша история и потерпит крушение на разбегающихся рельсах Non Sequitur[1], Лимитед, что тут поделаешь; но вы все-таки займите место в экскурсионном автобусе "Raison d'être"[2]. Буквально на минуточку, только чтобы рассмотреть одну тему, ну, назовем ее, скажем: "Что поджидает нас за углом".

Omnius mundus in duas partes divisus est[3] — одни носят галоши и платят подушную подать, другие — открывают новые континенты. Континентов для открывания, увы, не осталось, зато к тому времени, когда выйдут из моды галоши и подушная подать разовьется в подоходный налог, те, другие, будут разъезжать по железным дорогам вдоль каналов на Марсе.

Фортуна, Удача и Случай названы в словарях синонимами. Но знаток в них отметит различия. Фортуна — это назначенный вожделенный приз. Удача — дорога к нему. Случай затаился в тенях при этой дороге. Лицо Фортуны — сияющее, призывное; лицо Удачи горит отвагой. У Счастливого Случая лицо прекрасное, безупречное, рожденное снами. Мы еще видим это лицо на дне нашей чашечки кофе, пока переваривае м и критикуем свою утреннюю котлету.

Искатель риска — это тот, кто по дороге к Фортуне не спускает глаз с летящих мимо изгородей, лугов и рощ. Этим он отличается от искателя удачи. Рекорд рисковости был поставлен давным-давно — тем, кто скушал запретный плод. Найти доказательство того, что это действительно имело место, — высшая цель искателя удачи. От обоих типов одна морока. А мы с вами, люди простые, законопослушные, раскурим-ка лучше трубку, угомоним детишек и кота, устроимся в плетеном кресле под мигающей газовой горелкой у холодного окна и рассмотрим небольшой рассказ про двух искателей риска.

— Слышали анекдот про эскимоса? — спросил Биллинджер в малой дубовой гостиной, сразу слева, если вы проникнете в Виргинский клуб.

— Конечно, — ответил Джон Реджиналд Форстер, вставая и выходя из комнаты.

©. Е. Суриц. Перевод, 2001
Рассказ будет опубликован в полном собрании рассказов О. Генри, выходящем в издательстве "Артикул".

1. Здесь: Несообразности (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Право на существование (*франц.*).
3. Весь мир разделен на две части (*лат.*).

Форстер взял у служителя свою соломенную шляпу (солома выйдет из моды и, возможно, снова войдет задолго до того, как все это будет опубликовано) и вышел на улицу. Биллинджер привык, что его анекдотов не слушают, и, конечно, не мог обидеться.

Форстер был в своем любимом настроении и хотел сбежать отовсюду. Для душевной гармонии человеку нужно, чтобы его мнения разделял и настроению сочувствовал кто-то еще. (Я написал было безличную форму "сочувствовали", но один телеграфист некогда призвал меня не употреблять лишних слов ради экономии денег. Тут случай обратный.)

В своем любимом настроении Форстер всегда воображал себя искателем счастья. Он был прирожденным искателем риска, но происхождение, воспитание, традиции и вредное влияние Манхэттенского племени не давали ему развернуться. Все торные большие шоссе он истоптал и не одну боковую тропку из тех, что призваны облегчать скуку жизни. Но напрасно. А все потому, что он знал, что́ ждет его в конце каждой улицы. По опыту и логически рассуждая, он почти точно знал, куда его заведет любое бегство от будней. Самые причудливые и прихотливые личные вариации на общие темы жизни казались ему монотонными и нагоняли на него смертную тоску. Он не сумел убедиться, что, хотя мир создан круглым, квадратура этого круга исчислена и самое интересное поджидает нас за углом.

Форстер шел и шел все дальше от клуба, стараясь не замечать и не выбирать улиц. Он бы с удовольствием заблудился; но на это не было никакой надежды. Фортуна и Удача в нашем большом городе всегда к вашим услугам. Но Случай — восточный гость. Он невидим и неуловим, как прекрасный принц в паланкине, защищенный взводом драгоманов от любопытных глаз. Вы проходите одну улицу, проходите другую, третью, а Случая все не видно.

Так пробродив целый час, Форстер остановился на углу широкого, гладкого проспекта, безутешно глядя на живописный старый отель напротив с мягко, но светло озаренными окнами. Безутешно — потому что он чувствовал, что пора ужинать; а ужин в этом отеле не сулил ни малейшего риска. Он знал это место наизусть, и обслуживание здесь было так бесшумно и быстро, а выбор блюд так изыскан, что буквально жаль было голода, укрощаемого со столь безжалостным совершенством. Даже музыка здесь, казалось, всегда играла на бис.

И тут ему пришла фантазия поужинать в каком-нибудь полупочтенном, даже подозрительном заведении подальше от центра, где лихие повара всех стран предлагают свою рискованную кухню всепоглощающим американцам. А вдруг там ждет его что-то необыкновенное: исключение без правила, вопрос без ответа, средство без цели, субъект без предиката, Гольфстрим в соленом океане жизни... А вдруг?.. Форстер не переоделся к ужину; на нем был темный деловой костюм, который не привлек бы к себе вниманья даже там, где официанты разносят спагетти в расстегнутых жилетках.

И Джон Реджиналд Форстер стал искать у себя деньги; ведь чем дешевле ваш ужин, тем безусловней вам придется за него платить. Он тщательно обследовал все тринадцать больших и малых карманов своего делового костюма, но не нашел ни единого цента. Его банковский счет выражался пятизначной цифрой, но...

Форстер заметил, что некто неподалеку с удовольствием за ним наблюдает. Человек как человек, лет тридцати, прилично одетый, он сто-

ял так, будто ждал трамвая. Но по данной улице трамваи не ходили. А потому это стоянье рядом и откровенное любопытство показались Форстеру некоторой навязчивостью. Однако, будучи постоянным искателем риска, он предпочел не оскорбляться и ответил смущенной улыбкой на веселую усмешку незнакомца.

— На нуле? — спросил тот, подходя еще ближе.

— Да, похоже, — сказал Форстер. — Я думал, доллар-другой обнаружится...

— Понятно, — засмеявшись, сказал незнакомец. — Ан нет. Я только что, заворачивая за угол, произвел ту же процедуру. Нашел в верхнем кармане жилета — и как они туда попали? — два цента. Не знаете, как могут покормить за два цента?

— Так вы не ужинали? — спросил Форстер.

— Нет. А хотелось бы. Знаете, у меня к вам предложение. У меня есть предчувствие, что вы не откажетесь. На вас хороший костюм. Простите мою нескромность. Мой, полагаю, тоже не вызовет подозрений у метрдотеля. Что, если мы зайдем в этот отель и поужинаем вместе? Закажем все как миллионеры или, если угодно, как господа в стесненных обстоятельствах, вдруг решившие кутнуть. А в заключение используем мои две монетки, чтобы решить, кому придется принять на себя всю грозу хозяйского гнева и мщенья. Моя фамилия Айвз. Полагаю, мы с вами жили примерно на одинаковом уровне, пока денежки наши не испарились.

— Идет! — сказал Форстер весело.

Затея обещала вход в таинственное царство Риска, во всяком случае, сулила кое-что кроме опостылевших изысков здешней кухни.

Скоро они уже сидели за угловым столиком в ресторане отеля. Айвз послал Форстеру по скатерти одну из своих двух монет.

— Киньте-ка, кому заказывать, — сказал он.

Форстер проиграл.

Айвз засмеялся и стал называть официанту яства и пития, с такой спокойной непринужденностью вычитывая их из меню, будто это его настольная книга. Форстер слушал и кивал одобрительно.

— Я из тех, — говорил Айвз, заглатывая устриц, — кто всю жизнь ищет неожиданностей. Я — не авантюрист, грезящий о призе. И не игрок, который знает, что либо выиграет, либо проиграет свою ставку. То, о чем я мечтаю, — это напасть на приключение, последствий которого сам не смогу предугадать. Главная моя задача — вечно бросать вызов слепой, увертливой судьбе. Мир нынче так изучен и расчислен, что не осталось вероятности вдруг выйти на тропу случая, которая вся не будет изуродована указателями предстоящих поворотов. Я — как тот служащий Министерства Околичностей[1], который возмущался, когда кто-то приходил к нему за справкой: "Ему надо, знаете ли, *знать!*" Так вот, я не хочу знать, не хочу анализировать, не хочу догадываться — я хочу давать руку на отсечение, закрыв глаза.

— О! Я понимаю, как я вас понимаю! — сказал Форстер. — Как часто я мечтал сформулировать свои ощущения. Вам это удалось. Я тоже люблю бросать вызов судьбе. Не заказать ли нам мозельское к следующему блюду?

1. Министерство Околичностей — термин, введенный Чарльзом Диккенсом как символ бюрократизма.

— Почему бы нет? — сказал Айвз. — Я вижу, вы ухватили мою мысль. Тем яростней будут те громы и молнии, которые обрушатся на голову проигравшего. Если вам еще не надоело, вернемся к нашим баранам. Всего раза два-три случалось мне встречать истинного искателя случая, который пускается в дальний путь, не попросив у судьбы ни расписания, ни карты. Но по мере того как мир делается цивилизованней и умней, все трудней напасть на приключение, конца которого сам не предвидишь. Во дни Елизаветы вы могли напасть ну хоть на часового, взломать ворота, обнажить шпагу и поставить на кон жизнь. Теперь попробуйте-ка нахамите полицейскому, и самые смелые ваши фантазии не пойдут дальше догадок, в какой именно участок вас поволокут.

— Да-да, — приговаривал Форстер, одобрительно кивая.

— Я сегодня вернулся в Нью-Йорк, — сказал Айвз, — после трехлетних странствий. Всюду то же, не стоило мотаться. Мир перегружен умозаключениями и выводами. А меня волнуют только предпосылки. Я пробовал охотиться в Африке на крупную дичь. Я знаю, как с такого-то расстояния бьет по цели такое-то ружье; когда слон или носорог падет от пули. Удовольствие при этом я испытываю примерно такое же, как в школе, когда, оставленный после уроков, решал скучнейшие задачки на доске.

— Да-да, — приговаривал Форстер.

— Разве что аэропланом попробовать управлять, — продолжал Айвз задумчиво. — На аэростате я летал. Скука, голый расчет на авось: куда ветер дует.

— Остаются женщины, — улыбнулся Форстер.

— Три месяца тому назад, — сказал Айвз, — я бродил по одному базару в Константинополе. Дама, под чадрой, разумеется, но с прелестными глазами, перебирала жемчуга и янтарь на лотке неподалеку. Ее охранял огромный нубиец, черный как смоль. Скоро он незаметно приблизился ко мне и сунул мне записку. Улучив минуту, я в нее заглянул. Торопливые карандашные каракули: “У арочных ворот Соловьиного Сада, сегодня вечером, в девять”. Увлекательная предпосылка, не правда ли, мистер Форстер?

— Ну а дальше, дальше-то что было? — сказал Форстер.

— Я навел справки и выяснил, что этот Соловьиный Сад принадлежит одному старому турку, великому визирю или что-то в таком духе. Естественно, ровно в девять я был возле арочных ворот. Тот же нубиец проворно их открыл, я вошел и сел на скамью подле душистого фонтана рядом с таинственной незнакомкой. Мы с ней мило поболтали. Она оказалась некоей Миртль Томсон, журналисткой, которая писала для чикагской газетенки о турецких гаремах. Оказывается, она отметила на базаре столичный чекан моих брюк и поняла, что я должен просветить Нью-Йорк на ту же тему.

— Понятно, — сказал Форстер. — Понятно.

— Я путешествовал по Канаде на каноэ, — сказал Айвз, — сквозь водопады и водовороты. Но и там я не нашел того, чего хотел, так как я знал, что в результате может произойти только одно из двух: либо я выплыву, либо пойду ко дну. В какие я только карточные игры не играл! Но математики почти совсем испоганили это занятие, просчитав шансы. Я заводил знакомства в поезде. Я отвечал на объявления. Я звонил в чужие двери. Я не успокаивался, я искал. Но конец бывал всегда один: логическое следствие посылки.

— Я знаю, — сказал Форстер. — Все это я и сам испробовал. Но у меня было меньше случаев попытать случай. Есть ли где еще в мире город, столь бедный невозможностями, как Нью-Йорк? Казалось бы, столько путей в неизвестное; но ни один из тысячи не доставит вас не туда, где вы предполагали очутиться. Хорошо бы подземка и трамваи нас так же редко подводили.

— Рассвет, — сказал Айвз, — встал над ночами Шехерезады. Нет больше халифов. Горшок рыбака превратился в термос, гарантирующий температуру кипения или замерзания в течение сорока восьми часов для любого джинна. Жизнь идет как заведенная. Наука убила случайность. Нет уже тех возможностей, какие были у Колумба и у того, кто съел первую устрицу. Известно только то, что нет ничего неизвестного.

— Да, — сказал Форстер. — Мой опыт — ограниченный опыт горожанина. Я не повидал мир так, как вы. Но, кажется, мы сходимся в его оценке. Тем не менее я благодарен судьбе, подарившей нам хоть это маленькое приключение. Нам обеспечен один захватывающий миг — когда принесут счет. В конце концов, наверно, пилигримы, странствовавшие без сумы, острее ощущали жизнь, чем рыцари Круглого стола, разъезжавшие со свитой и с чеком от короля Артура, вшитым в подкладку шлема. Ну а теперь, раз вы допили кофе, используем же ваши недостаточные средства, чтобы узнать, кто из нас примет на себя удар судьбы. В какой руке?

— В правой, — сказал Айвз.

— В правой, — сказал Форстер, разжимая ладонь. — Я проиграл. Мы забыли разработать план, как смыться выигравшему. Предлагаю: когда подходит официант, вы говорите, что вам надо позвонить. Я удерживаю форт и счет, пока вы успеваете взять шляпу и исчезнуть. Спасибо вам за необычный вечер, мистер Айвз, и хотелось бы как-нибудь еще повторить этот эксперимент.

— Если память мне не изменяет, — расхохотался Айвз, — ближайший полицейский участок на Макдугал-стрит. Я тоже получил большое удовольствие, смею вас уверить.

Форстер пальцем подманил официанта. Тот буквально с противоестественным проворством скользнул к столу и положил счет рядом с прибором потерпевшего. Форстер взял его и заботливо приписал несколько цифр. Айвз привольно откинулся на стуле.

— Простите, — сказал Форстер, — но вы ведь собирались позвонить Граймзу насчет театральных билетов на четверг? Забыли?

— А... — сказал Айвз, устраиваясь еще уютней. — Успеется. Официант, принесите мне воды.

— Хотите присутствовать при смертном часе? — спросил Форстер.

— Надеюсь, вы не против? — попросил Айвз. — Не часто увидишь, как в ресторане зацапывают джентльмена, пытавшегося поужинать на шармачка.

— Отлично, — сказал Форстер, — вы увидите жизнь христианина на арене, иссякающую вместе с вашей запивкой.

Официант принес воду и стоял с отрешенным видом неумолимого мытаря.

Форстер повременил несколько секунд, потом вынул вечное перо и написал под чеком свою фамилию. Официант с поклоном взял чек и удалился.

— Дело в том, — объяснил Форстер, смущенно хмыкнув, — что меня едва ли можно назвать отважным рыцарем удачи. Я должен вам кое в

чем признаться. Я вот уже второй год несколько раз в неделю ужинаю в этом отеле и всегда подписываю чеки. — Тут голос его окреп, и он прибавил: — Но вы, вы большой молодец! Знали, что у меня нет денег, и не оставили в беде, рискуя, что вас тоже схватят.

— Увы, я тоже должен вам кое в чем признаться, — улыбнулся Айвз. — Это мой отель. То есть я, естественно, им не управляю, но всегда держу апартаменты в третьем этаже на случай, если судьба меня закинет в этот город.

Он подозвал официанта и сказал:

— Внизу все еще мистер Джилмор? Хорошо. Скажите ему, что мистер Айвз тут и просит, чтобы приготовили и проветрили его комнаты.

— Ну вот, опять не повезло, — сказал Форстер. — Боже мой! Где же выход? Неужели нет головоломок без ответа? Если хотите, поговорим еще немного на эту тему. Не так уж часто встретишь человека, который понимает твои трудности. Через месяц я женюсь.

— Я воздерживаюсь от комментариев, — сказал Айвз.

— И правильно делаете. Я кое-что прибавлю к своему сообщению. Я глубоко предан этой даме. Но не могу решить: красоваться ли мне в церкви или удрать на Аляску. Тут опять то, что мы с вами обсуждали, — жаль отменять варианты. Каждый знает схему: после завтрака ты получаешь отдающий цейлонским чаем поцелуй; потом идешь на службу; возвращаешься домой, переодеваешься к ужину; дважды в неделю — театр; счета; весь вечер маешься, подыскивая тему для разговора; время от времени возникают мелкие стычки; потом — крупная ссора; и потом развод, а то и медленное сползание в безропотную старость, что еще хуже.

— Да, я понимаю, — задумчиво кивал Айвз.

— Эта определенность, — продолжал Форстер, — и останавливает меня. Уже ничего не будет поджидать за углом.

— Да, после остановки "Церковь". Я вас понимаю.

— Поверьте, — сказал Форстер, — в своих чувствах к ней я совершенно не сомневаюсь. Я люблю ее глубоко и верно. Но что-то в самом составе моей крови противится всякой предсказуемости. Я не знаю, чего хочу; но знаю, что хочу этого. Я, наверно, болтаю как идиот, но самому мне все понятно.

— Я вас понимаю, — сказал Айвз с несколько вялой улыбкой. — Но мне, пожалуй, пора идти к себе. Если вздумаете снова со мной здесь отужинать, мистер Форстер, я буду рад.

— В четверг? — предложил Форстер.

— В семь, если вам удобно, — ответил Айвз.

— В семь так в семь, — согласился Форстер.

В полдевятого Айвз сел в такси, которое доставило его к дому на одной из Западных Семидесятых. Его визитная карточка открыла ему доступ в старомодную приемную, куда в жизни не посмели бы сунуться Фортуна, Удача или Случай. Стены украшали офорты Уистлера[1], гравюры Имярека, натюрморты с виноградной кистью, садовой тележкой, такими арбузными косточками, рассыпанными по столу, что их не отличишь от настоящих, и головка Грёза[2]. Это был — уклад. Были даже медные подставки для дров. На столе лежал альбом, в сафьяне, с потемневшими серебряными наклепками. Громко тикали часы на камине и

1. Джеймс Макнил Уистлер (1834—1903) — американский художник-импрессионист.
2. Жан-Батист Грёз (1725—1805) — французский художник сентиментального толка.

без пяти минут девять издали предупредительный щелчок. Айвз удивленно поднял глаза и вспомнил, как столь же предупредительно щелкали часы в доме у его бабушки.

А потом по лестнице спустилась Мэри Марсден. Ей было двадцать четыре года, и я оставляю ее вашему воображению. Скажу одно: молодость, здоровье, искренность, смелость и сине-зеленые глаза всегда прекрасны, и она обладала этим всем. Она протянула Айвзу руку с милой сердечностью старой дружбы.

— Ты не можешь себе представить, как приятно, — сказала она, — раз в три года тебя здесь видеть.

Полчаса они разговаривали. Каюсь, я не в состоянии повторить их разговор. Вы его найдете в любом светском романе. Когда с этой частью было покончено, Мэри спросила:

— Ну как, нашел ты то, чего хотел, за время своих странствий?

— То, чего я хотел? — спросил Айвз.

— Ну да. Ты же всегда был странный. Еще в детстве не хотел играть в камешки, в бейсбол, ни в какую игру, где есть правила. Нырять хотел только в тех местах, где могло оказаться и полметра, и десять. А вырос, остался тем же. Мы часто обсуждали эти твои чудачества.

— Боюсь, я неисправим, — сказал Айвз. — Мне претит учение о предопределении, тройное правило, закон всемирного тяготения, о налогах и тому подобное. Жизнь всегда мне казалась чем-то вроде детективного сериала, где к каждому выпуску прилагается краткое изложение *следующей* главы.

Мэри залилась веселым смехом.

— Боб Эймз мне рассказывал, — сказала она, — об одной твоей проделке. Вы ехали в поезде на юг, и вдруг ты вышел в городе, где и не думал останавливаться, только из-за того, что кондуктор вывесил в конце вагона название следующей станции.

— Помню, — сказал Айвз. — Эта "следующая станция" всегда для меня была понятием, от которого хотелось удрать.

— Я знаю, — сказала Мэри. — И это очень глупо. Надеюсь, ты не нашел того, чего хотел не найти, и выходил на станции, где станций не было, и ничего такого, чего ты ждал, не случилось с тобой за все эти три года.

— Кое-чего я хотел еще до того, как уехал, — сказал Айвз.

Мэри ясно взглянула ему в глаза с легкой, но совершенно прелестной улыбкой.

— Да, — сказала она. — Ты хотел меня. И ничто этому не препятствовало, как ты сам прекрасно знаешь.

Не отвечая, Айвз медленно обводил взглядом комнату. С тех пор как он был здесь три года назад, она ничуть не изменилась. Он живо вспомнил свои тогдашние мысли. Предметы в этой комнате незыблемы, как вечные холмы. Тут невозможны никакие перемены, кроме тех, что внесет безжалостное время. Этот альбом с серебряными наклепками так и будет лежать на том же углу стола, так же будут висеть по стенам эти картины, стулья будут дежурить на своих местах каждое утро, каждый полдень и вечер, покуда держится этот уклад. Эти медные подставки для дров — воплощение стабильности. Кое-где вкраплены реликвии столетней старины, и они здесь пребудут еще столетья. Тому, кто будет покидать и вновь обретать этот кров, никогда не придется мучиться предчув-

ствием или сомнением. Он найдет все таким же, каким оставил. Прекрасный принц Случай никогда не постучится в эту дверь.

А перед ним сидела прекрасная дама, под стать этому укладу. Нежная, прохладная, неизменная. Никаких сюрпризов. Тот, кто проведет с ней век, не заметит перемены, пусть она даже станет морщинистая и седая. Три года его не было, а она все его ждет, такая же, как этот дом, незыблемая, постоянная. Тогда он был уверен, что она любит его. Уверенность, что так будет вечно, и погнала его в дальние страны. Так текли его мысли.

— А я скоро замуж выхожу, — сказала Мэри.

В четверг, днем, Форстер запыхавшись явился к Айвзу в отель.

— Прошу прощенья, старина, — сказал он. — Наш ужин придется отложить этак на годик. Я уезжаю. Пароход отчаливает в четыре. Мы с вами тогда так славно поговорили, и это все решило. Поболтаюсь по свету и, может быть, избавлюсь от кошмара, терзающего меня и вас, — от этого страха узнать, что будет дальше. Я сделал одну вещь, которая слегка мучит мою совесть. Но так будет лучше для нас обоих. Я написал той даме, с которой был помолвлен, и все ей объяснил — откровенно признался, почему я уезжаю: не перенесу размеренности брака. Как по-вашему: правильно я поступил?

— Не мне судить, — ответил Айвз. — Поезжайте, поохотьтесь на слонов, если считаете, что это внесет в вашу жизнь элемент непредсказуемого. Такие вещи каждый сам за себя решает. Только одно скажу вам, Форстер. Я нашел свой путь. Я напал на самый большой риск в мире, на игру случая, которая никогда не завершится, приключение, которое может вознести тебя на седьмое небо, а может швырнуть в самую мрачную бездну. И ты будешь в вечном напряжении, покуда комья земли не упадут на твой гроб, потому что ты никогда ничего не узнаешь, до смертного часа своего не узнаешь, и даже потом не узнаешь. И мотаться тебе по волнам, без компаса и без руля, и ты сам себе капитан, и команда, и рулевой, и стоять тебе на вахте день и ночь, не зная ни отдыха ни срока. Я нашел РИСК. А насчет Мэри Марсден пусть совесть вас не мучит, Форстер. Вчера в полдень мы с нею обвенчались.

Славомир Мрожек

Дневник возвращения
Мексика

Перевод с польского Леонарда Бухова

Ранчо "Ла Эпифания", 13 апреля 1996 г.

Третьего дня за завтраком Сусанна рассказала мне подробности своей вчерашней поездки в Мехико.

– Если хочешь, – сказал я в ответ, – вернемся в Европу. Париж или Краков, выбирай.

– Краков, – ответила она не раздумывая.

Вот так просто, в одно мгновение решилась наша судьба. В особенности – моя.

Ибо я возвращаюсь в Краков. После тридцати трех лет эмиграции, – это ровно половина моей жизни – из Польши я уехал 6 июня 1963 года. Начать писать этот "Дневник возвращения" пришло мне в голову полчаса тому назад, в башне[1], когда я сидел за компьютером. Компьютер мексиканский, работает от ста двадцати вольт, что мне с ним делать в Кракове? Казалось бы, мелочь, но отражающая огромный масштаб предстоящего. Как я со всем этим справлюсь? Хоть плачь. Мы приземлимся в Кракове в первой половине сентября или никогда. За эти четыре с половиной месяца может случиться немало дурного. Где нам искать поддержки? Хотя бы моральной, поскольку практически – кто нам может здесь помочь? Мы как супруги Микки и Минни Маус, маленькие и смешные, вдвоем противостоящие силам зла. Но здесь – не мультик. Через окно я вижу: на третьей горной цепи, если считать от ранчо, опять горят леса.

Я спустился на второй этаж, где стоит письменный стол. Сел, взял лист бумаги и перо. Сверху написал:

Дневник возвращения

Эти записи принесут мне пользу, но только при условии, что их кто-нибудь прочитает. Для себя я уже давно ничего не записываю, это скучно и не помогает мне в работе. Написанное буду пересылать в Краков, где, думаю, кто-нибудь их опубликует. Хорошо бы – "Дзенник польски",

© 1996, Sławomir Mrożek and Diogenes Verlag AG, Zürich
© Л. Бухов. Перевод, 2001

1. В процессе ремонта ранчо была построена башня по замыслу и собственному проекту С. Мрожека. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

к нему я испытываю особую симпатию. Там я начинал, когда мне было двадцать лет, в качестве редакционного мальчика на посылках. Это лучше, чем письмо в бутылке, брошенной в море.

Сусанна заснула, прикорнув в кресле на первом этаже. Прошлой ночью было ее дежурство, она спала не в спальне, а на чердаке, в случае чего это стратегически более выгодная позиция. Мы дежурим на чердаке попеременно, что позволяет и ей и мне более-менее нормально спать каждую вторую ночь. Когда наступает ее очередь, я оставляю ей пистолет, полностью готовый к действию, остается только снять с предохранителя. Кольт "Комбат Коммандер 38" слишком велик для ее маленькой ладони и слишком тяжел. У Сусанны недостаточно сильные руки, чтобы его взвести и вогнать первый патрон в патронник. Кольт — оружие автоматическое, дальше патроны идут уже сами.

У Сусанны есть свободных полчаса, и она просила разбудить ее в час. Сегодня суббота, садовники работают только до часу, а потом возвращаются в деревушку. Сусанна должна выплатить им недельное жалованье. Суббота — день нервный, все знают, что по субботам на ранчо есть деньги для выплаты. Если до полудня ничего не случится, то до сумерек ничего уже не произойдет. Вернее, не случится именно это и именно таким образом, зато может случиться что-нибудь другое.

Уже четверть второго. Сейчас я спущусь на первый этаж. А продолжение, надеюсь, последует.

Ранчо "Ла Эпифания", 16 апреля 1996 г.

Больше всего жалко собак. Знаю, что для тех, кто к собакам равнодушен, нет ничего скучнее, чем рассказы о собаках. А известно мне это потому, что когда-то я сам был таким.

Тут я закурил трубку, хоть мне и нельзя. В глазах потемнело, и усилилась сердечная аритмия. Так о чем мы говорили?

О собаках. Я ограничу эту тему до минимума, чтобы не нагонять скуку на бóльшую часть читателей. Собак здесь сейчас пять. За эти семь лет бывало их и больше, самых разных. Все началось с незабываемого шнауцера по кличке Отелло. Когда мы прибыли, он здесь уже был. Как давно? Никто не мог сказать точно, но наверняка уже несколько лет. Прежний хозяин, наряду с другими фантазиями, имел склонность к разведению породистых собак. И так же, как другие его фантазии, эта не продержалась слишком долго. Псарню мы застали уже в руинах, а Отелло — на дворе, и не в лучшем виде.

Он был прикован цепью к колу, поддерживавшему дырявую крышу, возведенную между заброшенным бассейном и конюшнями, по замыслу, здесь предполагалось подобие беседки. Как давно сидел он здесь на привязи, никто не знал. Покрытый свалявшейся шерстью, поскольку его никогда не стригли и не мыли, тощий, оттого что лишь изредка ел помои, которые ему выплескивал сторож, охранявший усадьбу, — он ненавидел всех и вся. И не сдавался. Иными словами, он постоянно лаял, а вернее — уже только хрипел и дергал цепь, из-за чего на шее образовалась гноящаяся рана. Больше он ничего сделать не мог. Но когда мы приблизились к нему, он бросился так, что казалось — сейчас вырвет кол подобно Самсону и падет, но сначала разорвет нас в клочья.

Прежде всего Сусанна распорядилась дать ему какую-нибудь сносную еду и спустить его с цепи. Запретила снова привязывать. От удивле-

ния он укусил нас только слегка, без особых последствий, не до крови, едва щелкнув челюстью, как бы для проформы, и с тех пор бегал где заблагорассудится.

Оказалось, что он не Самсон, а граф, граф Монте-Кристо. Мы обнаружили на его теле татуировку, свидетельствующую о благородном происхождении, узнали, что в молодости он получил какую-то почетную медаль в Калифорнии. Годы неволи сделали его трудный характер неисправимым. Но то был пес благородный не только в силу своего происхождения. Каждый, кто хоть немного разбирается в собаках и людях, знает, что я имею в виду. А вот каким был его конец...

Неподалеку возвышается холм, а в нем лабиринт туннелей, вырытых не знаю уж какими животными. Отелло нравилось туда ходить и забираться вглубь. Возвращался он весь в земле и сухой траве, но счастливый. А однажды не вернулся. Наши люди копали целый день до самых сумерек, но не нашли его. Скорее всего, обвалился свод, и его засыпало. Или сразил сердечный приступ.

Ведь он был уже немолод. Мы так и не узнали, сколько ему лет, но и по двум годам, прожитым рядом, стало ясно, что немало. Мы надеялись подарить ему спокойную старость: отдых в холодке или на солнце, забота, любовь и уважение. Ничего не вышло. Он ушел сам, когда пришла его пора. Не хотел быть беспомощным, стать обузой для нас. Погиб как officer and gentleman[1].

Мимо этого холма проходит дорога, по которой мы будем уезжать. Курган, где покоится Отелло, будет последним, что мы увидим на ранчо.

Что же нам делать с собаками? Об этом даже думать не хочется, но думать нужно. Четыре великана, ризеншнауцеры, и один крохотный, цвергшнауцер. Двое из них появились на свет уже при нас, я ассистировал при родах, а остальные здесь со щенячьего возраста. Выросли великолепные, веселые и такие доверчивые... Я стараюсь не смотреть им в глаза.

В 1971 году гадалка в Пуэрто-Рико предсказала мне, что я уже никогда не вернусь на родину. Она не могла знать, что я эмигрант, она вообще впервые меня видела. Гадалка обычно сидела в вестибюле большого отеля, я был одним из ее анонимных клиентов, почти сплошь туристов, за время короткого сеанса я ничего не сказал ей о себе.

Уже шесть дней как я решил, что вернусь в родную страну. Так кто же окажется прав? Многое из того, что она мне предсказала, позднее удивительным образом исполнилось. Что перевесит на этот раз: ее ясновидение или моя решимость? На всякий случай мне следует бросить курить, хотя по опыту известно, что курильщики перестают курить только после смерти. Отъезд мог бы стать решением всех проблем для меня, но не для моих собак.

Ранчо "Ла Эпифания", 23 апреля 1996 г.

Приблизительно за неделю перед Пасхой около нас начал крутиться голубой "фольксваген" с двумя мужчинами, которых никто в округе не знал. Один широкоплечий, лет сорока, другой — между двадцатью и тридцатью. Это то немногое, что рассказали нам местные, с которыми незнакомцы пытались заговаривать. Спрашивали, живем ли мы здесь

1. Офицер и джентльмен (*англ.*).

постоянно или только приезжаем на субботу и воскресенье, сколько прислуги ночует на ранчо, в котором часу выпускают собак, кто я такой и чем занимаюсь.

Они останавливались то в лесочке неподалеку от дороги — на холме, откуда хорошо просматриваются наши владения, то на дороге возле ранчо, где обычно никто не останавливается, потому что незачем. Часто проезжали по дороге туда и обратно несколько раз на дню, а пару раз — ночью. Однажды в десять вечера остановились прямо за оградой. В полночь послышался выстрел из пистолета, потом они отъехали не включая фар.

Это может означать все или ничего. Они похожи на шпану, на тех, кто никогда не решится на серьезное дело. Но могут оказаться и разведчиками, работающими на профессионалов, — выискивают подходящие объекты и изучают местность. Если это так, то они кретины, ибо все делают по-кретински. Но в этом тоже нет ничего удивительного, поскольку толковый персонал — дефицит в любой отрасли. Могут они также быть приятелями некоего дона Хосе, который недолго работал у нас охранником и был уволен в срочном порядке по причинам, останавливаться на которых сейчас не стоит. Дон Хосе еще появится в этих записках, если найдется время и место, хорошо бы ему появиться, уж больно он колоритная фигура. Так что дон Хосе мог попросить приятелей, чтобы те нас попугали, показав тем самым, как трудно нам без него живется. А возможно — это еще одна гипотеза, — то были весьма напористые ухажеры, разыскивающие тех двух девиц легкого поведения, которые одно время у нас работали. Но подобная гипотеза, скорее всего, слабовата, ведь если бы они искали девиц, то довольно быстро убедились бы, что их здесь уже нет, и кстати, к чему тогда было задавать вопросы, которые они задавали? Нет, это отпадает.

И еще я боюсь похищения. В Мексике это теперь случается так часто, что превратилось во всеобщее бедствие. Подчеркиваю: всеобщее, так как похищают кого угодно — от миллиардеров до парикмахеров. Каждый, кто имеет хоть какой-то доход, даже самый ничтожный, рискует оказаться жертвой. Каждый класс, слой и общественную группу обслуживает соответствующий класс, слой и группа преступников. Не так давно в центре Мехико специалисты высокого класса напали на высококлассный автомобиль, где ехал мальчик. Они не ожидали, что автомобиль будут эскортировать другие автомобили, а в них будет личная охрана президента Мексики, поскольку мальчик был его сыном, которого везли из дома в школу или наоборот. Эскорт состоял из специалистов более высокого класса, чем атаковавшие, которые тоже не были новичками: когда их схватили, оказалось, что это сотрудники полиции, часто подрабатывающие таким образом на стороне. А вот другой пример, противоположного свойства. Газеты напечатали фотографию человека с окровавленным носом. Его побили пассажиры автобуса (трамваев там нет), которых пострадавший пытался терроризировать. Бедняге был не по карману револьвер, и потому он орудовал ножом, из-за чего и потерпел неудачу. Те, кто обычно обрабатывает автобусы, вооружены коротковольным огнестрельным оружием, и пассажиры редко осмеливаются дать отпор. Но если это все же случается, не обходится без трупов. В автобусах ездят исключительно люди неимущие — в этой стране почти все бедны. И зачастую, чтобы потом не голодать, они предпочитают рисковать жизнью, лишь бы не отдавать вооруженным паразитам жалкие,

но столь ценные для них гроши. Немалую роль играет и мексиканский гонор. В этом они похожи на нас, поляков. Они не столь цивилизованны, как скандинавы и прочие, кто следует официальным полицейским инструкциям: "Пункт первый — не оказывать сопротивления".

Здесь охотно похищают иностранцев, представителей зарубежных фирм. Слово gringo первоначально означало американец, но теперь так называют всех немексиканцев. Я тоже gringo, к тому же haciendado, то есть землевладелец, барин, помещик, владелец клочка мексиканской земли.

Ранчо "Ла Эпифания", 26 апреля 1996 г.

В беседах и интервью меня вновь и вновь спрашивают, не боюсь ли я возвращаться в Польшу.

Я не могу себе представить, чтобы французу, англичанину, немцу, австрийцу, швейцарцу или норвежцу, находящемуся в Мексике, задали вопрос, не боится ли он вернуться во Францию, Англию, Германию, Австрию, Швейцарию или Норвегию. Зато мне легко представить себе русского, белоруса, украинца, чеченца, даже румына, которого спрашивают, не боится ли он возвращаться на родину.

Из этого следует, что поляки, осознанно или неосознанно, причисляют себя скорее к этим вторым, чем к первым. Короче говоря, поляку, который возвращается в Польшу, есть чего бояться.

И возникает очередной вопрос: почему? Ведь Польша ближе к странам первой, а не второй группы. Ближе по культуре, экономике, методам государственного управления. Если посмотреть со стороны, ситуация в Польше выглядит неплохо, по меньшей мере должна быть неплохой, если мы сами ее не испортим. И, при определенных условиях, даже может оказаться лучше, чем ситуация в странах Запада. Я мог бы перечислить эти условия, но тема сегодняшних рассуждений другая. И уж наверняка — это даже не нуждается в обсуждении — польская ситуация более благоприятна, чем в восточных и некоторых юго-восточных странах.

Тогда чего поляки так боятся? А что боятся — не подлежит сомнению, боятся все вместе и каждый по отдельности, по-разному и в разной степени, испытывая все: от неуверенности до подозрений, от тревоги до паники. Отсюда — плохое самочувствие. От недовольства до ожесточенности и дальше — до ненависти и исступленности, от озлобленности — до истерии.

И если нет объективной причины, чтобы так сильно бояться и так скверно себя чувствовать (а страх и дурное самочувствие — факт неопровержимый, фактами же пренебрегать нельзя), стало быть, какие-нибудь причины должны все-таки быть. Причины серьезные и невымышленные.

Так вот — поляки боятся самих себя и друг друга. И правильно делают, что боятся, а потому — я тоже боюсь.

Ранчо "Ла Эпифания", 30 апреля 1996 г.

Велико искушение никуда не ехать. Говорят, что люди, застигнутые метелью, теряют ориентацию, присаживаются на минутку отдохнуть и их охватывает непреодолимое желание больше не вставать. Стоит ему

поддаться, и человек так и не встанет, он засыпает и замерзает насмерть. Потом его находят, твердого как железо, но с выражением блаженного покоя на лице.

Правда, метелей в Мексике не бывает, здесь легче получить солнечный удар, чем замерзнуть. Сомневаюсь также, чтобы выражение блаженного покоя появилось когда-нибудь на моем лице, будь то здесь или в любом другом месте. Но сравнение с вьюгой, хоть и неуместное, учитывая здешний климат, в общем-то правильно отражает мою нынешнюю ситуацию. Ибо дело тут не в Мексике, а только во мне, в моем сегодняшнем состоянии.

А ведь казалось, что наконец-то я имею право на усталость. Бывали периоды, когда я месяцами не выходил за ворота, сад достаточно велик, чтобы не чувствовать себя узником. Из окна, перед которым я пишу эти строки, видна долина, потом горы, за которыми уже только Тихий океан и Китай. Я ушел на запад так далеко, как только мог. Мне предстояло остаться здесь навсегда, и меня это ни в коей мере не ужасало. И вот я, тем не менее, возвращаюсь в Краков.

Что ж, пусть будет так, ведь уйти как можно дальше — мечта юности и привилегия зрелого возраста. Для меня это уже в прошлом. Но геометрическая фигура старости, как оказалось, — круг. Идешь, идешь и, если идешь достаточно долго, доходишь до того самого места, откуда вышел.

Ну и ладно, если такова закономерность. Вот только усталость...

Наверное, будь я один, я не сдвинулся бы с места, наверное, мне было бы уже все равно. Но ехать надо, я поеду и начну все с нуля. Снова станцую как грек Зорба[1], хоть на этот раз и с одышкой. Так я уже танцевал несколько раз. Когда тридцать три года тому назад я уехал из Польши, то потерял все, что заработал. Потом не раз терял многие вещи, и теперь снова теряю все. Это ранчо никто не купит, в канун революции подобных покупок не делают. И вы увидите на Главном рынке меня, постаревшего грека Зорбу, с прежним выражением лица "Эх, да что там!", вот только кости ломит.

И снова те же два чемодана, по одному на каждого, и опять все сначала. Карабканье вверх по лестницам — а как пригодился бы лифт — и осмотры квартир. Чтение, теперь уже с помощью сильных очков, объявлений в газетах. Потом перетаскивание с места на место тяжелой мебели, втискивание ее в пока еще не известные мне углы, вопреки запретам доктора Лопеса Виларде, кардиолога, который шесть лет назад спас мне жизнь.

Словом: усталость. И только опыт, подсказывающий, что всегда бывает чуть-чуть иначе, чем представляешь себе, ведет спор с этой самой моей усталостью.

Ранчо "Ла Эпифания", 15 мая 1996 г.

Один мой друг, хоть и приветствует мое возвращение в Польшу, не одобряет, по его выражению, способа, которым я это мое возвращение "разыгрываю". Я догадываюсь, что́ имеет в виду приятель, и боюсь, что он прав.

Мы живем в современном мире, то есть в мире манипуляций. Старое, доброе насилие чувствует себя в нем хорошо, как об этом свиде-

1. Герой одноименного фильма М. Какояниса (производство 1964 г.).

тельствуют события, происходящие там и сям, и будет чувствовать себя с каждым днем все лучше, а уж манипуляция чувствует себя просто превосходно, даже там или, возможно, прежде всего там, где насилие не напоминает пока о своих древних правах.

Современная манипуляция родилась вместе с новым временем в начале XIX столетия, когда битва при Ватерлоо и Венский конгресс окончательно закрыли революционно-наполеоновскую эпоху и все стало развиваться. В частности – связь и то, что Антоний Слонимский назвал средствами массовой информации[1] и без чего манипуляция не имела бы своих огромных шансов. При появлении на свет она получила имя: "Реклама".

До чего же неискушенным был тогда этот младенец. Всего лишь невинные объявления в газетах, благодаря которым как раз начали увеличиваться тиражи, о достоинствах галош, тоже в ту пору только что изобретенных. Галоши, кстати говоря, были новинкой весьма полезной, и в объявлениях говорилась правда, в них лишь сообщалось широкой, тоже едва зарождавшейся публике о рождении галош.

По мере взросления манипуляция получала все новые имена. Ленин называл ее просвещением масс. Хитрец Гитлер перенял опыт Ленина, но назвал ее просто пропагандой. Сегодня ее имена приобрели характер деликатный и научный: publicity, коммуникология, социотехника... Теперь предлагают не только галоши и идеи. Продают также людей, оптом и в розницу. Каждый, кто хочет выгодно себя продать, может заказать соответствующую манипуляцию у специалистов. Это хоть и недешево, но помогает. В случае индивидуальных клиентов речь идет не о социотехнике, а о look[2] и image[3].

Не утруждая себя поиском польских эквивалентов этих иностранных слов – мы все же по-прежнему немного отстаем, – скажу кратко, что́ здесь имеется в виду. Имеется в виду не то, каков ты есть и чем занимаешься, а как ты выглядишь. И обязан ты выглядеть так, чтобы нравиться. А это – целое искусство.

Например, вернуться в Польшу – дело совсем несложное, но вернуться так, чтобы твое возвращение всем понравилось, – в этом и состоит искусство. И потому, перед тем как вернуться, мне следует нанять специалистов по look и image, которые меня проконсультируют, как это сделать.

Должен ли я вернуться как блудный сын Родимой Земли со слезами на глазах? Специалисты дали бы мне нужный совет, и если бы они посоветовали именно этот вариант, то научили бы меня пускать слезу перед телевизионной камерой. Вернуться мне более лысым, чем когда я уезжал, или наоборот? Если наоборот, то мне соорудили бы великолепный парик. Быть ли мне скромным и робким или, напротив, уверенным в себе наглецом? В первом случае меня бы научили опускать взгляд и складывать губы бантиком, во втором – подсказали бы, как пользоваться локтями. Появиться ли мне богачом, нажившим состояние за границей, или жертвой финансового краха? И я бы либо носился по Кракову на фанерном "роллс-ройсе" как ряженый в праздник, либо просил милостыню возле Мариацкого костела, соответственно подгримированный.

1. Антоний Слонимский (1895–1976) – польский поэт и публицист. Этот термин в Польше был употреблен им впервые.
2. Внешний вид (*англ.*).
3. Образ, имидж (*англ.*).

Look'ов может быть великое множество, однако правильный выбор зависел бы от анкет и зондирования общественного мнения, проведенных исследователями агентства, которое я бы нанял.

Но мои советчики наверняка не одобрили бы этот "Дневник возвращения". Слишком он откровенный, чрезмерно личный, непредсказуемый, полный противоречий. То я пишу, что хочу вернуться, а то вдруг — что возвращение меня пугает. То я сыт Мексикой по горло, то — буду о ней скучать. И look мой вырисовывается до того нескладный, хаотичный, непродуманный, что это, собственно, никакой вовсе не look получается.

Мне следует нанять сотрудника, называемого ghost writer[1], то есть специалиста, который писал бы за меня, а я бы только подписывался. Ведь ни одна публичная личность не обнаруживает того, что в действительности чувствует и думает, это было бы политическим самоубийством. Для того и существуют анонимные специалисты. Вы, наверное, подозреваете, что эту часть "Дневника возвращения" написал какой-нибудь тайком мною нанятый специалист? Анти-look тоже можно использовать как look.

Ранчо "Ла Эпифания", 16 мая 1996 г.

Представьте себе, что во Дворце искусства (если он до сих пор так называется) на площади Щепаньской устроили вернисаж, прибыл весь культурный Краков и дипломатический корпус. Вернисаж заканчивается в двадцать один час, и гости начинают выходить из помещения. Одной из первых выходит группа дипломатов с женами. Они выходят и сразу же возвращаются, мужчины взволнованы, дамы в слезах. На лестнице, ведущей от выхода к улице Щепаньской, их поджидала группа молодых людей с ножами и огнестрельным оружием. Все произошло без всякого насилия, господа отдали бумажники и часы, дамы — сумочки и драгоценности, после чего все они вернулись в здание, поскольку ожидавшая их группа оказалась только первой из нескольких, которые были видны в дальнейшей перспективе. Полицейские в форме, откомандированные для охраны мероприятия и присутствовавшие при случившемся, смотрели в небо или разглядывали ногти.

Среди гостей вернисажа — молодая женщина, которая живет вместе с мужем в небольшой усадьбе в окрестностях Нового Тарга. Она приехала в Краков на автомобиле еще до полудня, чтобы уладить кое-какие дела в государственных учреждениях и встретиться со знакомыми. Задержалась до самого вечера, чтобы посетить вернисаж.

После возвращения дипломатов никто пока не решается выйти из здания. Изысканная толпа в вечерних туалетах топчется в вестибюле, все в растерянности, никто не знает, что делать дальше. Полицейские, убедившись, что небо покрыто смогом, а ногти — грязные, куда-то исчезают.

Молодая женщина хочет вернуться домой. Ее машина находится на стоянке на Старовисльной. Женщина достает из сумочки охотничий нож — рукоятка деревянная с латунной перекладиной, лезвие одностороннее длиной в двенадцать сантиметров, производство фирмы К. Лу-

1. Писатель-невидимка (*англ.*), "негр" на литературном жаргоне.

баган в Лодзи; куплен в июле 1960 года на улице Новый Свет в Варшаве. С этим ножом она никогда не расстается, кладет его в сумочку каждый раз, как выбирается в Краков. Теперь она вынимает его из кожаных ножен, ножны прячет в сумочку и, обхватив рукоятку жестом, свидетельствующим о некотором умении обращаться с ножом не только в кулинарных целях, выходит на улицу Щепаньскую.

Ожидающая там банда не реагирует. Молодая женщина доходит до Главного рынка. В эту пору там уже нет прохожих, есть только группы, снующие по площади в поисках добычи — спрос на нее велик, предложение мало — или в неподвижности подпирающие стены. Ни души в состоянии алкогольного опьянения, зато немало таких, кто находится под воздействием наркотиков. Нет и намека на забавы и развлечения, вокруг царит сосредоточенная тишина, как на охоте. Любая охота прежде всего состоит из тишины, изредка прерываемой действием, которому сопутствуют звуковые эффекты. А наркоманы тоже не слишком шумливы.

Прижав локоть к бедру, с рукой, удлиненной за счет ножа и вытянутой почти горизонтально вперед, молодая женщина выходит с Рынка на улицу Сенную. Смотрит вызывающе, агрессивно, прямо в глаза каждому, кто идет навстречу или поджидает ее. Пока все спокойно.

Разумеется, это блеф. Случись нападение или последуй любая другая реакция на ее поведение — у молодой женщины не было бы никаких шансов. Ее единственный и не слишком надежный шанс — это внезапность и психологический эффект. Такое встречается не каждый день, тут вообще ни с чем подобным не сталкивались, прикидывают хищники, должно быть, это какая-то ненормальная, наркоманка в стадии ломки или вообще неизвестно кто. В любом случае связываться не имеет смысла. Даже нет смысла проверять, имеет ли это смысл.

Наконец она добирается до стоянки на Старовисльной. Там огни и вооруженные охранники, которые не смотрят на небо и не разглядывают ногти, потому что они — не полиция, а частная охрана, нанятая частным предприятием. Женщина прячет нож в сумочку и перестает изображать из себя сумасшедшую, наркоманку или вообще неизвестно кого. Отдает в кассу квитанцию, платит, ей подгоняют автомобиль, она садится.

Все получилось, она спасена. По крайней мере — на этот раз.

Все рассказанное — чистая правда. Только случилась эта история не в Кракове, а в центре Мехико. И женщина — моя жена. Историю свою я посвящаю тем, кто утверждает, что в Кракове небезопасно. Наверняка это так, вне всякого сомнения, но относительно, то есть с учетом обстоятельств. Извините, но я повторю то, что говорю всегда, когда сталкиваюсь с утверждением, что везде так, причем везде одинаково плохо. А именно: я предлагаю тем, кто так считает, сесть голой задницей на лист жести, разогретый до тридцати градусов Цельсия, затем — на лист, раскаленный до ста градусов, а уж потом оценивать разницу.

Ранчо "Ла Эпифания", 18 мая 1996 г.

Каждый, кто живет в тропиках, научается замечать, а вернее, ощущать не глядя шевеление в траве. Научился и я. Случается, что я читаю, сидя в кресле, потом вдруг встаю, иду в темный угол и домашней туфлей убиваю очень мохнатого паука. Как я узнал, что он там есть? Понятия не имею. Не могу даже сказать, что заметил его, поскольку глаз не отрывал

от книги, а лампа на столе отбрасывает круг света только на стол и книгу. Должно быть, уловил какой-нибудь сигнал; все, что живет, посылает свои сигналы.

Но прежде чем я всему этому научился, мои реакции были европейскими. Например, такой паук должен был заползти на мою книгу, чтобы я его заметил, после чего я в панике метался, прежде чем убивал или не убивал его, и если мне это даже удавалось, то делал я это крайне неумело и со смешанным чувством.

Поэтому когда я утром вхожу в мою рабочую комнату в башне, то сразу знаю, есть ли там по меньшей мере одна, а то и несколько ящериц. Поначалу я и на них реагировал истерически и — как теперь знаю — неразумно. Дело в том, что ящерицы абсолютно безвредны. Но в первые годы я не мог сесть за стол, не выгнав их, точнее — пока мне не казалось, что я их выгнал. Ящерицы весьма проворны и ловки, они к тому же умеют прекрасно притворяться, будто их нет. Бегая за ними по этажам и комнатам, я то стучал палкой под мебелью, то коварно открывал окна, ожидая, что они предпочтут солнце и прогретую землю сада прохладе комнат и уйдут сами. В конце концов я перестал с ними воевать, поскольку занятие это было утомительное и, главное, бесплодное. Позднее я к ним привык и, наконец, полюбил. Теперь я люблю все живое, кроме человека. И вижу все меньше различий между собой и всем, что двигается или даже не двигается, вроде, например, растений. Если только не иметь в виду этические, эстетические и нравственные различия, которые весьма существенны и не обязательно говорят в пользу человека.

Я только не люблю, если ящерицы выскакивают вдруг из корзины для бумаг, стоящей возле письменного стола, когда я протягиваю туда руку. Но не люблю только потому, что проходит весьма неприятная доля секунды, прежде чем я разгляжу, что это ящерица, а не скорпион.

Сегодня, когда я вошел, она устроилась на муслиновой шторе посередине окна, в самом центре панорамы гор и неба. Прицепившись там, она не обратила на меня ни малейшего внимания. Неужели она уже что-то предчувствует?

А именно то, что вскоре меня здесь уже не будет. В тропиках жизнь человека более скоротечна, чем в странах Севера, во всяком случае его временность, случайность здесь более заметна. Быть может, она уже знает, что через короткое время этот дом, эти стены будут принадлежать ей одной. Все здесь всегда принадлежало только ей и будет принадлежать, я же был всего лишь эпизодом, и этот эпизод подходит к концу.

Руины в тропиках отличаются от руин Севера тем, что они полны жизни. Человек, правда, не принимает участия в этой жизни, но не похоже, чтобы жизнь страдала от отсутствия человека. Такую же ящерицу я видел на Юкатане в руинах городов и храмов майя — племени, исчезнувшего очень давно. Ее окружало такое несметное количество растений, насекомых, зверьков и других живых существ, какое даже не снилось руинам в другом климате. Все эти существа как ни в чем не бывало занимались каждое своим делом и жизнь вели весьма интенсивную.

Ранчо "Ла Эпифания", 21 мая 1996 г.

Прошло пятнадцать лет, прежде чем я впервые после моего отъезда посетил Польшу и Краков. Я приехал в Краков вечером и остановился на аллее, как она тогда называлась, Мархлевского, теперь же снова —

Пражмовского, в комнатке моего отца, которого в Кракове в тот момент не было, уже не помню по какой причине. Так что некоторое время я жил один.

Наутро я проснулся от странного чувства, до того странного, что прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, в чем дело. А дело было в том, что на десятом, как мне показалось, дворике, если считать от моего окна — комната выходила в сторону садов и двориков, — играли дети, и я понимал все, что они говорят, даже в полусне и даже с такого приличного расстояния.

Ощущение было странным, поскольку тогда я уже прожил пятнадцать лет, не понимая, что́ люди мне говорят. Потом добавилось еще восемнадцать, и добавится еще три месяца.

Преувеличение? Да, но оно не нарушает главного принципа. Даже самое совершенное владение иностранными языками это не то же самое, что знание языка родного. А точнее — материнского, потому что после рождения человек слышит прежде всего мать, а не отца. Это нечто более глубокое, чем знание, это инстинкт. Материнский язык понимаешь так же, как дышишь, не отдавая себе отчета, не думая.

Потом я вышел в город. Тот приезд был полон эмоций, и не самых приятных, но тогда дело было не в Кракове. Я, правда, приехал с французским паспортом, однако это не давало мне никаких гарантий.

Я повернул с улицы Томаша на улицу Яна, некогда — Святого Томаша и Святого Яна. Улица Томаша стала улицей Людвика Сольского[1], который святым не был. Яна не тронули, не отняли у него улицу, хоть и лишили святости. На плане Кракова, изданном в 1976 году Государственным объединением картографических издательств в Варшаве, Ян снова фигурирует как Святой.

Итак, я повернул и испытал чувство еще более странное, чем утром. Настолько странное, что вернулся назад и повернул еще раз, чтобы понять, что происходит на этот раз.

А на этот раз происходило то, что поворот за угол свершился с такой плавной легкостью, с какой огибаешь стол в собственной квартире. Этот угол (на галицийском диалекте — "винкель") и мое тело образовывали пространственное единство: руку в перчатке и перчатку в руке. Очагом моих утренних ощущений был мозг, поскольку именно там помещается язык; теперь же все мое тело — стопы, туловище, лабиринт среднего уха — участвовало в этом повороте, столь мне знакомом. И потому неудивительно, что найти объяснение этим моим ощущениям было труднее, чем впечатлениям утренним. Мне никогда не удавалось столь же легко огибать винкель с Елисейских полей на улицу Пьера Шаррона, хотя в Париже я прожил без малого двадцать два года. Здесь же винкель буквально прилегал ко мне, а я к нему.

Я ничего никому не советую и никого не отговариваю, каждый человек неповторим, и каждый должен решать за себя. К тому же человек со временем меняется, или скорее — время его меняет. Когда-то этот винкель стал для меня просто невыносимым, для чего было немало причин, и плохо бы мне пришлось, не уйди я от него далеко и надолго. Будет ли мне хорошо, когда я к нему вернусь? Не знаю, с годами я научился не знать.

1. Людвик Сольский (1855—1954) — популярный польский актер и режиссер; одно время был директором Старого театра в Кракове.

Ранчо "Ла Эпифания", 28 мая 1996 г.

Перед испанским нашествием в столице появилась Плакальщица, призрак женщины, которая по ночам блуждала по городу и оплакивала своих детей. Теперь она появилась вновь.

Появилось и нечто новое: таинственное чудовище, напоминающее вампира, гигантскую летучую мышь и дьявола со средневековых гравюр. Вампир не удовольствовался столицей, он появлялся в разных концах страны, а страна эта огромна. Народ устраивает облавы, пользуясь случаем, уничтожает последних ягуаров, разрушает колонии летучих мышей в пещерах, все живое, что подворачивается под руку. Катастрофическая засуха, которая привела к истощению запасов кукурузы — основного продукта питания в Мексике, заставляет животных из пустынных мест подходить к селениям в поисках воды. Их тоже убивают ради святого дела — борьбы с Демоном. Священники устраивают процессии, местные касики[1] организуют крестовые походы. Демона встречали и продолжают встречать — повсюду. Если это случается днем — то выходит все население, вооружившись кто чем может, и окружает участок, где он был замечен. Находят дикого кота или койота и убивают с особой жестокостью. В нашей деревушке никто не выходит из дома после сумерек, а работающие у нас женщины уже в ранние послеполуденные часы начинают нервничать, и все у них валится из рук, потому что по дороге к деревушке их подстерегает Демон.

В Мексике ко мне вернулось то, что овладело мной на девятом году жизни и не отпускало следующие двадцать четыре года: страх. Я излечился от него только в прекрасно устроенной и блаженной Западной Европе. И вот теперь снова.

Коллективный страх, неуверенность во всем, ожидание катастрофы. Началось это года полтора тому назад и продолжает нарастать. А всего семь лет назад эта страна была стабильной, пользовалась предпочтением международного капитала и все шло к лучшему. В Мехико было безопасней, чем в Нью-Йорке, динамичный средний класс, малые и средние предприниматели кормили постсоциалистического паразита — национализированную промышленность и бюрократию, и еще оставались средства на инвестиции. Расточительство и коррупция не прекращались, но тогда было из чего красть. Партийно-государственные хозяева страны в сговоре с профсоюзами — этим "завоеванием революции", насквозь мафиозным, до такой степени нажрались, что, казалось, больше им уже не проглотить. Заблуждение — всегда хочется больше. А деньги все шли в Мексику, великие проекты и стройки, великие надежды.

Пока не выяснилось, что́ за всем этим кроется. Президент Карлос Салинас со своим окружением точно к окончанию срока правления оприходовал все, что подготовил для себя за шесть лет президентства. В процессе реформ и приватизации он продал по себестоимости самому себе и своим приятелям систему телекоммуникаций, включая два спутника, банки, супермаркеты, концессии и паи, после чего бежал за границу, оставаясь частным владельцем половины страны, куда пришел голод, эпидемии, анархия, бандитизм и Демон.

1. Cacique (*исп.*) в странах Лат. Америки и в Испании — влиятельный человек в местном масштабе.

Старый мексиканский Демон, пребывавший во сне последние семьдесят лет. Мексиканский народ вынесет все, кроме самого себя. Соблазн саморазрушения здесь весьма силен, а когда его не уравновешивают обстоятельства, он становится сильнее инстинкта самосохранения. Несколько лет назад людей словно обуяло помешательство. Разумеется, тут был и страх, но как бы и ожидание чего-то ужасного и вместе с тем освобождающего — высвобождение Демона.

Все стали какими-то напряженными и в то же время словно погрузились в летаргию. Хаотичность не только общественной деятельности, но и частной жизни, и прежде весьма здесь заметная, стала поразительной, ошеломляющей. Как будто люди, погруженные в себя, находящиеся во власти дурных сновидений, шествуют к чему-то великому, возвышающемуся над повседневностью — и потому не стоит уделять ей внимания. И чем ближе жертвенные костры, тем больше все валится у них из рук. Как тарелки у женщин, погруженных в мысли о Демоне, который ждет на дороге.

Я уже слышу вопрос земляков: зачем же ты убегаешь в Польшу? Разве многое из описанного тобой не происходит и у нас в стране, как это ни тревожно? Ответ слишком сложен, чтобы я мог уместить его в этом кратком тексте. Пока же скажу лишь, что Польша — это (еще?) не Мексика.

Ранчо "Ла Эпифания", 4 июня 1996 г.

В конце XIX и начале XX века множество европейцев, разочаровавшись в Европе, а то и просто возненавидев ее, убегали от нее подальше. Я — один из них, я их последователь, и, если откровенно, довольно жалкий. Мне не сравниться ни решимостью, ни духом авантюризма, ни жаждой риска с моими великими предшественниками. Я принадлежу моей эпохе и моей слабой Европе. Масштабы уже не те, мой авантюризм можно считать таковым только в сравнении с мягкостью и столь теперь распространенной неусыпной заботой о себе среднего жителя Западной Европы, по сравнению же с деяниями великих предшественников — это всего лишь отъезд на комфортабельный курорт.

И если я осмеливаюсь называть их своими предшественниками, то лишь потому, что мотивы, которыми они руководствовались, совершенно аналогичны моим, что явствует из свидетельств, ими оставленных, а также из показаний свидетелей, выступавших по их делу. Я, правда, авантюрист, не слезающий с дивана, однако прекрасно их понимаю и допускаю, что и они поняли бы меня.

Многие так и не вернулись. Одни пропали без вести, о других известно, при каких обстоятельствах они погибли. Были и такие, что прижились в далеких краях, слали оттуда письма. Кое-кто вернулся.

Разными были их возвращения. Трагическими или радостными, спокойными или бурными, но триумфальными — никогда. Им всегда сопутствовало ощущение неудачи, сознание того, что то величайшее, что должно было случиться в их жизни, уже случилось и с этих пор им суждено от великого идти ко все более мелкому. Величайшее усилие, величайший риск остались позади.

Возможно, так было потому, что они не возвращались молодыми. Даже те, кто никогда не трогается с места и ничем в жизни не рискует, проживи они достаточно долго, испытают чувство, что вершина горы

для них уже осталась в прошлом. Ведь даже самая спокойная, самая однообразная жизнь — приключение. У каждого есть свой the finest hour[1], как определил Черчилль, говоря о Великобритании в ее самые возвышенные часы Второй мировой войны, каждый прожил в своей жизни этот прекраснейший, труднейший, самый возвышенный час, который никогда больше не повторится.

Те, кто забредал очень далеко и вернулся, так и не сумели полностью приспособиться к прежней жизни. Самые посредственные чиновники Британской империи, откомандированные в Индию, став пенсионерами, не возвращались на родину точно такими, как были. Вольно или невольно, они уже были заражены чужим пространством и чуждой средой.

Да что говорить о чиновниках, у них жизнь в Индии в конечном счете была лучше, чем дома. Но вот что рассказал мне немец, побывавший в русском плену, один из немногих вернувшихся... Рассказал, что он и несколько его приятелей, которым тоже посчастливилось вернуться, теперь уже пожилые и обеспеченные граждане Федеративной Республики Германии, собирались иногда своей компанией и, выпив, пели, только для себя. Что же они пели? Печальные русские песни, которые им доводилось слышать вечерами, много лет назад, из-за колючей проволоки. Они пели и вспоминали русскую луну. А ведь известно, как им жилось в русском лагере.

Уверен, что и я не раз буду петь мексиканские песни под аккомпанемент мариацкого хейнала[2]. Тем более что — в отличие от немца в русском плену — кроме минут, часов и лет трудных и страшных были здесь у меня минуты, часы и годы — прекрасные. Mexico, my finest hour.

Ранчо "Ла Эпифания", 10 июня 1996 г.

Это было шесть лет тому назад, в начале первого и героического этапа нашего пребывания в Мексике. Мы с Сусанной находимся в поле за дорогой и при сильном ветре гасим пожар. Горит сухая трава, кусты, стоящие в стороне деревья и лес. Небо голубое, что нам известно только по воспоминаниям, поскольку сейчас нас окружает жаркая мгла и небесной голубизны не видно, а горное солнышко — мы на высоте двух тысяч семисот метров над уровнем моря — поддает жару, что мы весьма отчетливо ощущаем. Огонь по-партизански перепрыгивает то сюда, то туда, выскакивает и там, где его только что не было, и там, где он был, но — как нам казалось — мы его уже погасили. Тучи горящих стеблей кружатся в воздухе, перенося огонь еще дальше. Он чертовски красный, адски подвижный и изобретательный. Но прежде всего, он рычит, я не знал, что у огня такой голос. Позднее нам здесь еще не раз приходилось иметь дело с огнем при разных обстоятельствах, но в особенности я запомнил один случай. Ночь, тишина, я тружусь за письменным столом, и внезапно у меня возникает иллюзия, что где-то рядом находится зоологический сад, а в нем львы, чье рычание я время от времени слышу издалека. Я открываю окно: тут же, рядом, за одним из окон башни простирается пашня, сейчас полуосвещенная луной. За этим полем — полоса кустарника, за ней другое поле, группы деревьев

1. Звездный час (*англ.*).
2. Мариацкий хейнал — сигнал времени, исполняемый трубой на колокольне краковского костела Св. Девы Марии.

и снова полосы кустарника, полей и лесонасаждений, рощиц и перелесков. Я вижу, как приближается красная полоса, и слышу далекий непрерывный рык не одного, а тысячи львов, вырвавшихся на волю, а в остальном — полная тишина. И все это под огромной мексиканской луной... Не знаю, почему в Мексике луна кажется больше, чем в любом другом месте.

Итак, мы с Сусанной гасим пожар — это, конечно, только так говорится, ибо что могут сделать два человека с двумя лопатами? Для нас было важно как-то действовать, не поддаваться, поскольку от пылающего поля нашу цистерну с бутаном отделяла только узкая дорога и низкая ограда. Цистерна, само собой, не герметична, и газ из нее улетучивается, она легко может превратиться в бомбу, а бомба — по соседству с домом. Если же загорятся придорожные деревья, то они припорошат огнем крышу, и так далее. Так что нужно хотя бы не пропустить огонь к дороге.

Я впервые играю в пожарного и узнаю на своей шкуре, что это означает. А именно: дышать невозможно, так как горят легкие, и от дыма задыхаешься. Приходится часто прерывать работу и отходить от пламени, чтобы хоть немного подышать. Раскаленный воздух обжигает глаза, от углей сгорают подметки. Сгорели бы и волосы, но у меня лысина, а на голове шапка (Сусанна обмотала голову полотенцем), зато опалены брови. От лопаты на ладонях появились болезненные волдыри, потому что мы пока еще городские. Но ужаснее всего остервенение, ярость, которая тебя охватывает. В таком состоянии человек ни с чем не считается и скорее погибнет, чем отступит.

Поэтому и мы не отступаем. Я еще молод, мне всего шестьдесят, и силен, лишь годом позднее меня забрали в больницу, из которой я вышел уже не таким, как прежде. Ну а пока мы еще не отступаем, продолжаем бороться.

На дороге, ведущей от деревни, появляется двухтонный “шевроле”. Подобные пикапы, “шевроле” или “форд”, являются частью мексиканского пейзажа. В кабине всегда виднеются три или даже четыре сомбреро, до полутора десятка мужчин в сомбреро всегда сидят сзади на бортах кузова. Сегодня чаще увидишь не сомбреро, а шляпы техасского типа, приблизительно такие же, как у ковбоя с рекламы сигарет “Мальборо”, и — все чаще — бейсболки. Шесть лет тому назад преобладали традиционные сомбреро. Мужчины куда-то едут, но, похоже, их главная миссия — езда как таковая. Иногда это federales или, что еще хуже, judiciales, зловещая политическая полиция в штатском, а куда и зачем они едут — лучше не спрашивать.

Итак, “шевроле” подъезжает все ближе и останавливается. Человек пятнадцать мужиков выскакивают оттуда и — во главе с неким толстяком — идут по направлению к нам. Я испытываю огромное счастье, ибо теперь мы уже не одни, нам идут на выручку.

Толстяк в техасской шляпе возглавляет группу, остальные, в соломенных сомбреро, держатся в нескольких шагах позади. Толстяк подходит ко мне, его спутники останавливаются. Толстяк снимает свою белую шляпу, я — свою брезентовую охотничью шапку с наушниками, купленную в Париже. Толстяк протягивает мне руку, я — ему. Все торжественно, согласно обычаю. Мы пожимаем друг другу руки, после чего покрываем головы. На Сусанну толстяк не обращает внимания, поскольку Сусанна женщина; тоже согласно обычаю.

— От имени моей мексиканской отчизны, — произносит толстяк, — спасибо, señor, за участие в спасении экологического наследия нашей прекрасной страны. Мы высоко ценим твой труд и затраченные тобой, señor, усилия, ради благородного дела...

И так далее, и так далее. Мне была еще недостаточно знакома мексиканская риторика, потому я принимал его слова за чистую монету. Я лишь знал, что вежливость и торжественность здесь обязательны, и подумал — сначала ритуал, слегка напыщенный, само собой, но сразу же после этого они примутся за работу. Правда, время было дорого, пожар распространялся поразительно быстро, но ничего не попишешь, обычай есть обычай. Говорил он еще довольно долго, я слушал, не испытывая тревоги, ведь для двух десятков крепких мужиков справиться с огнем было пустяком. Наконец он снова снял шляпу, а я свою шапку, он протянул мне руку, а я ему — свою, затем — мужественное рукопожатие, он надел шляпу, я — шапку, он повернулся и начал удаляться в сторону машины, а группа — за ним, отставая на несколько шагов, как предписывало уважение к шефу, поскольку шефом чего-нибудь он несомненно был.

Ну вот, теперь они вернутся в деревушку за лопатами, подумал я. Но они не вернулись, а просто сели в машину и поехали дальше по дороге. И исчезли.

Позднее мы узнали, что толстяк — наш сосед и местный касик. Единственная в деревне лавочка принадлежит ему. Он обладает монополией на жареных поросят — у него собственная свиноферма. Воду из коммунального водопровода отвел на свои частные земли. Имеет партийно-доверительные связи в уезде и выше. И называют его именно так: Толстяк, el Gordo.

Также выяснилось, почему он с такой легкостью использует ученые слова, такие как "экология", "патримониум". Оказалось, что он официальный уполномоченный по вопросам экологии и в этом качестве нередко выступает по телевидению Пуэблы. (Пуэбла — большой город, столица нашего штата, Estado de Puebla). На телевидении он обделывает делишки с одним немцем, который приехал в Мексику несколько лет назад как журналист — спортивный комментатор, которого направила сюда одна из немецких ТВ-компаний в связи с каким-то международным футбольным чемпионатом. Немец сразу почуял, что в Мексике ему, как блондину, будет хорошо — на блондина здесь смотрят как на высшее существо, — к тому же он обладал способностями к бизнесу. Он остался жить в Мексике, привез жену-чешку и стал кем-то весьма важным на телевидении. После чего построил виллу в нескольких километрах от нас. В деревне долго спорили, не убить ли его, поскольку он ведет себя с людьми как немец в польских фильмах про оккупацию. Избил, например, на дороге старую женщину, потому что ему так захотелось. В конце концов его оставили в живых, говорят, из жалости к его детям, но я думаю, что им просто лень было.

Немец дружит с el Gordo, это его человек в уезде, и у них общие дела в Пуэбле, нормально, как у мафиозо с мафиозо. Три года назад el Gordo был удостоен награды за выдающиеся заслуги в охране окружающей среды.

Оказалось также, что виновником пожара был он сам, el Gordo. Участок, с которого начался пожар, относится к ранчо, где он служит управляющим. Хозяйка ранчо, старая бездетная богачка, живет в Пуэб-

ле и никогда в наши края не заглядывает. El Gordo поручил своим работникам выжечь небольшое поле после уборки фасоли (в Мексике выжигание полей – излюбленный сельскохозяйственный метод), после чего удалился и оставил дело без присмотра, а его люди прилегли отдохнуть в тенечке. Кроме поля ржи, кустарников и деревьев, выгорел также питомник молодых деревьев на пригорке по другую сторону дороги, прямо напротив наших окон. Питомник был заложен на государственные деньги в рамках экологической программы; посадка деревьев проходила празднично – с оркестром и речами, все это показали по телевидению, с el Gordo в главной роли – как инициатора, опекуна и спасителя природы.

Что же касается того пожара, спасло нас тогда чудо: ветер изменил направление и огонь не перескочил через дорогу.

Ранчо "Ла Эпифания", 21 июня 1996 г.

Когда они подошли к моему шурину, который остановился на красный свет на перекрестке в самом центре Мехико, то сказали ему так:

– Будьте добры (por favor) отдать нам ключи и выйти из машины вместе с членами вашей семьи. В противном случае мы будем вынуждены застрелить вашу супругу и ребенка. Спасибо (gracias).

Просьба подкреплялась револьвером большого калибра, приставленным к голове.

– Ну разумеется, пожалуйста, – ответил шурин, тоже мексиканец, поскольку у него не было ни малейшего сомнения в том, что они сделают то, что обещали. Затем он исполнил их просьбу.

– Тысяча благодарностей (miles gracias).

И отъехали на его автомобиле.

Откуда мне знать, как они разговаривали, если меня при этом не было? Просто нет такой ситуации, в которой мексиканцы не были бы вежливы. По-хамски здесь обращаются только богачи с бедняками или чиновники, особенно самого низкого уровня, с темнокожими посетителями, то есть с indios. У них самих кожа не светлее, но зато они обладают властью и проявляют ее.

Чем проще народ, тем лучше манеры. Вы можете себе представить следующий диалог между двумя крестьянами, работающими в поле?

– Пан Юзеф, пожалуйста, передайте мне грабли.

– Ну разумеется, пан Владек.

– Большое спасибо.

Подобное я слышу в Мексике. Сижу, например, за письменным столом и через открытое окно слышу разговор крестьян из ближайшей деревушки, которые работают в нашем огороде:

– Don Adolfo, páseme la pala, por favor.

– Como no.

– Gracias.

Что означает:

– Дон Адольфо, передайте, пожалуйста, лопату.

– Разумеется, прошу вас.

– Спасибо.

Эти крестьяне почти неграмотны, в их домах нет дверей (только полог), они спят на соломенных матах, постеленных на глиняном полу, и

если у того, кто побогаче, есть в хижине стол, то его используют как алтарик, расставляя на нем образа святых и телевизор. Для других целей стол не используется никогда. Едят они сидя на корточках вокруг очага на том же глиняном полу. Нет ни печей, ни клозетов — даже в виде деревянных будок.

"Пожалуйста", "спасибо" и "извините" — три слова, чаще всего произносимые в Мексике. Традиция вежливости простирается в давние времена. Я читал воспоминания сеньоры де ла Барка, жены посла Великобритании в Мексике. Во время стоянки дилижанса произошла стычка между двумя солдатами из отряда сопровождения, и сеньора де ла Барка была поражена как изысканной вежливостью противников, так и тем, что дело едва не закончилось убийством. Мексиканец способен убить и нередко убивает, даже не моргнув глазом, но при этом никогда не оскорбит.

Поскольку я возвращаюсь в Польшу, все это дает мне пищу для размышлений по поводу различий между обычаями разных стран. Например, такого явления, как группа подростков, идущих по улице и при этом орущих, издающих непристойные звуки и оскорбляющих весь мир самим фактом своего существования, в Мексике не увидишь, хотя встречается оно не только в Польше, но теперь уже и в прекрасной Франции. Хулиганство, вандализм или как это теперь называется — если вообще как-то называется, поскольку из исключения превратилось в правило, повсеместно слишком распространенное, чтобы его как-то еще специально называть, — в Мексике не известно. Равно как и любая беспричинная злоба по отношению к ближнему. Здесь вас могут ограбить средь бела дня, часто это делает полиция, но вам всегда оставят несколько монет на трамвай (здесь — на автобус), вернут документы, и все это очень вежливо.

Но что самое удивительное, при всеобщей нужде здесь неизвестна или по меньшей мере открыто не проявляется зависть. В Мексике считается, что она позорит того, кто ее испытывает, как черта низменная и унизительная. В особенности — зависть тайная. Поэтому здесь нет обычая царапать автомобили гвоздем или гадить во дворах на дорожках, к чему есть склонность у нашего народа. Мексиканец может схватить мачете и поранить тебя, но никогда украдкой не наложит кучу на твой половичок. Признаюсь, что с точки зрения морали для меня более предпочтительны мексиканские нравы.

Ранчо "Ла Эпифания", 5 июля 1996 г.

Шесть лет тому назад я сидел и что-то писал в единственном тогда пригодном для этой цели помещении — одноэтажном домике, стоящем у дороги, которая шла по склону между casa grande[1] и ruedo, круглой ареной для выездки лошадей, на дне долины, — когда в дверях, открытых в сторону сада, промелькнул Пако, крича: Caramba![2]

Пако никогда не ругался и никогда не передвигался бегом, так что я понял, что произошло нечто чрезвычайное. Жизнь на ранчо напоминает езду на автомобиле: что такого невероятного может произойти во

1. Большой дом (*исп.*).
2. Проклятье! (*исп.*).

время поездки на автомобиле? Только катастрофа. Значит, наверняка случилось какое-то несчастье. И действительно, лошадь укусила в лицо Эразмо, мальчика-конюха. Пако бежал, чтобы вытащить его с ruedo, за пределы досягаемости лошадиных зубов и копыт.

Мы отвезли Эразмо в больницу. Несколько дней не было уверенности в том, что он выживет. То был один из тех периодов, когда Дьявол забирает всю округу под свое владычество. Такое случается только летом, в сезон дождей и бурь. Присутствие зла ощущается чуть ли не физически. Научно это можно было бы объяснить конденсацией магнитных и электрических полей; в нашем чулане хранятся восемь телефонных аппаратов, сожженных молнией за четыре года, в среднем по два аппарата в год. Один из этих призрачных сверкающих шаров гнался за мной по всей башне, но не догнал. Удовлетворился сожжением факса.

Та поездка запомнилась надолго. Нужно было спешить, а ливень намертво пригвождал дворники к стеклу, размыл дорогу, выбил в ней ямы, превратил в озера глинистые лужи и стремительные потоки воды. Перед Императорским мостом, Puente del Emperador, опрокинулся грузовик с прицепом, кирпичи рассыпались по дороге. Наутро там прибавился еще один крест и букет свежих цветов — обычай таков, что на месте, где погиб человек, устанавливают деревянный крестик; возле Императорского моста их уже набралась целая колония.

Эразмо мы навещали в больнице ежедневно, пока опасность для жизни не миновала и он не вернулся в деревню на поправку. Мы сохранили дружбу с его семьей, особенно с матерью, ведь в Мексике не принято, чтобы работодатели так заботились о работнике. Продолжали платить ему жалованье, а также пособие для матери, поскольку в каждой мексиканской семье много детей, хотя зачастую нет отца. Деньги мы передавали через Пако, нашего управляющего. Когда Эразмо полностью поправился, Пако передал ему от нас предложение вернуться на работу. Но ответ он нам принес отрицательный.

Прошло пять лет, и в результате некоторых обстоятельств, которые не относятся к этой истории, Пако был уволен и вместе с семьей удален с ранчо, где он пользовался служебным жильем. Вскоре после этого появился Эразмо и попросил дать ему работу. Он был уже взрослым женатым мужчиной, и у него родился первый ребенок. И тут выяснилось, почему он пришел лишь через пять лет. Прежде всего, он не имел понятия о нашем предложении, поскольку Пако ничего ему не передавал. Напротив, он заявил, якобы от нашего имени, что Эразмо уволен. А интерес его в этом мошенничестве состоял в том, что он ни разу не передал ни Эразмо, ни его матери тех денег, что он мы им через него посылали. Он их клал в собственный карман, потому и солгал Эразмо, что мы в нем уже не нуждаемся, а нам — что Эразмо не хочет у нас работать.

Люди об этом все время знали — в деревушке известно все, включая и то, что происходит на ранчо, — но нас не известили. Лишь после "падения" Пако языки развязались. А все из-за того, что, будучи посредником между нами и деревней, он решал, кого принять на работу, а кого уволить, и с ним лучше было не связываться. Когда же он наконец "пал", рассказали и о других его делишках.

История Пако — как я уже упоминал — это особая история, и она заслуживает отдельного разговора. Скажу лишь, что не следует думать о нем только плохое, о нем и даже о жене Пако, его погубившей, провинциальной леди Макбет. Чтобы рассказать о них по-настоящему, следова-

ло бы написать драму о Мексике, но сейчас нет времени. А Эразмо тоже не герой. Если нам не в чем его упрекнуть, то лишь потому, что, не будучи личностью незаурядной, он не поднялся до такого положения, при котором его ожидали бы незаурядные искушения.

Вскоре, однако, он достигнет такого положения. Он еще не знает, что будет назначен смотрителем покинутого нами ранчо. Продать усадьбу не удается, а оставить ее без присмотра нельзя. Эразмо вместе с женой и ребенком — он произвел уже троих, двое умерли — поселится в служебном помещении, где когда-то жил Пако, его давний начальник и обидчик. Три комнаты, две ванных, огромная кухня, ежемесячное жалованье, газ и электричество ему обеспечены. К тому же он будет иметь доступ, и даже обязательный доступ, во все строения, комнаты, спальни, коридоры, подвалы и так далее — как единственный хозяин оставленного владения. Он даже сможет сесть за мой письменный стол, если на то будет охота, хоть я и сомневаюсь, заинтересует ли это его, человека неграмотного.

Тешу себя надеждой, что рано или поздно ранчо будет продано. Почему я надеюсь, понятно, но есть еще одна причина: я бы не хотел, чтобы ранчо, пусть мной и утраченное, превратилось в руины. Эразмо — честный парень, но он такой же, как все — не слишком сообразительный, и растительное существование ему ближе, чем человеческое. Его жена тоже как все, она, хоть и моложе его, уже постарела — жизнь женщины в Мексике заканчивается после свадьбы. Неухоженная, неряшливая, зараженная бессмысленным фатализмом и апатией, как и вся здешняя жизнь. Среди такой жизни ранчо было чудом, островком инициативы, организованности, надежды. Не хочется думать о том, сколько энергии, воли, предприимчивости и заботы, сколько привязанности и, наконец, любви к этому месту пойдет прахом, и ранчо станет Атлантидой, затопленной в море гниющих водорослей. С тем, что ранчо станет нашим прошлым, я уже смирился, но чтобы оно, когда нас тут не будет, вселяло ужас, как придорожный памятник распада, разложения и бедствия? Как крестики возле Императорского моста? Я бы уж предпочел, чтобы оно сразу же сровнялось с землей и заросло пышной травой.

Однако не эти размышления должны были стать главной темой рассказанной истории. Мне хотелось поведать о том, как судьба связала меня с неким Эразмо на семь лет, а если он так и останется стражем моих руин, то навсегда. Так что история эта о том, как переплетаются человеческие судьбы.

Ранчо "Ла Эпифания", 13 июля 1996 г.

Что-то начинает мне приедаться этот "Дневник возвращения", и боюсь, что читателям тоже. Поначалу мне хотелось просто подать голос, поскольку я начал чувствовать себя как Белоснежка (я имею в виду не мою красоту), затерявшаяся в страшном лесу, — но кто теперь помнит фильм Диснея 1937 года? — хотелось воскликнуть: "Эй! Есть там кто-нибудь?" Я так и сделал, и оказалось, что есть, в ответ донеслось: "Здесь Краков, приезжай!" — и это придало мне уверенности. Но время идет, дата возвращения более или менее определена, и как долго можно людей, и даже друзей, хватать за лацканы или за пуговицы и твердить: "Уже лечу! Внимание, я уже близко! Смотрите, я уже почти здесь!" Даже ля-

гушка обращает на себя внимание, только если внезапно квакнет, а потом слышишь только скучное кваканье. Я не удивился бы, услышь я сейчас: "Ну так давай приезжай и перестань надоедать".

Оправдать продолжение настоящего дневника можно было бы так: прекратить впадать в истерику по поводу собственной персоны и заинтересовать читателя экзотическими описаниями экзотической страны. Но и это имеет свой предел, ибо кому, в конце концов, есть дело до Мексики, да еще в больших дозах, хоть это и позволило бы растянуть мою историю еще на какое-то время. Впрочем, тут я сталкиваюсь с определенной сложностью: Мексика для меня — это ранчо "Ла Эпифания". Оно является единственным источником моих познаний о Мексике. Я согласен, что источник этот богаче и достовернее, чем описания, поставляемые путешественниками и репортерами. Просто потому, что я здесь живу, а путешественники и репортеры только путешествуют и информируют. Но и здесь есть своя опасность. Вспоминается мне небольшая история в картинках французского графика (Боск? Семпе? Шаваль?[1]). В той истории некий нувориш (что нувориш, видно по выражению его лица; в том и состоит искусство графики, чтобы парой штрихов охарактеризовать персонаж) водит гостя по своему имению. Указывая на дворец, говорит: "Мой дворец". Показывая парк, говорит: "Мой парк". Показывая фонтан, говорит: "Мой фонтан". Показывая коров, говорит: "Мои коровы". Показывает гостю еще много различных вещей и о каждой говорит: "мое". На последнем рисунке видно, как гость, до того соблюдавший вежливость, выпячивает перед хвастуном свой зад и, указывая на него, говорит: "Mon cul". Кто не знает или не догадывается, что это по-французски означает, может заглянуть в словарь.

Ранчо "Ла Эпифания" — это, по правде говоря, не дворец — куда ему, и даже совсем не настоящее ранчо, зато мое. А описывая Мексику, страну, которая мне знакома только через посредство этого ранчо, я не смогу избежать излишне частого повторения слова "мое" и рискую, что мой читатель поведет себя в конце концов так же, как тот гость.

Тогда, может быть, не ограничиваться описаниями Мексики, а рассказать о людях, отдельных характерах, прожитых жизнях, событиях? Что ж, шанс неплохой, но это означало бы писать рассказы, правда не придуманные, но все же рассказы, и тогда прощай, "Дневник возвращения", меняется литературный жанр, и я лишаюсь возможности хотя бы изредка позволить себе постонать, написать что-то о себе, а ведь искушение велико, и я по-прежнему — что уж скрывать — нуждаюсь в этом.

Трудная ситуация. Разрешит ее, как обычно, время. Совсем скоро я перестану писать этот "Дневник возвращения", еще до того, как вернусь. Все уже началось — переезд, планирование, улаживание, упаковка, ликвидация... Разве только, не вынеся этого кошмара, сбегу хоть на мгновение в укромный уголок и напишу что-нибудь, если будет для этого повод, лишь бы отвлечься от своих терзаний.

Я получил письмо от Януша Адамчика, директора краковского издательства "Выдавництво литерацке". Любезно и сердечно приглашает он меня и Сусанну, мою жену, в Краков. Письмо, написанное от имени уча-

1. Жан Морис Боск (1924—1973), Жан-Жак Семпе (р. в 1932 г.), Шаваль (Ивон ле Луарн (1916—1968) — французские карикатуристы.

стников презентации последней книги Чеслава Милоша, украшают многочисленные подписи. Не имея сейчас возможности поблагодарить лично всех этих людей, мы обращаемся к ним с этих страниц: пан директор и дорогие подписавшиеся, награди вас Бог, вы себе даже не представляете, как нас поддержали.

Ранчо "Ла Эпифания", 15 июля 1996 г.

Как-то раз, в самом начале шестидесятых, когда мы пили в "Бристоле", приятель сказал мне, указывая на большие окна гостиничного бара, за которыми где-то внизу, во тьме, по другую сторону Вислы, мерцали тусклые огоньки правобережной Варшавы:

— Там начинается Азия. Наш бар — последняя рыцарская застава на этом рубеже. И мы выстоим.

Так мы до утра и не отступали, сознавая свой рыцарский долг.

Мне вспоминается этот эпизод, поскольку в сегодняшней части "Дневника возвращения" я хочу рассказать о том, что такое моя личная Польша. Не Польша как объект, ибо такой Польши, наверное, просто нет. Польша, идентичная для всех поляков, одна и та же для всех и каждого, если и существует, то лишь как идея. Зато Польша физическая, пробуждающая глубокие чувства, у каждого своя.

Само собой разумеется, важно прежде всего место, где человек родился и вырос. Так что для меня Польша — это Краков, воеводство краковское и частичка жешовского. Но и это все еще только понятия, их масштаб слишком велик. В одном иллюстрированном журнале я как-то увидел серию цветных фотографий: вначале — земной шар, крохотный, голубой, какой-то из-за этой голубизны подозрительно безмятежный, тревожно оптимистичный посреди безнадежной черноты космоса. Затем южноамериканский континент, затем нечто вроде кожной болезни под микроскопом с надписью "Чикаго", затем светло-зеленый прямоугольник, геометрически точный, даже без подписи можно разглядеть, что перед тобой футбольный стадион, затем другой прямоугольник, одеяло, на котором загорает молодой человек в плавках. На следующем, последнем, крупным планом — только его рука, лежащая на одеяле, и темные очки, которые он держит за оправу указательным, средним и большим пальцами. Хоть это и не относится к теме, хочу предостеречь, что с помощью шпионских и прочих спутников нас фотографируют постоянно, не знаю, каждый ли квадратный сантиметр земной поверхности каждую минуту, но нет никакой уверенности, что не фотографируют как раз тот самый ноготь, которым мы в данный момент чешем свой нос. На всякий случай посоветовал бы всегда содержать ногти в чистоте.

Поэтому моя Польша, если перескочить сразу к масштабу наименьшему, это одеяло, расстеленное под яблонями в саду возле деревянного домика в селе Боженчин уезда Бжеско, а на нем младенец, по всей вероятности слишком тепло одетый в соответствии с модой 1930 года. То обстоятельство, что тогда из космоса никого еще не фотографировали, не имеет ни малейшего значения.

Собственно говоря, на этом кадре и следовало бы остановиться, поскольку возможностей сделать фотоснимки в другом масштабе, в других местах и в другие моменты существует бесконечное множество. А если

бесконечное, то, значит, и невозможное, во всяком случае невозможное в масштабе времени, которое еще осталось у меня до завершения жизни. Сколько его осталось – неизвестно, но уж наверняка меньше, чем было в 1930 году, и меньше, чем минуту назад. Мне бы начать писать это в момент рождения, что – как известно – тоже было невозможно, и продолжать все шестьдесят шесть лет и шестнадцать дней, то есть до сегодняшнего дня, без малейшего перерыва, что также превосходит мои возможности.

И даже настоящему повествованию, из-за несовершенства природы пишущего аппарата, то есть меня самого, суждено стать повествованием несовершенным, фрагментарным, то есть неполным и произвольно избирательным. Ведь что, например, всплывает в моей памяти? Кажется, май, а может, начало июня 1941 года и я, бегущий за пивом для отца, дяди Людвика и остальной компании в населенном пункте Камень уезда Ниско воеводства Жешовского. Это, скорее всего, происходило не раньше и не позже, потому что я хорошо помню, какая стояла погода и еще то, что в саду и огороде расположился немецкий штаб. Должно быть, штаб какого-то большого подразделения, как я теперь понимаю, – дивизии или даже более крупного соединения, поскольку было много карт, разложенных на множестве больших столов, поставленных на козлы. Немцев было тоже много, и жили они в многочисленных как бы автобусах и в разных других – но не боевых – транспортных средствах. Шныряя между работавшими у этих столов раздетыми до пояса офицерами – немцы очень любили загорать при любом удобном случае, постоянно мылись и вообще весьма заботились о собственной гигиене, – я прочитал на одной из карт: “Russland”. Кажется, не очень крупно, на полях и вроде бы в сочетании с каким-то цифровым определением сектора топографической документации, как мне это представляется сегодня. Ведь на военных картах не пишут название страны огромными буквами и посередине, как на картах гражданских. Обо всем этом я донес взрослым, чрезвычайно гордый своим шпионством, но они не обратили на меня внимания, занятые, как всегда, какими-то своими взрослыми глупостями. А впрочем, к чему это могло привести? Мой отец не Черчилль, а дядя не Рузвельт, а те и так знали все, что им было нужно знать.

Поэтому все это должно было случиться еще перед 22 июня, когда в четыре утра немцы нанесли удар по России. Потом мы ходили на поля в сторону Сана[1], чтобы послушать грохот, который доносится с большевистской стороны, но продолжалось это слишком недолго, сразу же пошло на восток и утихло. То были прогулки весьма эмоциональные.

А пиво в кружках я проносил через двор от пана... но как же звали того пана, хозяина пивной, расположенной по соседству? Терпкий, хмелевой, пока еще таинственный запах того пива... но стоп! Описывать мою Польшу – сизифов труд, и лучше остановиться.

Хотя именно здесь следовало бы вернуться к тому самому бару в гостинице “Бристоль”, не из-за того, что вспомнилось пиво, а потому, что, глядя тогда на огоньки Праги[2] и сквозь них на... Нет, сегодня уже не смогу продолжать, окончу через неделю.

1. Река Сан, правый приток Вислы.
2. Прага – район Варшавы на правом берегу Вислы.

Ранчо "Ла Эпифания", 16 июля 1996 г.

Вчера, 15 июля, в понедельник, около четырех тридцати пополудни, когда я переписывал на компьютере предыдущий фрагмент "Дневника возвращения", башня закачалась и одновременно я услышал гром, но какой-то глухой, ибо подземный.

Я сохранил текст, вышел из Word'a и Windows'a, выключил компьютер и отключил его от сети. Сбежав вниз, обесточил всю башню двумя рубильниками. Когда я очутился за воротами ранчо, то увидел, что теперь башня стоит немного криво, хотя ставил я ее вертикально. Вполне возможно, что так она стоит уже довольно давно, а заметил я это только сейчас, поскольку редко вижу ее с этой стороны и с такого расстояния. Стоит башня криво, как большинство стен в Мексике, что прежде я приписывал неаккуратности строителей.

Мое желание вернуться в Краков значительно усилилось. И после этого вступления вернемся к "Дневнику".

Будет это продолжением написанного вчера, а говорилось там о приятеле, который сказал в баре гостиницы "Бристоль", стоящей на склоне, откуда открывается вид на правобережную Варшаву:

— Там начинается Азия. Наш бар — последняя рыцарская застава на этом рубеже.

Есть немалая глубина в том, что он сказал, правда, только для тех, кто родом с Краковщины, как я. К тому же, чтобы понять слово "рубеж" в особом его значении, а именно в том, которое подразумевал приятель, нужно было родиться перед войной. Но не обязательно вблизи от восточных рубежей. Вильно, Львов, Волынь были для нашего поколения в Краковском воеводстве в большей степени Польшей, чем Силезия и воеводство Познанское, хотя я, например, ни Вильно, ни Львова в глаза не видел — не успел пока. Ведь где разворачиваются события в "Потопе" и в "Огнем и мечом"[1], где гарцевал Пан Володыёвский[2]? Отчасти и в Ченстохове[3], но прежде всего на Жмуди[4], на Руси и Украине. Национальной фантазии было вольготней на востоке, чем на западе.

Лишь после войны выглянул я за пределы Краковщины и Жешовщины. Сначала увидел Варшаву, а вернее, бессмысленную груду щебня, которая от нее осталась, а еще через несколько лет — Мазурские озера. И только там я ощутил — пусть это еще не Литва — те отличительные черты, которые Милошу и Конвицкому никогда не позволяют забыть, откуда они родом[5]. Ту — но как назвать свойство, ускользающее от любых определений, — метафизическую суть? То мистическое измерение, которого недостает в Хабувке и Кшешовицах?[6]

Еще ребенком я предчувствовал, что оно существует. Ребенком предвоенным — добавлю, и пусть я родом с Краковщины, но просторы, которые имели в себе то мистическое измерение, раскрывались перед Польшей, а ветер из Одессы достигал даже Тополевой улицы в Кракове, где

1. Романы польского писателя Генрика Сенкевича (1846—1916).
2. Заглавный герой романа Г. Сенкевича.
3. Ченстохов — город в Катовицком воеводстве. В романе Г. Сенкевича "Потоп" описана безуспешная осада города шведской армией в 1655 г. во время польской-шведской войны.
4. Жмудь — историческое название области Жемайте в Западной Литве.
5. Польские писатели: лауреат Нобелевской премии (р. в 1911 г.) Чеслав Милош и Тадеуш Конвицкий (р. в 1926 г.) выросли в Литве.
6. Хабувка и Кшешовицы — небольшие населенные пункты в Краковском воеводстве.

находилась начальная школа имени Святого Николая, учившая меня писать, но прежде всего читать. Кто знает, может быть, пришедшая ко мне позднее жажда многообразия, мои эмиграции и путешествия, даже моя сегодняшняя Мексика и стали результатом того детского предчувствия, что за близью существует даль, той ностальгии по непознанному, но столь необходимому для человека. По-другому утолить эту мою ностальгию я не мог. И может быть, в том, что я сейчас стою, волнуясь, не рухнет ли моя мексиканская башня, виновато Ялтинское соглашение, отрезавшее от Польши то, что мне пришлось искать аж в Мексике.

Это уже последний фрагмент "Дневника возвращения". Из-за обременительности и многообразия дел, которые необходимо уладить, чтобы вернуться, я стою перед выбором: либо я вернусь и уже не будет "Дневника возвращения", либо продолжится "Дневник возвращения", но возвращения не будет. А возвращаться уже пора, потому что в колоде таро на карте, которая означает несчастье и крах всех намерений, изображена именно падающая башня. Можете проверить.

Антон Нестеров

Автоперевод как автокомментарий

Collected Poems in English by Joseph Brodsky.
Иосиф Бродский. *Собрание стихов на английском языке.*
New York, Farrar, Straus and Giroux, 2000.

В одном из интервью Иосиф Бродский сказал: "идеальный собеседник поэту — не человек, а ангел".

Собственно, куда полнее это было сформулировано им раньше — в стихотворении "Разговор с небожителем" — и повторено в "Колыбельной Трескового мыса". Речь поэта, по существу, обращена "в направленьи вестимо немых губерний". И все же в статье о Дереке Уолкотте Бродский замечает: "Отсутствие отклика губило разных поэтов, и разными способами, но конечный результат был один: бесславное равновесие — или тавтология — причины и следствия: молчание". Трудность беседы с ангелом в том, что

> ...поелику
> столь плохо представляемому лику,
> как твой, под стать,
> должно быть, лишь
> молчанье — столь просторное, что эха
> в нем не сподобятся ни всплески
> смеха,
> ни вопль: "Услышь!"

А потому поэт, если и не надеясь на отклик, то хотя бы рассчитывая на сопротивление среды, вернее — стихотворного материала, предоставленного ему современниками и предшественниками, говорит по преимуществу к другому поэту: так математик, сворачивающий цепочку своих размышлений и аргументаций в вязь уравнения, обращается к коллеге-математику, а не к случайному собутыльнику в пивной. (Собственно, изначально математика входила в круг гуманитарных дисциплин: тех, что имеют дело с реальностями духа, а не с вещностью мира.)

И порой суть этой поэтической беседы яснее проступает в переводе. Хотя бы потому, что перевод на другой язык связан с некой "алхимической возгонкой" смыслов, которые отделяются от плоти изначально облегавшего их слова, дабы, пройдя через это испытание предельной обнаженностью, облечься "телесными одеждами" иного наречия. Перевод на английский — с его жестким линейным развертыванием мысли, заданным самим синтаксисом языка, — в этом отношении двойное испытание. Один знакомый переводчик иронизировал, что нынешним поклонникам Деррида и прочих апологетов деконструкции следовало бы прочесть любимых авторов на английском, не допускающем увертoк и жонглирования словами, а требующего "мысли, мысли и мысли", — и тогда бы их постигло если не разочарование, то некоторое отрезвление.

Большой том стихов Бродского в английских переводах, выполненных либо самим автором, либо — при его участии — крупными англоязычными поэтами: Дереком Уолкоттом, Ричардом Уилбуром, Энтони Хектом и рядом других переводчиков, появившийся в нью-йоркском издательстве "Farrar, Straus and Giroux", ока-

© А. Нестеров, 2001

зывается интересен не только западному читателю, но и читателю русскому – при условии, что тот владеет английским языком. Это собрание стихотворений (в которое вошли и стихи Бродского, сразу писавшиеся по-английски) дает возможность явственнее услышать, кого поэт избирал своим собеседником. В чем-то это замечательный авто-комментарий к русским текстам: поэт показывает, что в них ценно для него, а чем он готов пожертвовать, изменив, сдвинув, отредактировав.

Приведем лишь один пример: английская версия "20 сонетов к Марии Стюарт" в переводе Питера Франса (при участии Бродского.) начинается следующим образом:

> Mary, I call them Pigs, not Picts, those Scots.
> (Мари, я называю их свиньями, а не пиктами, этих шотландцев.)

"Pigs/Picts" – этот неожиданный каламбур тут же "взрывается" в сознании читателя, а некоторая усложненность синтаксиса, когда those Scots вынесены в конец строки, настраивает на то, что стихотворение – и весь цикл – отнюдь не просты и игривость, бравада, так же как и резкость данного начала, куда как обманчивы. Но еще игра слов Pigs/Picts обнажает ход мысли автора при создании русского оригинала, указывая, что, написав:

> Мари, шотландцы все-таки скоты,

он отталкивался от английского Scots, которое созвучно русскому ругательству... Автоперевод (вернее, в данном случае со-участие автора в переводе) обнажает внутренние механизмы мышления поэта.

Учитывая это, легче понять, что "20 сонетов" тесно связаны с поэмой "Два часа в резервуаре" – их объединяет метрический рисунок, некоторые рифмы, усложненная языковая (вплоть до иноязычных вкраплений) и цитатная игра, соединение иногда чуть ли не гаерского тона с трагической серьезностью, масса отсылок, намеренно разрушающих "рамку" текста, мотив самоубийства (в "Сонетах": "Я застрелиться пробовал, но сложно / с оружием. И далее: виски: / в который вдарить?"; ср. в поэме: "А честный немец сам дер вег цурюк, / не станет ждать, когда его попросят. / Он вальтер достает из теплых брюк / и навсегда уходит в вальтер-клозет"). Но главное – и там, и там мы встречаем доведенное до трагизма сопряжение двух мотивов: любви и творчества...

Бродский как-то шутя заметил, что "отношения поэта с переводчиками сводятся к трем типам. Первый – вы ему доверяете, а он вас убивает; второй – вы ему не доверяете, и он вас убивает; и третий, мазохистский – вы ему говорите: "убей, убей меня!", и он вас убивает". В каждой шутке "есть доля шутки", – и результатом подобной бескомпромиссности стало то, что, как сформулировала Валентина Полухина, Бродский "оставил после себя по обеим сторонам Атлантического океана вереницу переводчиков, чье самолюбие до сих пор кровоточит от обид"[1]. Не удовлетворенный переводом, выполненным тем или иным далеко не бесталанным – и дружески к нему настроенным – переводчиком или поэтом, Бродский мог довести их отношения до полного разрыва. Отчасти и этим объясняется все увеличивающаяся доля его автопереводов в каждом новом сборнике, выходящем по-английски. Так, по подсчетам В. Полухиной, в сборнике "A Part of Speech" 1980 года (несколько отличном по составу от русской "Части речи") поэт "приложил руку" к 26 из 52 переводов, в книге "To Urania" (тоже не совсем "симметрично" соответствующей русскому сборнику "Урания") из 46 стихотворений 23 переведены самим поэтом, 8 – в соавторстве, 12 текстов изначально написаны по-английски, и лишь 2 стихотворения и поэма "Горбунов и Горчаков" сделаны по-английски "чужой рукой". В последнем прижизненном английском сборнике уже все тексты переведены или написаны самим Бродским.

1. В. Полухина. Английский Бродский. Иосиф Бродский: творчество, личность, судьба. СПб, 1998. С. 53.

Английские и американские критики порой обвиняли Бродского в том, что его переводы "не звучат по-английски", что он совершает насилие над языком, а его стремление максимально сохранить форму оригинала: метр, схему рифмовки и точные рифмы – приводит к комическому эффекту: в современной англоязычной поэзии точная рифма "выжила" лишь в стихах типа лимериков или юмористических поэм Огдена Нэша – да в эстрадных песенках.

Но в эссе "Сын цивилизации", написанном как своего рода комментарий к английским переводам Мандельштама, Бродский дает свое понимание стихотворной формы как верности определенной этике:

"Русская поэзия дала пример нравственной чистоты и моральной стойкости, что выразилось более всего в ее приверженности к так называемым классическим формам без всякого ущерба для содержания. В этом коренится ее отличие от западных сестер, однако никоим образом не пристало судить, в чью оно пользу...

Следует помнить, что стихотворные размеры сами по себе духовные величины и у них нет эквивалентов. Они не могут подменяться даже друг другом, тем более свободным стихом. Несовпадение в размерах – это несовпадение в дыхании и в сокращениях сердечной мышцы. Несоответствие в системе рифмовки – несовпадение мозговых функций. Бесцеремонное обращение с этими вещами есть в лучшем случае кощунство, в худшем же – увечье или убийство. Так или иначе, это преступление мысли, за которое виновный – в особенности если он не пойман – расплачивается умственной деградацией. Что же до читателей, то они покупаются на фальшивку"[1].

В англоязычных стихах Бродского порой действительно чувствуется некоторая неловкость или излишнее напряжение: в автопереводах больше, чем в вещах оригинальных. (Сужу об этом в той мере, в которой может делать это человек, для которого английский – не родной язык.) Но эти шероховатости соседствуют с необычно яркими решениями, с формулами, сохранившими весь изначальный смысл оригинала, – однако совершенно органично одевшимися плотью английского языка. А ведь любые тексты, создаваемые переводчиком или автором и на его родном языке, также будут отмечены качественной неоднородностью, удачи будут соседствовать со срывами, однако последние – далеко не всегда повод выносить "окончательное суждение". Другое дело, что, как заметил в рецензии на этот английский том Бродского поэт и переводчик (знающий и русский) Чарльз Симик, "идеальный перевод Бродского на английский требовал бы совместных усилий таких поэтов, как Джон Донн, лорд Байрон, Т. С. Элиот и У. Х. Оден"[1]. Эта формула – весьма неплохое определение места Бродского в мировой поэзии. Что до обвинений Бродского в "невладении стихотворным английским" (ибо проза его признана в своем роде "эталонной" – свидетельством тому хотя бы премия, присужденная сборнику "Less than one" как лучшей книге *американской* эссеистики) – большинство из них подкреплено лишь пригоршней выхваченных наугад примеров.

Глядя же из России на толстый нью-йоркский том, более уместно задуматься о поэтах-собеседниках Бродского, чьи голоса в английском тексте звучат громче, чем в оригинале: английский все-таки более откровенен, чем русский.

Так, становится ясно, что "Портрет трагедии" написан "с оглядкой" на Цветаеву. В интервью Бродский несколько раз заметил, что, пожалуй, единственный поэт, "соревноваться" с которым ему не под силу, – Цветаева. Тем не менее "Портрет трагедии" – попытка в этом направлении. Перевод был выполнен самим Бродским. Оригинал начинался следующим образом:

1. И. Бродский. Сын цивилизации. Перевод Д. Чекалова. Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб, 1999. С. 104.

1. Simic Charles. Working for the Dictionary. New York Review of Books. October 19. 2000.

Заглянем в лицо трагедии. Увидим ее
морщины,
ее горбоносый профиль, подбородок
мужчины.
Услышим ее контральто с нотками
чертовщины:
Хриплая ария следствия громче, чем
писк причины.
Здравствуй, трагедия! Давно тебя не
видали.
Привет, оборотная сторона медали.
Рассмотрим подробно твои детали.

В английской версии текст первой строфы преобразился:

Look at the face of tragedy. Let's see its
creases,
its aquiline profile, its masculine
jawbone. Let's hear its rhesus
contralto with its diabolic rises:
the aria of effect beats cause's wheezes.
How are you, tragedy? We haven't seen
you lately.
Hello, the medal's flip side gone lazy.
Let's examine your aspects, lady.

По-русски стих звучал низко и глухо, с преобладанием гласных "о" и "у". В английском доминирующим оказался звук "i" – гораздо более высокий. Произошло транспонирование в другую тональность: тембр голоса с первых же тактов близок к срыву: "Let's hear its rhesus / contralto with its diabolic rises: / the aria of effect beats cause's wheezes". Эти строки звучат уже на грани режущего слух визга. Но интересно, что по приемам музыкальной огласовки они очень близки некоторым цветаевским вещам – и прежде всего ее "Посмертному маршу" и "Поэме конца", с их доминацией гласных "е", "а" на протяжении всего текста, создающих в русском примерно такой же эффект.

В музыке перевода явно отозвался "Посмертный марш" – мрачный dance macabre – с эпиграфом "Добровольчество – это добрая воля к смерти":

Не она ль это в зеркалах
Расписалась ударом сабельным?
В едком верезге хрусталя
Не ее ль это смех предсвадебный?
<...>
Не чужая! Твоя! Моя!
Всех как есть обнесла за ужином!
– Долгой жизни. Любовь моя!
Изменяю для новой суженой...

Сам сюжет этого цветаевского стихотворения – обручение (участников Добровольческого движения) Смерти – становится едва ли не "затактом" "Портрета трагедии", – затактом, который затем транспонируется и развивается Бродским в еще более мрачную "музыкальную" тему.

В эссе о Цветаевой "Поэт и проза" Бродский писал: "Таково было свойство ее голоса, что речь почти всегда начиналась с *того* конца октавы, в верхнем регистре, на его пределе, после которого мыслимы только спуск или, в лучшем случае, плато. Однако настолько трагичен был тембр ее голоса, что он обеспечивал ощущение подъема, при любой длительности звучания".

"Портрет трагедии" – особенно в его английском "изводе" – несомненная попытка написать стихотворение, начав его "с верхнего до" – и не сорвавшись вниз, – причем попытка удавшаяся.

Русский и английский текст существенно отличаются: Бродский убрал большинство реалий, внятных всякому, кому выпало жить в России XX века, но не затрагивающих опыт читателя западного. Зато появились и некоторые прибавления: обращение Lady в конце первой строфы, появление которого отчасти продиктовано рифмой, вызывает в памяти англоязычного читателя леди Макбет, готовя его к исчислению жестокостей в последующих строках, задавая по-настоящему кровавый, а не дистиллированно-психоаналитический трагизм всего, что говорится ниже. Характерным образом строфа:

Прижаться к щеке трагедии! К черным
кудрям Горгоны,
к грубой доске с той стороны иконы,
с катящейся по скуле, как на Восток
вагоны,
звездою, облюбовавшей околыши и
погоны.

Здравствуй, трагедия, одетая не по
моде,
с временем, получающим от судьи по
морде.
Тебе хорошо на природе, но лучше в
морге... –

претерпели в английском весьма значительную метаморфозу:

Ah, but to press ourselves against her
cheek, her Gorgon
coiling hairdo! Against the golden
icon's coarse wooden backside that
hoards the burden
of proof the better the more her horizons
broaden.
Greetings, tragedy, dressed slightly out of
fashion,
with lengthy sentences making time look
ashen.
Though you feel fine alfresco, it's a
morgue you've got a crush on.

(Ах, лишь прижаться к ее щеке, к угольно-черным / кудрям Горгоны! К грубому заднику золоченой / иконной доски, что таит в себе горькую истину, / становящуюся все отчетливей – чем шире распахивается горизонт. / Привет, трагедия, одетая несколько старомодно, / с судебным приговором, заставляющим само время казаться прахом. / Хотя ты неплохо чувствуешь себя на открытом воздухе, твоя специализация – морг.)

Строки "Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна, / Как колуном по темени, как вскрытая бритвой вена" в английском приобрели вид: "Thanks, tragedy, for playing decent. / For being direct like a bullet, albeit distant" (Спасибо, трагедия, что играешь подобающим образом, / с прямотой пули, – хотя и держишься отстраненно) – вместо Раскольникова с топором "на сцену" выходит солдат в хаки.

Такая последовательная "очистка" текста от деталей, непонятных западному читателю, – противоядие от соблазна полагать, будто "Портрет трагедии" есть портрет одной только России. Это диагноз всему веку, обвинение времени, а не географии. Недаром во второй строфе и русского оригинала стихотворения:

Заглянем в ее глаза! В расширенные от
боли
зрачки, наведенные карим усильем
воли
как объектив на нас... –

и его почти дословно точного перевода на английский слышится явная аллюзия на Мандельштама – его знаменитое "Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки..."

"Портрет трагедии" насыщен массой таких отсылок к русской поэзии XX века, которые Бродский старался, насколько возможно, сохранить и в переводе. Начало последней строфы русского текста:

Раньше, подруга, ты обладала силой.
Ты приходила в полночь, махала
ксивой,
цитировала Расина, была красивой, –

несомненно, имело в виду стихотворение Ахматовой "Муза", открывающееся строками: "Когда я ночью жду ее прихода, / Жизнь, кажется, висит на волоске", а кончающееся: "Ей говорю: "Ты ль Данту диктовала / Страницы Ада?" Отвечает: "Я". Английская версия "Портрета трагедии": "Once you were, dear, a beauty, a power, a nonstop torrent. / You'd come after midnight and flash a warrant. / You were quating Racine; obsence you weren't", – видимо, соотносится с переводом ахматовского стихотворения, выполненным Ричардом Маккейном, который переводил и некоторые вещи Бродского: "In the night when I wait for her to come / life seems to hang on a strand of hair..." Неопределенное "in the night", заменившее "в полночь" ахматовского оригинала, влечет за собой и сдвиг времени в "английской версии" у Бродского: "after midnight" – "за полночь", а не "in the midnight", что было бы точным соответствием, – заметим, правда, что по-английски подобная точность звучала бы несколько карикатурно...

Прием "продолжения" чужого текста в принципе характерен для Бродского. Его стихотворение "A Song" ("I wish you were here, dear, / I wish you were here") – продолжение сразу двух "классических" текстов

У. Х. Одена: один из них назывался так же, как у Бродского: "Song", другой — "As I walked out one evening". "Продолжением" Одена у Бродского было "На смерть Т. С. Элиота" — практически переложение оденовского стихотворения "Памяти У. Б. Йейтса" — с сохранением композиции, метрики, рисунка рифм. И вот в конце пути — еще один диалог с любимым поэтом. Оба текста Одена, послужившие "отправным пунктом" для Бродского, говорят о неизбежности поражения, на которое обрекает человека время, отнимая любовь, все, в чем он видел смысл существования, — оставляя лицом к лицу, в полной беззащитности, с холодом, одиночеством, забвением, смертью. Бродский, повторяя размер Одена, пытается найти иное разрешение его темы. Он сразу начинает с обреченности всякого ожидания идиллии: "Быть бы тебе рядом..." — сама грамматика подчеркивает здесь неисполнимость желания — "сидеть бы тебе на диване рядом со мной", "быть бы тебе в этом полушарии, — я бы примостился на крылечке, потягивал пиво" — и заканчивает вопросом: "Забывать — стоит ли — если все кончится смертью?": "What's the point of forgetting / if it's followed by dying?" И тогда даже тоска и отчаянье обретают смысл, ибо и они — противостояние смерти.

Диалог с Оденом легко различим и во многих других английских стихах Бродского. В эссе "Поклониться тени" Бродский признался: "Когда писатель прибегает к языку иному, нежели его родной, он делает это либо по необходимости, как Конрад, либо из жгучего честолюбия, как Набоков, либо ради большего отчуждения, как Беккет. Я <...> принялся писать (эссе, переводы, порой стихи) по-английски из соображений, имевших мало общего с вышеназванным. Моим единственным стремлением тогда, как и сейчас, было очутиться в большей близости к человеку, которого я считал величайшим умом двадцатого века: к Уистану Хью Одену"[1]. В поэзии дань признательности часто выражается и в попытке состязания с предшественником; так, две английские "Эпитафии тирану" Бродского — несомненное эхо стихотворения Одена. У Одена было:

Perfection, of a kind, was what he was after,
And the poetry he invented was easy to understand;
He knew human folly like the back of his hand,
And was greatly interested in armies and fleets;
When he laughed, respectable senators burst with laughter,
And when he cried the little children died in the streets.

(Своеобразное совершенство — вот о чем ревновал он, / Поэзия, которую он насаждал, — ее было так легко понять; / Людскую глупость он знал, как свои пять пальцев, / и крайне интересовался положением дел в армии и на флоте; / Когда он смеялся, почтенные сенаторы лопались от смеха, / А когда плакал — дети умирали на улицах.)

Неброский — и страшный текст. Самое сильное в нем — изначальная простота. Никакого форсирования голоса — и тем жутче звучит последняя строчка в ее неожиданной обыденности.

У Бродского ирония дана с бóльшим нажимом, но, может быть, поэтому стихотворение на фоне Одена несколько проигрывает:

He was in charge of something large.
Some call it Hell; some Paradise.
Now that he's gone, let's drop the grudge:
We are still alive. Surprise! Surprise!

(Он служил чему-то великому. / Иные называют это Адом, иные — Раем. / Теперь, когда он преставился, отбросим ропот недовольства: / Мы еще живы. Невероятно! Невероятно!)

Но разница интонаций определяется еще и тем, что Оден знал тиранию лишь "извне", никогда не будучи ее подданным, тогда как Бродский

1. И. Бродский. Поклониться тени. Перевод Е. Касаткиной. Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб, 1999. С. 256.

в силу жизненных обстоятельств был слишком хорошо знаком с ней "изнутри". А последнее предрасполагает, в числе прочего, и к реакции почти органического раздражения — так у профессионального боксера удар порой опережает рефлексию.

Английские стихи Бродского заметно больше насыщены политикой — не политической ангажированностью, а вниманием к миру, погрязшему во зле, — чем того готов ожидать русский читатель, в сознании которого Бродский — поэт, по возможности избегающий прямого высказывания на злобу дня. Однако подобное представление о Бродском как о парнасце, который — возвышенным ли усилием воли или благодаря некоему дару отрешенной рассеянности — мог игнорировать "пену дней", — заблуждение, причем отчасти злонамеренное. На самом деле и написанные в конце 60-х — начале 70–х, еще до отъезда, "Речь о пролитом молоке" или "Письма римскому другу" (как и многие другие его стихи) полны политикой, но политикой высокой — той, что отстаивает "разумные основы человеческого существования". Просто — многие здешние читатели Бродского предпочитают закрывать на это глаза — потому что тогда вещи типа "Стихов о зимней кампании 1980 года" или "Представления", небезболезненно задевающие национальное самосознание иных патриотов, можно объявить "неудачными исключениями". Однако они вполне органичны для Бродского — неустанно твердившего об "антропологической ответственности" поэта, а в интервью раз за разом настойчиво возвращавшегося к политике.

Отсюда и обостренная реакция поэта на войну в Боснии или столкновения в Белфасте (стихотворения "Bosnia tune" и "Belfast tune"). Собственно говоря — всего лишь нормальная реакция человека, чувствующего свою причастность миру как целому. Причастность, выросшую из "тоски по мировой культуре", за которую пришлось заплатить насильственной высылкой с родины, из опыта, заданного с детских лет городом, в котором выпало родиться: "самым умышленным городом в мире"[1], Петербургом, возникшим волею одного-единственного человека, как некая инородная, — то есть привнесенная извне (стараниями выписанных, по большей части из Италии, архитекторов) сущность на теле Российской империи, — и с тех пор вызывающим "странное чувство, что все это не Россия, пытающаяся дотянуться до европейской цивилизации, а увеличенная волшебным фонарем проекция последней на грандиозный экран пространства и воды"[2]...

Если вернуть слову "космополит" его изначальный смысл — "гражданин мира" (смысл, девальвированный особенностями употребления этого слова в "одной отдельно взятой стране", где оно стало ярлыком и ругательством), то Бродский — едва ли не единственный русский писатель, реально этому определению соответствующий, то есть всерьез вовлеченный в некие не только культурные, но и политические споры, выходящие за рамки одной страны. Набоков все же остался русским дворянином, выбравшим себе роль американского писателя, поселившегося на склоне лет в Швейцарии. Он всегда предпочитал держать между собой и миром холодно-отчужденную дистанцию. Бродский же сделал иной выбор: "Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя, / жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок" — и тем самым стер любую границу отчуждения. Его "Венецианские строфы", "Римские элегии", "Мексиканский дивертисмент" — не описания досужего путешественника, а просто отклик человека, которому выпало жить на этой планете — в не самое счастливое (хотя — бывают ли иные?) столетие.

1. Определение Достоевского, повторенное Бродским в эссе о Мандельштаме. И. Бродский Сын цивилизации. Перевод Д. Чекалова. Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб, 1999. С. 97.
2. И. Бродский. Путеводитель по переименованному городу. Авторизованный перевод Л. Лосева. Сочинения Иосифа Бродского. Т. V. СПб, 1999. С. 59.

Алексей Зверев

Преступления страсти: вариант Зюскинда

Ключевой для Зюскинда текст, жанр которого автор определил как "наблюдение", озаглавлен "Amnesia in litteris" – там речь идет о "полной потере литературной памяти". Описывается странная болезнь, сущность которой заключена в том, что человек неспособен усвоить только что им прочитанную книгу, а стало быть, и каким-то образом ею воспользоваться, если он сам попробует сочинять. Добросовестно проработанные тома, будь то биография Александра Македонского, научный труд о Тридцатилетней войне или роман Генриха Бёлля, оставляют некое смутное воспоминание, и только. Кажется, в "Бесах" один герой застрелился из пистолета. Что еще происходит на сотнях страниц знаменитого произведения, наблюдающий сказать не в состоянии.

Наблюдающего зовут Патрик Зюскинд, и самое любопытное в том, что это побудило принять рассказ за чистую монету – причем даже тех, кому подобная доверчивость не подобает в силу особенностей их профессии. Например, Марселя Райх-Раницкого, литературного обозревателя, чей авторитет в Германии неоспорим. Райх-Раницкий написал, что Зюскинд внушает такое чувство, "как будто бы он никогда не читал Кафку и ничего не слышал о Джойсе". Проницательность этого замечания теперь могут оценить русские поклонники Зюскинда, которые располагают четырьмя его книжками, выпущенными одновременно (и в одинаковом оформлении) "Азбукой".

Впрочем, "Голубку", повесть, при чтении которой от мыслей о Кафке невозможно отделаться, поклонники, заинтригованные "Парфюмером" ("ИЛ", 1991, № 8), могли прочесть тоже в "ИЛ" еще в 1994 году (№ 9). Там, в "Голубке", не только кафкианский сюжет – внезапная перемена всего порядка жизни, причем под воздействием причин, которые не поддаются сколько-нибудь рациональному объяснению, – но и художественный ход, сразу приводящий на ум излюбленные приемы австрийского писателя. Как и у Кафки, у Зюскинда события и обстановка, в которой они протекают, совершенно ординарны, однако житейски невероятными оказываются сцепление этих событий, а уж тем более их последствия.

Зюскинд описывает абслютно бесцветного обывателя, который всю жизнь прослужил охранником в каком-то парижском банке, где "принадлежал, так сказать, к инвентарю". Десятки лет прожив под крышей дешевого пансиона –

комнатку он, кажется, выкупит в свою собственность, как раз когда пора будет выходить на пенсию, — этот "марионеточный человеческий механизм" под названием Ионатан Ноэль нежданно испытывает потрясение, грозящее не оставить от его мирка камня на камне. Событие, которое вынудило героя покинуть гнездо, обставленное с такой любовью (и на жесткой койке незнакомого отеля пресерьезно обдумывать мысль о самоубийстве), было результатом беспечности одного из постояльцев пансиона, и оно смехотворно: забыли захлопнуть окно в коридоре, влетела птица и уселась прямо у двери, ведущей к Ноэлю. Но все последущее — почти трагедия: этот "законопослушный и пунктуальный, солидный, благонадежный" господин вдруг отчетливо осознает, что не в силах справиться с мистическим ужасом, который ему внушает вид оставляемых голубкой зеленоватых пятен на полу (как они похожи на те, что оставлял, ползая по обоям, превратившийся в насекомое Грегор Замза из хрестоматийной новеллы Кафки!). У него, Ноэля, такое ощущение, что "он в свои пятьдесят три года сломя голову несется в пропасть", и ровным счетом ничего не сохранилось от его жизненной программы, отличавшейся образцовой солидностью.

Внятно объяснить этот казус, который, разумеется, будет воспринят как аномалия всеми здравомыслящими, Ноэль не в состоянии. Однако он мог бы кое-что поведать о подспудных мотивах, склонивших его к столь странным поступкам. Лежащая на поверхности параллель с великим стихотворением Эдгара По в действительности оказывается совершенно неуместной. Там ворон, внезапно влетевший к поэту, погруженному в мысли о той, кто похищена смертью, провоцирует экстатические видения и безумную надежду воссоединиться с возлюбленной вопреки земным законам. А у Зюскинда героя трясет от негодования и отвращения, когда он представляет свою уютную комнату занятой, загаженной голубкой или целым голубиным семейством, и эта фантазия порождает другие, еще более мрачные: пристанища нет, сбережения куда-то ухнули, приходится сносить общество клошаров и оборванцев. "С тобой все кончено, Ионатан, еще до конца года с тобой будет покончено," — и от этих предчувствий Ноэлю уже не отделаться, пусть люди, крепко стоящие на ногах, сочтут, что у него просто истерика.

Не составляет труда проследить генеалогию этого сюжета, в котором смешаны будничное существование "маленького человека" и фантасмагория мира, где свершается драма его тривиальной, жалкой, но все равно единственной жизни. Помимо Кафки в памяти всплывают имена тех, кто ему предшествовал в подобном выборе коллизии и построении рассказа: Гоголь, Достоевский, Диккенс. Обретает под собой основание взгляд на Зюскинда как на писателя осознанно и принципиально старомодного. Райх-Раницкий подает этот взгляд как аксиоматичный, утверждая, что Зюскинд "не заботится о различных ухищрениях, о надуманной технике, об изысканных трюках современной прозы". Очерчивается образ консерватора и архаиста, решившего, наперекор интеллектуальной моде, вернуться к представлениям о литературе, преобладавшим в незапамятные бальзаковские времена. И критик подытоживает: "Я не говорю, что сегодня нужно писать именно та-

ким образом, но я считаю, что сегодня так писать можно".

Еще бы нет! Ведь успех Зюскинда оказался поистине феноменальным. "Контрабас" поставлен на сценах лучших театров (у нас – в "Сатириконе", с неподражаемым Константином Райкиным в главной и единственной роли). "Парфюмер" долгое время был первым европейским бестселлером, доказав, что вовсе не обязательно платить дань требованиям развлекательной и коммерческой беллетристики, чтобы завоевать внимание массового читателя. И до какой-то степени этот триумф объясняется, конечно, тем, что западной публике уже полтора десятка лет назад стали приедаться авторы, ужасно старающиеся – не в пример Зюскинду – соответствовать "духу эпохи". То есть иронизирующие по любому поводу и больше всего на свете озабоченные тем, чтобы в их сочинениях никто не обнаружил мало-мальски значительной этической или, еще хуже, социальной проблематики.

В отличие от них Зюскинд совсем не убежден, будто эпоха с ножом к горлу требует от писателя свидетельств, что он заглянул в модные книжки, где говорится про интертекстуальность или метаповествование. Еще меньше уверен он в том, что кончились времена, когда литература всерьез, а не ерничая, осмысляла вопросы, которые прежде было принято называть вечными, и что теперь в цене только деконструкция или пародия, потому что это самый безотказный способ избавить произведение от "скуки".

В каком-то смысле Зюскинд и правда чужеродное явление на преобладающем интеллектуальном и литературном фоне. От тех, кто не мыслит себя вне этого фона, случалось слышать в связи с Зюскиндом про музейную пыль, но подобная пристрастность оценок – обычный удел писателей, которые остаются безучастными к переменам вкусов. Блоку на последних его вечерах орали из зала, что он мертвец. Кто теперь помнит об этих крикливых футуристах и ничевоках, считавших, что надо устроить глумливое погребение всей поэзии, которая была до них?

Восприятие Зюскинда критикой, да и читателями, подвержено той же абберации: ему приписывают литературное ретроградство. На самом деле он традиционалист лишь в том отношении, что не считает исчерпанными темы, которых многие касались до него. Однако они очень по-своему осмыслены Зюскиндом – и в "Голубке", и в "Контрабасе", и в "Парфюмере". И в сравнительно безыскусной "Повести о господине Зоммере", где автор вспоминает свое детство, пришедшееся на трудные послевоенные времена.

Эта повесть особенно наглядно обрисовала тот человеческий тип, который постоянно притягивает внимание немецкого прозаика, – тип аутсайдера, постороннего, маргинала, словом, "другого". Ее заглавный герой, описанный с характерной для Зюскинда мягкой иронией, одержим мечтой о бегстве из социума, об уединении и полной непричастности. Все желания господина Зоммера, каждый день совершающего бесцельные дальние прогулки по размытым дождями полям и ухабистым проселкам, сводятся к одному: "Да оставьте же вы меня наконец в покое!" И он все куда-то спешит, закинув за спину рюкзак с фляжкой и бутербродом, постукивая своей палкой, деловито пыхтя, – шагает прочь, пока петляющая дорога не приведет к озеру, у берегов мелкому, но дальше почти бездонному, что не остановит господина Зом-

мера, шагающего по водам все вперед и вперед. Потому что господин Зоммер осознал: для него не существует иного способа покончить с непереносимым чувством своей зависимости от мира, которому он не хочет принадлежать.

Странную эту историю рассказывает подросток, оказавшийся свидетелем развязки, происшедшей на озере. Причем не таким уж случайным свидетелем: за господином Зоммером он давно наблюдал и отчасти ему подражал, уединяясь на ветвях высокой сосны; там ему приходили мысли о том, не прыгнуть ли вниз, в глубину. Вот если бы еще удалось поприсутствовать на собственных похоронах!

И повествователь, и главный герой книги, изданной с иллюстрациями Жан-Жака Семпе, тонко имитирующими детские рисунки, очень характерны для Зюскинда. Его интересуют только те персонажи, которые резко отличаются от привычных типажей. Для него естественно, что размышления о магии музыки ("она по ту сторону физического бытия, по ту сторону времени, истории и политики") отданы не какому-нибудь современному Паганини, любимцу меломанов и меценатов, а контрабасисту, то есть тому, кто в "ужасающей иерархии таланта" находится заведомо на одном из последних мест. Или что старая как мир тема совместимости либо несовместности гения и злодейства возникает при жизнеописании того, кто нежеланным пополнением явился на свет под разделочным столом в рыбной лавке, где чуть не был удушен собственной матерью. С Моцартом, младшим его современником, у парфюмера Гренуя уж конечно нет ничего общего ни по социальному статусу, ни по жизненным установкам. Однако этот питомец сиротского приюта, отданный в рабство кожевнику, чьи ученики поголовно мерли от сибирской язвы, вряд ли уступит и Моцарту в природной одаренности или в том, что касается преданности своему призванию.

Может быть, Зюскинд и примечателен прежде всего особым умением воплощать мотивы обобщающего, умозрительного характера как живые темы, которые оказываются определяющими в судьбах людей, совсем не годящихся в герои философских драм. Персонажи Зюскинда узнаваемы, даже тривиальны: определение вполне бы подошло, если бы не комплекс изгоя, который отличает их всех. А вот эмоциональная гамма, которую провоцирует этот комплекс, неподдельно широка. И умение Зюскинда воспроизвести ее в самых тонких оттенках удивительно.

Монолог героя, заполняющий два часа сценического времени, когда ставят "Контрабас", постоянно выдает преследующее этого скромного музыканта ощущение собственной неполноценности — профессиональной и просто человеческой. И его раним ость, которая оборачивается злыми выпадами против тех, кто лучше защищен. И тоску по пониманию, раз уж не дано испытать чье-то сочувствие или пережить счастье разделенной любви. Он проклинает свой неуклюжий инструмент ("похож на расплывшуюся старую женщину... Временами с наслаждением разнес бы его в щепы... раскрошил бы их в труху"), и он же обожествляет самоистязание, которым для контрабасиста оказывается каждый концерт или оперный спектакль. Что ни день сознавая свою униженность, все равно он лелеет

мечту: "Когда-нибудь поднимусь по иерархической лестнице вверх и однажды с вершины пирамиды взгляну на тех, кто пресмыкается внизу". Он внушает неприязнь, если не отвращение, но вместе с тем желание выслушать без осуждения, порой и сострадание – а чаще всего все эти чувства одновременно.

В этой многомерности характеров один из секретов обаяния Зюскинда для самой широкой аудитории. Его персонажам присуща интенсивная душевная жизнь, показываемая с ее противоречиями, во всей полноте, – качество, по существу утраченное современной литературой. Давно замечено, что из нее почти исчезли герои, представляющие собой крупную, уникальную личность, а не муляж, то более, то менее искусно изготовленный по хорошо известным шаблонам. И не робот, которым манипулируют согласно "стратегиям текста": философическим, социологическим и прочим.

Казус Зюскинда замечателен и тем, что по нему видно, какой потерей для читателя была эта подмена личности фантомом. Появился писатель, у которого, как выяснилось, не пропал дар изображать людей в их неповторимом облике, и этот писатель оказался сразу же востребован, какое бы неудовольствие у критиков ни вызывала его открыто декларируемая приверженность классической традиции и столь одиозным, на современный взгляд, ценностям, как художественная дисциплина, иерархия, авторитаризм.

Он декларировал эти свои принципы устами контрабасиста, в пьесе, до которой Зюскинда никто не знал и которую расценили как автобиографический опус, благо в справке о себе, составленной самим драматургом, сказано, что его тоже учили музыке (правда, на фортепьяно) и что он играл ту же сонату Диабелли, с горькой издевкой упомянутую героем. Действительно ли этому и другим своим персонажам автор отдал многое от самого себя – не такой уж существенный момент, да и судить тут можно только с большой приблизительностью. Зюскинд не из тех, кто купается в славе, он не раздает интервью, избегает телеэкрана. О нем известно совсем немного: с мыслями о музыкальной карьере его вынудила расстаться нехватка дарования. Он получил образование как историк, служил в отделе патентов, зарабатывал на жизнь, играя в теннис с богатыми партнерами, – совсем как молодой Набоков в его берлинские годы. Выпустив "Повесть о господине Зоммере", последние десять лет практически ничего не пишет. В общем, тоже своего рода маргинал, если сравнивать с другими литературными знаменитостями его поколения, которые издают книгу за книгой, мелькают то на кинофестивалях, то на ученых симпозиумах и любят объяснять, как именно должна их читать недогадливая публика.

Зюскинда трудно вообразить сочиняющим что-нибудь вроде "Заметок на полях 'Парфюмера'", по образцу Умберто Эко, который сопроводил такими заметками "Имя розы". И дело не в том, что повесть Зюскинда занимает в современной литературе более скромное место, чем роман, объявленный, несмотря на возражения его автора, главным свершением постмодернизма. Сопоставления с целью выявить, какое из двух произведений значительнее, когда они близки по литературному уровню, – занятие достаточно бессмысленное или по меньшей мере произвольное. Важно лишь то, что эти про-

изведения на самом деле по-разному построены, и если читателю "Имени розы" вправду нужны некоторые познания, касающиеся семиотических и культурологических теорий автора, то "Парфюмер" требует только вдумчивости, аналитичности и внимательного взгляда. Тогда по двум-трем подсказкам сразу станет понятно, каков истинный сюжет этой "истории одного убийцы".

Важнейшая подсказка дается на первой же странице, где в перечислении "гениальных и отвратительных фигур" изображаемой эпохи первым названо имя де Сада. С личностью, философским творчеством и беллетристическими опытами одиозного маркиза накрепко связана идея, имевшая пагубные последствия для него самого: преступление страсти, совершаемое во имя познания истинной природы человека и порядка вещей в мире. Страсть оказывается вызовом морали, основанной на иллюзиях, которые касаются якобы непререкаемых и священных заповедей любви, разумности, блага. Миф о неотменимости добродетели рушится, когда Сад подвергает его испытанию страстью, обнаруживающей человеческое естество. По словам Камю, возникает особое духовное состояние, не допускающее никаких уступок миру нежности и компромисса. Как писатель, первым воссоздавший это духовное состояние и понявший, до чего оно притягательно вопреки всем разговорам о постыдности его проявлений, Сад занимает особое место в истории европейской культуры.

Зюскинд, который сумел уверить даже кое-кого из опытных читателей, будто у него amnesie in litteris, запомнил впечатления от "Жюстины" и "120 дней Содома", судя по всему, очень прочно и, переняв идею, ассоциируемую с наследием Сада, придал ей собственное творческое воплощение. Оно, если сравнивать с первоисточником, оказалось совершенно другим. Герой Сада — чувственный человек, страсть для него едва ли не целиком и полностью сведена к наслаждению, к издевкам над заповедями и табу. Зюскинда интересует человек творческий. Для его персонажей страсть сопричастна творческому дару, она высвобождает дар в ситуации социальной отверженности, не позволяющей ему реализоваться. Подобно божественной искре, вспыхивающей наперекор прозаической монотонности или шокирующей грубости повседневного существования, страсть озаряет открывшийся героям другой мир, где более нет "власти денег, или власти террора, или власти смерти". Потому что все это отступает перед "неотразимой властью внушать людям любовь", той властью, которой наделен художник, творец, артист.

"Я ремесленник. В душе своей я ремесленник. Не музыкант", — печально резюмирует контрабасист. Но душою он устремлен к несвершившемуся событию, тому, что должно было бы стать кульминацией его жизни: заполненный зал, фраки и брильянты, знаменитость за дирижерским пультом. Дрожащая перед выходом на сцену молодая певица, к которой героя влечет влюбленность. И вдруг, перекрывая раскаты вагнеровской увертюры, из оркестровой ямы оглушительным воплем доносится: "САРА!!!" А вслед этой вспышке страсти — сорванная премьера, скандал в газетах, увольнение с волчьим билетом. "Блаженство, высшее счастье, мир летит в тартарары..."

Не в пример контрабасисту, Грену от фантазий переходит к

действиям. Он осуществил замысел, когда-то вынашиваемый, однако не реализованный Дорианом Греем в романе Уайльда, который тоже знал, что душевное состояние теснейшим образом связано с чувственным восприятием, и мечтал о запахе, способном доводить до безумия. Гренуй создает десятки таких запахов, соперничая с Богом, — в его глазах всего лишь "маленькой жалкой вонючкой". Он выучивается отнимать благоуханную душу у вещей, а затем и у людей.

Этот герой естественно вошел бы в галерею персонажей, созданных Садом, — тех, кого далеко заводят преступления страсти. Однако он не растворился бы среди этих персонажей, потому что обладает резко выраженным отличием от них. Суть в том, что Греную абсолютно чуждо сластолюбие. С маркизом, родившимся через два года после того, как в жаркий июльский день, когда стояла непереносимая вонь, началась жизненная одиссея самого гениального парфюмера всех времен, у Гренуя общее лишь то, что чувственность наглухо отделена у них обоих от морали. Поэтому преступление, даже самое страшное, не может ими осознаваться в системе этических категорий.

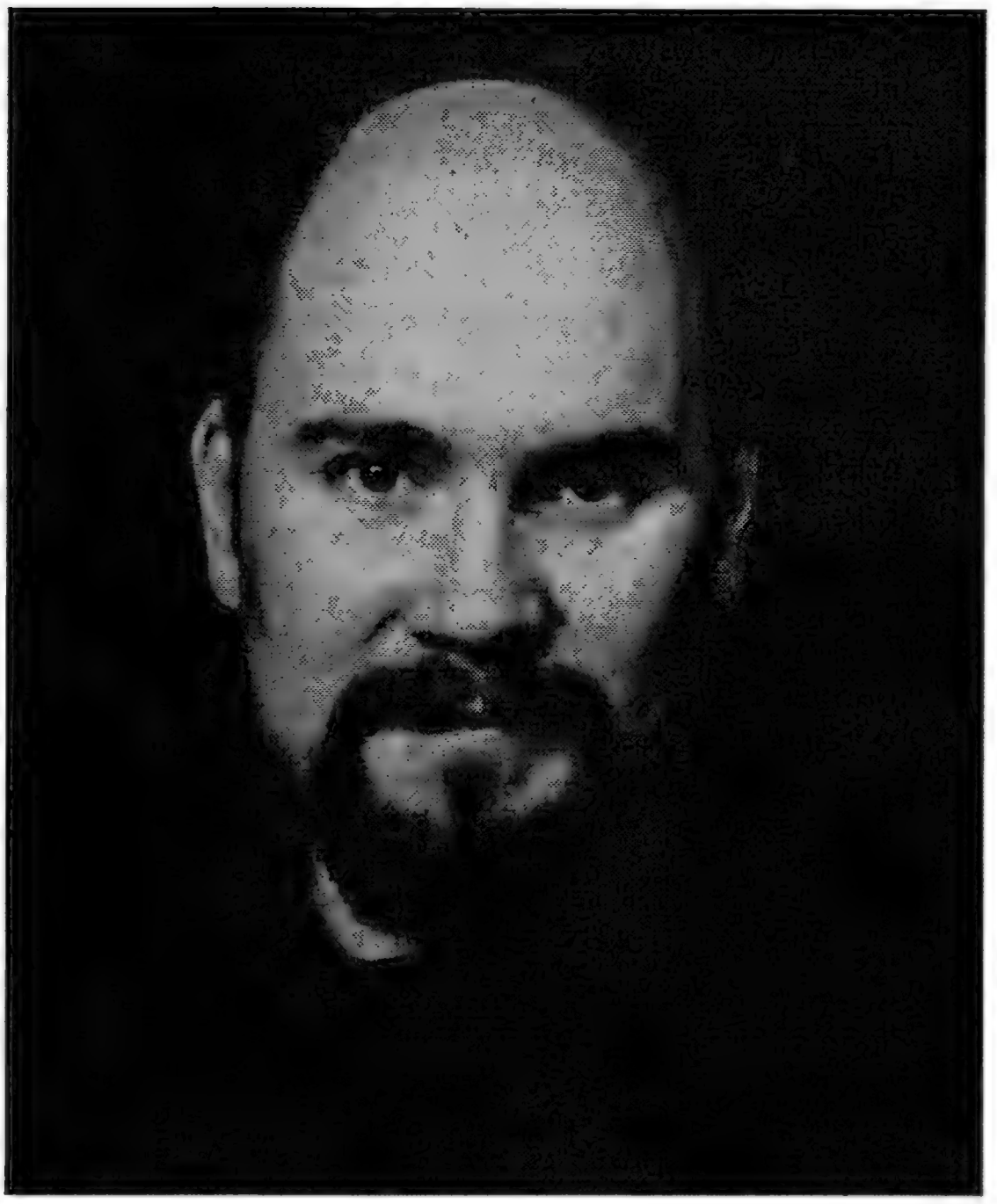
Но мотивы преступлений, собственно, не совпадают ни в чем. Сад издевается над прекраснодушными верованиями просветителей и гуманистов, демонстрируя, что деяния, которые посрамили человеческий род, как раз и явились органичным проявлением людской натуры. У Зюскинда такие же деяния подчинены, как ни дико звучит, желанию любви. Гренуй, убивая, присваивает запах "тех чрезвычайно редких людей, которые внушают любовь". Сам он вообще лишен запаха, потому что изначально выброшен из человеческого сообщества, приравнен к клещу, который годами подкарауливает момент, когда он вопьется в свою жертву. И присвоенный запах, который внушал бы любовь, для Гренуя равнозначен победе над собственной участью клеща. Точно так же, как этот созданный им (Греную безразлично, какими средствами) запах знаменует триумф его гения. Истинного, хотя и чудовищного гения.

"Amnesie in litteris" завершается цитатой из одного известного стихотворения — приблизительной, поскольку, если верить автору, позабылся источник. Впрочем, смысл строки передан верно — за это автор ручается. Смысл и не мог подвергнуться искажению, так как строка выражает императив, которому подчинено поведение героев Зюскинда. Вот она: "Ты должен жизнь свою переиначить!"

Кстати, о забывчивости: стихи Рильке, откуда взята эта цитата, известны даже немецким школьникам.

Издательство "Амфора"

С арт-директором издательства "Амфора" Вадимом Назаровым беседует Светлана Силакова.



Светлана Силакова. Издательство "Амфора" заявило о себе относительно недавно. Но, насколько я понимаю, возникло оно не на пустом месте...

Вадим Назаров. "Амфора" – это плодоносящая ветвь старого дерева под названием "Северо-Запад". Десять лет назад несколько недавних студентов ЛГУ собрались в сыром подвале на седьмой линии Васильевского Острова и затеяли проект, который перевернул весь отечественный читающий мир. Страна и город, где это произошло, давно уже зовутся иначе, но грозное эхо буржуазно-издательской революции слышится до сих пор.

В "Северо-Западе" была придумана и успешно опробована на практике серийно-гнездовая система — изобретение, подобное ковровому бомбометанию. Чтобы издать любую книгу, достаточно было решить всего лишь одну проблему — в какую серию эту вещь лучше вставить.

Книга переставала быть священным предметом и становилась товаром. И чем больше один текст походил на другой, тем лучше эта серия продавалась.

Я был главным редактором "Северо-Запада", Олег Седов вел там же довольно известную серию "1000 лет русской литературы". Когда же все окончательно рухнуло, Седов возглавил чопорный "Симпозиум", а я продолжал свои игры с природой в беспечной "Азбуке".

В "Амфоре" мы снова встретились, чтобы исправить кое-какие грехи нашей издательской юности.

С. С. В Петербурге любят порассуждать о "необщем" лице своего города. А есть ли своя специфика у петербургского книгоиздательства, если сравнивать его, например, с московским?

В. Н. В России всякие заразительные идеи появляются в Санкт-Петербурге, а воплощаются в Москве. Буржуазная модель книгоиздания на берегах Невы так и не прижилась, зато стала главенствовать в столице. На Севере ночи длиннее, и мы здесь так и не смогли избавиться от магии книги, так и не перестали ее обожествлять.

Столичная издательская жизнь делается по американскому стандарту. Москва — наш маленький Нью-Йорк, там издательские монополии делят рынок на секторы и сферы влияния, там литературные агенты плетут интриги, там делаются карьеры и соревнуются в невежестве и высокомерии модные критики из глянцевых журналов.

Книжный Петербург чем-то похож на Париж, издательства здесь маленькие, умненькие и гордые, хотя и не вполне независимые. Здесь отрабатывают экспериментальные идеи, создают писательские репутации, но все эти идеи и писатели неизбежно уходят в Москву, потому что именно там за интеллектуальную собственность можно получить настоящую цену.

С. С. Значит, "Амфора" — издательство маленькое и умненькое? Но если посмотреть, сколько ваших книг представлено на полках магазинов...

В. Н. И происхождение, и издательский формат "Амфоры" вроде бы не позволяют ей быть крупным издательством, но этому обстоятельству противодействует наше неудержимое любопытство... А может быть, неуемная жажда наживы. Эта сила заставляет нас открывать новые проекты, и сегодня круг наших интересов пугающе широк. У нас есть и научная ("Александрийская библиотека"), и научно-популярная ("Эврика!"), и литературная ("Новый век"), и беллетристическая ("Амфора-детектив") серии. Все эти и еще с полдюжины других серий опираются исключительно на произведения переводных авторов.

Переводы занимают три четверти нашего портфеля. Кстати, то, что остается за их вычетом, — "русская четверть" — это самое большое наше завоевание за последние полтора года. В России писателей мало. Я говорю даже не о *качестве* литературных новинок. Даже *по количеству* писателей на одного читателя мы, как мне кажется, далеко позади таких стран, как Нигерия и Фарерские острова, не говоря уже о литературной столице Европы — Сербии.

Так что огромное количество переводов на "амфоровской" книжной полке не столько свидетельствует о нашем западничестве, сколько отражает некоторую литературную реальность.

С. С. Как Вы отбираете тексты?

В. Н. Это самый большой секрет издательского дела... и тайна для меня самого. У меня есть штатный "серый кардинал" — дабы не нарушать инкогнито, назовем его просто В. Л. Это единственный на весь Петербург писатель, который разбирается в актуальной заморской литературе. Я так же просматриваю все возможные рейтинги. Наконец, у "Амфоры" появился скаут — Эллисон Бонд, профессионал из высшей издательской лиги, которой многим обязан, скажем, "Вагриус".

И все же книги — они как живые люди. Они приходят и уходят. Книга — это не изобретение типа компьютера, а Божий дар человечеству, и мистическая составляющая в процессе книгоиздания имеет место. Это всякий редактор подтвердит.

Как честные идеалисты, мы выбираем весьма странные книги. У меня едва ли хватит мужества определить их жанр, хотя шепотом я именую то, что мы издаем, *вертикальной фантастикой*. Эта литература через метафору повествует о том, что закрыто от глаз человека до самой смерти. Под это невнятное определение попадает бóльшая часть наших авторов в самых разных сериях — от сухого Стивена Хокинга в "Эврике!" до цветистого Горана Петровича в "Славянском шкафу".

С. С. "Амфора" — одно из немногих издательств, которым свойственна "географическая всеядность"...

В. Н. Я убежден, что Америка, которая продает в Россию огромное количество книжных лицензий, — отсталая литературная провинция. Разумеется, в США есть заслуживающие внимания издания, но это, как правило, нон-фикшн: скажем, изложенная человеческим языком теория генома или психологии поведения.

Сегодняшняя литература создается в колониях, в метрополиях она лишь тиражируется. Подобно тому как новая музыка возвращается к своим этническим корням, новая литература немыслима без обращения к национальной мифологии и этнографии. В этом смысле единственный американский писатель, который меня интересует, — это Серая Сова. Помните детскую книжку об индейской девочке и ее ручных бобрах?

Наши авторы происходят из Нигерии (Бен Окри), Турции (Орхан Памук), Японии (Банана Яшимото), Индии (Арундати Рой), Бразилии (Моасир Скляр). Правда, после литературного успеха некоторые из них меняют гражданство, но так ли это важно?

С. С. Вы говорили о серии "Славянский шкаф"...

В. Н. Она посвящена славянским литературам. У "Амфоры" к ним интерес особый. На самой почетной полке в этом "шкафу" стоят мои любимые сербы. Кроме Милорада Павича (мы издаем полное собрание его рассказов), там новая любовь переводчицы Ларисы Савельевой — уже упомянутый Горан Петрович, а также тонкий стилист Владислав Баяц, классик Данило Киш и самый странный из известных мне писателей — Зоран Живкович.

С. С. Поговорим на языке цифр: каково процентное соотношение переизданий и книг, издающихся впервые?

В. Н. Два года назад, когда "Амфора" только стартовала, мы строили план практически на одних переизданиях — просто не успевали гото-

вить свои ежемесячные двадцать книг. Принято стыдиться переизданий, я же ими горжусь. Нам удалось сделать то, что не совсем получилось у коллег, по чьим следам мы тогда шли. Именно после наших переизданий в полный голос зазвучала проза Мишеля Турнье и Сильви Жермен, вернулись в оборот полузабытые Амос Тутуола и Стефан Гейм.

Теперь наш план процентов на восемьдесят состоит из первоизданий, и тем самым мы возвращаем свой долг великому издательскому колесу, закладываем позиции в каталог неведомого публикатора, который сработает лучше нас.

С. С. Вернемся к сериям, этому "методу коврового бомбометания". Олег Седов в интервью "Экслибрису" сообщил, что у "Амфоры" каждый месяц появляется новая серия...

В. Н. Мы, действительно, достаточно часто открываем новые серии, но при этом не забываем закрывать старые. Происходит ротация проектов, своего рода естественный отбор. Кроме того, современная серия не может быть открытой, то есть бесконечной. Редкая из них сегодня живет больше года.

Благодаря этой ротации мы до сих пор избегали серьезных провалов. Что же касается удач, то главная из них в том, что все книги "Амфоры" продаются более-менее ровно. Это означает, что у читателя появилось доверие к нашей торговой марке, а для издательства, которое не располагает запасом дорогих бестселлеров общеизвестных авторов, это единственный способ выжить. Взращивая читательское доверие к книгам своей марки, мы как раз и решаем проблему "новых имен" и "немодных стран".

С. С. Огромная, кстати, проблема! Не кажется ли вам, что современный российский читатель "ленив и нелюбопытен", что он неохотно покупает книги неизвестных ему писателей как отечественных, так и зарубежных?

В. Н. Сегодняшний читатель подобен обманутому вкладчику. Советский Союз с его бумажным голодом воспитал у людей настоящую страсть к печатному слову, и в буржуазной России страсть эта безжалостно эксплуатировалась. В начале девяностых за книгами стояли очереди, по плотности не уступавшие табачным, потому что книга, как сигарета, была у многих навязчивой привычкой. Наивный, словно туземец, советский читатель еще не пробовал ни плохих переводов, ни низких жанров, и проворные книгоноши лихо обменивали блестящие обложки на казначейские билеты.

Сегодняшнее едва ли не катастрофическое падение спроса на книги — это расплата за пятисоттысячные тиражи "Тарзанов" с "Анжеликами" и легкие деньги перестройки. С другой стороны, это падение свидетельствует о возникшем читательском опыте. Люди стали разборчивее и искушенней, но меня это совсем не пугает — ведь именно эти качества отличают нынешнего читателя "Амфоры".

С. С. Значит, если Вам предложат блестящий перевод гениального романа, написанного на языке фарси, — Вы согласитесь?

В. Н. Да, и экзотичность языка только поможет в рекламе книги. Успех "Черной книги" турецкого писателя Орхана Памука в превосходном переводе Веры Феоновой — тому подтверждение.

С. С. Перечислите, пожалуйста, зарубежных авторов, которых Вам удалось "свести" с нашим читателем.

В. Н. Ну, читателям "Иностранной литературы" многие открытия "Амфоры" хорошо известны – та же "Черная книга", например. Я давний поклонник журнала, и это легко понять, заглянув в наш издательский каталог. Более того, когда-то у меня был совместный проект с "ИЛ"[1] – первая попытка возрождения знаменитой "БИЛки", в 1997 году вышли пять наименований. Я хотел бы привести "лучшую десятку" нашего издательства за 2000 год – так вот, в ней есть три автора, чья популярность в России началась именно с этого проекта. Итак, наши бестселлеры:

1. Милорад Павич. *Русская борзая.* Серия "Новый век".
2. Харуки Мураками. *Охота на овец.* Серия "Новый век".
3. *Апокрифические Евангелия.* Серия "Личная библиотека Борхеса".
4. Павел Крусанов. *Укус Ангела.* Серия "Наша марка".
5. Милан Кундера. *Невыносимая легкость бытия.* Серия "Славянский шкаф".
6. Туве Янссон. *Серый шелк.* Серия "Гербарий".
7. Стивен Хокинг. *Краткая история Времени.* Серия "Эврика!".
8. Хуан Хосе Арриола. *Рассказы сновидца.* Серия "Личная библиотека Борхеса".
9. Роберт Ван Гулик. *Поэты и убийцы.* Серия "Амфора-детектив".
10. Ежи Косински. *Раскрашенная птица.* Серия "Славянский шкаф".

Вряд ли этот список требует подробных комментариев, отмечу лишь успех первой на русском языке книги великого мексиканца Арриолы – успех читательский, критика книгу не заметила – и "взрослого" тома Туве Янссон...

С. С. А спрогнозировать список бестселлеров 2001 года Вы решитесь?

В. Н. Предсказания будущего – не самая сильная моя сторона. Дело в том, что рынок всегда консервативней, чем я думаю, и меняется гораздо медленнее. Бывало, что запущенные мной проекты слишком опережали рыночные тенденции, а в книжном деле опережение хуже отставания. У нас так нелепо все устроено, что спрос диктует не публика, а крупные оптовики, которые, словно старые маршалы, всегда готовятся к предыдущей войне.

Тем не менее вот мой прогноз по "Амфоре", он же список рекомендуемых новинок 2001 года:

1. Харуки Мураками. *Dance, dance.* Серия "Новый век".
2. Юстейн Гордер. *Vita brevis.* Серия "Новый век".
3. Хулио Кортасар. *Вокруг дня на 80 мирах.* Серия "Millennium"[2].
4. Зоя Вальдес. *Кафе "Ностальгия".* Серия "Гербарий".
5. Владимир Волкофф. *Хроники Ангелов.* Серия "Славянский шкаф".
6. Рю Мураками. *69.* Серия "Новый век".
7. Десмонд Моррис. *Голая обезьяна.* Серия "Эврика!".
8. Горан Петрович. *Осада храма Св. Спаса.* Серия "Славянский шкаф".
9. Илья Стогофф. *Мачо не плачут.* Серия "Поколение Y".
10. Агата Кристи. *Паутина.* Серия "Амфора-детектив".

Два слова про Агату Кристи: мы купили лицензию на ее постконвенционные произведения, и в 2001 году выйдут в свет десять ранее неизвестных в России книг "королевы детектива".

1. Имеется в виду совместный проект "ИЛ" с издательством "Азбука".
2. В "ИЛ" (№ 6, 2001) название этой книги переведено как "Вокруг дня за 80 миров". (*Прим. ред.*)

С. С. Кто ваш читатель? Ориентируетесь ли Вы на определенные социальные слои?

В. Н. Сознательно – нет, не ориентируемся. Наша сильная сторона – не расчет, а интуиция. Но коль скоро мы исповедуем мелкобуржуазные ценности (Работа – Семья – Церковь), а издаем как бы для самих себя, то и наших читателей следует искать в среднем классе.

С. С. Есть ли, на Ваш взгляд, какие-нибудь новые тенденции во вкусах публики?

В. Н. Есть одна тенденция, которая меня искренне радует, – публика перестала ходить строем. Раньше все любили двух-трех писателей и своей горячей любовью превращали их имена в пепел, в пошлость, в пустой звук. Теперь же клуб народных писателей значительно расширился, появилась возможность поспорить о вкусах.

С. С. У Вас есть какая-то определенная политика в области рекламы?

В. Н. В этой области у нас вместо политики – любовь. Взаимная и бескорыстная любовь с добрыми ньюсмейкерами, болеющими тем же тяжким недугом, что и мы, – неутолимой жаждой чтения...

С. С. Как Вы думаете, все ли Ваши книги по карману их потенциальной аудитории?

В. Н. Книга – это предмет роскоши, она и не должна быть легко доступной. Это не хлеб и не вода. Наши книги все еще дешевле билетов в кино или средней руки клуб. Только вообразите, сколько трудов и страданий воплощено в книге. Об их цене говорить просто неприлично...

С. С. Добирается ли Ваша продукция до провинциального читателя?

В. Н. Наши книги есть по всей России, но назвать это номинальное присутствие торговой политикой я бы не решился. Я уже говорил о самом консервативном звене в цепи "автор – читатель". Это – крупный оптовик, и он считает, что провинции нужны преимущественно боевики и женские романы. Мне кажется, что ситуация в корне изменится после осенней ярмарки в Москве, которая должна продемонстрировать изменение спроса в регионах.

С. С. А может быть, мировой опыт поможет?

В. Н. Я был на оптовой книжной базе в Америке. Это совершенный книжный конвейер, идеальная машина, готовая выполнить любой каприз читателя. Те, кто застал Союзкнигу, говорят, что наша система была не хуже, разве компьютеров поменьше. По-моему, не надо горевать, что таких баз не стало. Рынок – материя тонкая, если на нем чего нет, того до времени и не нужно.

С. С. Насколько эффективны в нашей стране Интернет-магазины?

В. Н. Вообще-то, если честно, все эти "технические" вопросы совершенно не по адресу. Что касается торговли и денег, есть и более компетентные люди, так что мне просто неудобно открывать рот. Умел бы я деньги считать, не был бы уже десять лет кряду главным редактором, а назывался бы гордо "генеральный директор" или "президент"...

Но уж если спросили... Я считаю весь Рунет грандиозным блефом и не понимаю, почему в этот междусобойчик вкладываются такие огромные деньги. Мы сотрудничаем с крупнейшим Интернет-магазином – он продает наших книг меньше, чем лоток у метро. При этом считается, что "Амфора" у них "идет".

Интернет — это всемирная ярмарка тщеславия, грандиозная информационная свалка, единственное преимущество которой в том, что на этой свалке очень легко найти нужный тебе хлам.

С. С. Вернемся в сферу более традиционной культуры. Материя, конечно, необъятная, но все же рискну спросить: куда, по-Вашему, сейчас движется мировая литература?

В. Н. Я не верю в прогресс, особенно в такой области, как словесность. Появление компьютера, разумеется, несколько облегчило фразу — пером писалось труднее и дольше, но в области духа, которую исследует литература, ничего нового не случалось уже две тысячи лет.

Можно, конечно, проследить процесс "деколонизации" европейских литератур, в которых блистают выходцы с национальных окраин, — но что добавишь к тому, о чем уже неоднократно писал ваш журнал...

А вот в Латинской Америке перемены действительно заметны. После смерти Кортасара и ухода Гарсиа Маркеса в публицистику там образовалась литературная пустота, которую стали заполнять писательницы. Титаны "магического реализма" построили дом, и теперь пришли женщины, чтобы его обжить, постелить ковры, повесить шторы, раскрасить стены затейливыми узорами... Новый латиноамериканский роман доведен до совершенства и теперь переживает прекраснейший период маньеризма в творчестве таких литераторов, как Зоя Вальдес, Кристина Гарсиа, Розарио Ферре, Анжелес Мастретта, Исабель Альенде. Великий мим Полунин как-то сказал, что закат цирка начинается тогда, когда вместо клоунов на арену выходят клоунессы...

Для России самая важная из зарубежных литератур — сербская. Я не хочу сказать, что она лучшая в мире, просто это единственная словесность (сербы сказали бы "речность"), которую мы можем воспринимать как свою собственную. В смысле печатного слова Сербия по отношению к России может занять то же место, что и богатая Великобритания по отношению к бедным США. Сербия — это своеобразный "остров Крым", место, где не прерывалась традиция. И что самое удивительное, традиция именно русская, унаследованная братьями-славянами от нашей литературной классики XIX века.

С. С. Можно ли сказать, что на ближайший период тон в литературе будет задавать какой-то определенный регион — или для современной литературы характерна глобализация?

В. Н. Я не совсем понимаю сам термин "глобализация" применительно к литературе. Если вы имеете в виду то обстоятельство, что в списках национальных бестселлеров появляются иностранцы, то такая ситуация нова только для Америки. Для нас это норма. Если такая глобализация — это процесс, обратный американизации, то я, видимо, один из его активистов. Америка завалила весь мир своей макулатурой, пришла пора менять макулатуру на книги. А в издательской политике просто не должно быть косности. Мир стремительно меняется, и лучшие детективы теперь пишутся не в Англии, а в Голландии, лучшие романы — не в Париже, а в Белграде. И мы можем позволить себе выбрать лучшее.

С. С. Глобализация бывает и на издательски-производственном уровне. Есть мнение, что завтрашний день принадлежит крупным издательским концернам...

Издательство "Амфора"

В. Н. Книжные концерны, скорее всего, будут создаваться не на издательской, а на книготорговой базе. Книги — это не нефть. Книги — настоящая вавилонская лотерея: здесь одна здравая идея может сделать отсталое издательство процветающим. На идеи монополию не получишь — это же не сеть супермаркетов.

Издательство эпохи капитализма не может быть слишком большим — это я знаю по своему опыту. Видимо, будущее за издательскими группами и, как это ни печально, маленькими "пэкеджерскими" компаниями, готовящими книги по заказу пресловутых книготорговых концернов.

С. С. Как, по-Вашему, "Амфоре" удалось занять определенную "нишу"? И, соответственно, насколько остро перед вами стоит проблема конкуренции?

В. Н. Конкуренция... Для меня это очень личный вопрос. Уже скоро семь лет как я борюсь с собственной тенью. То есть самым серьезным конкурентом моего нового издательства является мое прежнее. Я думаю, это даже не экономическая, а психологическая проблема...

Я плохо вижу "Амфору" снаружи. Про "нишу", которую она занимает, надо бы спросить лучшего из наших отраслевых теоретиков — Александра Гаврилова из "Книжного обозрения"...

С. С. Возможно, Вы опять переадресуете меня к теоретикам, но я все-таки спрошу: что влияет на успех книги? Что важнее — конфета или фантик, качество текста или внешние факторы?

В. Н. Успех книги — это чудо, и формулы не знает никто. Иначе такой посвященный разорил бы всех остальных и остался один на всю страну. Иной раз и текст хорош, и обложка "горит", и критики довольны, а книга проваливается. И напротив, совершенно случайный текст, от которого до тебя три издателя отказались, вдруг через месяц после выхода в свет требует допечатки. Большего не могу сказать, секрет фирмы.

С. С. Возможно ли сформулировать концепцию, стоящую за художественным оформлением ваших книг?

В. Н. В оформлении мы сознательно избегаем иллюстрирования, но пытаемся создать некую изобразительную метафору текста. По форме обложка больше всего походит на рекламный плакат, а по содержанию — на произведения современных композиторов. Подобно тому как последние используют в своем творчестве фразы чужих произведений, мы используем фрагменты классической живописи, текстуры из компьютерных библиотек, старые фотографии и еще кое-какие ноу-хау.

Я готов принять некоторые упреки в адрес нашей художественной концепции, — в конце концов, книжный дизайн — это всего лишь смежная профессия, которую мне пришлось освоить под давлением обстоятельств.

С. С. Между прочим, у книг "Амфоры" одним из элементов обложки является не только имя автора, но и имя переводчика. Видеть это очень приятно. Как Вы думаете, много ли людей выбирают книгу именно "по переводчику"?

В. Н. Среди наших читателей немало таких, которым о многом говорит самое имя переводчика. Так, есть поклонники "романов-лабиринтов" в исполнении Виктора Лапицкого, есть свои фанаты у Виктора Когана, переложившего на русский битников и радикалов.

С. С. А кто еще из переводчиков с Вами сотрудничает?

В. Н. Для нас большая честь работать с такими мастерами, как Борис Дубин и Наталья Трауберг, их вклад в становление "Амфоры" просто неоценим. Валентина Кулагина-Ярцева, большой друг нашего издательства, помогает разобраться в сложной политике литературной Москвы. С нами сотрудничают Инна Тынянова, Леонард Бухов, Римма Грецкая, Людмила Синянская, Элла Брагинская, Галина Косарик, Михаил Рудницкий, Марина Коренева, Всеволод Багно, Виктор Андреев, Михаил Яснов, Леонид Цывьян... Из новой волны хочу упомянуть япониста Дмитрия Коваленина и восходящую звезду питерской испанистики Владимира Правосудова.

С. С. Как Вы оцениваете общий уровень перевода в нашей стране?

В. Н. Общими усилиями всех перечисленных мной уважаемых людей качество переводов в нашей стране поддерживается на традиционно высоком уровне. Нет худа без добра: благодаря советской власти, которая усаживала за переводы своих профессоров и нобелевских лауреатов, мы получили одну из лучших переводческих школ в мире. Несмотря на нынешний спад, русские переводы, по-моему, выглядят весьма достойно.

Проблемой становится уже не само качество работы, но "литературная совместимость" автора и интерпретатора. Многие знаменитые книги будто взорваны изнутри, искорежены соперничеством двух литераторов. При этом формальных претензий к переводу нет. Переводчики иногда словно не понимают, что имя — главный их капитал, своего рода торговая марка, и не слишком разборчивы в выборе книг, не занимаются поиском "своих" авторов.

С. С. И напоследок еще один традиционный для нашего журнала вопрос: Ваше мнение об уровне нашей литературной критики в области зарубежной литературы. Отражаются ли отзывы рецензентов на судьбе книги?

В. Н. Регулярная литературная критика появилась у нас, по-моему, всего два-три года назад, так что говорить пока не о чем. Как бы ни распалялись строгие рецензенты, их оценки, всякие там значки и звездочки, на читательский спрос не влияют. Другое дело, что в "обществе взаимного восхищения", которое сегодня представляет собой столичный литературный истеблишмент, публика никого и не интересует. Критик беседует не с читателем, а со своим коллегой из противоборствующего журнала или с номинатором какой-нибудь премии...

Москва – Петербург, март 2001 г.

Переводчик и время

Нора Галь. *Слово живое и мертвое.* М., Международные отношения, 2001 (Новое издание)

"Были они смуглые и золотоглазые" — название задает тональность, как горстка бемолей при скрипичном ключе. Название рассказа-метаморфозы, в котором невидимая стихия древнего марсианского мира исподволь заполняет и преобразует энергичных землян-колонистов. И так же незаметно меняется язык рассказа, его пульс, то есть интонация и ритм. В этих немногих страницах ключ к "Марсианским хроникам", ко всему Рэю Бредбери. Невозможно представить себе, что между ним и русским читателем стоит фигура толмача. Она прозрачна, и эта идеальная прозрачность — знак высшего мастерства. На сотню спрошенных: "Что общего у таких книг, как "Смок и Малыш", "Убить пересмешника", "Смерть героя", "Поющие в терновнике", "Сад радостей земных", "Маленький принц", "Посторонний"?" — вряд ли найдется десяток тех, кто догадается назвать переводчика. Между тем Нора Галь — редкое исключение, ее имя известно самой широкой публике, главным образом благодаря ставшей невероятно популярной книге о переводе (художественных произведений или просто собственных мыслей на русский язык) "Слово живое и мертвое". От издания к изданию она дополнялась новыми главами, к пятому, посмертному изданию 2001 года прибавлены две посвященные автору статьи.

Об этой книге сказано и написано уже очень много, и я не стала бы еще раз перебирать ее достоинства, как ни приятно такое занятие, если бы, открыв давно знакомый текст, не ощутила внезапно и остро дистанцию между сегодняшним днем и временем, когда читала его впервые. Переиздание — всегда серьезное испытание для книги и неожиданный опыт для читателя. Текст остается неизменным, но изменился контекст, в котором он воспринимается, и само, так сказать, "читающее устройство". Три тысячи экземпляров — тираж, согласитесь, немаленький для книги такого рода. Но если вспомнить, что в свое время ее читали три миллиона подписчиков "Науки и жизни"...

Эту историю рассказывает Э. Кузьмина в небольшом предисловии. Первое издание "Слова живого и мертвого" вышло в 1972 году тиражом в 10000 экземпляров, но восхищенный главный редактор знаменитейшего журнала "Наука и жизнь" В. Болховитинов опубликовал в четырех номерах главы из уже напечатанной книги и таким образом сделал Нору Галь суперзвездой. Боюсь, сегодня такого тиража не выдержит даже Библия.

Когда грянула слава и обрушила на голову автора горы писем, Норе Яковлевне было уже семьдесят лет и она по праву считалась живым классиком перевода, а, как известно, добровольный, реальный и легальный круг чтения (был ведь еще принудительный, фиктивный и подпольный) советского интеллигента, особенно в шестидесятые-восьмидесятые годы, складывался почти исключительно из зарубежных книг. К переводчикам, трудившимся сразу после войны, когда "Худлит" очередями издавал собрания сочинений европейских классиков, испытываешь сложное чувство жалости и зависти: какой непоча-

тый край заманчивой работы и какая удушающая хватка цензуры!

Впрочем, по свидетельству Р. Облонской, ученицы, друга и соавтора Норы Галь, она "часто переводила не по заказу, а просто потому, что тот или иной рассказ, а бывало, и книга оказывались ей по душе и хотелось подарить их людям. Многое долгие годы пролежало в ящике письменного стола, а нередко она с самого начала знала, что так оно и будет, — и все-таки переводила в надежде, что рано или поздно рассказ или книга увидит свет". Именно такова история перевода "Маленького принца", опубликованного в 1959 году.

"*'Маленький принц' был переведен когда-то залпом, "для себя", без всякой мысли о печати,* – признается Нора Галь, – *но свет увидел и переиздавался не раз. И каждый раз к новому изданию я что-то правлю, меняю, доделываю*".

Несколько страниц книги приоткрывают дверь на "кухню" мастера, показывают ступеньки восхождения от буквы к духу. Нет и не может быть в словесной ткани мелочей, как не должно быть фальшивых нот в партитуре. В этом убеждают, например, практическое решение и теоретическое осмысление, казалось бы, крошечной проблемы "ахов и "охов":

"*И вот настал час разлуки. Маленький принц жалеет огорченного Лиса. Но невозможно перевести буквально: Ах, я запла́чу! (Вообще во французской, в английской речи Ah и Oh звучат не так сильно, потому и встречаются чаще, по-русски же выходит слишком сентиментально ...впечатление получается обратное – читателю становится смешно.) И вздох убран в ремарку:*

– Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис".

Я до сих пор помню, где и когда первый раз прочитала слова посвящения: "Леону Верту, когда он был ма́леньким", помню, как проверяла взрослых тестом "удава, который проглотил слона". Окажись он "удавом, переваривающим слона" (по-французски написано именно так), вряд ли мы изрисовали бы живыми шляпами весь асфальт вокруг школы.

Сегодня многие из моих ровесников морщатся при упоминании о "Маленьком принце", и я знаю почему. Потому что мы стесняемся самих себя, нам неловко за подростковую порывистость и наивность шестидесятых. Мы другие, и это нормально. Однако если нас коробит от воспоминаний, значит, еще не пора писать мемуары, мы еще плохие свидетели, пристрастные. Наверное, уже можно описать феномен шестидесятых (свидетельство тому — книга Вайля и Гениса), но еще нельзя оценить. Мала дистанция.

Перечитывая книгу Норы Галь, явственно слышишь интонацию публицистики тридцатилетней давности.

"*Каждому, кто работает в печати, всякий раз надо проверить себя, хоть на миг задуматься: а не ввожу ли я, не повторяю ли, не поддерживаю то, что лишь засоряет нашу литературу, нашу речь?*

Приходится повторить: мы не всегда бережем богатство наше, нашу гордость – родной язык, как не всегда умеем беречь родную природу, озера, леса и реки.

А ведь и за то и за другое мы в ответе перед будущим, перед детьми и внуками. Им передаем мы заветное наследие дедов и прадедов. Им – жить на этой земле, среди этих лесов и рек, им – говорить на языке Пушкина и Толстого, им – читать, любить, твердить наизусть, постигать умом и сердцем все лучшее, что создано за многие века в родной стране и во всем мире".

Конечно, это придирка. Может быть, во всей книге второго такого шаблонного отрывка и не найти. Но тон разговаривающего с массами просветителя пробивается то и дело. Тонкая, изящная Нора Галь не могла пренебрегать правилами игры. Изменившийся тон писателей, журналистов, телекомментаторов был одним из

первых признаков новизны полтора десятка лет тому назад. Частная и публичная речь стали взаимопроницаемы. Язык, которому посвящена книга Норы Галь, — удивительно чуткий индикатор, он не мог не откликнуться на происходящее в обществе. Тембр, интонации, лексика, синтаксис дикторов радио и телевидения лучше всякого оракула предсказывают грядущие политические повороты. И тут ничего нельзя скрыть: язык "сворачивается" от соприкосновения с демагогией, как молоко в грязной посуде. Упаси меня бог называть Нору Галь демагогом или обвинять в казенщине! Приведенные выше наблюдения, во-первых, относятся почти ко всему, что писалось здесь и тогда, а во-вторых, еще раз, с несколько необычной стороны, объясняют, почему живые силы языка отхлынули в переводную литературу. Так же, как Нора Галь, абсолютно свободная в переводах, становилась скованной в публицистике (отнюдь не политической!), сам язык советского, безвоздушного, пространства был в плену всепроникающей идеологии. Вообще сопоставительный политико-лингвистический анализ советской и постсоветской действительности мог бы выявить много интересного для социальной диагностики.

Любопытны проскальзывающие в книге детали, которые новому поколению читателей даже трудно понять.

"Приходит в редакцию человек, который к переводу – во всяком случае, к переводу ***художественному*** *– никакого отношения не имеет. Пусть он знает (а подчас и преподает) иностранный язык, пусть побывал за границей, но ведь этого мало! Зато он – владелец книги, хорошей книги. А он воображает, будто переводческая работа – это пустяки, это всякий может, это легкий хлеб и легкая слава.*

От хорошей книги издательству отказаться жаль. Добывать ее помимо самозваного "переводчика" и поручить переводчику хорошему, профессионалу? Зачастую это журналу, издательству вполне под силу, но... все-таки хлопотно.

И перевод поручают ***хозяину*** *книги. И он ее переводит – чаще всего из рук вон плохо".*

Боюсь, что плохих переводов и сейчас печатается не меньше, но среди разнообразных причин того, почему это происходит, едва ли не самая последняя — трудность "достать" книгу. Сегодня только ленивый издатель не заглядывает в каталоги зарубежных коллег, любой текст доступен, а приобретение прав на издание любой нашумевшей книги — вопрос денег и проворства (кто первый!). Нора Галь не говорит — не может сказать, — что "хорошая" книга, от которой не хочется отказаться издательству, должна была быть не просто хорошей, но и "проходной". Читателям "ИЛ", только что познакомившимся с романом Юбера Монтеле "Профессия — призрак" в переводе Юлианы Яхниной, возможно, будет любопытно узнать, что двадцать лет тому назад "Детгиз" отклонил эту прекрасно написанную, веселую и даже вполне классово правильную (главный герой — нищий, которым помыкает лорд) книгу только потому, что рецензент уличил ее автора в сочинительстве детективов из черной серии — это же идейно чуждая буржуазная массовая культура!

Все сказанное, разумеется, ничуть не умаляет значения книги и не означает, что она устарела. Иначе не разошелся бы так быстро тираж ее пятого издания и у нас не было бы случая порассуждать о том, как накладывается время на авторский стиль. "Слово живое и мертвое" и сегодня остается уникальной, с блеском и талантом написанной книгой о ремесле и искусстве перевода, о соотношении в нем свободы и точности, о вкусе и музыке слов, а также о глухоте, слепоте, косноязычии и прочих непрофессио-

нальных увечьях переводчиков, об ошибках дамских, школярских, канцелярских и прочих.

"Автор этой книжки не лингвист и отнюдь не теоретик. Но когда десятки лет работаешь там, где главный материал и инструмент – СЛОВО, накапливается кое-какой опыт.

Автору приходилось много учиться, а подчас и учить. Приходилось иногда писать, довольно много переводить, немало редактировать. В качестве переводчика случалось спорить с редакторами, а в качестве редактора – с переводчиками и вообще с людьми пишущими. Порой приходилось яростно доказывать иные спорные и даже бесспорные истины, устно и на бумаге повторять их снова и снова, без конца, самым разным людям... В таких случаях автор вовсе не стремился развивать теоретические положения, а старался показать и доказать на деле: вот так лучше, а эдак хуже, так верно, а эдак неверно.

Так сложилась книжка. В ней не без умысла дано много разных примеров. Если угодно, это отчасти даже справочник, наглядное (но, конечно, отнюдь не всеобъемлющее!) пособие".

Пособие незаменимое и не теряющее актуальности.

Где еще так лаконично и ясно определены симптомы хронического заболевания, которое Корней Чуковский окрестил "канцеляритом"? "Вытеснение глагола... существительным (особенно отглагольным)", "длинные цепи существительных в одном и том же падеже", "обилие иностранных слов", "вытеснение активных оборотов пассивными", "тяжелый, путаный строй фразы", "стертость, штамп... убогий, скудный словарь" – Нора Галь не просто перечисляет недуги, но и показывает, как от них уберечься. Принципы перевода, которые изложены в книге – а изложить их совсем не просто, поскольку часто речь идет о вещах интуитивных, зыбких и, казалось бы, трудно формализуемых, – тоже не подлежат сомнению. В том числе правило, требующее по возможности заменять иностранные слова русскими.

"Переводчику непозволительно забывать простую истину: слова, которые в европейских языках существуют в житейском, повседневном обиходе, у нас получают иную, официальную окраску, звучат "иностранно", "переводно", неестественно. Бездумно перенесенные в русский текст, они делают его сухим и казенным, искажают облик ни в чем не повинного автора.

И вот скромные домашние хозяйки, трехлетние карапузы, неграмотные индейцы, дворяне, бюргеры, бедняки, бродяги, легкомысленные девчонки – все без разбору, во все века и эпохи, при любом повороте судьбы, в горе, радости и гневе, объясняясь в любви, сражаясь и умирая, говорят одним и тем же языком:

"Передо мной встает ***проблема****..."*

"Это был мой последний шанс..."

"В этот роковой ***момент****..."*

И читатель не верит им, не видит и не ощущает ни радости, ни горя, ни любви".

Еще тогда, когда появилось первое издание книги, у Норы Галь были оппоненты в этом пункте. Она решительно заменяла везде и всюду *проблемы, шансы и моменты* на *задачи, надежды и минуты*. И чаще всего была права. Но как быть, если надо передать речь современных горожан, студентов, ученых? Выкорчевывать иностранные слова из их речи просто немыслимо. Нора Галь, разумеется, допускала, что "в редких случаях, когда того требует характер повествования или героя", иностранное слово может быть предпочтительнее русского. Весь вопрос в том, что́ таким случаем считать. И где критерий того, натурализовалось или нет в русском языке иноязычное слово. Нора Галь возмущенно отметает оправдание: "это вошло в язык".

"Да ведь потому и "вошло," что мы плохо защищаем чистоту нашей речи! Ведь и ***шанс, проблема, момент, ситуация*** *тоже многие говорят на каждом шагу, к месту и не к*

*месту – и это очень печально! Это и есть **результат**, а вернее – горький плод бездумного, бессовестного обращения с русским языком".*

Действительно, пришлое слово, даже самое обрусевшее, не имеет корневой связи в русской лексике, а только одно или несколько линейных значений. Его внутренний образ существует в другом языке, а потому его нельзя оживить. Взять хотя бы тот же порицаемый переводчицей "результат", который так прижился у нас, что даже не указан в современном словаре иностранных слов. В европейских языках — это слово основного, житейского фонда, итальянец или француз явственно слышит в нем исходную прыгучесть: латинское *re-saltare* означает "отскакивать"; смысл образован по модели "как аукнется, так и откликнется".

Работа последних лет сделала меня едва ли не большей ревнительницей исконности, чем сама Нора Яковлевна, правда, в одной области перевода, а именно при переводе современных философов. Когда философия не просто пользуется языком как логическим средством, а обращается к нему как к стихии мысли и бытия, она высвечивает в словах древний костяк, добирается до первоначальных связок звука и смысла. И в этом случае терминологическая точность (термины не надо переводить, они хороши своим определенным, одинаково понятным всем специалистам значением) должна уступить место этимологической меткости.

Вообще инстинкт хорошего переводчика — перевести все, что поддается переводу, таково его двойное мышление, и оно работает автоматически. Нора Галь права в том, что именно в переводе число заимствований должно быть минимальным, именно переводчик должен быть последним бастионом на пути варваризмов, но уж если варвары победили и иностранное слово привилось в живом языке, это приходится признать. Не то рискуешь застрять в мокроступах, когда люди уже и про галоши-то забывают. В этом вечном споре одинаково легко находить бесконечные доводы в пользу одной и другой стороны, истина же, как всегда, в недостижимой золотой середине. Ну а окончательное решение выносит время.

Когда Нора Галь говорит: "так лучше", она действительно предлагает "образные, полнозвучные, незатрепанные" слова. "Да, язык живет и меняется, — говорит она, — но нельзя допускать, чтобы он менялся к худшему. Не пристало человеку быть рабом стихии. Его долг — спасать от мертвечины все, что ему дорого".

Наверное, все-таки мы не так всемогущи, а язык не так беспомощен. "Силовые приемы" в борьбе со стихией бесполезны, но у нас есть своя роль, часто это роль упрямого тормоза, и от того, насколько добросовестно мы будем ее играть, в какой-то мере зависит равнодействующая. Пример самой Норы Галь убеждает, что эта мера может быть немалой.

И последнее соображение в этом ряду. Появление иностранного слова — не всегда результат... простите, плод вялой инерции. В последнее время оно связано с новыми поворотами мышления, новой образностью. Поясню, что я имею в виду. Несколько лет тому назад мне попалось в тексте французского романа словечко "zipper". В словаре Робера его нет, в наших французско-русских — тем более. По контексту смысл был хорошо понятен, и я написала, кажется, "сжать" или "сгустить". Что-то при этом смутно маячило в сознании, слово не было совсем незнакомым. Сегодня каждый раз, включая компьютер, я вижу на экране ярлычок ZIP и, не запинаясь, говорю: "Этот файл надо зазипповать". Более того — ловлю себя на том, что все чаще совершенно спонтанно приходят в голову "компьютерные" образы

(недавно, например, вид из окна очень ясно представился заставкой на экране со штрихами движущихся электронных голубей и прохожих), и сегодня у меня не дрогнула бы рука написать: "зазиппованные воспоминания". У моей ассоциации нет связи с английским "zip" — нестись пулей, застегивать на "молнию", но она коренится в ежедневном опыте, и всякая замена иноземного словечка на русскую расшифровку разрушала бы ее чистоту.

Меня воротит от безграмотного слова "пользователь", но, как говорится, поезд ушел. Не будет уже никаких "участников" или хоть "потребителей", спасибо, что не "юзеры". Однако, с удовольствием выслушивая построенные на компьютерной лексике и, главное, на компьютерном образе мышления анекдоты, всякий убедится, что поэтическая сила языка не оскудевает.

Глава "Поклон мастерам" появилась в книге в предыдущем издании 1987 года. Она посвящена школе художественного перевода Ивана Кашкина, к которой принадлежала также Вера Топер, учитель Норы Галь. Раздел "Открытие Хемингуэя", я думаю, будет читаться с особым интересом молодыми людьми, для которых то, о чем тут рассказано, уже стало "делами давно минувших дней". Появление в середине тридцатых годов русского Хемингуэя было культурным событием колоссальной важности. В шестидесятые выросло наше собственное, вскормленное Хемингуэем кашкинцев потерянное поколение, которое укрылось от удручающей действительности в хемингуэевский подтекст, да так там и осталось. Впрочем, у Норы Галь речь не о Хемингуэе, а о мастерской работе переводчицы "Фиесты" Веры Топер, о "малых мелочах", из которых сплетается художественная ткань романа в новом языковом обличье. Читатель в самом деле получает "наглядные уроки" перевода. С одной стороны, рассматривается один автор (тот же Хемингуэй) в интерпретации разных переводчиков — образец верности оригиналу и сработанности профессионалов при всем своеобразии почерка каждого из них. С другой — перевоплощения одного и того же мастера в разных писателей (Ольга Холмская — переводчик Хемингуэя, Диккенса, Шоу; Нина Дарузес — переводчик Шоу и Киплинга; Игорь Романович — переводчик Джойса и Голсуорси; работы Евгении Калашниковой, Натальи Волжиной).

Анализ переводов — трудный, но единственный способ передачи опыта. Выражение "переводческий цех" — вовсе не метафора, этому ремеслу учат на средневековый лад, мастера обучают подмастерьев. Так же, как Нора Галь показала все швы и сочленения в работах кашкинцев, ее собственная манера в сравнении с манерой двух других переводчиков подверглась рассмотрению в приложенной к основному тексту статье Юлианы Яхниной "Три Камю". Написанная примерно в одно время с первым вариантом книги Норы Галь, эта статья успела стать классической для нового поколения переводчиков. Это уже мастер-класс в квадрате: мастерский анализ мастерского перевода.

Наконец, личности самой Норы Галь посвящен небольшой этюд Р. Облонской. Таким образом, в одной книге выстроена цепочка преемственности: Кашкин, Топер, Галь, Облонская — одно из направлений русской школы художественного перевода. Само существование школы, непрерывность традиции в разные и трудные времена: тирании, застоя, ломки и смуты — кажется чудом, которое возможно потому, что каждый воспитанник, вырастая из ученика в учителя, чувствует себя обязанным передать следующему поколению полученное от предыдущего. Нора Галь этот долг отдала сполна.

Очень важно, из чьих рук мы получаем ремесло. Одна из непременных профессиональных составляющих переводчика — его нравственные качества. "Страсть к работе, внутренняя зоркость, требовательность к себе, горячее и действенное чувство справедливости, способность радоваться и восхищаться" не менее необходимы для этой работы, чем культура и чувство слова.

Наталья Мавлевич

Маршрут культуры

Вера Кутейщикова. *Москва – Мехико – Москва. Дорога длиною в жизнь.* М., Академический проект, 2000

С обложки этой книги на читателя смотрит репродукция картины известного мексиканского художника Карлоса Масиеля под названием "Русская женщина с мечтами о Мексике в глубине души". Картина была специально создана для оформления книги и, стало быть, призвана представлять собой духовный портрет автора и его произведения. Масиель (будучи не только оформителем, но и одним из многочисленных героев книги) с присущим ему художественным чутьем очень верно выразил ее содержание, и потому слова В. Кутейщиковой о своем труде звучат в унисон названию картины: "Итак, перед вами — страницы биографии российского мексиканиста, а конкретнее — женщины, которая, более полувека назад влюбившись в Мексику и с годами влюбляясь в нее все сильнее, посвятила себя изучению этой страны, приобщению соотечественников к ее культуре".

Органическая скромность автора вынуждает рецензента обозначить то, что осталось за рамками этой фразы, да и всей книги. "Дорога длиною в жизнь" В. Н. Кутейщиковой пролегала не только по маршруту "Москва — Мехико — Москва": этот путь, куда блее широкий и значимый, оказался, скажем так, длиною в целую отрасль филологической науки — российской латиноамериканистики. До середины 50-х годов этой отрасли науки вовсе не существовало, как не было в советском культурном обиходе и сколько-нибудь внятных представлений о латиноамериканской литературе. Что-то, конечно, переводилось, что-то издавалось, но эти издания можно буквально по пальцам перечесть, а главное, критерии отбора произведений в ту эпоху были соответствующие. Год зарождения филологической отрасли российской латиноамериканистики можно обозначить достаточно точно — 1956-й, когда В. Н. Кутейщикова пришла в Институт мировой литературы изучать (уместно будет сказать, и "открывать") литературу Латинской Америки. Она стояла у истоков этой области знания, и во многом благодаря ее усилиям и труду ее ближайших коллег, И. А. Тертерян и В. Б. Земскова, был выпущен ряд солидных монографий и подготовлена академическая "История литератур Латинской Америки" (три тома издано, два последних находятся в стадии завершения). Причем свои научные труды В. Н. Кутейщикова писала далеко не только о мексиканской литературе — вспомним книгу "Новый латиноамериканский роман" (1983), созданную в соавторстве с Л. Осповатом.

Но рецензируемая книга — вовсе не научный труд, и хотя она, бесспорно, имеет информативную ценность, не столько этим она привлечет читателя. Друзья и коллеги автора единодушно сошлись во мнении, что В. Н. Кутейщикова изобрела новый жанр, определить который в системе устоявшихся категорий не так-то просто. Вряд ли то была сознательная установка автора, скорее

всего, этот синтетический жанр родился спонтанно, из совмещения личности творца — "женщины, влюбленной в Мексику" — с объектом своей влюбленности. С первого взгляда хочется отнести эту книгу к мемуарной литературе, тем более что основания для этого дают и подзаголовок, и вступление, и обилие личных воспоминаний. Вместе с тем в классическом мемуарном жанре образ автора находится в центре повествования, и, соответственно, описываются преимущественно те события и персонажи, которые имели непосредственное отношение к жизни автора. Здесь это не так: В. Н. Кутейщикова вовсе не претендует на центральное место в книге, посвященной главным образом истории дипломатических и культурных отношений Мексики с советской и постсоветской Россией. Российская мексиканистка не склонна переоценивать свою роль в этом процессе, хотя и стала после А. Коллонтай второй русской женщиной, получившей от мексиканского правительства почетный орден "Агила астека" ("Ацтекский орел"). В самой объемной, второй части книги описано множество событий и персонажей, с которыми автор напрямую не соприкасался, к тому же здесь представлен ряд ценных и малоизвестных фактов, почерпнутых из архивов. Однако меньше всего книге в целом подошел бы в качестве названия вполне академичный заголовок и подзаголовок ее второй части ("Полувековой диалог. Из истории советско-мексиканских культурных отношений"), поскольку исторические факты, изложенные вольно, даны в очень личном эмоциональном восприятии и — если не прямо, то косвенно — в сопряжении с судьбой автора. Особенности жанра книги воплощены и в ее композиции: обширный исторический раздел обрамляют чисто мемуарные главы.

Книга начинается с воспоминаний В. Н. Кутейщиковой о ее работе в ВОКСе (Всероссийском обществе культурных связей с заграницей), куда молодую сотрудницу взяли с условием овладеть испанским языком, который она начала факультативно изучать на истфаке Московского университета, и даже наняли для этого преподавателя. Но фактически В. Н. Кутейщикова осваивала язык сама, на практике — точно так же, как впоследствии самостоятельно осваивала филологическую науку. В ВОКСе В. Н. Кутейщикова проработала с 1943 по 1956 годы и потому имеет полное право говорить: "Я пришла в науку из производства". "Производство" же состояло в том, что молодая сотрудница в качестве переводчика сопровождала деятелей культуры из Испании и Латинской Америки, приезжавших в СССР, — и таким образом ей довелось познакомиться и подружиться с Пабло Нерудой, впервые посетившим нашу страну в 1949 году, затем с Николасом Гильеном и Жоржи Амаду. Круг общения постоянно расширялся, и вскоре в него вошли именитые мексиканские художники Леопольдо Мендес, Диего Ривера и Давид Альфаро Сикейрос. А еще В. Н. Кутейщиковой посчастливилось познакомиться с А. Коллонтай (когда в 1944 году мексиканский посол вручал ей орден "Ацтекского орла") и с С. Эйзенштейном — обо всех этих встречах автор книги рассказывает живо и увлекательно, демонстрируя великолепную память на детали и неизменное чувство юмора.

Вторая часть книги, как говорилось, очень далеко отстоит от научной историографии: она написана в такой манере, что нисколько не контрастирует с мемуарными частями, а скорее образует с ними внутреннее нерасторжимое единство. И в этом видится одна из главных удач книги. В. Н. Кутейщикова избрала верную стратегию: не стала составлять реестр фактов и событий, располагая их в строгом

хронологическом порядке, а изложила историю отношений двух стран фрагментарно, как бы в серии очерков. Причем в этих очерках на первом плане всегда стоят не события, а личности. Написанные живым языком, сопровожденные эмоциональными авторскими комментариями, а где возможно, и воспоминаниями, эти психологические портреты нередко близки рассказам. С захватывающим интересом читаются главы о пребывании в Мексике Маяковского и Эйзенштейна, о политических виражах Риверы и Сикейроса, об охоте на Троцкого, о представителях мексиканской "искьерды" (левых политических сил). Главное, что удалось передать автору, — дух эпохи, стиль мышления людей, увлеченных идеей построения коммунистического общества. Ведь практически все мексиканцы, с кем довелось общаться В. Н. Кутейщиковой, если не были ярыми приверженцами коммунистических идеалов, так или иначе испытали на себе их воздействие. Именно здесь, в сфере идеологии, разворачивается магистральный, хотя и скрытый сюжет всей книги, и состоит он в постепенном, а для многих мучительном преодолении утопических иллюзий. Разумеется, далеко не всем героям этой книги было дано "выздороветь", но многие из тех, кому довелось перешагнуть 80-е годы, нашли в себе мужество пересмотреть прежние воззрения. Сказанное касается и самой В. Н. Кутейщиковой с ее редкостной способностью очень трезво судить о себе.

В третьей части книги автор рассказывает о своей второй поездке в Мексику в 1978 году. В 1956-м, когда молодая сотрудница ВОКСа первый раз посетила Мексику, она еще очень немногое знала об этой стране и воспринимала увиденное довольно поверхностным, туристическим взглядом. Двадцать лет спустя в Мексику прибыл другой человек — глубокий знаток национальной культуры, имевший к тому же обширный круг знакомств и дружеских связей. Новое углубленное видение мексиканской действительности В. Н. Кутейщикова в полной мере сумела донести до читателя, которому вместе с автором предстоит совершить увлекательную прогулку по улицам Мехико, побывать в Национальном музее антропологии и во дворце Чапультепек, восхититься узорочьем барочных алтарей, полюбоваться на индейские пирамиды, побывать на Юкатане и в Табаско... И снова портреты — незабываемые портреты простых мексиканцев и деятелей культуры.

В завершающей части книги ("На пороге новой эпохи") звучат голоса двух нобелевских лауреатов: это стихи Иосифа Бродского о Мексике и мысли Октавио Паса о России. Бродский и Пас неоднократно встречались и были дружны: взаимопонимание великих поэтов XX века, русского и мексиканского, В. Н. Кутейщикова воспринимает как символ духовной связи двух столь отдаленных друг от друга стран и, как показывает ее книга, столь близких культур.

А. Кофман

Германия

Монография о Файде Харлане

Недавно в Мюнхене вышла монография Франка Ноака "Дьявольский режиссер", посвященная жизни и творчеству нацистского кинематографиста Файда Харлана.

Файд Харлан (1899—1964) начинал свою творческую карьеру как комический актер — после окончания Первой мировой войны он работал в берлинском театре "Фольксбюне", затем — в "Фолькстеатер", а с 1927 года играл в кино. Приход фашистов к власти, назначение Геббельса на пост главы пропагандистского аппарата, высылка из страны крупных немецких режиссеров — все это было на руку Харлану, который очень быстро становится одним из самых влиятельных людей в мире кино. Два фильма в 1935 году, три — в 1937-м, и наконец "Властелин", который принес ему официальное признание и славу. Харлана теперь стали величать "самым великим режиссером в мире", что неудивительно, ведь Гитлер узнал в герое "Властелина" себя. Две кинокартины, вышедшие в 1938 году — "Юность" (ода молодежи, восстающей против христианских и буржуазных "предрассудков") и антифранцузский фильм "Заметенные следы", — окончательно возводят Харлана на почетный пьедестал "певца фашизма". Самые же известные фильмы режиссера — антисемитский "Еврей Зюс" (1940), в котором он до неузнаваемости исказил содержание романа Л. Фейхтвангера, "Великий король" (1942, имеется в виду Фридрих II), "Золотой город" (1942) и "Бесконечность" (1943). Выход на экраны "Кольбера" совпал с падением Гитлера и, соответственно, самого Харлана.

В 1950 году, несмотря на многочисленные протесты, Харлан возвращается в кинематограф и каждый год снимает по фильму. В 1959-м он окончательно уходит из кино и принимается за мемуары "В тени моих фильмов", изданные посмертно (1966), — в них он пытается обелить себя, заявляя, что при Гитлере был не палачом, а жертвой.

Харлан, несмотря на всю свою популярность в 30-е и 40-е годы, был в отличие, к примеру, от Лени Рифеншталь, режиссером средней руки. Интерес к нему в период, когда его творчество воспринималось как "абсолютное зло", объяснялся тем, что запретный плод, как известно, притягателен. Однако в последние лет двадцать наследие Харлана перестало интересовать кого бы то ни было. Многие его фильмы вышли на кассетах, более того, они время от времени транслируются по телевидению — реакция на них нулевая. На этом фоне выход в свет монографии Ноака (первой немецкоязычной монографии о Харлане после 1981 года) явился, по оценке критиков, настоящим событием.

Ноак признается в симпатии к своему герою — он очарован противоречивостью и богатством натуры Харлана, никем, по его мнению, до сих пор не оцененными. Для него самого Харлан — "великий эротоман немецкого кино", "радикальный беспощадный художник, боровшийся за самореализацию". Конечно, Ноак не отрицает, что фильмы Харлана служили пропаганде фашизма, однако частично оправдывает его тем, что "имея возможность работать, Харлан так же, как и многие другие, закрывал глаза на реальность". Что Харлан вел себя "как многие другие", что "раскрутка" его фильмов велась якобы помимо его воли — эти факты постоянно подчеркиваются исследователем в качестве смягчающих вину режиссера обстоятельств.

"Неожиданное тематическое и стилистическое богатство национал-социалистического кинопроизводства" убедило Ноака в том, что "даже жестко организованная система, какой являлся национал-социализм, предоставляла свободное пространство для творчества". Вся монография, по сути, — попытка на примере Файда Харлана доказать справедливость этого тезиса. Ведь Файд Харлан действительно снимал самые разные фильмы, в том числе и вполне невинные мелодрамы.

Значение книги Ноака не в теориях автора и попытках их обоснова-

ния, а в богатейшем документальном материале по истории киноискусства эпохи фашизма и биографии самого Файда Харлана.

Канада

Выставка в Монреале

С 13 ноября по 18 марта в монреальском Музее изящных искусств прошла выставка "Хичкок и искусство. Роковые совпадения". Ее организаторы продемонстрировали, что столь презираемое снобами-искусствоведами коммерческое кино имеет право быть представленным в одном из крупнейших музеев мира. Главная идея выставки: Альфред Хичкок — центральная фигура в искусстве XX века.

Устроители выставки Доминик Пайни и Гай Коджевал проделали колоссальную работу, досконально исследовав наследие великого американского режиссера и сопоставив хичкоковские фильмы с произведениями живописи, скульптуры и графики.

На выставке представлено четыре типа экспонатов: документальные, рассказывающие о работе Хичкока над своими шедеврами, реквизит, фотографии из фильмов и фоторекламa. Это что касается собственно "хичкоковских" экспонатов. Но, кроме них, здесь собраны еще и произведения искусства, которые, по мысли организаторов выставки, доказывают наличие родственных связей между эстетикой хичкоковских фильмов и искусством XIX и XX веков. Картины, гравюры, скульптуры, представленные в этом разделе, создавались в разное время. Некоторые залы посвящены культуре второй половины XIX — начала XX веков — культуре, на которой Хичкок был воспитан. Искусство викторианской эпохи и декаданса, творчество прерафаэлитов и символистов, по мнению создателей экспозиции, во многом определили творческую манеру режиссера. Другие залы отведены под произведения, появившиеся примерно в одно время с хичкоковскими фильмами. Наиболее близкими режиссеру направлениями объявляются разом реализм и сюрреализм. Помимо искусства хичкоковской эпохи и времени, предшествующего ей, на выставке можно увидеть коллекцию работ современных художников (Альперна, Флейшера, Гарне, Урслера, Шермана и др.), на творчество которых Хичкок оказал заметное влияние.

Организаторы выставки составили фотобиографию Хичкока, а также собрали огромную коллекцию афиш его фильмов. Самая же интересная часть экспозиции — залы, посвященные сквозным темам, мотивам и образам хичкоковского творчества.

Кроме того, вниманию публики предложены две дополнительные экспозиции: одна из них посвящена совместной работе Хичкока и Дали над "Завороженным" (1945), другая — фильму "Я исповедуюсь" (1953), снимавшемуся в Квебеке, а потому и удостоившемуся такого отличия.

Основная претензия критиков к организаторам выставки: многие сопоставления из серии "Хичкок и искусство" бездоказательны, хотя есть и весьма интересные и убедительные примеры образного сходства хичкоковских фильмов и произведения таких мастеров, как Хнопф, Сикерт, Пикаби, Грош и др. Кроме того, по мнению специалистов, организаторы выставки, увлекшись своим грандиозным замыслом, забыли сказать о роли, которую режиссер сыграл в истории кино — а в этой области он действительно был революционером. От этого главного просчета пошли и все остальные — только мимоходом упоминаются важнейшие приемы хичкоковских фильмов: особые временные отношения, спецэффекты, искаженные кадры и т. д. В результате — некоторая поверхностность как идеи, так и ее реализации.

Однако есть у экспозиции и крупное достоинство: ее дизайн чрезвычайно удачен, хотя в монреальском музее на подобные "мелочи" обращают внимание не так часто. Кроме того, к открытию выставки был издан альбом, в который наряду с великолепного качества иллюстрациями вошли 18 статей и эссе. Большая их часть не связана напрямую с выставкой, однако книга явила собой значительный вклад в изучение наследия Хичкока.

Остается добавить, что с 6 июня по 17 сентября выставка "Хичкок и искусство. Роковые совпадения" пройдет в Париже, в Центре Помпиду.

США

Американские магазины детской книги

Американский журнал "Publishers Weekly" опубликовал ряд статей, посвященных развитию сети американских дет-

ских книжных магазинов. Три года назад магазины эти вдруг один за другим стали закрываться. Выстояло не более десяти. Но зато они не только удержались на плаву, но также существенно расширили свои владения и увеличили прибыль.

Как им это удалось? Магазин "Большая ушастая сова" в штате Колорадо в прошлом году в течение нескольких месяцев проводил своеобразный эксперимент: продавал книги для взрослых в кафе, находящемся неподалеку. Однако, хотя это предприятие и оказалось весьма успешным, от него пришлось отказаться — работникам магазина было довольно тяжело действовать на два фронта. И тем не менее "Сова" будет и впредь продавать кое-какую беллетристику, научную литературу и журналы для взрослых и подростков, а также местные издания. Ассортимент магазина расширился еще и за счет игрушек самого высокого качества — кукол, плюшевых зверушек и головоломок. И все же основным товаром остаются детские книжки. Огромную роль в "раскрутке" магазина сыграла реклама на местном кабельном телевидении.

Другой пример — магазин "Крылья дракона" в штате Висконсин, недавно переехавший в огромное здание в центре города Уопака. Его хозяйка, Элен Дэвис, начинала с того, что продавала книжки у себя дома. Мечтой Дэвис было создать магазин, в который будут с удовольствием приходить как дети, так и взрослые. Она решила придать помещению магазина вид дворика: установила огромную деревянную скульптуру, чтобы дети могли лазать по ней, сделала прудик, расставила вокруг него скамейки и деревья в кадках (деревья эти перекочевали сюда из ее собственного сада). На предмет того, что нужно покупателям-подросткам, ее консультировали собственный 14-летний сын и его друзья. А еще предприимчивая Элен Дэвис стала устраивать в своем магазине художественные выставки-продажи, отличающиеся от традиционных только тем, что авторы всех шедевров — талантливые школьники. Теперь у них есть возможность почувствовать себя настоящими художниками, да еще и немного подзаработать.

Техасский магазин "Детская книга-экспресс" в целях привлечения посетителей пошел по иному пути. Помещение его состоит из множества маленьких комнат — для детей разных возрастов. Самые маленькие клиенты могут попасть в игровую комнату, если пойдут по следам какого-то удивительного зверя... В магазине очень уютно: горят свечи, в воздухе витают ароматы благовоний, играет тихая успокаивающая музыка.

Кстати, о музыке: в одном из магазинов штата Калифорния, кроме книг, продают еще и музыкальные инструменты для детей.

Огромную роль в развитии книжных магазинов играют Интернет, а также ежегодные книжные ярмарки и распродажи, проводимые в рекламных целях. В одном из магазинов додумались устроить специальную библиотеку: люди берут книжку домой — посмотреть, показать родственникам, а затем возвращаются и покупают ее (или не покупают). Оказалось, что такая система тоже может быть весьма эффективной.

Магазин детской книги "Летучая свинья" в штате Вермонт постоянно организует праздники, в которых принимают участие и дети, и взрослые. Например, обеды с экзотическими названиями "Привидения с площади Городской тюрьмы" или "Тайна убийства", во время которых гости разгадывают загадки, придуманные устроителями.

В общем, каждый владелец магазина придумывает что-то свое. Кэрон Чепмэн, исполнительный директор Ассоциации продавцов книг для детей, как-то заметил: "Каждый магазин настолько уникален, насколько может быть уникальным каждый человек".

Поэзия в Интернете

Благодаря Интернету каждый человек может поделиться самым сокровенным со всем миром. Это, вероятно, одна из наиболее привлекательных черт всемирной компьютерной сети. Кто перечисляет любимые сорта пиццы, кто излагает свои политические взгляды, а некоторые "дивные гении" печатают в Интернете собственные стихи. Оказывается, последних не так мало. В прошлом году в американской поисковой системе "Поэзия" стояла на восьмом месте в списке тем, пользующихся наибольшим вниманием, уступив "Бритни Спирс", "Звездным войнам", "Памеле Андерсон Ли".

В Интернете имеются сотни Web-сайтов, предлагающих вниманию читателей любую поэзию: от хайку до нецензурных лимериков. Есть и "пьяная поэзия", и конечно

поэзия на темы секса. Существует даже "Периодическая система поэзии", в которой стихи сцеплены с химическими элементами. Элегии, тонущие в слезах, — ничто по сравнению с шедеврами из "Неофициального поэтического сайта Леонардо ди Каприо", которые, по мнению Джеффри Реснера (автора статьи об Интернет-поэзии в "Time Digital"), "даже безвкусней, чем диалоги в 'Титанике' ".

Наиболее солидный сайт, посвященный поэзии, — Poetry.com. Он появился шесть лет назад как Интернет-страница некоего издательского дома, но с тех пор заметно расширился и стал самостоятельным бизнесом; там ежегодно публикуется примерно 2,4 миллиона стихотворений, созданных поэтами-любителями. Сайт организует многочисленные состязания и съезды стихотворцев, предоставляет поэтам массу возможностей для самовыражения — например, предлагает их вниманию разнообразнейшие словари рифм. У сайта два основных источника благосостояния: во-первых, меценаты, жертвующие весьма крупные суммы на поддержание поэзии, во-вторых, он весьма практично использует любовь людей к чтению собственных шедевров. Каждому приятно увидеть свое стихотворение в Интернете, но еще приятней купить сумку, майку или чашку с напечатанным на них чудесным текстом. Эту услугу сайт выполняет с удовольствием за умеренную (или не слишком умеренную) плату.

По материалам журналов "Filmdienst" (Германия), "Art Press" (Канада), "100 Publishers Weekly" (США), "Time Digital", (США).

ЧТО ЧИТАЮТ В МИРЕ?

Романы, занимающие первые 10 мест в списке бестселлеров французского журнала L'Express (список от 2 мая 2001 г.)

1. Catherine Millet.
   La vie sexuelle de Catherine M.
2. Patrick Modiano.
   Le petite Bijou
3. Michael Connely.
   L'oiseau des ténebres
4. Patricia Cornwell.
   Dossier Benton
5. Paulo Coelho.
   Le démon et mademoiselle Prym
6. Serge Brussolo.
   Peggy Sue et ses fantômes
7. J. K. Rowling.
   Harry Potter et la coupe de feu (t. 4)
8. Michel Quint.
   Effroyables jardins
9. Arturo Perez-Reverte.
   Le cimetière des bateaux sans nom.
10. Phillipe Delerm.
    La sieste assasinée

Кристоф Хайн
Christoph Hein
[р. 1944]. Немецкий драматург, прозаик, эссеист. Лауреат премии им. Генриха Манна [1982] и Литературной премии западногерманских критиков [1983].

Автор сборника рассказов *Приглашение на утренний королевский прием* [*Einladung zum Lever Bourgeois*, 1980], книги *Кромвель и другие пьесы* [*Cromwell und andere Stücke*, 1981], сказки *Дикая лошадка под изразцовой печкой* [*Das Wildpferd unterm Kachelofen*, 1983], сборника пьес и эссе *Правдивая история А-Кью* [*Die wahre Geschichte des Ah Q*, 1984], романа *Конец Хорна* [*Horns Ende*, 1985]. В *ИЛ* напечатан перевод его повести *Чужой друг* [1987, № 1]. Роман *Вилленброк* [*Willenbrock*] издан в Германии в 2000 г. [Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag].

Джордж Сондерс
George Saunders
[р. 1959]. Американский писатель, работает инженером-геофизиком.

Автор двух сборников рассказов *Парк Гражданской войны приходит в упадок* [*CivilWarLand in Bad Decline*, 1996] и *Пасторали* [*Pastoralia*, 2000], детской сказки *Страшно настырные гэпперы из Фрипа* [*The Very Persistent Gappers of Frip*, 2000], рассказов, публиковавшихся в журналах The New Yorker, Harper's Magazine, Story и др.
Рассказ *Стопудовый шеф* [*The 400-Pound CEO*], в 1994 г. удостоенный премии National Magazine Award, взят из сборника *CivilWarLand in Bad Decline* [New York, Riverhead Books, 1996]; рассказ *Приморские дубы* [*Sea Oaks*] — из сборника *Pastoralia* [New York, Riverhead Books, 2000].

Збигнев Херберт
Zbigniew Herbert
[1924–1998]. Польский поэт, эссеист, драматург. Лауреат литературных премий ряда стран.

Автор девяти книг стихов, трех книг эссе, книги пьес. Сборники избранных стихотворений З. Херберта изданы на 16 языках. На русском языке стихи Херберта публиковались в *ИЛ* [1973, № 2; 1990, № 8] и других изданиях, в т. ч. в антологии Н. Астафьевой и В. Британишского *Польские поэты XX века* [2000].
Публикуемые стихи взяты из шести книг, вышедших в 1957–1998 гг., в т. ч. из книг *Элегия на уход* [*Elegia na odejście*. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992] и *Эпилог бури* [*Epilog burzy*. Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998].

Патрик Модиано
Patrick Modiano
[р. 1945]. Французский писатель, лауреат многих литературных премий, в т. ч. Гран-при по литературе им. Поля Морана 2000 года.

Автор романов *Площадь Звезды* [*La place de l'Étoile*, 1968, премия Роже Нимье], *Улица темных лавок* [*Rue des boutiques obscures*, Гонкуровская премия 1978 г.; рус. перев. 1987], *Утраченный мир* [*Quartier perdu*, 1984; рус. перев. 1989], *Свадебное путешествие* [*Voyage de noces*, 1990; рус. перев. 1998], *Дора Брудер* [*Dora Bruder*, 1997, рус. перев. 1999] и др.
Повесть *Незнакомки* [*Des inconnues*] издана в 1999 г. в Париже в издательстве Gallimard.

Петре Андреевский
Петре Андреевски
[р. 1934]. Македонский поэт и прозаик, лауреат литературных премий.

Автор нескольких сборников стихов и четырех романов. На русском языке издан сборник стихов П. Андреевского *Жатва* [1995].
Публикуемые рассказы взяты из книги *Все лики смерти* [*Сите лица на смртта*. Скопје, ЗУМПРЕС, 1994].

О. Генри
O. Henry [Настоящее имя – Уильям Сидни Портер]
[1862–1910]. Американский писатель.

Автор романа *Короли и капуста* [*Cabbages and Kings*, 1904, рус. перев. 1923], 9 сборников новелл, вышедших в 1904–1910 гг., и 7 книг новелл, опубликованных посмертно. Произведения О. Генри неоднократно издавались на русском языке.
Рассказ печатается по изданию: *The Complete Works of O. Henry* [Jarden City, N. Y. Doubleday].

Славомир Мрожек
Sławomir Mrożek
[р. 1930]. Польский прозаик, драматург, эссеист.

Автор пьес *Индюк* [*Indyk*, 1960], *Танго* [*Tango*, 1964], *Эмигранты* [*Emigranci*, 1974], *Контракт* [*Kontrakt*, 1992] и др.; сборников рассказов *Слон* [*Słoń*, 1957], *Свадьба в Атомицах* [*Wesele w Atomicach*, 1959], *Дождь* [*Deszcz*, 1962], *Два письма* [*Dwa listy*, 1974] и др. В *ИЛ* напечатаны его пьесы *Любовь в Крыму* [1994, № 10] и *Прекрасный вид* [2000, № 1], рассказы [1964, № 5; 1988, № 5], *Моя автобиография* [2000, № 8].
Книга *Дневник возвращения* [*Dziennik powrotu*] вышла в 2000 г. в варшавском издательстве Noir sur Blanc.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков.

В его переводе публиковались произведения Э. Паунда, Д. Донна, А. Макена, А. Милна, Т. Прэтчета и др., стихи У. Рэли, Л. Ферлингетти, С. Мерена.

Алексей Матвеевич Зверев
[р. 1939]. Доктор филологических наук, литературный критик.

Автор книг *Джек Лондон* [1975], *Модернизм в литературе США* [1979], *Американский роман 20-30-х годов* [1982], *Грустный солнечный мир Сарояна* [1982], *Мир Марка Твена* [1985], *Дворец на острие иглы* [1989] и многочисленных статей, публиковавшихся в периодических изданиях, в т. ч. в *ИЛ*.

Переводчики

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолит* [1996]. .

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше нечего желать* А. Мушга, *Америка* Ф. Кафки и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчица с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3] и Д. Рэмптона [1996, № 10], а также статья *Поколение дворников И(кс) сторожей* [1998, № 3].

Владимир Львович Британишский
[р. 1933]. Писатель, переводчик с польского и английского языков. Лауреат польских переводческих премий ЗаиКС [1979], ПЕН-клуба [1993], польского отделения Общества европейской культуры [1999]. Лауреат премий *ИЛ* [1988 и 1991].

Автор книг стихов, прозы, многих статей о польской литературе. В *ИЛ* печатались его статьи, переводы стихов польских и американских поэтов: Я. Ивашкевича, Т. Ружевича, Ч. Милоша, Т. Боровского, С. Е. Леца, В. Ворошильского, У. К. Уильямса, Дж. Берримена, Э. Э. Каммингса, З. Херберта, В. Вирпши и др.

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчица с французского, лауреат премии *Инолит* [1997].

В ее переводе изданы новеллы писателей эпохи Возрождения, произведения Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Верна, А. Камю, М. Турнье, Р. Кено, Веркора, А. Кристоф и др. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы романов *Идеальное место для убийства* Р. Буджедры [1984, № 10], *Праздники любви* Я. Муакса [1997, № 7], *Усы* Э. Каррера [1999, № 4] и др.

Елена Владимировна Верижникова
Переводчица с македонского.

Ее переводы публиковались в периодической печати.

Жанна Владимировна Гилёва
Переводчик со словенского, сербского и македонского языков.

Ее переводы печатались в сборнике *Весь свет* [1985]. В *ИЛ* были напечатаны ее переводы стихов Алойза Ихана [1999, № 4], А. Поповского [2000, № 2], а также рассказы Г. Петровича [2000, № 9].

Е. Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчица с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

Переводила романы Дж. Остин, У. Голдинга, В. Вулф, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, С. Беккета, сценарии И. Бергмана и др. Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Леонард Семенович Бухов
[р. 1925]. Переводчик с польского и немецкого языков.

В его переводе публиковались пьесы и рассказы С. Мрожека, пьесы И. Иредыньского, Г. Мюллера; повесть *My Sweet Raskolnikow* Я. Гловацкого. В *ИЛ* опубликованы его переводы романа А. Щиперского *Начало, или Прекрасная пани Зайденман* [1992, № 2], пьес С. Мрожека *Любовь в Крыму* [1994, № 10] и *Прекрасный вид* [2000, № 1], Х. М. Энценсбергера *Племянник Вольтера. Мистификация в стиле Дидро* [1998, № 7], рассказов Д. Дёрри [1997, № 11] и др.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В оформлении обложки использован фрагмент картины французской художницы Леонор Фини [1908–1996] *Ошейники* [*Les carcanes*] [1984].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Расимя Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://novosti.online.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7;
"Б.С.Г.-Пресс" —
ул. Гиляровского, д. 1.
В Санкт-Петербурге —
в магазине издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 05.06.2001
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 388.
Тираж 11 400 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

линия-арт

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились
ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

л и н и я - а р т

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

[8] 2001

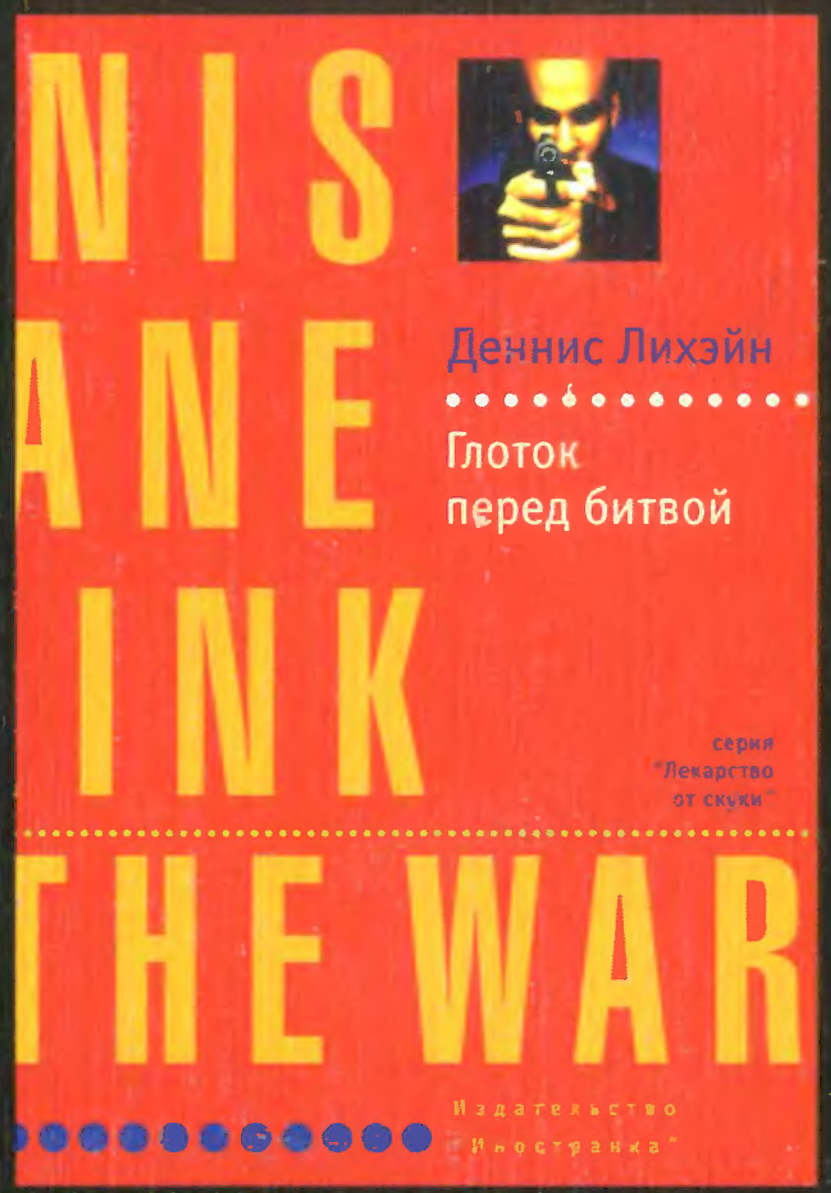
РОМАН ПОЛА ОСТЕРА "ТИМБУКТУ" / "С ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ": БЕСЕДЫ С МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР / СТИХИ ОЛИВЕРА ФРИДЖИЕРИ / СТАТЬЯ ОЛЬГИ ВАЙНШТЕЙН "ГРАММАТИКА АРОМАТОВ"/ РАССКАЗЫ ПАУЛЯ НИЗОНА / "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ": ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН

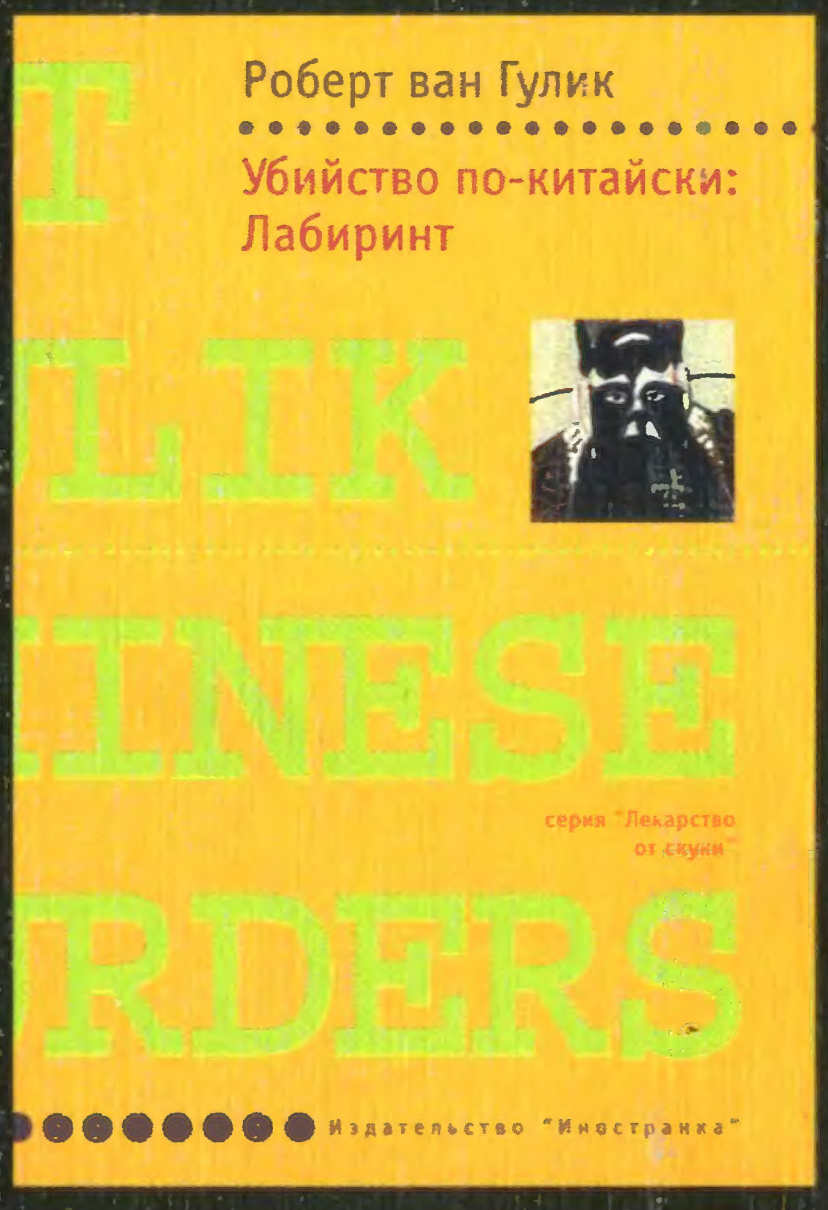
Новая серия издательства "Иностранка"

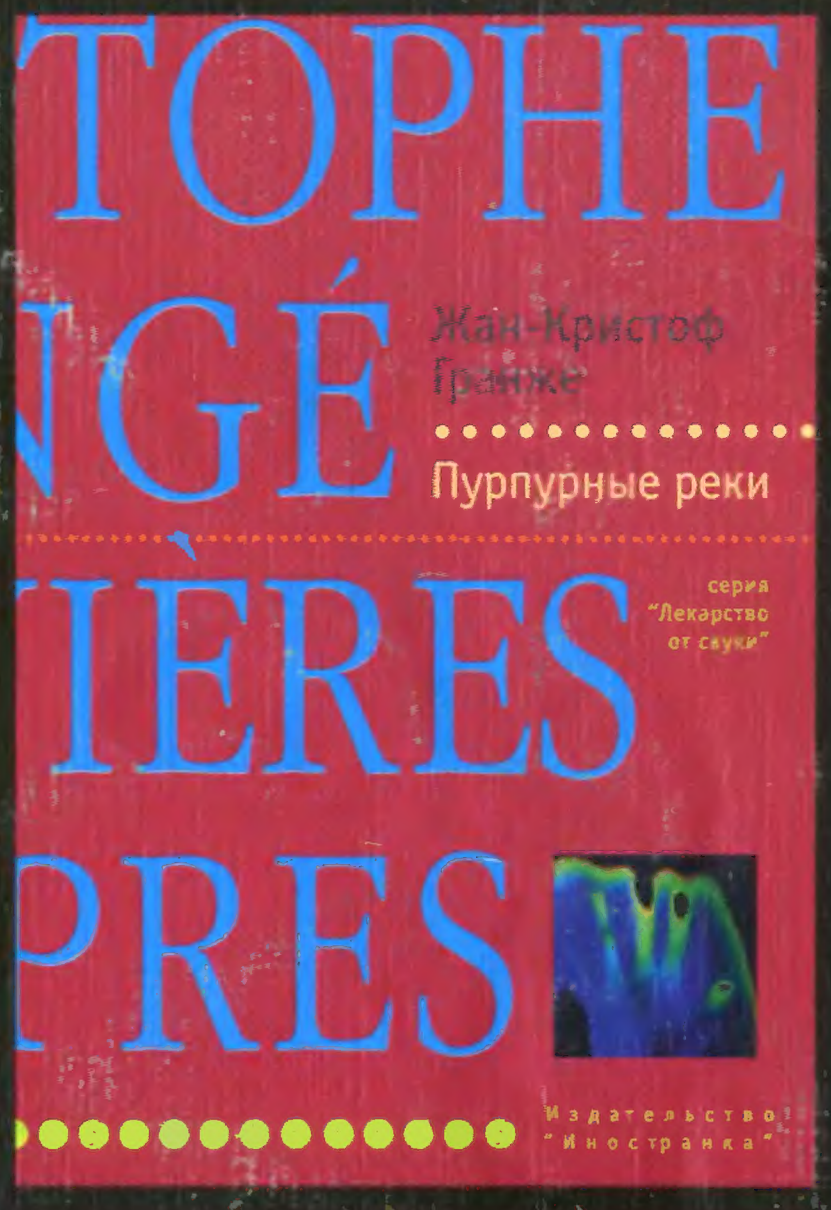
"Лекарство от скуки"

составитель Б.Акунин

Серьезный подход к несерьезному жанру







По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2001, №7, 1-288